ISSN 0130 – 6545

2. 1985

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

**МАЙ ВАН КЕ. Рыбный базар.**

*Цветные иллюстрации номера — работы вьетнамских художников*

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

2 февраль 1985


## Содержание


ЭДВАРД РИКАРДО БРЕЙТУЭЙТ — Учителю — с любовью *(Роман. Перевод с английского М. Загота)* 3

ПЕНТТИ САРИТСА — Стихи разных лет *(Перевод с финского Павла Грушко)* 53

ПЕТЕР АНДРУШКА — Рассказы *(Перевод со словацкого А. Машковой, И. Ивановой. Вступление автора)* 59

РОБЕРТ ЛАДЛЭМ — Бумага Мэтлока *(Роман. Окончание. Перевод с английского Михаила Брука)* 102

**Из классики XX века**

РОБЕРТ ФРОСТ — Стихи *(Перевод с английского и послесловие Андрея Сергеева)* 165

**Критика**

Е. СТЕПАНЯН, К. СТЕПАНЯН — Между Гамлетом и Дон Кихотом *(Размышления над книгами Мартина Вальзера и Грэма Грина)* 172

## Заметки писателя

КАРЕЛ СЫС — Поэт и К° *(Главы из книги. Перевод с чешского и вступление С. Шерлаимовой)* 179

## Трибуна переводчика

Ю. ЛЕВИН — Искусство перевода и жизнь литературы 187

## Культура и современность

А. КОРЗУХИН — На пути к Пикассо 192

В. С. РОТЕНБЕРГ — Биология и культура 195

## Публицистика

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР — Нисхождение в ад *(Фрагменты книги. Перевод с французского В. Ровинской. Предисловие Даниила Гранина)* 199

МАКСИМИЛИАН БЕРЕЗОВСКИЙ — Непременно скандал *(Главы из книги. Окончание. Перевод с польского А. Ермонского)* 214

## Наши гости

А. НИКОЛАЕВСКАЯ — Маргарет Дрэббл, Фрэнсис Кинг, Пенелопа Лайвли, Фэй Уэлдон, Майкл Холройд, Мэтью Эванс (Великобритания) 232

### К нашим иллюстрациям

МАРИАН ТКАЧЕВ — Солнечное жизнеощущение 236

## Среди книг

### Издано в СССР

ЛЕВ ОЗЕРОВ — Андрей Германов и его поэзия *(Андрей Германов. Избранная лирика)* ✦ МИРОН ЧЕРНЕНКО — В зеркале театра *(Н. М. Вагапова. Формирование реализма в сценическом искусстве Югославии)* ✦ Т. МОТЫЛЕВА — Жан-Ришар Блок и добровольное служение *(Жан-Ришар Блок. Ответственность таланта)* 237

### Издано за рубежом

Ю. ГУСЕВ — Перспективы и тупики *(Обзор венгерской поэзии последних лет)* ✦ С. АПТ — Впервые — так *(Томас Манн. Статьи. Речи. Очерки)* 242

## Из месяца в месяц

247

*На 1-й странице обложки — ЧАН ДОНГ ЛЫОНГ. Портрет молодой девушки. На 4-й странице — НГУЕН ФАН. Счастливое детство.*

© «Иностранная литература», 1985.

# ЭДВАРД РИКАРДО БРЕЙТУЭЙТ

## *Учителю — с любовью*

РОМАН

*Перевод с английского М. ЗАГОТА*

### Глава 1

Сквозь водоворот уличного движения на Элгейт пробирался набитый битком красный двухэтажный автобус. Казалось, он совсем не торопится освободиться от непосильной ноши — армии горластых, простоватых поденщиц и служанок. Это были толсторукие, полногрудые, ширококостные женщины, из-за частых родов безвозвратно утратившие всякую грациозность, краснощекие и слегка вспотевшие от ранних трудов, теплого майского утра и бьющей через край энергии. Все в них, от крашеных волос, торчавших из-под туго завязанных аляповатых косынок, до крепких с большими ступнями ног, похожих на стволы деревьев, говорило о прочности и незыблемости.

Все они везли большие тяжелые сумки, и воздух наполняли самые разнообразные запахи, но один забивал остальные — запах рыбы. Эти женщины чем-то напоминали мне крестьянок из романа Стейнбека — горожанки, но одетые по-крестьянски, похожие на крестьянок, говорящие как крестьянки. У них были свои коровы — фургоны с надписью «молоко», свои орудия труда — швабра, ведро и подушечки для колен, свои фермы — лабиринты из стали и бетона. И чувство собственного достоинства, несмотря на бесхитростные заколки и косынки.

Они поддевали и подначивали друг друга, а заодно и кондуктора — это был бесконечный поток довольно прозрачных и непристойных шуток и прибауток, совсем не боясь, что их могу услышать я — негр, к тому же, единственный, помимо кондуктора, мужчина на весь автобус. Кондуктор, общительный весельчак, который хорошо знал всех женщин, так и сыпал грубоватыми, но безобидными шуточками, а женщины не оставались в долгу, и в автобусе стояло общее веселье. Секс был для них поводом лишний раз позубоскалить, они говорили о нем так же свободно и бойко, как о погоде или о своих болезнях.

Я сидел у окна, а с другой стороны меня поджимала огромных размеров женщина, ее рыхлые в ямочках руки держали на коленях

---

ЭДВАРД РИКАРДО БРЕЙТУЭЙТ — EDVARD RICARDO BRAITHWAITE (род. в 1922) Гайанский писатель, публицист, дипломат; в годы второй мировой войны служил летчиком британских ВВС, преподавал в английской школе. Был постоянным представителем Гайаны в ООН, в последующие годы — послом Гайаны в Венесуэле и консультантом по образованию в ЮНЕСКО. Автор книг «Оплаченный слуга» («Paid Servant», 1962), «Отбор соломинок» («Choice of Straws», 1965), «Соседи поневоле» («Reluctant Neighbours», 1972). Главы из его публицистической книги «Почетный белый» («Honorary White») опубликованы в «Иностранной литературе» (1979, № 5). Роман Э. Р. Брейтуэйта «Учителю — с любовью» («To Sir with Love») был издан в Лондоне в 1959 г. Он переведен на языки многих стран мира и экранизирован.

сумку. Она вовсю болтала с приятельницей, сидевшей прямо впереди нее.

— Ну, Герти, и чем ты угостишь своего муженька на обед?

Похожее на глыбу туловище Герти осталось величественно-неподвижным, однако она повернула голову, насколько позволяла ее мощная шея, и ответила:

— Помажу ему хлеб жирком — и пусть радуется.

— Будешь так его кормить, Герти, у него для тебя сил не хватит.

— Да ему, Рози, хоть бифштекс или цыпленка подавай — все одно. Ну да ничего, пока он меня еще греет.

Это было произнесено нарочито громко, чтобы позабавить окружающих, и действительно, женщины вокруг захихикали и стали поворачиваться, насколько позволяла теснота. Рози покосилась на меня, потом наклонилась к Герте и громко зашептала ей на ухо:

— Вот бы такой подарочек найти в чулке под рождество, а, Герти?

При этих словах она захохотала, и ее затрясло словно в лихорадке. Я почувствовал, что весь автобус смотрит на меня. Герти снова пришлось проделать сложный трюк: повернуть голову на неподатливой толстой шее. Ее глаза-бусинки с трудом поймали меня в фокус. Она негромко ответила:

— Куда там, Рози, тебе такой подарок не по зубам, ведь сколько лет как овдовела, поди забыла, как это делается.

— А ты за меня не бойся, Герти,— весело возразила Рози.— Это все равно что кататься на велосипеде: раз научился — в жизни не забудешь. Хочешь верь, хочешь нет, а я его еще научила бы кое-чему.

— Вы только послушайте ее,— воззвала Герти к попутчицам, с удовольствием внимавшим этой незлобивой пикировке.— Ничего, Рози, не горюй, я как-нибудь вечерком пошлю к тебе моего Элфи. Когда он не ленится, он совсем не плох.

Как просто и естественно держатся эти люди! Ведь они — неотъемлемая часть одного из крупнейших в мире городов, а непосредственны, как жители самой темной деревушки. Вот они сидят вокруг меня, сильные, полные жизни — на таких держится мир.

Видимо, скрыть улыбку мне не удалось, потому что во взгляде Рози мелькнуло удивление, она наклонилась к Герти и что-то шепнула ей на ухо. Та в свою очередь шепнула соседке, и удивительная новость — надо же, он все понял! — разнеслась по автобусу с быстротой цепной реакции: все шушукались, хихикали, подталкивали друг друга в бок. В общем, им было все равно, понял я что или нет: если люди живут рядом с нищетой, опасностью и смертью, смутить их не просто.

Автобус повернул за угол и поехал вдоль Коммершиэл-роуд. Водитель прибавил скорость, и трескотня в салоне поутихла. Теперь на каждой остановке сходило по нескольку человек, они тут же растекались к своим домам по узким улочкам и переулкам, отходившим от главной дороги,— улочки эти, словно нити пугающе огромного клубка, переплелись бессмысленно и неразделимо. За окном мелькали выцветшие фасады магазинчиков и кафе, яркие размашистые надписи вовсю славили заморские края. Длинная Коммершиэл-роуд бежала передо мной, на ней, словно на майском дереве[1], колыхались ленточки с названиями разных стран. Здесь были представлены греки и евреи, поляки и китайцы, немцы и бельгийцы, индийцы и [illegible] ские и многие другие. Земмельвайс и Смейли, Шульц и Цинь-Ен, Смит, Зейбт и Литобараки.

Автобус притормозил и остановился. Рози убрала сумку с колен, что-то пробурчала себе под нос и поднялась с места. Да, величествен-

[1] Украшенный цветами и лентами столб, вокруг которого танцевали 1 мая в Англии. *(Здесь и далее прим. перев.)*

ная женщина! Она широко улыбнулась мне, потом со смехом обронила: «Пока, Герти, пока, девочки!»— и поплыла по проходу к двери. Я с облегчением повел плечами — как только она меня не раздавила!

Мы поехали дальше. Место рядом со мной освободилось, и возле него остановился востроглазый паренек в курточке и школьной фуражке. Однако он тут же шагнул вперед и вежливо предложил сесть стройной, хорошо одетой женщине, которая шла следом. Она с улыбкой поблагодарила мальчика и уже собиралась сесть, но тут наши глаза встретились. На лице ее мелькнуло удивление, она выпрямилась, прошла чуть вперед и остановилась в узком проходе рядом с мальчиком. Тот непонимающе смотрел на нее снизу вверх.

— Кто еще не взял билет? У кого нет денег, пусть слезает с автобуса, садится на веник! — К ним подошел кондуктор, он без конца потчевал пассажирок такими прибаутками. Женщина полезла в сумочку за мелочью. Принимая деньги, кондуктор мимоходом заметил:

— Вот свободное место, миссис.

Она взяла билет и буркнула: «Спасибо», но не подала виду, что слышала слова кондуктора.

— Пожалуйста, садитесь сюда, миссис.

Кивком головы кондуктор указал на свободное место, прошел чуть вперед и проверил школьный билет у мальчика, перекинулся с ним парой слов. Возвращаясь, он остановился и взглянул на женщину. Та выдержала его взгляд с холодным высокомерием патрицианки.

— Если есть места, стоять в автобусе нельзя, миссис.

Кондуктор намеренно возвысил голос, чувствовалось, что он рассержен. Женщины в автобусе завертели головами — что это случилось с таким веселым кондуктором? Стройная женщина не шелохнулась. Она была холодна и неприступна, ее не испугали ни угроза в голосе кондуктора, ни откровенно враждебные взгляды пассажирок, немедленно взявших сторону кондуктора — ведь он схватился с кем-то, кто не принадлежал к их классу. При виде этого неприкрытого проявления расизма я было вспыхнул, но вдруг поймал себя на том, что восхищаюсь этой дамочкой — держаться так надменно, так уверенно! Да, силы были явно неравны. Она посмотрела кондуктору прямо в глаза, и я увидел, что за ее сомкнутыми губами прячется дерзкая улыбка. Наверно, она получала удовольствие от этого спектакля. Какая холеная, прилизанная, надменная стерва!

На здании впереди мелькнула табличка: «Нью-роуд». Я быстро поднялся и сказал кондуктору: «Остановите, пожалуйста, на следующей». Он окинул меня неодобрительным взглядом — видимо, посчитал, что я предал его, помешал ему схлестнуться с дамочкой, проучить ее. Наверно, он хотел как-нибудь унизить ее, может быть даже высадить из автобуса. Он потянул за сигнальный шнур, и автобус резко остановился. Я соскочил на тротуар и увидел: она уже заняла мое место у окошка и спокойно, как ни в чем не бывало, смотрела перед собой. Кажется, сойдя, я оказал кондуктору услугу. Этот орешек был ему явно не по зубам.

Автобус уехал, и мне вдруг стало не по себе. Что ждет меня здесь? Похоже, сложившийся в моем воображении образ лондонского Ист-Энда с его космополитическим населением и захватывающей историей оказался слишком романтическим и наивным. Я много читал об Ист-Энде у классиков и современников, поэтому страстно желал увидеть своими глазами Лондон Чосера и Эразма Роттердамского. Я мечтал о том, как буду бродить по мощенной булыжником Кейбл Мейкерз-стрит, прислушиваясь к отзвуку шагов Ченслера и братьев Уиллоби[1]. Я хотел взглянуть на верховья Темзы у Блэкуолла, откуда капитан Джон Смит на доброй посудине «Сюзан Лоренс» отправился в дальнее плавание и основал английскую колонию в Виргинии. Я мечтал...

[1] Выдающиеся английские мореплаватели XVI в.

Но что я видел вокруг? Шумная замусоренная улица, по бокам — неровный, хаотичный частокол из обшарпанных магазинчиков и растерзанных бомбежкой домов. Какая тут романтика! Зажегся зеленый свет, я пересек Коммершиэл-роуд и вышел на Нью-роуд. Здесь картина была еще хуже. Несколько домов уцелело, но как над ними надругалась, как поглумилась война! А люди в них жили. Во многих окнах не было стекол — их заменяли либо доски, либо яркие жестяные плакаты, рекламирующие мороженое, крем для обуви или конфеты-тянучки. Кругом обломки стен, щебенка. Грязь и мухи. И запахи.

Пахло все. Запахи смешивались, и в воздухе стоял терпкий до омерзения аромат. Запахи неслись из гастрономической лавки — непокрытые лотки с маринованной сельдью, мелкие открытые жбаны с солеными огурцами и луком, вяленая рыба и копченое мясо, влажные, словно вспотевшие, стены и пол; из рыбной лавки, вопреки всем нормам гигиены; из еврейского мясного магазинчика и соседнего с ним магазина птичника, над входом в который почти неподвижно — ветра нет, сплошь зловоние — висела «роскошная» гирлянда из свеженащипанных перьев; и из придорожных канав, где полчища жужжащих мух пировали на кучах фруктовых и овощных отбросов.

Я словно прикоснулся к чему-то гадкому и липкому. Лишь необходимость заставила меня идти дальше сквозь запахи, мимо этих магазинов, мимо местной публики, разномастной и суетливой,— люди здесь были заняты своими делами, ни мухи, ни запахи их не смущали.

Ближе к железнодорожному виадуку линия домов по обе стороны Нью-роуд резко обрывалась — дальше улица рассекала пополам пустыню из развалин и мусора. Природа-мать постаралась както сгладить картину, но, видимо, не хватило времени — сквозь обломки прорастал чертополох, дикий кустарник и густая буйная трава. Там и сям валялись отслужившие свой срок вещи. Пружинная кровать и детская коляска — от них остались только ржавые каркасы; треснувший унитаз и помятый, похожий на американский, стальной шлем — реликвии войны и мира ржавели и гнили в одной куче. Кругом роились мухи и тут же — маленькие ребятишки, еще не доросшие до школы, однако вполне бойкие для того, чтобы без боязни лазить по этой совсем не детской площадке. Они смеялись, кричали, отпихивали друг друга, а на чумазых лицах светились счастливые глазенки.

Вдруг вся ватага, затянув хором какую-то считалочку, высыпала на тротуар. Весело галдя, детишки пробежали мимо меня, и я поймал несколько полных счастья взглядов. Детишки, детишки, ваши озорные, радостные лица словно прибавили мне сил перед встречей с новым и неизведанным.

Вскоре я очутился в узком переулке. На стене висела табличка:

**СРЕДНЯЯ ШКОЛА «ГРИНСЛЕЙД»**
**Директор А. Флориан**

Переулок вывел меня в покрытый шебенкой школьный двор, в углу которого стояла выкрашенная зеленой краской уличная уборная с надписью «Мальчики». Оттуда вышел темноволосый с кукольным лицом паренек. На нем были голубые джинсы и некогда белая футболка. Мальчишка курил, но, увидев меня, спрятал окурок, зажав его между большим и указательным пальцами правой руки.

— Кого-нибудь ищете? — Писклявый голосок, а выговор — как у всех простых лондонцев.— Вы ищете кого-нибудь? — повторил он. Правая рука была надежно укрыта в кармане джинсов, однако вдоль костлявого предплечья тянулся предательский дымок.

— Мне нужен мистер Флориан, директор школы.

Я едва сдерживал смех — ну и горе-конспиратор!

— Вот по ступенькам.— И, вытащив руку из кармана, мальчишка небрежным жестом ткнул в сторону полуоткрытой двери в конце двора. Я поблагодарил его и пошел к входу в здание.

Ступеньки привели к зеленой двери с маленькой белой табличкой:

**«Алекс Флориан. Директор»**

Я постучался и немного подождал. Раздался чуть нетерпеливый голос:

— Входите, открыто.

За огромным столом сидел небольшого роста человек, его крупную голову украшала аккуратно причесанная копна волнистых седых волос. Лицо, то ли от рождения, то ли от загара, было оливкового оттенка, бросались в глаза широкие скулы и на редкость гладкая кожа, словно молодость, отказав в благосклонности волосам этого человека, решила навсегда оставить свой след возле его орлиного носа, вокруг полногубого выразительного рта. Большие карие глаза были чуть навыкате, казалось, в них застыло удивление, будто человек этот стоял на пороге волнующего открытия.

Я подошел к столу директора, и он поднялся мне навстречу, но выше от этого почти не стал — он был мал ростом и даже немного горбат. Одет он был подчеркнуто тщательно, все в нем и в его кабинете отличалось радующими глаз опрятностью и порядком, особенно на фоне улиц, по которым я шел. Он протянул мне бледную с сильными пальцами руку и с улыбкой произнес: «Вы Брейтуэйт, верно? Мы вас ждем. Прошу садиться». Позже я узнал, что это «мы» было ему очень свойственно. Себя он считал лишь одним из группы людей, занятых важной и нужной работой. Да, он выражал интересы этой группы, был ее официальным представителем, но ни о каком возвышении над остальными не помышлял. Я пожал ему руку и сел в кресло — теплое, искреннее рукопожатие успокоило меня, придало уверенности. Он открыл стоявшую на столе коробку и предложил мне сигарету. Мы закурили. Откинувшись на спинку кресла, он заговорил:

— Надеюсь, вы нас не очень долго искали. Вообще-то мы здорово спрятаны здесь на задворках, сразу нас находят не все.

— Нет, я нашел вас сразу, спасибо. В районном отделе школ мне подробно объяснили дорогу.

— Прекрасно. Одним словом, мы рады вас видеть. Надеюсь, и у вас возникнет желание остаться с нами, когда посмотрите, как мы здесь живем.

— Пожалуй, можно не сомневаться,— поспешно заверил я его.

Моя готовность вызвала у него улыбку. Он сказал:

— Все же, я думаю, первым делом внимательно осмотрите школу, а уж потом обо всем поговорим. Здесь многое делается не так, как в других школах, некоторые учителя считают нашу практику... ну, скажем, не совсем уместной. Побродите по школе, посмотрите, что и как. Если решите остаться с нами, поговорим после обеда.

С этими словами он поднялся и проводил меня до двери, в глазах у него при этом танцевали чертенята. Я вышел, и он закрыл за мной дверь.

## Глава 2

От кабинета директора вниз вело несколько ступенек. Я очутился в узком коридорчике, с одной его стороны помещался зал, с другой — несколько классных комнат. Не зная, с чего начать «экскурсию», я остановился возле первой двери, как вдруг от сильного толчка она распахнулась, и в коридор вылетела высокая рыжеволосая девочка, а за ней — еще две. Она неслась как угорелая, избежать

столкновения было невозможно, поэтому я быстро схватил девочку за локти — во-первых, чтобы она меня не сшибла, во-вторых, просто остудить ее пыл. Она, нимало не смущаясь, высвободила руки, вызывающе мне улыбнулась, потом бросила «извините» и умчалась по коридору. Ее подруги остановились, оглядели меня, потом юркнули обратно в класс, хлопнув за собой дверью.

Эта неожиданная встреча меня так ошеломила, что я целую минуту не двигался с места, не зная, что предпринять. Потом решился заглянуть в класс и выяснить, что там происходит. Я постучался, открыл дверь и вошел. В классе стоял невообразимый шум, и какое-то время мое появление оставалось незамеченным, но постепенно, по цепочке, все повернулись и принялись глазеть на меня.

Я искал кого-нибудь похожего на учителя, но тщетно. В классе находилось человек сорок мальчиков и девочек. Пожалуй, вернее было бы назвать их юношами и девушками, большинство из них выглядели достаточно взрослыми. Одни стояли в независимых и небрежных позах, другие сгрудились у большого камина в углу, третьи сидели на столах и стульях, причем осанка их оставляла желать лучшего. Почти все были одеты одинаково. Девочки, предметом гордости которых были бюст и настоящий лифчик, носили подчеркнуто облегающие свитеры, длинные узкие юбки и туфли без каблуков. Зато прически разные — наверно, у каждой был свой объект для подражания, своя любимая киноактриса. И волосы и одежда не отличались свежестью и чистотой, словно и сами девочки, и их броские туалеты не были дружны с водой. На мальчиках были синие джинсы и футболки либо клетчатые рубашки с открытым воротом.

От группы у камина отделилась крупная круглолицая веснушчатая девочка и подошла ко мне:

— Вы, наверно, ищете мистера Хэкмена? Его здесь нет, он в учительской,— объявила она.— Он сказал, когда мы придем в себя, пусть кто-нибудь его позовет.

Группки в разных углах начали раскалываться и собираться вокруг этого добровольного оратора, сорок пар глаз уставились на меня самым беззастенчивым образом. Черт возьми, вот это орава! Вдруг все они заговорили одновременно, словно где-то невидимая рука нажала на кнопку. Посыпались вопросы:

— Вы что, новый учитель?

— Вы будете вместо старины Хэка?

— Неужто Хэкмен вправду уходит?

Ухватившись за первую фразу, произнесенную смелой толстушкой, я сказал: «Пожалуй, я зайду в учительскую» — и тут же выскользнул за дверь. Я был поражен. Когда я думал о школе, в воображении моем возникали ровные ряды столов и аккуратные, воспитанные, послушные дети. Но комната, из которой я только что вышел, скорее напоминала вертеп. Бедняга Хэкмен — как он мог с ними работать? Или такое поведение здесь — норма? Неужели и мне придется с этим мириться?

Одолеваемый беспокойными мыслями, я прошел по коридору к двери, за которой, судя по всему, находилась учительская. Неожиданно дверь открылась — и передо мной снова возникла рыжеволосая. С высокомерным видом она порхнула мимо меня и направилась к своему классу. Я посмотрел ей вслед: длинные рыжие волосы схвачены в «конский хвост», летающий слева-направо в такт ритмичному покачиванию бедер. Туманные намеки мистера Флориана начинали приобретать какой-то смысл — кажется, в этой школе действительно особые порядки.

Поднявшись в конце коридора на несколько ступенек, я оказался перед входом в учительскую. Дверь была открыта. Я увидел молодого человека, довольно крупного, бородатого, с бледным лицом.

Он сидел развалившись в кресле, сцепив на затылке пальцы рук. На нем были мешковатые брюки из серой фланели и здорово поношенный пиджак с кожаными заплатами на локтях и у запястий. Весь он был какой-то неопрятный, бордовая рубашка и желтый галстук с большим узлом ничуть дела не меняли. Он поднял голову, увидел меня и произнес:

— Так-так, еще один ягненок на заклание — или, лучше сказать, черная овца?

Он широко улыбнулся, довольный собственным остроумием, и показал мне пожелтевшие зубы — крупные и неровные.

Я всегда был человеком вспыльчивым, но с годами приобрел привычку сдерживаться — заставил себя. И сейчас посмотрел на него с готовностью и желанием не обижаться на шутку. Кажется, мне это удалось.

— Моя фамилия Брейтуэйт. Меня прислали к вам из отдела школ.

— Значит, вы новый учитель,— догадался он.— Надеюсь, вам с этими мерзавцами повезет больше, чем Хэкмену.

— Я думал, вы и есть Хэкмен — кто-то из ребят сказал мне, что он будет ждать их парламентера в учительской.

— Он ждал, секунд эдак десять, потом собрал манатки и был таков.— Он ухмыльнулся.— Наверно, сейчас плачется в жилетку начальнику отдела школ.

— А что будет с его классом? — поинтересовался я.

В ответ он расхохотался:

— Не нужно быть провидцем, чтобы догадаться — этот класс достанется вам.

Пока я переваривал эту пугающую информацию, мой собеседник поднялся и вышел.

Некоторое время я стоял и смотрел на дверь. Все это никак не вязалось с моими представлениями о школе и слегка обескураживало. Но страшиться первых впечатлений и отступать я не собирался. Молодой человек, играющий в томную беспечность, его болтовня — скорее всего это просто поза. Наверно, при ближайшем знакомстве мое мнение о нем изменится. Будем надеяться.

Дверь открылась, и в комнату вошла высокая блондинка в хорошо подогнанном белом комбинезоне, который подчеркивал стройность ее фигуры. Лицо могло бы показаться заурядным, а тугой пучок волос на затылке — слишком строгим, но выручали серые глаза, большие и ясные, и красивой формы рот. Она улыбнулась и протянула мне руку:

— Здравствуйте! Вы новый учитель из отдела школ, да?

— Да, моя фамилия Брейтуэйт.

— А я — Дейл-Эванс, миссис Грейс Дейл-Эванс. Обязательно через дефис, он мне очень помогает, особенно когда в середине месяца я хочу произвести впечатление на своего бакалейщика.— Голос был низкий и приятный.— Со Стариком вы уже познакомились?

— С мистером Флорианом? Да, он предложил мне прогуляться по школе и поглядеть, что к чему.

— Детей вы уже видели?

— Мельком. По дороге сюда я забрел в класс мистера Хэкмена.

— Вон что! Ребята не сахар, это уж точно. Я веду у них домоводство, науку о домашнем хозяйстве. Науки тут, конечно, мало, стараюсь держаться с ними как раз по-домашнему.

Она разговаривала со мной, а сама в это время быстро собирала чашки, стоявшие на каминной полке, на полу, на подоконнике, и сносила их в маленькую раковину у дальней стены. Над раковиной висел «Эскот» — колонка для нагрева воды. Она принялась мыть чашки, и разговор продолжался под перезвон посуды.

— Некоторые учителя ничуть не лучше детей: где сидели, там и побросали свои чашки. Кстати, садитесь, пожалуйста.

Я сел и принялся наблюдать за тем, как ловко она орудует щеточкой для мытья, потом полотенцем.

— Преподаете давно?

— Не сказал бы. Собственно, это мое первое назначение.

— Ох-ох.— Она даже поморщилась.— К чему такой высокий слог? Мы называем это не назначением, а просто работой.— И она засмеялась, неспешно и мелодично, что, казалось, никак не соответствовало ее быстрой, энергичной речи.

— После армии?

— Да. Я служил в ВВС. Как вы догадались?

— Не знаю, что-то в вас есть такое. Обедать с нами останетесь?

— Еще не думал, но если это принято, с удовольствием.

— Прекрасно. Если хотите, пока посидите здесь, в перемену познакомитесь с преподавателями. Вот-вот будет звонок. Еще увидимся.— Она вышла и тихонько прикрыла за собой дверь.

Я огляделся. Маленькая плохо прибранная комната, кругом — стопки книг. У одной стены — большой открытый шкаф, набитый спортинвентарем: футбольный и волейбольный мячи, сетка и ракетки для настольного тенниса, резиновые тапочки, боксерские перчатки, связки перепачканных спортивных брюк из хлопчатобумажной ткани. В холодном камине и вокруг него валялось множество окурков, на некоторых были следы губной помады. На другой стене — гирлянда из пальто, зонтиков, сумок. Семь или восемь кресел, два деревянных стула с высокой спинкой, большой стол посредине — вот и вся мебель. Воздух в учительской был какой-то затхлый—табачный дым смешался с запахом человеческих тел,— поэтому я встал и открыл два окна. Впереди я увидел разрушенную бомбами и выпотрошенную церковь, которая приткнулась среди заросших травой могильных плит и развалин. Ржавый железный забор отделял этот священный хаос от небольшого ухоженного парка с аккуратными цветочными клумбами, с множеством больших усыпанных листвой деревьев. Раньше этот парк принадлежал церкви — вдоль одной стены его тянулись ровные шеренги надгробных плит. Маленькие лужайки, клумбы, а под ними — чей-то давно преданный забвению прах. Между церковью и школой пролегала высокая кирпичная стена.

Я вышел из учительской, спустился на первый этаж и вскоре очутился во внутреннем дворе школы. Он был покрыт щебенкой и ужасно замусорен: кругом валялись смятые бумажные пакеты, огрызки яблок, конфетные обертки, куски бумаги. Внутренний двор, он же спортплощадка, огибал здание школы с трех сторон и имел в ширину футов двадцать — двадцать пять. Он был обнесен высокой стеной, которая, смыкаясь со стеной церковной, отделяла территорию школы от площадки старьевщика с одной стороны и от фирмы подрядчиков — с другой. Кроме того, в эту же стену упирались запущенные задние дворы дышащих на ладан многоквартирных домов, которые почти полностью отсекали школу от оживленной улицы. Было яркое летнее утро, но почти половина внутреннего двора находилась в густой тени, и атмосфера была какой-то гнетущей, словно в тюрьме. В центре двора стояло здание школы, прочное, построенное без всяких претензий, довольно обшарпанное, одной высоты с соседними зданиями. Во двор вели две калитки, прямо из переулков. Они были выкрашены в темно-зеленый отталкивающий цвет, как и домики с надписями «Мальчики» и «Девочки». Эти домики и мусорные ящики, словно понимая, что отнимают у детей драгоценное место для игр, притулились в разных углах двора.

Настроение у меня еще больше упало, и я вспомнил о своих школьных днях, проведенных в теплом, солнечном Джорджтауне,— там все было иначе. Там, в большой деревянной школе из нескольких корпусов, светлой и прохладной, окруженной большими затененными лужайками (где мы резвились, захлебываясь от удовольствия), я провел дни, наполненные жаждой новизны, каждое мое достижение

встречалось любящими родителями как личный успех, как повод для гордости. А что чувствуют дети лондонской бедноты, вынужденные приходить каждый день сюда, в этот каземат? Приносит ли им школа столько радости, сколько приносила в свое время мне?

Мысли мои прервал звон колокольчика, и тут же захлопали двери, раздался топот ног, зазвенели молочные бутылки, двор наполнился смехом и гомоном — дети выбежали на перемену. Я поспешно вернулся в здание и направился к учительской, но где-то на полдороге в темном пролете мне пришлось прижаться к стене — по ступенькам вниз неслась шумная ватага ребятишек, и меня оттолкнули в сторону, словно я был одним из них.

В учительской миссис Дейл-Эванс готовила чай. Она подняла голову и воскликнула:

— А вот и вы! Через минуту будет чай. Сейчас подойдут учителя, и я вас представлю.

Я шагнул к окну и стал смотреть на разрушенную церквушку, на стаи голубей, важно вышагивающих по разбитой крыше.

Комната стала заполняться учителями. Они рассаживались, наливали себе чай и обменивались утренними новостями. Увидев меня, они бормотали обычные слова приветствия, и когда собрались все, я был представлен каждому в отдельности. При этом миссис Дейл-Эванс еле слышным шепотом говорила мне о каждом несколько слов — к моему удивлению и смущению.

Первой была мисс Джозефина Доуз, попросту Джози,— молодая невысокая женщина крепкого телосложения, с квадратным довольно простым лицом, которое ничего не выигрывало от косметики. Темные, коротко подстриженные волосы делали ее еще более мужеподобной. Под расстегнутой у горла мужской рубашкой с короткими рукавами рельефно вырисовывался мощный бюст. Внизу строгая юбка из тяжелой серой фланели, короткие носки и прочные полуспортивные туфли без каблука. Голос у нее оказался низким, звучным и довольно приятным.

Затем мы подошли к мисс Юфимии Филлипс, совсем еще молоденькой, робкой, как мышка. Ее вполне можно было принять за старшеклассницу — большие серые глаза на круглом лице смотрели как-то беспомощно и в то же время с надеждой. Яркое шерстяное платье лишь подчеркивало незрелость ее худощавой фигуры.

Интересно, неужели этому ребенку удается держать свой класс в повиновении? Девочки-школьницы, которых я видел в коридоре, намного превосходили ее и ростом и весом.

Улыбка, которой нас встретил Тео Уэстон, должна была изображать дружелюбие, однако судить наверняка не позволяли мощные заросли его рыжей бороды.

— Удивительное дело: достаточно сбрить бороду — и ты уже не мужчина,— шепнула мне на ухо миссис Дейл-Эванс.

— Я имел удовольствие первым приветствовать мистера Брейтуэйта в нашем салоне,— произнес Уэстон. Голос у него был на удивление тонким и визгливым.— Он принял меня за Хэкмена.

— А кстати,— вмешался кто-то,— куда девался этот миляга?

— Сбежал,— ответил Уэстон.— Смылся, исчез. Боюсь, он даже не удосужился сказать последнее прости нашему Старику.

— Когда это случилось?

— Утром у меня было окно,— продолжал Уэстон.— Где-то после десяти сюда ворвался Хэкмен, злой, как тысяча чертей, сграбастал свое пальто, выхватил у меня из рук газету — только его и видели. Держу пари, нам уже не доведется работать вместе.

— Ну что ж,— миссис Дейл-Эванс пожала плечами.— Такие, как он, приходят и уходят. Идемте дальше.

Она взяла меня под локоть и подвела к миссис Дру, седовласой матроне, во всем облике которой сквозила изысканность — от изящно

уложенных волос до хорошо сшитых туфель. Чувствовалось, что она знает свое дело и на нее во всем можно положиться.

— Одна из лучших. Заместитель директора,— шепнула миссис Дейл-Эванс.

После нее мы подошли к мисс Вивьен Клинтридж, тридцатилетней розовощекой брюнетке со статной фигурой. В ней была какая-то дерзкая чувственная привлекательность. Мы пожали друг другу руки, и я неожиданно увидел свое отражение в ее карих глазах — больших и смешливых. Голос ее звенел и искрился — в нем слышалось дружелюбие.

— Клинти прекрасно рисует, но зарабатывать на хлеб приходится здесь.— Интересно, делилась ли миссис Дейл-Эванс этими наблюдениями с кем-то еще?

Наконец, осталась последняя учительница — Джиллиан Бланшар. У каждого мужчины есть свое представление о красоте. Много лет назад мне довелось побывать на острове Мартиника в Карибском море, и там я видел женщин, которых и по сей день считаю самыми красивыми в мире: высокие, гибкие, грациозные создания с мягкими, волнистыми, черными как смоль волосами и медового цвета кожей. У Джиллиан Бланшар был именно такой тип красоты: высокая, стройная, изящная, прическа — словно маленькая черная шапочка. Кожа — с оливковым оттенком, видимо, в ее жилах текла еврейская или итальянская кровь. Глубокие темные глаза, почти черные. Очень милая.

— Она у нас новенькая,— услышал я шепот миссис Дейл-Эванс.— С прошлой среды.

Познакомившись со всеми, я отошел к окну возле раковины и стал прислушиваться к общему разговору. Говорили главным образом о том, что делается в классах. Всеобщим вниманием завладела мисс Клинтридж. Она стояла опершись о камин и довольно громко рассказывала о прошедшем уроке, сдабривая свой рассказ элементами теории Фрейда — получалось забавно. В углу устроились мисс Доуз и мисс Филлипс. Они словно не замечали оживления у камина и о чем-то заговорщически шушукались. Ко мне подошла миссис Дру, ее длинные наманикюренные пальцы с шиком держали сигарету.

— Надеюсь, вы останетесь с нами, мистер Брейтуэйт.

Я посмотрел в ее доброе открытое лицо и молча улыбнулся.

— За последние годы у нас сменилось несколько преподавателей-мужчин, больше семестра или двух не задерживался никто,— продолжала она.— Это плохо отражается на мальчиках, особенно в старших классах. Им нужна твердая мужская рука.

При этих словах от группы у камина отделилась мисс Клинтридж и направилась к нам.

— Кажется, я услышала слово «мужчины»? — насмешливо спросила она, усаживаясь на край раковины.

— Я говорила мистеру Брейтуэйту о наших проблемах — не хватает хороших учителей-мужчин. А теперь, с уходом мистера Хэкмена, нам прямо-таки срочно нужна замена.

Мисс Клинтридж презрительно фыркнула:

— Мистер Хэкмен! Ничего себе, хороший учитель! Кстати, зачем вы говорите за всех, дорогая? Вам не хватает одного, а мне, например,— совсем другого. Если мистер Брейтуэйт захочет, я сама ему расскажу, чего мне не хватает.— И она засмеялась — мягко, беззлобно, дружелюбно.

— Все бы вам шутить, Клинти.— Миссис Дру тщетно старалась скрыть улыбку.— Ведь мы хотим не отпугнуть мистера Брейтуэйта, а как-то воодушевить его — тогда он останется с нами.

— Что же вы сразу не сказали? Воодушевить — это я запросто!— И, подтверждая свои слова, она скорчила смешную гримасу — поджала губы и изогнула дугой брови. Я невольно расхохотался.

— Так что вы надумали? Останетесь? — спросила мисс Клинтридж, на сей раз серьезно.

— Думаю, что да,— ответил я с некоторой заминкой. В общем-то, их расспросы меня даже забавляли — я ведь был несказанно счастлив, что получил это назначение, и мысль об отказе мне и в голову не приходила. Но эти люди, судя по всему, ожидали, что я буду колебаться. Что ж, не стоит их разубеждать — так благоразумнее.

— Ну и отлично.— Она соскочила на пол, потому что прозвенел звонок — перемена кончилась.— Теперь старшеклассницы будут при деле, глядишь, нам полегче станет.— Она подмигнула миссис Дру и побежала к себе в класс. Вскоре учительская опустела, в ней осталась только мисс Бланшар. Она проверяла тетради — на полу рядом с ее креслом стояла целая стопка.

Шум и суматоха перемены сменились полной тишиной — сейчас даже скрип пера и шорох переворачиваемых страниц казались очень громкими звуками. Прошло несколько минут. Потом мисс Бланшар повернулась и взглянула на меня.

— Может быть, вы присядете?

Я подошел к ней и сел рядом.

— Это ваше первое назначение? — Голос был низкий, густой, бархатный. Она так и сказала: «назначение». Тут же закрыла проверенную тетрадь, положила ее на стопку рядом с собой, чуть откинулась на спинку кресла и сложила руки на коленях. Спокойные, неподвижные руки.

— Первое. Но почему всех так волнует, останусь я здесь или нет?

— Боюсь, я не смогу вам ответить. Я ведь сама здесь без году неделю. Точнее сказать, три дня.— Голос и вправду бархатный: тянется, как патока, шелестит, как ветер в пальмах. Чудесный голос.— Со мной был точно такой же разговор,— продолжала она.— Кажется, я начинаю понимать, в чем дело. Школа-то не совсем обычная; многое здесь пугает и в то же время притягивает.— Она как бы рассуждала вслух: — В этой школе нет телесных наказаний, да, если разобраться, и никаких других, всячески поощряется инициатива у детей, желание говорить вслух. К сожалению, они не очень разборчивы и говорят иногда такое, что просто не знаешь, как себя вести. По-моему, не каждому учителю это по силам, хотя мисс Клинтридж и миссис Дейл-Эванс, кажется, чувствуют себя с ними как рыба в воде. Впрочем, обе они — местные, уроженки восточного Лондона, и смутить их не так-то просто.

— И что же, вам с детьми приходится трудно?

Этот вопрос можно было и не задавать, но мне хотелось, чтобы она продолжала говорить: что она скажет — не так важно, мне просто нравилось слушать ее голос.

— Да, трудно, ведь у меня почти никакого опыта работы в школе. Мне иногда кажется, что я их просто боюсь — такие они взрослые, самостоятельные. Мальчики в основном неплохие, девочки же смотрят на меня с какой-то жалостью, словно они намного старше и умнее меня. По-моему, их интересует не то, что я им преподаю, а моя личная жизнь и как я одета...— Голос ее чуть задрожал, она прикрыла глаза. Длинные ресницы бахромой легли на коричневатую кожу.

Дверь открылась, и на пороге появилась миссис Дейл-Эванс. Она улыбнулась нам и тут же принялась собирать чашки и мыть их — видимо, это было ее обычной обязанностью.

— У Клинти в классе есть одна девочка, Мерфи,— хоть бери и мой ее сама. Другие дети жалуются, не хотят с ней рядом сидеть. Ну и матери же есть на свете — я бы таких стреляла! Допустить, чтобы от девочки пахло! Ну и ну!

Она вымыла посуду и подошла к нам, вытирая руки полотенцем.

— Хотите, покажу вам мое хозяйство?

Я поднялся, извинился перед мисс Бланшар и вслед за миссис Дейл-Эванс вышел из учительской.

Кабинет домоводства находился на верхнем этаже. Это была большая, хорошо оборудованная комната, радость и гордость миссис Дейл-Эванс. Сверкающие газовые плиты, кастрюли, сковородки, ряды надраенных рабочих столиков, ножных швейных машин и стиральных машин — все чистенькие и щеголеватые, словно солдаты на параде. Вдоль одной стены стояла шеренга ящиков, в которых лежали ножи и прочие атрибуты домашнего кулинара. С потолка свисали электрические провода — не меньше десяти,— каждый из которых кончался розеткой для подключения утюга. В небольшой отгороженной нише я увидел детскую коляску, в ней лежала кукла — грудной ребенок. Рядышком на столике было разложено все необходимое для ухода за ребенком. Миссис Дейл-Эванс по ходу осмотра не переставала давать объяснения. Когда мы подошли к нише с коляской, она взмахнула рукой и сказала:

— А в этом многие девчонки разбираются не хуже меня. Настоящие маленькие мамы. Они так и говорят: «Это для нас игрушки».

В комнату на урок кулинарии стали собираться девочки. Им было велено как следует вымыть руки, потом они спокойно встали за рабочие столики, а миссис Дейл-Эванс принялась объяснять им рецепт приготовления какого-то блюда.

Я остался с ней и весь урок восхищался — какая в классе чистота, какой порядок! Если она добивается от класса такого послушания без всяких телесных наказаний, я должен рискнуть и попробовать свои силы. Всегда внимательная, готовая выслушать и помочь советом, она была для этих девочек не только учительницей, но и матерью. Но я чувствовал: если понадобится, миссис Дейл-Эванс будет строгой, очень строгой.

## Глава 3

Почти весь первый этаж занимала столовая, она же спортзал. Мы вошли и сели за стол, стоявший чуть в стороне от шеренги складных столов для учеников. Когда собрались все, мистер Флориан поднялся и прочитал молитву: «Возблагодарим бога за пищу, нам ниспосланную». Громкое «Аминь» тут же утонуло в перезвоне ножей и вилок, шумной болтовне и бряцанье кастрюль и сковородок.

Дети сидели по восемь человек, двое из них по очереди обслуживали остальных. Занимались этим и мальчики и девочки — миски они наполняли быстро и сноровисто. После каждого блюда дежурная пара собирала посуду и бегом сносила на кухню. Когда обед заканчивался, скатерть на каждом столе стряхивали и складывали, потом все спокойно ждали, когда разрешат расходиться.

После обеда мистер Флориан поднялся, и в столовой тут же наступила тишина. Он дал команду, и дети без спешки, одна группа за другой, вышли из столовой. Я вместе с остальными учителями направился в учительскую, где миссис Дейл-Эванс вскоре начала готовить чай.

Я стоял у окна и смотрел на разрушенную церковь, как вдруг где-то совсем близко раздались громкие звуки ритмичной музыки. Я обернулся. Мисс Клинтридж заметила недоумение на моем лице и объяснила:

— Это наши ежедневные танцульки. С часу до без четверти два спортзал отдается на откуп ребятне — как закон. Они крутят пластинки через громкоговоритель. Я и сама иногда могу с ними сплясать, и Грейс тоже. А по большим праздникам и директор не прочь тряхнуть стариной.

— Это, мой будущий коллега, крайне слабо и неточно сказано,— при всей своей неопрятности Уэстон в придачу обладал на редкость визгливым голосом.— Подобными недомолвками вы, Клинти, можете ввергнуть нашего загорелого друга в заблуждение, а это по отношению

к нему будет просто нечестно. Стоит ему увидеть, как дергаются эти кретины, он поймет, что отплясывают они отнюдь не из любви к искусству.— Он медленно поднялся и лениво оперся о камин. Все вопросительно смотрели на него.— Не такие они дураки. Танцы — это в данном случае разминка перед куда более увлекательной забавой, забавой под названием «травля учителей». Сегодня музыка звучит громче обычного, и этому есть свое объяснение — у них небольшой шабаш по поводу отречения нашего бывшего, но нисколько нами не оплакиваемого коллеги.

— Ну и паяц же вы, Уэстон,— только и сказала мисс Клинтридж.

— Не обращайте внимания на мистера Уэстона,— голос миссис Дру звучал ровно и сдержанно.— Он без подковырочек не может.

Уэстон обворожительно улыбнулся.

— Что ж,— произнес он,— так или иначе наш живописный друг вскоре все поймет сам. Остается надеяться, что он будет удачливее некоторых его предшественников.

— Послушайте, Уэстон, вы словно нарочно стараетесь отпугнуть человека,— вмешалась миссис Дейл-Эванс.

Уэстон воздел руки к небу, словно призывая бога в свидетели.

— Вы несправедливы ко мне, милая Грейс,— нежно проблеял он.— Менее всего я хочу его отпугнуть. В конце концов, никому из нас не хочется, чтобы эти, как бы сказать, беспечные создания сели тебе на голову, верно?

— Интересно, дадут ли с уходом Хэкмена объявление о вакансии? — перебила его миссис Дру. Тут все заговорили разом, и я направился к двери — мне ведь нужно было зайти к директору. У выхода меня опередила мисс Бланшар. В коридоре на нас обрушилась лавина звуков.

— Как-то странно, вам не кажется? — Она старалась перекричать назойливый вой трубы, но голос ее все равно звучал мягко и тепло.

— Это вы об Уэстоне?

— И о других тоже. Боюсь, если бы он разговаривал в таком тоне со мной, я бы просто ударила его по лицу.— Она произнесла эти слова с таким спокойным достоинством, что я понял — она бы действительно его ударила.— Но вас он, я надеюсь, не испугал?

Я посмотрел на нее и встретил прямой, открытый взгляд, в котором ничего не смог прочесть. Все же вопрос ее оставил неприятный осадок.

Мы приоткрыли дверь в зал, и меня захлестнула мощная волна звуков — вдохновенно солировала труба. Танцевали в основном девочки, пар двадцать, и только четыре смешанные пары. Лица сосредоточенно-нейтральные, рты чуть приоткрыты, юбки колесом. Повинуясь внутреннему ритму танца, тела покачивались и вращались, пары двигались легко и слаженно — наверно, результат постоянной практики. Вдоль одной из стен на низкой скамье сидели несколько мальчиков, они наблюдали за танцующими, перешептывались и перемигивались — снизу им открывалась щедрая перспектива на мелькающие ножки. Девочкам, судя по всему, было об этом хорошо известно, и каждая вовсю старалась привлечь внимание публики к себе.

На фоне вкрадчивого шелеста ударных приглушенная труба вела и вела танцующих, ритм захватил даже сидевших на скамьях наблюдателей, они легонько хлопали в ладоши, отбивали такт ногой и подергивали плечами. Мне вдруг захотелось попрыгать вместе с ними.

— Здорово танцуют, да?— услышал я шепот мисс Бланшар.— Жаль, что я так не умею.

Я повернулся к ней:

— Хотите попробовать?

— Что? Я? Здесь?

В голосе ее прозвучало удивление с оттенком брезгливости, и я снова повернулся к танцующим. Музыка кончилась, пары слились в маленькие группки, и, пока меняли пластинку, со всех сторон слышалась веселая болтовня и хохот. От одной группы отделилась девушка и подошла к нам. Это оказалась рыжеволосая, с которой я столкнулся утром. В ее статной фигуре, гладкой коже, нарочито небрежной осанке было нечто неодолимо притягательное. Она остановилась прямо передо мной и спросила:

— Вы танцуете джайв?

К такому вопросу я был никак не готов и что-то быстро пробормотал в ответ — надеюсь, отказ прозвучал достаточно вежливо. Девушка холодно взглянула мне в глаза, потом повернулась на каблуках и грациозно прошествовала назад к подругам. До меня донесся ее звонкий смех, который тут же растворился в начальных тактах новой пластинки.

Я обернулся к мисс Бланшар, но она успела куда-то исчезнуть, и я быстро пробрался к выходу, минуя танцующие пары. Мне вдруг стало ясно: иметь дело придется с почти взрослыми людьми — перспектива удручающая, но и заманчивая.

Мистер Флориан сидел за столом и вертел в руках какой-то предмет. Он протянул его мне, когда я сел,— это была довольно убогая маленькая статуэтка из зеленоватой в крапинку глины, изображала она обнаженную.

— Ужасная безвкусица, да? Попалась мне в Австрии уж не помню сколько лет назад. С первого дня собираюсь ее разбить, и все никак.

Он вздохнул и с преувеличенной осторожностью поставил статуэтку на стол.

— Итак, что вы решили? — Вежливый, но прямой взгляд.

— Я попробую.— ответил я, следя за своим голосом.

— Отлично. Сейчас я введу вас в курс дела.— И, не тратя лишних слов, он дал своей школе четкую характеристику:— Возможно вы слышали о нашей школе, Брейтуэйт. О нас все время идут разговоры, к сожалению, ведутся они людьми, ничего толком о нас не знающими, но заранее настроенными против всех наших методов.

Большинство детей у нас — это те, кого обычно называют трудными. В младших классах они отличались непослушанием, не подчинялись преподавателям. Что это были за преподаватели — вопрос отдельный, важно, что вся система воспитания строилась на страхе, на наказании, телесном или каком-то другом. И вот в случае с нашими детьми эта система не сработала. Мы, преподаватели этой школы, считаем, что дети — это те же мужчины и женщины в процессе развития, и развитие это во всех его аспектах не должно зависеть от доброй или недоброй воли субъекта, которому судьба дала над ними определенную власть.

Дети нашего района не знают, что такое наесться досыта, у них нет изысканных нарядов, их жилищные условия оставляют желать лучшего. Обстановка в районе неизбежно оказывает на них дурное влияние, отражается на их духовном, нравственном и физическом развитии, и мы пытаемся разобраться в причинах этого влияния, устранить их — такова наша задача, наша цель.

Прежде всего мы должны помнить, что у большинства живущих здесь семей не хватает средств на минимум питания, тепла, гигиены жилища — стало быть, это отражается на здоровье. В некоторых семьях так называемый кормилец хронически не имеет работы, а иногда и не очень хочет ее искать. Поэтому питаются в такой семье от случая к случаю, о качестве пищи и говорить не приходится. Представьте себе ребенка, который проспал ночь в душной, переполненной комнате, а утром позавтракал чашкой слабого чая с куском хлеба. Вряд ли у него возникнет живой интерес к математиче-

ским формулам, к тонкостям правописания, и наказание (или угроза его) тут совсем не лучший помощник.

Я слушал мистера Флориана, и в душе моей росла глухая волна протеста. Я вошел сюда преисполненный уважения к этому человеку, я был готов согласиться со всем, что он мне предложит, но рассказ о проблемах детей вызвал у меня раздражение. Вдруг вспомнилось все, что пришлось испытать за последние два года мне самому, и тут же возникла мысль: да ведь все эти дети — белые! Сытые или голодные, голые или одетые — они были белые, а чем еще отличаются друг от друга баловни и пасынки судьбы, как не цветом кожи? Да, я очень хотел получить эту работу, я был готов вложить в нее все свое умение, но это будет именно работа, а отнюдь не любимый труд.

— Должен вас также предупредить,— продолжал мистер Флориан,— об их поведении. Вскоре вы увидите, что многие из них курят, сквернословят и часто грубят. Мы пытаемся отучить их от дурных привычек без принуждения, потому что понимаем — это часть общей болезни, заразившей весь район. Вместо насилия мы отдаем им свою любовь, доверие, наставляем на верный путь, да, именно в таком порядке. Опыт показывает, что более всего эти дети обездолены духовно. Лишь малую часть дня они проводят в стенах школы — здесь за ними смотрят, здесь они в безопасности. Но вот уроки кончились, дети расходятся — сколько всякой мерзости подкарауливает их вокруг! Только поглядите, что творится в этом районе — он же просто наводнен всякими подонками, проститутками, сутенерами и извращенцами.

Я смотрел на него, внимая каждому слову. Глубокая, неподдельная забота о детях, искренность его любви к ним поразили меня. Раздражение прошло, но сомнения остались. Говорил он так, словно речь шла о каких-то крошечных, беззащитных созданиях, и это никак не вязалось с рослыми мальчишками и девчонками, лихо отплясывавшими в спортзале. Наверно, благополучие этих детей действительно было для мистера Флориана делом всей жизни, но верил ли он сам в то, что говорил, или просто хотел заинтересовать меня? Проводилась ли такая душеспасительная беседа с каждым новобранцем? А Хэкмена — его он тоже пытался вдохновить подобным образом? Мистер Флориан мне нравился: преданность делу, цельность натуры с лихвой компенсировали малый рост. Я снова услышал низкий, взволнованный, завораживающий голос:

— Считается, что мы здесь проповедуем свободную дисциплину. Это не так, совсем не так. Было бы правильнее сказать, что мы стараемся — по мере сил и возможностей — ввести у себя свободу в рамках дисциплины, то есть достичь состояния, при котором дети будут вольны учиться, играть и проявлять свою личность, не боясь тех, кто обязан направлять их действия по нужному руслу. Пока мы не можем требовать от наших детей высоких академических показателей, но добиться того, чтобы их ограниченные возможности использовались максимально,— это в наших силах. — Тут он едва заметно улыбнулся, словно вспомнил что-то забавное.— Мы всегда с удовольствием даем им право отстаивать свою точку зрения, независимо от обстоятельств. Поначалу они пользуются этим правом в довольно грубой форме, но мы надеемся, что с помощью различных школьных советов и комитетов они постигнут разницу между прямотой и грубостью, между скромностью и заискиванием. Мы пытаемся показать, что между их работой на уроках и ими самими существует связь — она скажется, когда придет время проститься со школой.

Как можем помочь им мы, учителя? Мы должны заставить их уважать нас, уважать по-настоящему, чтобы наше влияние могло сгладить или даже перевесить окружающее зло.

Он поднялся и подошел к большому одностворчатому окну, выходившему на церковь, и несколько секунд смотрел перед собой, сцепив руки за спиной и прислонив львиную голову к прохладному стеклу. Потом с мягкой улыбкой обернулся ко мне.

— Вот, собственно, и все. Боюсь, что предложить вам готовый рецепт не смогу. Он не подойдет, тем более для нашей школы. С первой минуты вам придется прокладывать курс самому. Разумеется, все преподаватели, включая меня, с радостью помогут вам делом и советом, но придет ли к вам успех — это будет полностью зависеть от вас. Я сейчас наметил вам самые общие контуры — если вы в своей работе не выходите за их пределы, я не вмешиваюсь. К сожалению, есть такие учителя, которые, будучи сами по себе прекрасными людьми, оказываются для такой работы совершенно непригодными. Как вы понимаете, от частой смены преподавателей проигрывают все: и дети и мы. Что ж, от имени школы и всех наших учителей желаю вам успеха. С завтрашнего дня вы будете преподавать в старшем классе, вам придется вести все уроки, кроме занятий по физкультуре для мальчиков. Все необходимые сведения вы получите у миссис Дру, моего заместителя. Думаю, на знакомство с классом вам и следует потратить остаток дня.

Он подошел ко мне. Я поднялся навстречу, и руки его стиснули мою в крепком дружеском рукопожатии.

— Запомните,— сказал он,— это чудесные ребята, если только с ними сойтись. Почему-то мне кажется, что вам это удастся. Желаю успеха.

Я вышел от него и направился в учительскую, где меня встретили вопросительными взглядами. Миссис Дейл-Эванс закрыла газету и спросила:

— Ну, какие новости?

— С завтрашнего дня я работаю в классе мистера Хэкмена,— ответил я.

— Да будет бог милостив к бедной душе вашей,— с притворной напыщенностью продекламировал Уэстон.

— Ну, девчонкам повезло,— застрекотала мисс Клинтридж.— Наконец-то в школе появился настоящий мужчина — и целиком в их распоряжении!

— А у вас, Клинти, и у самой душа на небе от удовольствия.— Писклявый голос Уэстона пробился сквозь рыжую бороду — движения губ видно не было. Клинти, всю жизнь прожившая среди простых лондонцев, была остра на язык, не сплоховала она и сейчас.

— Она всегда там, когда я вижу настоящего мужчину.— Ударение на слове «настоящего» прозвучало уничтожающе.

Когда зазвенел звонок на урок, ко мне подошла миссис Дру, рассказать о кое-каких неизбежных обязанностях — ведении журнала, сборе денег на обед и тому подобном. Последние уроки я просидел в ее классе, с интересом наблюдая, как этой женщине удается сочетать терпение с твердостью, порядок с бурлящей деятельностью. Ученики, разбившись на несколько групп, выполняли разные задания, при этом в классе стоял ужасный шум и гам. Я спросил миссис Дру, как она к этому относится, и она сказала, что не обращает на него внимания. Дети заняты делом — вот что главное, а кажущийся беспорядок — это не страшно. Подрастут, поймут, что лучше работать в тишине, сосредоточившись.

Наконец раздался последний звонок — уроки кончились.

Я шел вечером домой, и радость переполняла меня, она так и рвалась наружу — мне хотелось кричать в полный голос. Школа, дети, Уэстон, убогие грязные улицы, по которым я почти бежал,— все это не могло затуманить моего счастья. Я получил работу! Наконец-то я получил работу, и пусть даже придется выкладываться до последнего, но теперь у меня есть возможность — какое прекрасное сло-

во — работать как равный среди равных на благо общепризнанной профессии.

Итак, с сегодняшнего дня я учитель, у меня есть работа. Правда, учитель-новичок, но в этом даже есть свои преимущества. Предстоит познать много нового, и, бог свидетель, я сделаю все, что смогу. Ничто меня не остановит. Миссис Дру справляется, миссис Дейл-Эванс справляется, мисс Клинтридж справляется, справлюсь и я, наизнанку вывернусь, а справлюсь. Четыре года назад мне и в голову не пришло бы, что я могу стать учителем. Никакого призвания к этой профессии я не чувствовал. Мной не руководили соображения высшего порядка, такие как воспитание молодежи в духе гуманизма или расширение системы образования. Я стал учителем по довольно прозаической причине — мне очень хотелось есть. Я стал учителем потому, что так сложились обстоятельства, цепь которых началась неделю спустя после моей демобилизации из английских ВВС в 1945 году.

## Глава 4

В центре по демобилизации после обычного медосмотра, возвращения гражданских документов, выдачи пособия и гражданской одежды я встретился с офицером, в чьи обязанности входило помочь демобилизованным устроиться на работу. Узнав, что у меня есть диплом об окончании технического колледжа и что я имею большой опыт в области инженерной технологии, он сказал, что я без всякого труда найду хорошую работу. Промышленность восстанавливалась, перестраивалась на гражданские рельсы, и спрос на квалифицированных технологов был велик, тем более в электронике, моей узкой специальности. Этот разговор меня очень ободрил. В военные годы я взял себе за правило следить за новыми веяниями в электронике, заказывал книги из центральной библиотеки и подписывался на технические журналы, поэтому чувствовал себя уверенно и знал, что справлюсь с самой ответственной работой. Офицер дал мне рекомендательное письмо для Управления по распределению квалифицированных кадров — Лондон, Тэвисток-сквер — и посоветовал обратиться туда, как только я более или менее «окопаюсь» и немного отдохну.

Во время войны я совершал вылеты с базы ВВС в Хорнчерче в графстве Эссекс и тогда познакомился и сдружился с одной пожилой парой. Жили они неподалеку, в Брентвуде, и с тех пор я навещал их постоянно и даже обещал остаться у них после демобилизации. Теперь я действительно приехал к ним и нашел в их доме покой и уют. Они считали себя атеистами, но в своей каждодневной жизни следовали законам, свойственным истинному христианину. Мое благополучие их беспокоило ничуть не меньше собственного, они принимали неподдельное участие в моих планах и устремлениях, выказывая при этом рвение, которому могут позавидовать многие молодые люди. Втроем мы отправились на две недели в Торки, вернулись в Брентвуд, полностью отдохнув.

Вскоре я посетил Управление по распределению квалифицированных кадров, где двое мужчин, вежливых и беспристрастных, подробно выспросили все мои данные: что закончил, когда, сколько лет служил в армии, есть ли опыт работы в промышленности. Я рассказал им, что после окончания колледжа два года работал инженером связи на Арубе, в нефтяной компании «Стандард ойл» на нефтеочистительном комбинате, хорошие заработки позволили мне продолжить образование в Англии. В конце беседы они сказали: как только появятся заявки на специалистов с моим образованием и стажем, меня сразу поставят в известность. Спустя две недели я получил из Управления по распределению кадров письмо. В него был вложен листок с адресами трех фирм, которым требовались квалифицированные

инженеры связи. Я быстро написал по всем трем адресам, перечислил свои достижения и стаж работы и вскоре получил довольно обнадеживающие ответы с просьбой приехать для личной встречи. Все шло как нельзя лучше, и я был на вершине блаженства.

К входу в главное управление фирмы на Мэйфэйр я подошел не без волнения: фирма пользовалась солидной международной репутацией, и перспектива стать ее сотрудником льстила моему самолюбию. Так или иначе, это лишь первая попытка, постигнет неудача — останутся еще две. Швейцар в форменной одежде галантно распахнул передо мной большие двери, а когда я подошел к столу секретарши, она одарила меня милой улыбкой.

— Доброе утро. — Она вопросительно подняла брови.

— Доброе утро,— ответил я. — Моя фамилия Брейтуэйт. Меня пригласил для беседы мистер Саймондс.

Утром я как следует поработал над своим внешним видом: надел лучший костюм, подобрал к нему нужную рубашку, галстук, в верхний карман пиджака положил платок. Туфли блестели как зеркало, а с лица не сходила лучшая моя улыбка — перед выходом из дома мистер и миссис Бельмонт, у которых я жил, подвергли меня самой тщательной проверке. Я даже немножко гордился своим внешним видом в то утро. Однако улыбка секретарши вдруг увяла на глазах. Она открыла большой журнал записи, словно желая убедиться в справедливости моих слов, затем подняла телефонную трубку, прикрыла ее рукой — может быть, так просто удобнее? — и быстро заговорила, искоса поглядывая на меня.

— Пройдите сюда, пожалуйста.— Она пошла вперед по широкому коридору напрягшись и распрямив спину, даже высокие каблучки цокали неодобрительно. Я последовал за ней. В другое время она обязательно покачивала бы бедрами, но сейчас... похоже, ее переполнял гнев.

В конце коридора мы вошли в лифт. Девушка так и осталась молчаливо-враждебной, она избегала смотреть в мою сторону. Мы поднялись в вестибюль второго этажа, куда выходило несколько дверей. У одной из них она бросила: «Вам сюда» — и тут же вернулась к лифту. Я постучал и вошел в просторную комнату. За большим столом сидели четыре человека.

Один из них поднялся, пожал мне руку, представил своих коллег и предложил мне сесть. Сначала они задали несколько общих вопросов: место рождения, служба в ВВС и тому подобное, потом начали подробно расспрашивать, что мне известно из области телекоммуникации, каково применение электроники в этой сфере. Вопросы были хорошо продуманы и подготовлены, и нервозность, не оставлявшая меня все утро, вдруг исчезла: я ощутил уверенность в себе, разговор шел на хорошо знакомую мне тему. Они задавали вопросы по теории, оборудованию, электрическим цепям, эксплуатации. Их интересовал уровень моей подготовки в США, опыт, приобретенный там и в Южной Америке. Спрашивали дотошно и подробно, но я был абсолютно спокоен: годы учебы, работы, исследовательская работа после колледжа — все это сейчас окупалось, я знал, что нахожусь на высоте положения, и даже получал от этого удовольствие.

И вдруг все кончилось. Мистер Саймондс откинулся на спинку кресла и переглянулся с коллегами. Они кивнули, и он начал:

— Мистер Брейтуэйт, мы с коллегами полностью удовлетворены вашими ответами и считаем, что с точки зрения квалификации, возможностей и приобретенного опыта вы безусловно справитесь с работой, которую мы хотели вам предложить. Однако есть трудность другого порядка. Если мы возьмем вас, в вашем подчинении окажутся многие сотрудники-англичане, кое-кто из них работает у нас очень давно, и есть опасение, что в этом случае атмосфера благожелательности, всегда свойственная нашей фирме, может быть испорчена. Мы

не можем взять на себя такую ответственность. Предложить вам какую-то работу попроще мы тоже не можем — она не для человека с вашим образованием и возможностями. Поэтому, боюсь, нам придется отказаться от ваших услуг.

Я ничего не соображал, силы вдруг оставили меня. Все же я поднялся, вышел из кабинета, в затуманенном мозгу проплыли вестибюль, лифт, коридор. Наконец я выбрался из здания на залитую солнцем улицу. Итак, мне вежливо напомнили о моей черной коже, а я ведь не вспоминал о ней целых шесть лет, просто не обращал на нее внимания. Когда в 1940 году я добровольцем пошел в ВВС, цвет моей кожи никого не смущал. Он никого не смущал в период тренировочных полетов и позже, когда мне доверили самолет и включили в состав эскадрона. Он никого не смущал, когда начались боевые действия и все жили и любили сегодня, потому что не знали, что с тобой будет завтра. В те дни я был связан узами братства с людьми, которых каждую минуту подстерегала опасность, и им было не до расовых предрассудков. И когда я в форме летчика английских ВВС ходил в театры, на танцевальные вечера, в бары и просто в гости — цвет моей кожи не смущал никого.

За эти годы я забыл о моей черной коже. Я видел ее каждый день, но никогда не замечал. Я был военным летчиком на службе ее величества, и благодарные граждане улыбались мне, приветствовали меня в барах или на улицах. Им было все равно, кто я,— они видели военную форму и связывали ее с бесстрашными избранниками судьбы. Не вспомнил я о цвете своей кожи и когда горячо обсуждал планы на будущее с офицером, помогавшим демобилизованным найти подходящую работу, а позже — с людьми из Управления по распределению кадров. И когда я уверенной походкой входил в это огромное, вызывающее трепет здание, о цвете своей кожи я опять-таки не думал...

Я просто брел прочь, стараясь не смотреть на свое отражение в больших стеклянных витринах. Боль разочарования и гнев комом подкатили к горлу. Я вбежал в общественный туалет, и меня стошнило.

Стало легче. Я принялся бесцельно бродить по улицам, стараясь взять себя в руки. Снова и снова вспоминалась беседа с руководством фирмы — да ведь она была пустой тратой времени. О решении они договорились прежде, чем я вошел в кабинет,— секретарша сказала им о моей черной коже, и вся беседа была жестоким, бессмысленным фарсом. Вдруг мне пришла в голову еще одна мысль. Когда эти люди прочитали мою фамилию в присланной заявке, им и в голову не пришло, что я могу оказаться негром. Моя фамилия Брейтуэйт никак не могла указать на цвет кожи, стало быть, витиеватый стиль писем и любезные приглашения предназначались для белого человека, а не для меня. Черт возьми, они, наверно, проклинают меня за то, что я, сам того не подозревая, сыграл с ними такую шутку!

Под влиянием минуты я вошел в телефонную будку и по очереди позвонил в две другие фирмы. Объяснил: хочу поставить их в известность о том, что я — негр, однако с удовольствием приеду для беседы, если цвет моей кожи не является препятствием для поступления на работу. В обоих случаях меня поблагодарили за звонок и сказали, что вакансия уже занята и они как раз собирались написать мне об этом. Значит, я был прав. Волна ненависти и отвращения захлестнула меня. Я сел в поезд, чтобы как можно быстрее добраться до Брентвуда, к Бельмонтам — единственному дому в Англии, где меня наверняка ждут, наверняка не обидят.

Вера в идеал умирает тяжело. Все двадцать восемь лет своей жизни я верил в идеал под названием «Британский образ жизни».

Он поддерживал меня в школьные годы, когда почти все мои одноклассники были белыми, и чтобы добиться успеха, мне приходи-

лось работать больше их и бегать быстрее их. Он вдохновлял меня в студенческие годы, когда после гражданской войны в Испании многие идеалы были растоптаны. Благодаря ему я никогда не стремился стать гражданином США, а когда после окончания колледжа и двух лет работы в Венесуэле я в 1939 году приехал в Англию продолжать образование, я был счастлив, что наконец-то лично имею отношение к центру справедливости, человеколюбия и всех возможных свобод. Именно поэтому в 1940 году я без малейших колебаний пошел добровольцем в ВВС, полный желания и готовности сложить голову в защиту идеала, который всегда был мне путеводной звездой. И вот теперь этот идеал отплатил мне — во рту была желчь и сводящая скулы горечь.

Большинство коренных британцев имеют смутное представление о том, что значит для жителей колоний этот неощутимый и в то же время поразительно реальный и бесценный экспорт — Британский образ жизни. Похоже, их мало волнует и такое, поистине фантастическое явление: расы, отличающиеся от британцев цветом кожи, разбросанные по окраинам земного шара, со всей тщательностью блюдут у себя все британские законы, правила и традиции. Здесь не нужно ничего доказывать — стоит только посмотреть, как цветные жители колоний копируют у себя британские системы юриспруденции, образования и управления, как перенимают моду на одежду и этикет, хотя, как правило, подобные сведения доходят до них через вторые руки. Сказанное особенно характерно для колоний Вест-Индии, которые населены в основном потомками рабов, навсегда оторвавшимися от культурного наследия своих дедов и прадедов. Эти потомки жили, работали и растили детей под рабовладельческим игом, в мучительной борьбе за свои права, имея перед собой лишь один пример для подражания — Британский образ жизни.

Узы, связывающие их с Англией, очень сильны, это всегда видно во время приезда кого-нибудь из членов королевской семьи, когда все колонисты — молодые и старые, богатые и бедные,— безмерно счастливые и взволнованные, выходят на праздничное шествие. Да, быть британцем прекрасно, но стоит попасть в Англию... Многие приезжают сюда учиться, кто на сэкономленные средства, кто благодаря завоеванной тяжелым трудом стипендии. Жители колоний едут в Англию изучать технические и гуманитарные науки, повышать свой юридический или административный уровень. Они приезжают с твердым, незыблемым убеждением: слова «Британия» и «британский» олицетворяют все лучшее, что есть в этом мире, с точки зрения как христианства, так и демократии. В своей наивности они приписывают эти исключительные качества всем британцам до одного.

Я вырос во всех отношениях настоящим британцем. Сам я, мои родители и родители моих родителей не знали и не могли знать другого образа жизни, мышления и существования. Мы не знали никакой другой культуры, мои предки никогда не жаловались, что они британцы. С малых лет мне прививали уважение к английской литературе, поэзии и прозе, классической и современной, и я, вполне естественно, старался подражать книжным героям-британцам, сражавшимся за справедливость со злодеями-чужеземцами, и в моем детском сознании крепла мысль о том, что зло могут творить все, кроме британцев. В студенческие годы я подходил к чтению с большим выбором, однако предпочтение отдавал все равно английской литературе и в беседах с американскими коллегами рьяно отстаивал свою любовь ко всему британскому. Вообще, живя в Америке, я встречал в штыки любую критику по адресу Британии или британской политики, хотя иногда, оставшись наедине с собой, понимал — оснований для такой критики хватает.

С достаточной точностью можно измерить величину прилива и отлива, перемещение в пространстве скрытых от глаза предметов. Но

можно ли измерить глубину разочарования? Мир колледжа довольно ограничен, там студента из колонии учат врачевать, философствовать, писать картины или изобретать. За пределами этого мира он сталкивается с недостойными человека проявлениями расовых предрассудков, неравенства и ненависти. Окончен колледж, бывший студент получает назначение и начинает работать, и постепенно в житейской суете все радости и горести студенческой жизни стираются из памяти, но полученные оскорбления запомнятся надолго. Кто знает, к каким последствиям может привести враждебная холодность домовладелицы, грубость официанта или отказ девушки на танцах? Ведь сегодняшний студент завтра может стать премьер-министром. И какое-нибудь важное политическое решение будет принято под влиянием незаживающей, саднящей обиды. Эти бывшие студенты — уроженцы Нигерии, Золотого Берега, Вест-Индии, Британской Гвианы, Гондураса, Малайи, Цейлона, Гонконга и других земель,— как правило, ярые сторонники конституционного самоуправления. Так неужели кто-то может подумать, что на взгляды этих людей не повлияли унижения, выпавшие на их долю в Англии и других странах?

Для многих англичан негр — это «цветной», «негритос» или «черномазый». В их представлении он отождествляется с грубой физической силой. Когда кто-то затрачивает много усилий, говорят: «вкалывает как негр» или «пашет как негр»— я слышал такое сотни раз. Англичане считают, что негр должен почитать их и прислуживать им, выполнять грязную работу и жить в трущобах. Конечно, есть негры, ставшие докторами, юристами или талантливыми музыкантами, но, с точки зрения англичан, эти негры —«другие», смешивать с общей массой их нельзя.

Я негр, и беседа с руководством фирмы привела, мне кажется, к тому, что я утратил веру. Я верил в свободу, свободу жить, где нравится, если у тебя есть деньги и желание платить, свободу работать по специальности независимо от расового происхождения или веры. Все разговоры о демократии и правах человека оказались бессовестной брехней, как бойкие гарантии, которыми предприниматели частенько снабжают свою продукцию, тайно надеясь, что гарантий этих никто никогда не потребует. Простой англичанин у себя дома не несет ответственности за торжественные заверения и обещания, которые от его имени раздают в колониях английские дипломаты.

Я не знаю ни одного англичанина, который открыто расписался бы в том, что ненавидит негров. Собственно говоря, считается, что негров в Англии никто и не притесняет. Негр имеет право сесть в любой автобус или трамвай и занять любое место, предварительно заплатив за билет. Правда, многие демонстративно откажутся сесть рядом с ним, но на это обычно смотрят сквозь пальцы. Негр может попробовать снять номер в любом отеле — увы, зачастую он встретит вежливый отказ, но этот отказ никогда не приписывают расовой ненависти. Удар, нанесенный мне, был еще больнее именно потому, что нанесли его с вежливой, очаровательной улыбкой.

Я понял, что я британец, но не англичанин и эта разница имеет большое значение. В свете этого открытия мне предстояло взвесить всю свою жизнь, пересмотреть планы на будущее.

Война кончилась, и эту страницу нужно перевернуть. Люди возвращаются к мирной жизни, сплотившие их страхи и тяготы военного времени постепенно забываются — страна полным ходом залечивает тяжелые раны. Надо найти работу. Я не прошу милостыни, нет, я продаю знающий мозг и крепкое тело. И что же, в стране не найдется ни одного работодателя, для которого мои знания важнее цвета моей кожи? Не верю! Если буду вести хозяйство экономно, моих сбережений вместе с пособием хватит на два года. Что ж, у меня много времени, чтобы найти этого работодателя.

## Глава 5

Я искал работу везде: на биржах труда, в агентствах по найму, по объявлениям в газете. Все безрезультатно. Я даже сам помещал объявления: молодой негр с таким-то образованием ищет работу. Увы, спроса на меня не было. Тогда я стал подавать заявления о приеме на работу, не рекламируя цвет своей кожи, но стоило появиться лично — мне неизменно отказывали, выдвигая всевозможные причины. А причина, разумеется, была одна: слишком черный.

Однажды я прочитал в местной газете, что фирме по электрооборудованию в Дагенхэме требуются техники. Уровень образования указан не был, и я решил подать заявление: может, мой диплом и опыт сделают, наконец, свое дело? О цвете кожи я не написал. Ответ пришел быстро: на следующее утро мне предлагали прийти в отдел кадров фирмы. К девяти утра я был там, молоденькая секретарша дала мне анкету и отвела в приемную. Я заполнил анкету и стал ждать очереди в кабинет начальника отдела кадров.

В приемной сидели несколько человек, кто-то нервничал, ожидая вызова, кто-то сосредоточенно заполнял анкету. Один молодой человек не знал, как правильно пишется какое-то слово, и обратился к остальным за помощью. Никто, однако, подсказать ему не смог, и это с удовольствием сделал я.

В кабинет вызывали по одному. Наконец подошла моя очередь. Я вошел и увидел, что на столе начальника отдела кадров лежит моя анкета. Он предложил мне сесть, взял анкету и принялся внимательно изучать ее. Потом началась обычная игра в вопросы и ответы, и вскоре я понял, что мои технические познания его мало интересуют. Наконец он с ухмылкой спросил:

— А зачем вам эта работа?

Меня слегка покоробило — до чего неуместный вопрос! — но я ответил:

— Она позволит мне платить за кое-какие житейские мелочи: пищу, одежду и крышу над головой.

— Не смешите, ваш костюм даже мне не по карману.

Я смотрел на него, стараясь найти связь между моим костюмом и предлагаемой работой. Он продолжал:

— Я-то сам даже школы не кончил, а университета тем более, и никто у нас здесь не имеет такого образования, как вы. Поэтому, думаю, вы нам не подойдете. Людям могут не понравиться ваши мудреные разговоры, и вообще...

Я не сдержался: протянул руку к его столу, взял заявление и, не говоря ни слова, аккуратно разорвав его на мелкие кусочки, бросил в корзину и вышел.

Я не мог найти работу уже полтора года. Разочарование уступило место глубокой, разъедающей душу ненависти. Медленно, но верно я пришел к тому, что стал ненавидеть людей, которые с такой легкостью, с такой жестокостью отказывали мне в праве заработать на жизнь. Поручить мне какую-то малоответственную, второсортную работу они не могли — я был для нее слишком хорош, слишком образован. А для всякой другой работы я был слишком черен. Сейчас меня упрекнули даже в том, что я посмел опрятно одеться.

Когда подошло время демобилизации, я написал дяде, что у меня могут быть трудности с деньгами для покупки одежды, и в течение года он отправил мне несколько посылок: белье, рубашки, носки, галстуки и четыре отличных костюма, вполне подошедших по размеру. А несколько пар обуви я приобрел на талоны, выданные мне в демобилизационном центре.

Словно рыба, метался я в сетях расовых предрассудков, в душе зрело желание отомстить, отплатить той же монетой. Каждый взгляд или жест стал вызывать у меня недоверие, я искал за ними антипа-

тию или другое проявление расовой ненависти: не быть ее просто не могло, в этом я тогда не сомневался. Я перестал отдавать дань вежливости женщинам и пожилым людям в автобусах и поездах, хотя был приучен к этому с детства. Я даже ловил себя на том, что с неприкрытой враждебностью смотрю на маленьких детей, когда эти невинные любопытные существа вовсю глазеют на меня.

К счастью, эта опухоль не стала злокачественной. Иногда мне встречались люди, которые были со мной столь искренни, столь дружелюбны, что я бессознательно забывал о своих мытарствах и обидах — хотя бы на время. Именно от такого человека я при самых неожиданных обстоятельствах получил совет, изменивший весь ход моей жизни.

Это произошло в Сент-Джеймском парке. Я праздно наблюдал за утками — они ловили кусочки хлеба, которые им бросали прохожие. Рядом со мной сидел сухопарый пожилой джентльмен в очках, время от времени он отпускал реплики насчет оперенья и повадок разных пород уток. Видимо, он неплохо разбирался в этом, но менее всего меня тогда занимали утки, и мысленно я записал его в разряд назойливых старых болтунов. Вступать с ним в разговор я не собирался, и поначалу его это ничуть не трогало, но вдруг он обратился прямо ко мне:

— Давно в Англии, молодой человек?

Голос его скрежетал, как наждачная бумага. Я повернул голову и окинул его колючим взглядом — лучше бы он оставил эти пассы. Не хочу с ним разговаривать, а уж тем более о том, как мне живется в Англии.

— В больших городах человек чувствует себя ужасно одиноким, и Лондон не исключение.

Он чуть подтянул аккуратно отглаженные брюки и положил ногу на ногу. Ему хотелось поговорить, старики это любят. Кто сидит рядом — безразлично. Я могу не отвечать ему и даже не прислушиваться к его словам, а если встану и уйду, он, наверно, будет разговаривать с утками. Одним словом, искать другую скамейку не обязательно. Устанет — сам замолчит.

— Поверьте, в этом никто не виноват,— продолжал он.— У большого города есть своя важная работа — быть большим городом, и он не может уделять внимания таким несущественным мелочам, как мое или ваше счастье.

Он произнес это как-то легко и с убеждением, и у меня пробудился интерес к нему. Я чуть покосился в его сторону. У него были тонкие черты лица, чем-то он напоминал ученого, профессора из колледжа. Он знал, что я включился и слушаю, серые глаза его приветливо улыбались. Он продолжал:

— Эти высокие здания — не просто памятники трудолюбию человека, его мозгу и рукам, создавшим этот большой город. Иногда они становятся стартовой площадкой в вечность — для неудачников, которые не могут победить этот город, свое одиночество в нем.— Он замолчал, потом сказал что-то о проплывающей мимо утке, совершенно мне непонятное.— Большой город — это поле боя,— продолжал он.— Чтобы жить здесь, нужно быть настоящим бойцом, именно жить, а не существовать. Существовать могут все, это нетрудно — тащить за собой измотанную душу, словно драное пальто. Но жить — это совсем другое. Конечно, еще никому не удалось прожить жизнь без трудностей, но сколько в ней все же радости! Сколько нового и прекрасного несет она!

Голос его вдруг приобрел приятный оттенок, я не мог да и не хотел больше молчать, но его философия была мне совсем не по душе.

— Родись вы негром, вы бы знали, что даже существование может стоять поперек горла.

Он взглянул на меня и неожиданно рассмеялся. Смех был безудержный и озорной, веселый и молодой, а главное, неописуемо заразительный. Я засмеялся вместе с ним, хотя ничего забавного в своем замечании не видел.

— Мне просто было интересно, сколько вы продержитесь,— сказал он отсмеявшись.— От разговора ведь легчает на душе. И если есть собеседник, вы уже не так одиноки, согласны?

Этим он меня убедил. Скоро мы уже болтали обо всем, как старые друзья, и я поведал ему свою печальную историю.

— Идите преподавать в школу,— сказал он, как только я кончил.— Это то, что нужно. Почему вам не стать школьным учителем?

— Странная идея,— ответил я.— У меня нет педагогического образования.

— Можно обойтись и без него. В колледже вы получили достаточную подготовку, жизненный опыт у вас есть, способности — явные. Не сомневаюсь, что вы справитесь.

— Может, и так, сэр, но если эти люди не хотят подпустить меня к бездушным механизмам, в которых я кое-что понимаю, разве они доверят мне воспитание своих детей?

— Почему бы нет? Учителя им нужны позарез.

— Считается, что специалисты им тоже нужны позарез.

— Это совсем другое дело. Думаю, в нашей системе просвещения на цвет кожи обращают мало внимания, а в лондонском отделении — наверняка. Во всяком случае, сразу говорить об этом не обязательно, придете к ним для беседы, сами все увидят.

— Я этим методом пользовался не один раз. Ничего не вышло.

— Попробуйте еще раз, что вы теряете? Я точно знаю, что для работы в школах Ист-Энда полно вакансий.

— Почему именно в Ист-Энде?

— Район сложный во всех отношениях, учителя предпочитают искать работу в другом месте.

— И вы считаете, что для негра это будет самый подходящий вариант? — Сразу дала о себе знать злая горечь, вспомнились старые подозрения.

— Зачем вы так, молодой человек?— Он был удивительно терпелив со мной, я явно этого не заслуживал.— Не стоит недооценивать жителей Ист-Энда. Из этих трущоб и грязных переулков вышло немало отличных специалистов, ученых, даже политиков. Так недолго и снобом стать, ничуть не лучше нас, грешных. Вы каждый раз искали работу с таким настроением?

Я понял, что рассердил его, и извинился. Он отнесся к моим проблемам с большим участием, и я вел себя неблагодарно.

— В общем, попробуйте, позвоните им. О цвете кожи ничего не говорите, посмотрите, что у них вообще на уме.

Мне снова стало с ним легко и приятно, мы еще долго говорили обо всем на свете. И лишь когда мы распрощались, я вдруг понял, что даже не спросил, кто он, как его зовут,— а ведь мы проговорили целых два часа, таких для меня полезных. Надеюсь, когда-нибудь этот человек прочтет написанное здесь и узнает, как безмерно я благодарен судьбе за то, что она послала мне встречу с ним.

Все получилось так, как он сказал. Меня пригласили для беседы в Министерство просвещения, потом я получил письмо — буду принят, если пройду медицинскую комиссию. Взять этот барьер не составило труда, и еще одним письмом меня уведомили: я принят на работу и должен явиться в районный отдел школ восточной части Лондона. А оттуда меня послали в школу «Гринслейд».

## Глава 6

В свой первый учительский день я пришел в школу рано. Радость и волнение в равной степени разделяли со мной мои хозяева, Бельмонты, которых я называл «Папой» и «Мамой» — по их просьбе. Когда утром я выходил из дома, Мама даже поцеловала меня и пожелала «всего-всего лучшего», а Папа, хоть и сдерживал чувства, был тоже счастлив за меня. Я был полон сил, уверен в себе и знал, что добьюсь успеха.

В узком переулке около школы я услышал доносившиеся с площадки громкие голоса — дети уже собирались. Раздался неистовый девичий крик:

— Ну ты, Денэм, не цапай этот... мяч!

Вот это да! Я вошел во двор, служивший спортивной площадкой, и увидел возле баскетбольного щита группу девочек. Одна из них прятала за спиной мяч, потому что здоровенный, неотесанного вида малый мешал ей бросить по кольцу.

— Ну-ка, отвали, не то...

Тут они услышали мои шаги, обернулись, но ничуть не смутились и продолжали вскапывать самые неприличные слои английского языка. Я поднялся по ступенькам. Уверенность уверенностью, но... А если они и в классе будут так изъясняться? Неужели такое возможно?

В учительской сидела миссис Дру и читала газету. Я поздоровался и снял пальто.

— Ну, к бою готовы?— Голос приятный, доброжелательный.

— Да, готов. Скажите, пожалуйста, миссис Дру, в школе на уроках дети сквернословят?

— Случается. — В ее ответах всегда улавливалась серьезность, чувствовалось, что она искренне любит этих детей и старается трезво оценивать свои с ними отношения. — Как правило, это не более чем баловство. Они произносят слова, не думая, что за ними стоит, и часто самый умный выход — делать вид, что ты ничего не слышал. Впрочем, старшеклассники могут выругаться и нарочно — чтобы сбить тебя, обидеть. Лично я последнее время эту музыку слышу очень редко — наверно, благодаря моим сединам.— Она пригладила аккуратно уложенные волосы.— Боюсь, точного рецепта я дать не смогу, придется вам ориентироваться по обстановке.

Один за другим стали подходить учителя, и начался обычный легкий обмен утренними новостями. Потом прозвенел звонок.

Выходя из учительской, я взглянул на мисс Бланшар, и она ободряюще улыбнулась. Мисс Клинтридж задорно выкрикнула: «Ни пуха!»

В классе было шумно: смех, разговоры, какое-то движение. Я открыл дверь и пошел прямо к столу, сел и принялся ждать. Ученики стояли группками и поначалу не обратили внимания на мое появление. Постепенно группки распались, и все расселись по местам. Я еще немного подождал, пока они утихомирятся, потом попросил классный журнал.

Большинство на свою фамилию откликалось невнятным бормотанием, несколько раз я слышал «тута» или «здеся». Один мальчик ответил: «Здесь, учитель», и в ответ на такое вероломство весь класс — мальчики и девочки — дружно заулюлюкал и засвистел.

После переклички я собрал деньги на обед. Эти школьные обеды — настоящее спасение и для детей и для их родителей. Стоит такой обед от трех до восьми пенсов — в зависимости от того, сколько в семье детей школьного возраста. В середине учебного дня ребенок получает горячую, сытную, вполне съедобную пищу. Если родители не могут внести и такой маленькой суммы, обед выдается бесплатно — спасибо попечительскому комитету. Миссис Дру заве-

рила меня: именно из-за школьных обедов и бесплатного молока многие ученики выглядят такими упитанными здоровячками. С другой стороны, как ни странно, многие предпочитали на «обеденные» деньги покупать в ближайшей лавке пакеты с рыбой и жареной картошкой. Расстаться с привычкой не так-то просто.

Покончив с формальностями, я откинулся на спинку стула. Звонок вот-вот должен был позвать всех в зал, на ежедневный сбор, и я впервые обвел класс внимательным взглядом. Быстро подсчитал: сорок шесть мест, сорок два из них заняты. Ученики сидели в четыре ряда, и мне были прекрасно видны все. Двадцать шесть девочек, на многих лицах следы поспешно и неаккуратно снятой косметики, фальшивые стекляшки в ушах, дешевые браслеты — в сидевших передо мной молодых девушках, спокойных и настороженных, было что-то цыганское.

Мальчики выглядели неряшливее, грубее, грязнее, вид их говорил о полном единстве: все в футболках, джинсах, у всех — одинаковые прически и угрюмо-недоверчивое выражение лица. Это, конечно, от начала до конца было наносное, своеобразная броня, которую они носили и в школе и на улице, некий жест неповиновения, символ мужественности, такой же примитивный и надуманный, как дешевые фильмы, из которых он был взят.

Они молчали и сосредоточенно смотрели на меня, и от этих оценивающих взглядов стало как-то не по себе. К счастью, зазвенел звонок, они живо повскакивали с мест и толпой повалили в зал.

В одном конце зала находилась сцена, в центре ее сидел директор. Сцена была гордостью школы. Под руководством мисс Клинтридж простой дощатый настил превратился в изящное сооружение с нарядным просцениумом и вполне современным занавесом. Задник изображал веселую толчею на местном рынке, и общее впечатление было праздничным и приятным. Рядом с директором сидела девочка, ее обязанность — выбрать и поставить две пластинки, без этого не обходился ни один сбор. Обычно ставилась оркестровая классическая музыка или записи выдающихся певцов, таких как Поль Робсон, Мария Каллас, Мариан Андерсон. Считалось, что эти прослушивания помогут расширить музыкальный кругозор ребят, который ограничивался джазом и буги-вуги на танцульках между уроками.

Дети сидели ближе к сцене, последний ряд занимали учителя. Сбор оказался простым действом, религия была лишь составной его частью. Он начался с церковного гимна и молитвы, молились так или иначе все дети. Иудеи и католики, протестанты и магометане — все они были здесь, все вместе, все как один. Молитва взывала к богу, просила наставить на путь истинный, помочь и придать сил.

После молитвы директор прочитал стихотворение «La Belle Dame Sans Mersi»[1]. Потом пришел черед пластинок. Это оказались Фантазия-экспромт Шопена и часть концерта до мажор Вивальди для двух труб. Они слушали, эти неопрятные и неотесанные с виду дети. Пока не стих последний звук, все сидели не двигаясь, полные внимания. Молчали не из-за скуки, не из-за лени, не потому, что от них этого ждали, и не потому, что боялись последствий. Они слушали музыку, слушали внимательно и сосредоточенно, их переполняло такое же блаженство, что и во время танцев. Тела оставались спокойными, но я чувствовал — душа и разум каждого из них живут в эти минуты музыкой. Я взглянул на мисс Бланшар, и она, словно прочитав мои мысли, улыбнулась и согласно кивнула головой.

Пластинки убрали, и директор представил всей школе меня. Он просто сказал, что я — новый учитель мистер Брейтуэйт, буду вести

[1] «Прекрасная безжалостная дама» — стихотворение английского поэта Джона Китса (1795 — 1821).

уроки в старшем классе и он не сомневается, что ученики примут меня радушно.

Мы вернулись в класс. Я постоял немного перед столом, подождал, пока все рассядутся, потом сказал:

— Как зовут меня, вы уже знаете, скоро и я узнаю всех вас, но на это уйдет какое-то время, и поначалу мне придется обращаться к вам с помощью жестов или как-то еще. Пожалуйста, не обижайтесь, надеюсь, возражать вы не будете.— Я постарался, чтобы голос звучал как можно мягче.— Я совсем не знаю ни вас, ни ваших возможностей, и начинать знакомство придется с нуля. Сначала я попрошу каждого из вас почитать. Когда я назову фамилию, пожалуйста, прочтите вслух любой отрывок из любого вашего учебника.

Я сел, открыл журнал и назвал первую мелькнувшую фамилию:

— Палмер, будьте любезны, почитайте нам что-нибудь.

Все головы повернулись в одну сторону. Я посмотрел туда же и выяснил, что Палмер — это краснощекий парень с мощной шеей, тусклыми глазами и очень большой с коротким ежиком головой.

— Встаньте, пожалуйста.

Он нерешительно огляделся, потом встал и начал медленно, с запинками, читать.

— Спасибо, Палмер, достаточно. А теперь пусть почитает Бенджамин.

Палмер сел, вопросительно глядя на меня. Читал он ужасно. Бенджамин, впрочем, не намного ушел от него. Как и Сапиано, Уэллс или Дрейк.

— Джейн Персел, почитайте вы, пожалуйста.

Поднялась стройная светловолосая девочка, обладательница пышных грудей, которые свободно ходили под тонким джемпером и, видимо, никогда не знали лифчика. Что это за родители, которые позволяют дочери выходить на люди в таком до неприличия неряшливом виде? Читала она чуть лучше других, то есть правильно произносила больше слов, но паузы были слишком длинными, и общий смысл безвозвратно пропадал.

Персел продолжала читать, а я вдруг услышал на задних партах какое-то хихиканье. Не прерывая чтения, я поднялся и прошел в конец класса выяснить, в чем дело. Один из ребят, тот самый верзила, мешавший утром девочкам, что-то показывал под крышкой стола соседям, и те, как ни старались, не могли удержаться от смеха.

Я незаметно приблизился к нему и увидел предмет, который он держал в руке. Какая мерзость! Это была резиновая кукла; расставив ноги, она сидела на маленьком шаре. Когда парень прижимал шар большим и указательным пальцами, обвисшие груди и живот внезапно вздувались, гротескно и похотливо изображая беременность.

— Уберите это, пожалуйста.

Небрежным движением он спрятал фигурку в карман, глядя на меня самодовольно и нагло. Потом убрал руку, державшую крышку стола, и крышка с грохотом упала на место. Девочка замолчала. Я знал, они напряженно смотрят на меня — что он сделает? Все во мне кипело. Но я заставил себя сдержаться и вернулся к столу. Спокойно. Нельзя терять спокойствия.

— Поттер, почитайте вы, пожалуйста.

Поттер был высок и толст, явно самый крупный в классе. Читал он более или менее неплохо, и когда я поднял руку, чтобы остановить его, он радостно засиял.

— Садитесь, Поттер.— Голос мой звучал резко.— Думаю, вы все согласны, что книга эта написана по-английски, то есть на вашем родном языке и на языке ваших предков. Я сейчас слушал вас и даже затрудняюсь сказать: нарочно вы читали так плохо или вправду не способны понять или произнести написанное на родном языке.

Впрочем, возможно, я к вам несправедлив — мой выбор случайно пал на плохих учеников. Может, кто-то сам хочет почитать?

Наступила пауза, потом в дальнем конце класса решительно поднялась рука. Это была рыжеволосая, с которой я столкнулся вчера. В отличие от большинства одноклассников, вид у нее был чистый и опрятный.

— Пожалуйста, назовите себя.

— Памела Дэр.

— Пожалуйста, начинайте.

Это был отрывок из «Острова сокровищ» Стивенсона:

«....Не мешкая, я залез в бочку из-под яблок и увидел, что она почти пуста...»

Голос был четкий, мягкий и глубокий. Она читала легко, из слов складывалась ясная картина переживаний охваченного страхом мальчика. Она дочитала абзац до конца, остановилась, с вызовом посмотрела на меня — знай наших!— и быстро села.

— Спасибо, Памела Дэр. Кто-нибудь еще хочет попробовать?

Желающих не оказалось, и я стал рассказывать о чтении. Подчеркнул, что именно чтение — основа основ, именно чтением они должны владеть в первую очередь. Время от времени я подходил к столу, брал книжку и в подтверждение своих слов что-то читал вслух. Они сидели и слушали меня в каком-то зловещем молчании, но все же слушали, и я продолжал красноречиво раскрывать тему, заботясь главным образом о том, чтобы сохранить эту тишину. Звонок на перемену принес мне огромное облегчение, все мигом высыпали из класса пить свое молоко, а я сел за стол, чтобы продумать следующий урок.

Раздался стук в дверь, и с двумя чашками чая в руках вошла мисс Клинтридж. Одну она поставила на мой стол. Я поднялся, но она беззаботно махнула рукой — к чему эти условности?— и уселась прямо на стол.

— Решила, что вам сейчас чашечка — в самый раз. Ну, как прошел урок?

— Думаю, не так уж плохо. Правда, один парень слегка меня огорчил.— И я рассказал ей о случае в классе.

— Что вы сделали с этой штукой?

— Она осталась у него, я просто велел ее убрать.

Она поднесла чашку ко рту и окинула меня долгим, изучающим взглядом. Потом сказала:

— Как вас, кстати, зовут?

— Брейтуэйт.

— Да нет же, глупенький вы, я об имени спрашиваю.

— Рики. Сокращенное от Рикардо.

— А я — Вивьен, но все зовут меня Клинти.

— Вам подходит. Емко и звучно.

— Так все и говорят. Слушайте, Рики, что я скажу, и постарайтесь это усвоить. Взгляды Старика на воспитание этих детей, его идеи — они нам хорошо известны, и мы с ними согласны. Но надо помнить одну мелочь: идеи Старика хороши, когда он излагает их в своем кабинете, а когда нам в классе приходится воплощать их в жизнь, получается совсем другая песня. Поставьте себя на место этих детей. Они приходят сюда из дома, где каждое приказание вбивается в них кулаком. Сквернословить они могут с приятелями, но если у кого-то из них повернется язык выругаться при родителях, старших братьях или сестрах, их так оттягают за уши, что будь здоров. И вот эти дети приходят в школу и видят: никто здесь кулаками не машет, а говорить и делать можно все, что душе угодно. Что же происходит? Маленький Элфи или маленькая Мэри делают вывод: они вправе говорить любые гадости, а бедный учитель будет им все прощать. Но чем больше прощать, тем хуже, верно?

— Верно.

— Так вот надо думать не только о детях, о себе тоже. Будет наша работа мукой или нет — зависит только от нас. Поэтому вот мой совет. Не трогайте их даже пальцем, особенно девочек — они тут же завопят во всю глотку, что вы ущемляете их права,— но обязательно найдите способ показать им, кто в классе хозяин. Мы все прошли через это. Грейс они боятся, Селму Дру уважают за ее язык — она только с виду и мухи не обидит, но если ее задеть, превращается в фурию.

Мне-то самой проще: я в этом районе родилась, они это знают, в случае чего всегда могу дать сдачи. Не позволяйте им сесть вам на голову, Рики, иначе они вам устроят райскую жизнь. Сначала как следует их прижмите, а если увидите, что они приняли вас, хотят работать, можете всегда приспустить вожжи. Этот осел Хэкмен хотел завоевать дешевую популярность. Он с самого начала дал им длинный поводок, на нем они его и повесили. Так и надо безмозглому дураку.— Она замолчала, допила свой чай.— Пейте чай, Рик, остынет.

Она соскочила со стола.

— Запомните, им ничего нельзя спускать, никому из них.— И, подхватив чашки, упорхнула, бодрая и порывистая, словно майский ветерок.

До звонка еще оставалось время. Я установил на специальную подставку доску и стал ждать возвращения учеников даже с некоторым нетерпением. Когда все расселись по местам, я сказал:

— Сейчас мы проведем урок арифметики, посвящен он будет системе мер и весов. Как и на уроке чтения, я постараюсь выяснить, что вам об этой теме известно. Пожалуйста, отвечайте на мои вопросы как можно полнее. Кому-нибудь известна система весов эвердьюпойс?[1]

— Эверде что?

— Эвердьюпойс,— повторил я, следя за правильностью произношения.— Эта система относится к весам, которыми пользуются в бакалейных и тому подобных лавках.

— А-а, эту систему я знаю.— Это подал голос коренастый парень, он сидел на парте развалившись.— Там веса такие: тяжелый, полутяжелый, средний, полусредний, легкий, полулегкий, легчайший, наилегчайший.

При этом он, словно карапуз в детском саду, поднял перед собой обе руки и стал загибать пальцы. Когда он остановился, по классу прокатилась волна хохота. Парень поднялся и с самым серьезным видом раскланялся во все стороны. Это было проделано настолько комично, что в другой обстановке я, наверно, хохотал бы не меньше других. Но я находился у себя в классе, и слова Клинти еще звучали у меня в ушах. Я скрестил руки на груди и, опершись о край стола, стал терпеливо ждать. Наконец, когда все отсмеялись и утихли, я спросил:

— Как ваша фамилия, скажите, пожалуйста?— Я был рассержен, и голос слегка звенел.

— Денэм.

— Что ж, Денэм, таблицу весов можно применять и так. Вы интересуетесь боксом?

— Угу.— Он повел плечами и лениво огляделся.

— Понятно. Ну, что ж, коль скоро вы научились пользоваться таблицей — правда в узкой области,— круглым дураком вас уже не назовешь, верно, Денэм?

Улыбка сошла с его лица.

— Может, еще у кого-то есть что сказать о таблице весов?

[1] Английская система единиц веса и массы.

— Тонны, центнеры, квартеры, фунты, унции.— Голос возник где-то прямо передо мной. С первой парты, подняв голову, на меня смотрел невысокий мальчуган — тот, которого вчера я застал за курением.

— Правильно. Как ваша фамилия, скажите, пожалуйста?

— Джексон, Тич Джексон.

Смотри-ка! Все-таки есть и такие, кто хочет мне помочь!

— В некоторых странах, например в США или Вест-Индии, хоть и пользуются той же системой весов, но обходятся лишь фунтами и тоннами, стоуны и центнеры там не применяются. Поэтому человек там скажет, что вес его равен 170 фунтам, а здесь, в Англии, это будет 12 стоунов и 2 фунта, а по системе Денэма — средний вес, если не ошибаюсь.

— Полусредний,— нехотя, но со знанием дела ответил Денэм.

— Спасибо, Денэм, полусредний. Существуют и другие весовые системы. Например, тройская система мер и весов, ею пользуются ювелиры для взвешивания драгоценных металлов — золота, серебра, платины.

— Девичьему сердцу всего милей бриллианты.

Класс разразился хохотом. Я не заметил, кто это сказал, ясно только было, что с задних парт. Я посмотрел на Денэма, но он встретил мой взгляд уверенно и даже нагло.

— А мне они и на фиг не нужны.

Это уже девочка, довольно упитанная, с изжелта-бледной кожей. Театральным жестом она сняла с грязноватой шеи стеклянные бусы и подняла их для всеобщего обозрения.

— Я предпочитаю жемчуг.

Ее гримасничанье и картинные жесты сразили класс наповал.

Я знал: надо что-то предпринять, что угодно, и без промедления. Это был вызов, они оспаривали мой авторитет, может, лично против меня они ничего не имели, но такова была традиция — встретить нового учителя в штыки. Проявит ли он слабость и нерешительность? Не на это ли намекала Клинти? Что ж, если им нужен бой...

— Хватит! — голос мой прозвучал резко и громко, смех как по команде прекратился.— Я понял, что вы обладаете чувством юмора — это радует и обнадеживает, тем более что пробудить его могут такие элементарные вещи, как система весов. Собственно говоря, вас забавляет все. Сначала вы позабавились над тем, что не в состоянии прочитать простой текст на родном языке, сейчас выясняется, что вы не имеете понятия о весах — это вас тоже забавляет. Мне часто встречались люди, которые переживали и даже страдали из-за того, что многого не знают. Вы же находите свое невежество забавным.— Я намеренно язвил, жалил их.— Поэтому нас с вами наверняка ждет много радостных минут: знаете вы так мало, а позабавить вас так просто, что я предвкушаю очень веселое времяпрепровождение.

Послышалось недовольное ворчание, до слуха моего донеслось: «обнаглел». Улыбок не было, все сердито зыркали на меня. Вот так-то лучше.

— А теперь перейдем к системе мер. Начнем с линейных. Вам, Денэм, о системе линейных мер что-нибудь известно?

— Без понятия.

— Что ж, я объясню, но сначала подожду — смеяться никто не собирается?

Лица у всех были замкнутые, сердитые, настороженные.

— Система, о которой я говорю, кому-нибудь известна?

— Дюймы, футы, ярды, фарлонги, мили.— Это вызвалась веснушчатая толстушка.

— Совершенно верно. Система называется линейной, потому что с ее помощью измеряются различные линии.

Я начал рассказывать, напомнил, что и как мерили в старину, потом перешел к нашим дням, объяснил, как важна система мер для каждого из нас. Они слушали, никаких реплик не было, и остановил меня только звонок.

## Глава 7

Обедать в столовую я не пошел. Вчерашний обед не очень меня воодушевил — не привык есть под такой назойливый галдеж. Мама дала мне с собой несколько бутербродов и яблоко, и я пошел в учительскую — там можно перекусить в тишине. Чувствовал я себя так, словно на мне возили воду. Вот не думал, что преподавание отнимает столько сил!

Я начал есть, и вскоре в учительскую вошла мисс Бланшар.

— О-о, привет, вам тоже не нравится здешняя кормежка? — Она села и начала разворачивать пакет с бутербродами.

— Нет, кормят как будто ничего, но уж очень там шумно.

— А для меня эта пища слишком тяжела. Я что-нибудь приношу из дома или, если есть настроение, иду в ресторанчик через улицу. Снаружи вид у него грязноватый, а внутри ничего — чистенько, и кормят неплохо.

Мы разговорились, с ней было легко и приятно, скоро выяснилось, что наши взгляды на книги, музыку, театр и кино во многом совпадают.

— Сегодня утром у вас был страшно удивленный вид.

— У меня? Когда же?

— Во время сбора. Я бы и сама никогда не поверила, что они могут слушать классическую музыку, да не просто слушать — наслаждаться.

— Может, именно эти пластинки пользуются таким успехом? Особенно концерт для двух труб. Он такой громкий, его поневоле будешь слушать.

— Возможно, но сегодня я была на сборе не первый раз, дети и раньше слушали очень внимательно, а пластинки каждый день ставят новые.

— Поразительно.

— Как прошли уроки?

Я вкратце рассказал, как меня встретил класс.

— О господи! Кажется, этот Уэстон был прав.

— Ну, выводы делать рано. Пожалуй, я приму совет Клинти, то есть мисс Клинтридж.

— Она уже взяла вас под крылышко?

Я взглянул на нее, но нашел на лице только улыбку — больше ничего.

— Не совсем так, но если она дала мне верный ключ, чтобы справиться с ними, я им воспользуюсь.

Кончился обед, и учителя стали потихоньку собираться, все спрашивали меня, как прошли первые уроки.

— Слишком зажимать их тоже не надо,— предупредила миссис Дру.— Они совсем не такие злые и плохие, сойдетесь с ними ближе, сами это поймете.

Я вспомнил слова Клинти о миссис Дру и улыбнулся.

— В том-то и фокус, чтобы с ними сойтись.— Писклявый голос Уэстона пробился сквозь мохнатые заросли вокруг его рта. Мне вдруг пришло в голову, что дерни его сейчас за бакенбарду — и стянешь всю бороду, словно старый свитер, а лицо останется голенькое, как спинка общипанного цыпленка.

— А вы сошлись с ними? — елейным голоском спросила Клинти. Кажется, подкалывать Уэстона было ее любимым занятием.

— В классе они меня слушаются, а большего я от них не требую.

— Вот они вам больше и не дают, уважаемый босс.

— Не так страшен черт, как его малюют. Эта пословица к ним очень подходит.— Чопорно поджатые губы мисс Доуз старательно выговаривали каждое слово. Она сидела в углу рядом с мисс Филлипс. Они всегда вместе, всегда о чем-то шепчутся. На мисс Доуз я не мог смотреть без удивления. Ее большие груди совершенно не вязались с полуспортивными туфлями, носками и тонкими суровыми губами, они были, что называется, от другой женщины.

— Никто их не малюет, дорогая, грязь — она и есть грязь.

Это Грейс, она передавала по кругу чашки с чаем.

— Ты прекрасно понимаешь, о чем я.

— Я-то тебя понимаю, а ты меня — нет. Ты бы послушала эти разговоры, когда они сидят и шьют. Волосы от ужаса шевелятся. Так что этих лапочек малюй не малюй — хуже чем есть не сделаешь.

— Может быть, Брейтуэйту удастся применить к ним черную магию? — Это Уэстон снова влез со своим дешевым шутовством. Ну, как его прикажете понимать? И что он вообще за человек, этот Уэстон, насколько серьезно относится к тому, что говорит? Казалось, ему доставляло удовольствие всех раздражать, при этом с лица не сходила улыбка. Некоторые события из недавнего прошлого оставили в моей душе незатянувшиеся рубцы — может быть, поэтому я стал легко раним? Если он зацепит меня по-настоящему, я могу и не сдержаться... Постараюсь пока его реплик не слышать. Черт его знает, может, он прекрасно ко мне относится, просто у него такая манера общения? Нет, слишком долго я искал работу и рисковать ею из-за этого фигляра не намерен.

— А какую магию применяете вы, Уэстон? — Голос миссис Дру звучал холодно. Клинти была права: миссис Дру могла превращаться в фурию, в настоящую фурию. Уэстон взглянул на нее, решил, видимо, что отвечать не стоит, и погрузился в глубокомысленное молчание.

Я взглянул на мисс Бланшар, и она заговорщически мне подмигнула. По крайней мере было ясно: большинство коллег желают мне добра. Они безоговорочно приняли меня, я стал одним из них. Это — самое важное.

Послеобеденные уроки прошли без происшествий, но удовлетворен я не был. Ученики не болтали, не смеялись, не посягали на мой авторитет, но не было и отдачи. Они слушали и выполняли задания словно автоматы. Я пытался расшевелить их, но наталкивался на стену холода и отчуждения. Видимо, сказанное мною на прошлом уроке задело их за живое. Теперь их молчаливая настороженность задевала за живое меня.

Впрочем, так держались не все. Тич Джексон, кажется, принял меня с самого начала, и хотя он смеялся вместе со всеми, всякий раз, когда я смотрел на него, он отвечал мне хорошей улыбкой. Не выказывал враждебности и Патрик Фернман, смышленого вида паренек с тонкими чертами лица и падающей на глаза темной челкой. Привлек мое внимание и еще один ученик. Это был Силс, Лоренс Силс, хорошо сложенный парень со смуглой кожей, кто-то из его родителей, несомненно, принадлежал к черной расе. Он говорил, лишь когда обращались непосредственно к нему, и хотя по одежде — футболка, джинсы — ничуть не отличался от остальных, все же стоял как-то в стороне, участия в общих пакостях не принимал. Но никакой симпатии ко мне тоже не выказывал. Чувствовалось, что голова у него работает неплохо, да и текст он прочитал чуть ли не лучше всех, но между нами лежала глубокая пропасть настороженности.

Когда я возвращался домой, неподалеку от школы мне попался крохотный, втиснутый между другими лавчонками табачный киоск. На створке открытой двери висела черная дощечка, к которой кнопками были приколоты объявления: кто что хочет продать или купить, сдать или снять жилье. Я остановился. Ежедневные поездки в Брент-

вуд и обратно даже в чудесные майские дни изматывают до предела. А зимой, когда начнется слякоть, повалит снег... Может, это неплохая мысль: снять жилье рядом со школой?

— ... Могу помочь?

В дверях стоял хозяин. Внутри было темно, и я плохо его видел среди больших банок с конфетами и разбитых деревянных ящиков с кока-колой. Круглое небритое лицо его бледным пятном выделялось на фоне полосатой рубашки без воротника, сильно пузырившейся на животе.

— Нет, спасибо, просто меня заинтересовали объявления. Возможно, мне придется снять комнату в этом районе.

Он чуть вышел вперед, поддел большими пальцами узкие подтяжки, на которых держались мешковатые брюки.

— Так-так. А вы что же, здесь работаете?

— Я учитель школы «Гринслейд» — собственно, сегодня у меня первый день.

Тут он сощурил глаза, чтобы получше меня рассмотреть, взгляд стал внимательным, сосредоточенным.

— Учитель... вот оно что.

Он подошел ко мне вплотную и ткнул в дощечку кургузым указательным пальцем, не разлучая большой палец с подтяжкой, отчего последняя натянулась, как тетива лука.

— Вам это не сгодится. Учителю надо кое-что получше. Оно, конечно, бывает у меня и получше, а сейчас ничего путного.

Такого я не ожидал и посмотрел на табачника с некоторым удивлением.

— Другой раз придете, что подходящее будет, я и скажу.

Он улыбнулся и ушел к себе в лавку, а я долго не мог прийти в себя: как неожиданно иногда проявляется человеческая доброта.

Вечером я подробно обсудил с Папой и Мамой Бельмонтами положение в классе, внимательно выслушал их мнение. Мы согласились, что я должен завоевать доверие и уважение учеников как можно быстрее, иначе не ровен час их враждебность приведет к какому-нибудь неприятному случаю и надежда подружиться с ними будет погребена навек.



## Глава 8

По пятницам вся школа писала сочинение на тему «Прошедшая неделя». Это было одно из любимых изобретений Старика, и тут он не допускал никаких возражений. Каждый ученик описывал события школьной недели так, как считал нужным. Он имел право высказывать свое мнение, критиковать, соглашаться или не соглашаться, а речь могла идти о любом человеке, событии или предмете, лишь бы это имело отношение к школе. Разрешалось обсуждать всех и вся, начиная с директора, и, что важно, ученик был застрахован от какого-нибудь наказания.

— Посмотрите на это вот с какой стороны,— сказал однажды мистер Флориан.— Такие сочинения крайне полезны и для ученика, и для учителя. Если ребенок хочет написать о чем-то для него важном, он постарается изложить свои мысли как можно яснее и подробнее. Значит, так или иначе улучшится его письменный язык: в смысле орфографии, построения предложений, стиля. Раз в неделю мы получаем возможность проверить, делают ли наши ученики успехи в этом направлении. Теперь что касается учителей. Эти сочинения помогают нам узнать, что о нас думают ученики, удастся ли нам подружиться с ними. Иногда с огорчением узнаешь: хорошо подготовленный урок оставил Джонни Смита равнодушным, а ведь урок, в конце концов, учитель готовил не для себя, а именно для Джонни Смита. И если ученик остался равнодушным, учитель должен заду-

маться. Выясняется, что дети в своих суждениях довольно справедливы, даже если речь идет о нас самих. Если мы не обращаем должного внимания на свою одежду, поведение, на себя самого, они скоро это заметят, и тогда — сердись не сердись — они об этом напишут. А думающему, умному учителю эти сочинения обязательно подскажут, как совместить интересы каждого ученика и класса в целом, как строить свою работу.

В мою первую школьную пятницу я был необычайно взволнован: интересно, каким я выгляжу в их глазах, что они обо мне напишут? Несколько сочинений я прочитал сразу в обеденный перерыв и, признаюсь, испытал смешанное чувство облегчения и разочарования: ничего особенного обо мне не писали. Почти все упомянули, что в классе появился новый учитель-негр, но и только. Куда больше их взволновало отключение сети во время дневных танцев в среду да успехи некоторых ребят, занимающихся боксом в местном клубе.

Я подумал: может быть, они решили, что я фигура в школе временная, как многие мои предшественники, стало быть, незачем и писать обо мне, тратить на меня время и силы. Но все равно, если я не произвел на них никакого впечатления, тут виноват только я сам. Значит, надо искать с ними общий язык, подбирать к ним ключи.

Тогда я поставил себе задачу: стать для своего класса хорошим учителем. Но шли дни, и я с болью понимал, что ничего не могу добиться. Я покупал и изучал книги по психологии преподавания в надежде найти какой-то метод, чтобы расшевелить их интеллект, но все, что в этих книгах предлагалось, мне не подходило, не срабатывало. Я пытался проникнуть в души моих учеников, но нас словно разделяло толстое стекло — они были инертны и безучастны.

Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что мои взаимоотношения с классом прошли три стадии. Первая стадия состояла в испытании молчанием: почти месяц они выполняли все мои задания без вопросов, без возражений, но не было ни интереса, ни энтузиазма. А если какое-то время от них ничего не требовалось, они просто сидели и взирали на меня с терпеливым вниманием, с каким птицелов изучает редкого пернатого друга. Так бывало: я сидел за столом, лихорадочно проверяя их письменные работы, и ощущал на себе их взгляды. Я поднимал голову, и действительно — они смотрели на меня, настороженные, чего-то ждущие. Их молчание изрядно действовало мне на нервы, но я держал себя в руках.

А как я готовился к урокам! Все темы старался раскрыть на примерах из их жизни. Для арифметики подбирал вопросы, с которыми они и их родители сталкивались при ведении домашнего хозяйства: семейный бюджет, приблизительный вес продуктов питания или топлива, измерение длины маршрута от дома до школы, измерение длины купленной ткани. Я предлагал им разные задачи, возникающие на домашнем фронте, старался растрясти, растормошить их, но все мои попытки кончались жалкой неудачей — это был какой-то сговор, меня окружала стена безразличия.

Постепенно они перешли ко второй, более агрессивной стадии своей кампании: испытанию шумом. Правда, тут активными участниками были далеко не все, но те, кто вел борьбу против меня активно, твердо знали: симпатии остальных на их стороне. Во время урока, особенно когда я что-то читал или рассказывал, кто-нибудь поднимал крышку стола, а потом отпускал ее, и она с громким хлопком падала на место. Возмутитель спокойствия просто сидел и смотрел на меня невинными глазами — это, мол, случайно. Они не хуже меня знали, что здесь я ничего не смогу с ними поделать, и мне оставалось одно: не замечать эти хлопки, стараясь сохранить при этом максимум достоинства. Обычно одного-двух таких хлопков хватало, чтобы нарушить нормальное течение урока, и мне часто приходилось прек-

ращать чтение раньше, чем я намеревался, и подменять его какой-нибудь письменной работой — писать и одновременно хлопать крышками не могли даже они.

Но я знал: с такой бессмысленной подменой далеко не уедешь. Было ясно, что учить я должен главным образом словом — для других методов уровень знаний в классе был очень низкий. Каждое объяснение я должен выложить им на тарелочке, а для этого, разумеется, нужно много говорить. И когда они грубо прерывали то, что делалось для их же блага, меня охватывала бессильная злоба. От коллег я, сколько мог, эти трудности скрывал. Я страстно желал опровергнуть расхожее мнение о том, что мужчины для учительской работы непригодны, и уж совсем не хотел давать повод для насмешек Уэстону, поэтому я выворачивался наизнанку, стараясь пробудить у учеников интерес к занятиям. Иногда после школы я бродил по кварталу, пытаясь понять условия, в которых они воспитывались и росли. Мне становилось ясно, почему они не имеют понятия о некоторых общепринятых нормах поведения, но что толку — поведение их все равно оставалось несносным.

Как-то утром я читал им довольно простые стихи, подробно и понятно объяснял, в чем суть этого стихотворения, прелестного и по форме, и по содержанию. Мне уже казалось, что я пробудил их интерес, как вдруг одна из девочек, Моника Пейдж, опустила крышку стола. Для меня этот хлопок прозвучал выстрелом, казалось, гнев мой вот-вот вырвется наружу. Несколько секунд я молча смотрел на Монику. Она выдержала мой взгляд, потом, обращаясь ко всему классу, небрежно заметила: «Эта чертова штука совсем не держится». Конечно, все было сделано умышленно, хлопок и грубая реплика провозгласили начало третьей стадии борьбы со мной — кампании сквернословия. С этой минуты слова «чертов», «хреновый» и им подобные я слышал почти в каждой их фразе, особенно в классе. Обращаясь друг к другу по любому дурацкому поводу, они ссылались на «чертово» то или это, причем всегда достаточно громко. Однажды на уроке арифметики Джейн Персел обратилась ко мне: «Не могу сделать сложение, мистер Брейтуэйт, чертовски трудно», потом села и спокойно уставилась на меня. В невинных голубых глазах таился вызов, под тонким джемпером обозначились тяжелые груди.

— Скажите мне,— ответил я, чувствуя, как звенит мой голос от едва сдерживаемого гнева,— в разговоре с отцом вы тоже выражаетесь подобным образом?

— А вы не мой хренов отец.— Это прозвучало ровно и злобно. Я не нашелся что ей ответить. Маленькая стерва, я сам сыграл тебе на руку.

Когда прозвенел звонок, они высыпали в коридор, и я услышал: она принимает поздравления за то, что «поставила этого черного прохиндея на место». Некоторые громко негодовали по поводу моего вопроса, кричали, что это «паскудство и наглость», и отнюдь не целомудренным языком объясняли, что ответили бы они, посмей я задеть их родителей. Моя попытка поправить речь девочки была почему-то воспринята как злобный и непозволительный выпад по адресу ее родителей.

После этого случая дела у меня пошли еще хуже и я не мог отделаться от мысли, что позиция Уэстона по отношению к этим детям вполне справедлива. Их злоба была беспричинной, неоправданной. Но меня тревожила не только их речь. В коридорах или темных углах я часто натыкался на ребят и девочек, которые целовались и тискались совсем по-взрослому. При моем появлении они отпускали друг друга, просто ждали, пока я пройду, и тут же возобновляли прерванное удовольствие. После уроков они часто болтались на лестнице или возле туалета, ребята приставали к девочкам, а те со смехом отбивались, громко при этом сквернословя. А иногда я заставал

их, скажем, в углу двора за каким-нибудь сомнительным развлечением.

Я пытался убедить себя, что их поведение, особенно за пределами класса, вовсе не мое дело, но меня все больше беспокоили они сами и мои отношения с ними. К тому же ребята помоложе подражали старшим, в младших классах даже находились смельчаки, которые «прикалывались» к старшеклассницам. Один мальчишка подсматривал за девочками через стеклянную крышу женского туалета, провалился сквозь нее и только чудом остался цел и невредим.

Этот случай горячо обсуждался в учительской. Но, странное дело, говорили больше о том, к каким трагическим последствиям могло бы привести падение мальчишки, моральная же подоплека происшедшего осталась как-то в стороне. Сами девочки, на головы которых вдруг посыпалось стекло, оправились от шока очень быстро. В коридоре они обсуждали событие с подружками и вовсю хохотали над незадачливым искателем приключений: вот, дескать, дурачок, нашел из-за чего лазить на крышу.

Однажды на перемене в конце дня случилось нечто из ряда вон выходящее. Я сходил в учительскую выпить чашку чая и вернулся в класс. Комната была наполнена дымом — на каминной решетке тлел какой-то предмет. Вокруг стояло несколько ребят и девочек, они смеялись и обменивались бойкими репликами, не обращая внимания на дым и не пытаясь погасить или выбросить тлеющий предмет. Я раздвинул толпу, чтобы рассмотреть его поближе, и с ужасом понял: кто-то бросил на решетку использованную гигиеническую салфетку и неудачно попробовал сжечь ее.

Меня охватила такая ярость, такое отвращение, что я совершенно вышел из себя. Я выгнал из класса ребят и дал волю гневу. Я сказал девочкам, что меня тошнит от их поведения, бранной речи, пакостных манер и развязной фамильярности с одноклассниками. Я клеймил и жалил их, а они стояли и слушали. Да, черт возьми, слушали и внимали! Ни одна не посмела раскрыть рот. Тогда я заговорил о последней выходке:

— Есть вещи, которые порядочные женщины никогда не выставят на всеобщее обозрение, и я считал, что ваши матери и старшие сестры давно вам это объяснили, но, видимо, они забыли об этой элементарной обязанности. Только грязная свинья могла сделать такое, а те, кто стоял рядом и не одернул ее, ничуть не лучше. Я не желаю знать, кто именно это сделал, потому что виноваты вы все. Я вернусь через пять минут и надеюсь, что застану в классе чистоту и порядок. И прошу открыть окна, чтобы выветрился запах! Запомните, если вы не можете жить без грязи, играйте в такие игры дома, но не у меня в классе.— С этими словами я вылетел из класса и громко хлопнул дверью.

Я поднялся в библиотеку — единственное место, где хоть какое-то время можно побыть одному. Внутри у меня все клокотало — этим поступком, как никаким другим, они показали свое полное неуважение ко мне. Неужели у этих детей начисто отсутствует чувство порядочности, скромности? Все их слова и поступки были окрашены какой-то гадкой злобой, словно души их были заляпаны черной, непролазной грязью. Ну почему, черт возьми, почему они сделали это? Может, дело в том, что я негр? Нет, тут другое. Хэкмену пришлось не слаще. Что же тогда? В чем причина? Знаю. Они хотят переломить меня, превратить в того же Хэкмена, чтобы я, как он, стыдливо убегал с урока в учительскую. Но в классе должен командовать я, я должен быть в классе хозяином, как сказала Клинти. Вот оно! Они хотели сделать из меня раба, каким сделали Хэкмена. Что ж, прекрасно! Я во всем шел им навстречу и поблажек давал немало, но теперь все будет иначе, не важно, если придется нарушить некоторые заповеди директора. Гнев прошел, я был просто полон реши-

мости навести в классе порядок, даже если потребуются жесткие меры. С сегодняшнего дня в классе будет абсолютная чистота, во всех отношениях. Я не буду просить их об этом, я буду требовать. Не потерплю больше никаких «чертов» или «хренов». И чтоб на уроке стояла тишина. Никаких падающих крышек. Достаточно я шел у них на поводу. Хватит. Придется им кое-какими привычками поступиться.

Когда перед началом следующего урока я вошел в класс, камин был чисто вымыт, окна распахнуты, все тихо сидели за столами. Девочки как-то потупились и прятали от меня глаза, и я с удивлением понял, что им (по крайней мере большинству) стыдно. Ребята смотрели на меня выжидающе: что я скажу, что сделаю. Я ни словом ни упомянул о происшедшем. Что касалось меня, представление было окончено. Впрочем, надо, чтобы это поняли и они.

## Глава 9

На следующее утро мне пришла в голову одна мысль. Довольно неконкретная, какие-то общие намеки, но всю дорогу до школы я вертел ее так и сяк. Когда кончился сбор, все расселись по местам и успокоились, я решил: вперед. Может, ничего у меня и не выйдет, но... была не была!

— Я ваш учитель, поэтому считаю, что поступлю правильно и разумно, если поделюсь с вами своими планами насчет работы в классе.— Я старался говорить самым неофициальным, самым дружеским тоном.— Нам с вами предстоит пройти много тем, и давайте относиться друг к другу уважительно. Я хочу, чтобы вы слушали меня не перебивая, а когда я кончу, высказаться может любой из вас — добро пожаловать.— Я говорил по вдохновению и наблюдал за ними. Если только увижу, что моя игра не удается, я ее немедленно прекращу.

Хотели они того или нет, на лицах появился интерес. Даже непробиваемый грубиян Денэм навалился грудью на стол и внимательно смотрел на меня.

— Моя задача — учить вас, и я постараюсь сделать эту учебу как можно интереснее. Если что-то в моих объяснениях покажется вам непонятным или неправильным, остановите меня, буду только рад. Примерно через полгода вы покинете школу. Это значит, очень скоро вы пойдете работать и как взрослые начнете зарабатывать деньги. Учитывая это, я решил с сегодняшнего дня вести себя с вами не как с детьми, а как с молодыми людьми и девушками. Так же должны относиться друг к другу и вы сами. Когда люди расстаются с детством, они и вести себя должны как взрослые...

В эту секунду дверь распахнулась, в класс, запыхавшись, влетела Памела Дэр и плюхнулась на свой стул. Она изрядно опоздала.

— Например,— продолжал я,— можно по-разному войти в комнату. Есть, по сути, два способа. Можно войти в комнату спокойно и с достоинством, а можно так, словно чья-то тяжелая нога пнула тебя под зад. Мисс Дэр только что показала нам второй способ. Не сомневаюсь, сейчас она покажет и первый.

По сей день не знаю, почему я это сказал, но так уж получилось. Не понравилось мне, как она нахально ворвалась в класс, да еще после такого бессовестного опоздания.

Все уставились на нее. Наверно, она этого и хотела, но одобрения во взглядах не было — все просто ждали, как она примет мой вызов. Она вспыхнула.

— Итак, мисс Дэр!

Глаза ее потемнели от гнева и унижения, однако она поднялась и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Потом, к моему удив-

лению и, надо признать, облегчению, тихонько ее открыла и прошла к своему месту с горделивым достоинством королевы.

— Спасибо. С сегодняшнего дня мы введем некоторые правила вежливости, которые будут соблюдаться в классе всегда. Ко мне прошу обращаться «мистер Брейтуэйт» или «учитель» — на ваше усмотрение. К девушкам мы будем обращаться «мисс», а к молодым людям — по фамилиям.

Ничего этого я не готовил заранее, все разворачивалось само собой, но, как мне казалось, разворачивалось довольно гладко. В ответ на мое предложение у них от удивления пораскрывались рты: и у мальчиков и у девочек.

Первым запротестовал Поттер:

— Чего мы будем звать их «мисс», мы же их знаем.

— Как ваша фамилия?

— Поттер.

— Простите?

— Поттер, учитель.—«Учитель» после небольшой паузы.

— Спасибо, Поттер. Считаете ли вы, что сидящие здесь девушки не достойны вежливого обращения?

— Чего-чего?

— Есть ли здесь хоть одна девушка, которая, на ваш взгляд, не заслуживает того, чтобы к ней обращались «мисс»?

Все девочки как одна повернулись к Поттеру, требуя от него ответа. Он заметно поежился под этим мощным излучением и сказал:

— Нет, учитель.

— Поймите, Поттер, очень скоро такие элементарные правила вежливости могут стать непременным условием вашей работы. И если вы к ним привыкнете заранее, это пойдет вам только на пользу.

Я сел за свой стол. Пока они по меньшей мере слушали, действительно слушали меня. Может, всего и не поняли, но общий смысл сказанного до них безусловно дошел.

— Следующий пункт касается вашего поведения в целом. Сначала девушки. Вам следует понять, что вы должны стать достойными внимания и уважения, которое будем проявлять к вам мы, мужчины. Как сказал Поттер, мы знаем вас. Мы хотим гордиться этим знакомством, а вот сможем ли — это полностью зависит от вас. Кое-что вам нужно подсказать, и я попросил миссис Дейл-Эванс побеседовать с вами сегодня же на уроке домоводства.— Это, разумеется, была импровизация. Надо будет сказать об этом Грейс во время перемены, она не откажется помочь.— Теперь что касается мальчиков. Я видел портовых рабочих и грузчиков, которые выглядели куда чище и опрятнее, чем многие из вас. Если у человека чистое лицо и руки, начищенные ботинки, это вовсе не значит, что он — слюнтяй и тряпка. По-настоящему сильный и мужественный человек никогда не подчеркивает эти качества одеждой или прической. Мужественность — это внутренняя характеристика человека, как храбрость, честность, честолюбие. Она не имеет ничего общего с физической силой. Примерно через год некоторые из вас начнут подумывать о подругах. Поверьте, вы покажетесь им гораздо более привлекательными, если у вас будут чистые зубы, руки и лицо.

Я сделал паузу, чтобы они смогли переварить сказанное.

— Вы — старший класс. Обратите внимание на слово «старший». Это значит, что на вас равняется вся школа, хотите вы этого или нет, а мальчишки и девчонки из младших классов повторяют все, что вы говорите и делаете. Они копируют вашу походку, говорят вашим языком, перенимают манеру одеваться, значит, пока вы здесь, ответственность за их поведение во многом лежит на ваших плечах. Как старший класс, вы должны быть лучшими, что касается чистоты, поведения, вежливости и работы в классе, я буду всячески помогать вам и личным примером, и другими способами. Я верю, у вас есть все, что-

бы стать прекрасным классом, каких еще не было в этой школе, но я могу и ошибаться. Все зависит только от вас. Есть ли вопросы?

Взметнулась одна рука.

— Да, мисс Джозеф?

— А как же мистер Уэстон, учитель? Он всегда неопрятный и ходит в грязных ботинках.

Похоже, дело двигалось. «Учитель» она произнесла без всякой паузы.

— Мистер Уэстон не ученик, мисс Джозеф, и обсуждать его здесь мы не будем.

По классу прокатился неодобрительный шумок.

— С вами работаю я, и если я не выполню требований, которые предъявляю к вам, критикуйте меня.

Вчерашней молчаливой враждебности не чувствовалось. Похоже, мне удалось отвоевать в этом классе хоть какое-то жизненное пространство. Вопросов больше не было, и я сказал, что за оставшиеся до звонка несколько минут они могут обдумать и обсудить сказанное мною, только тихо. Потом сел и принялся наблюдать за ними.

На перемене я пошел в учительскую и сказал Грейс, что на свой страх и риск взвалил на нее разговор с девочками. Она была очень довольна и обещала «задать им перцу».

В общем и целом день прошел хорошо. Я чувствовал себя с ними гораздо свободнее и провел все уроки с энтузиазмом, стараясь избегать формального подхода к теме, но тщательно подбирая выражения, потому что надеялся — это поможет улучшить их речь. Я никогда не сбивался с ними на ограниченный, упрощенный язык. Если употреблял явно трудное для них слово, значение его было ясно из контекста, к тому же я призывал их задавать вопросы в случае малейшей неясности. Сам я тем временем исподволь пытался выявить в классе лидеров. Среди ребят на роль заводилы претендовал Денэм. Здоровенный Поттер уступал Денэму пальму первенства, кажется, просто из-за лени. Фернман и Силс являли собой тип «одиночек», хотя на уроках оба работали очень неплохо, а на площадке для игр ничем не отличались от одноклассников. У девочек я поначалу принял за лидера Памелу Дэр, но, похоже, ошибся. У нее было две-три подруги, но держалась она особняком, с какой-то странной и интригующей замкнутостью. Она явно была лучшей ученицей в классе, ее письменные работы были четкими и аккуратными, и это соответствовало ее внешнему облику. Стержнем в компании девочек была Мойра Джозеф, высокая стройная хохотушка, словно созданная природой для того, чтобы разбивать сердца мужчин. Почти все ребята в классе находились под воздействием ее чар. Если удастся привлечь на свою сторону этих «сильных класса сего», за ними потянутся и остальные.

До автобусной остановки мы шли вместе с мисс Бланшар, и я рассказал ей о своем эксперименте. Она усомнилась: следует ли навязывать неизвестные им нормы общественного поведения? Но я уже отрезал себе путь к отступлению, и она пожелала мне удачи. Мне было приятно видеть в ее больших глазах неподдельный интерес, и я вновь преисполнился решимости победить в борьбе за класс.

## Глава 10

В пятницу утром я сидел за своим столом и наблюдал за классом: они писали еженедельное сочинение. Все были поглощены работой. Интересно, что они напишут в свете последних событий? Вскоре после начала урока Джексон спросил: «А как правильно писать вашу фамилию, учитель?» Поскольку моя фамилия могла понадобиться и другим ученикам, я написал ее печатными буквами на доске, и после этого тишину в классе нарушал только шелест переворачиваемых страниц и стук случайно упавшего карандаша.

Несколько сочинений я успел прочитать во время перерыва на обед. Они были, как и говорил мистер Флориан, довольно объективными, но не более того. Никто не обошел молчанием новый способ обращения друг к другу, с другой стороны, ни слова не было написано о причинах, приведших к этому новшеству. Кое-кто из ребят считал, что это глупости — «называть в классе наших девок «мисс», и добавлял, что за пределами школы «мы их будем звать как положено». Кто-то из девочек написал, что с моей стороны это «чистая наглость»— заставлять миссис Дейл-Эванс учить их, как мыться и стирать одежду. Они ведь моются каждую пятницу, и этого вполне достаточно. Но одно было ясно: им нравится, что с ними обращаются как со взрослыми, разговаривают как с равными. Вот что написал Фернман: «Он делает вид, будто все слова, которые он говорит, нам известны, а мы делаем вид, будто так оно и есть». Эта откровенность вызвала у меня улыбку. Что ж, значит, моя политика начала приносить плоды.

Я забрал сочинения домой — хотелось послушать, что скажут о них Мама и Папа. После ужина мы принялись за обсуждение. Мама и Папа были очень довольны тем, как идут дела, но советовали не обольщаться. Потом Папа сказал:

— Не приучайся брать работу домой, Рик. Это говорит о неорганизованности, и в конце концов ты каждый вечер будешь сидеть дома, как на привязи. Преподавание я сравнил бы со счетом в банке. Есть на твой счет новые поступления — ты спокойно и счастливо ими пользуешься. Нет новых поступлений — плохи твои дела. Так и у каждого учителя должен быть фонд готовой информации, откуда можно брать необходимые для работы сведения. Этот фонд надо регулярно пополнять новым опытом, новыми мыслями и открытиями, прочитанными книгами и общением с людьми, у которых есть чему поучиться.

— Боюсь, для такого общения у меня мало возможностей.

— Пустое, Рик, сейчас у тебя есть работа, это тебя больше не терзает. Но нужны новые знакомства, встречи с людьми. Уверен, вокруг много чудесных людей, не ослепленных никакими предрассудками.

— Верно, Папа. И мне очень хорошо с вами и Мамой.

— Это приятно слышать, но мы ведь старики, варимся в собственном соку. Тебе нужно общество молодых людей, твоих ровесников. Неплохо бы ему и девушку завести, как ты считаешь, Джесс?

Мама улыбнулась мне понимающей улыбкой.

— Ну, что ты к нему пристал, Боб, с этим спешить не обязательно.

Мы поболтали о чем-то еще, но я на всю жизнь запомнил, что мне тогда сказал Папа Бельмонт, и никогда больше не приносил домой тетради для проверки. Я стал проверять письменные работы прямо во время их написания, ходил по классу и подсказывал одному, поправлял другого. Очень скоро я выяснил, что при такой проверке ребенок лучше запоминает свои ошибки.

Шли дни, и мои отношения с классом улучшались. Поначалу многие ребята не могли себя заставить называть девочек «мисс», но постепенно привыкли. Заодно они стали больше следить за своим внешним видом, немножко присмирели.

Я беседовал с ними обо всем на свете, и часто звонок на перемену, обед или окончание учебного дня заставал нас в разгаре интересного разговора. Я пытался построить каждый урок так, чтобы они поняли: я хочу выработать у них умение рассуждать и думать самостоятельно, в этом и есть смысл их обучения. Способных в классе оказалось немало: Памела Дэр, Поттер, Тич Джексон, Ларри Силс, Фернман. Другие часто выказывали природную смекалку, которая не очень помогала им в учебе, зато была просто необходима в безжалостной борьбе за выживание — многие уже знали, что это такое. Час-

то меня просили рассказать о себе: где родился, учился, как служил в армии — и слушали такие рассказы с неподдельным интересом.

Впрочем, не все. Денэм и несколько его дружков держались с настороженной враждебностью и не упускали случая воткнуть мне шпильку. Видно было, что меня они не приняли, хотя и держались в рамках правил. Подчеркивая свою независимость, они продолжали ходить нечесаными неряхами. Их было немного, и я решил не обращать на их выпады особого внимания, теша себя надеждой, что когда весь класс будет на моей стороне, перестанут упрямиться и они.

Увы, все оказалось сложнее. Как-то утром на уроке географии мы беседовали об одежде. Речь шла о том, какую одежду носят люди в разных климатических условиях: эскимосы из зоны вечной мерзлоты — платья-шкуры; жители жарких краев, например карибского бассейна,— тонкие одеяния из хлопка.

— Учитель, а у меня дома есть журнал, и там черные женщины почти совсем без одежды, они танцуют, учитель, и все такое.— Писклявый голосок Тича Джексона выдавал его — вряд ли он изучал этот журнал в познавательных целях.

— Верно, Джексон, в тропиках люди обычно носят мало одежды. А некоторые племена с первобытной культурой не носят ее вообще — люди просто раскрашивают свои тела краской.

— Как древние бритты, учитель, они тоже себя раскрашивали.

— Вы правы, мисс Дэр, но следует помнить, что сначала краска использовалась как украшение, а не как средство защиты от климатических условий. Некоторые люди наносили на свои тела устрашающие узоры, чтобы вселить ужас в сердца своих врагов. Особенно этим отличались племена в Южной Африке и северо-американские индейцы.

— Они, наверно, здорово мерзли, учитель.

— Кто они, мисс Бенджамин?

— Ну, кто вы сказали, учитель, древние бритты, что ли.

— Не совсем так. Они жили в пещерах и надевали на себя шкуры животных.

— Вот бы посмотреть на такую пещерную женщину в норковой шубенке!

Денэм был тут как тут, никогда не упустит случая сострить. Язык у него подвешен. Весь класс засмеялся, и я вместе с ними — на сей раз он сострил удачно.

— Эти шкуры не были сшиты по современной моде, Денэм, тогда заботились только о тепле.

В ответ он промолчал, видимо обдумывая мои слова.

— С тех дней, когда древние бритты надевали на себя меховые шкуры прямо с тел убитых животных, мода на одежду во многом изменилась, прошла несколько важных этапов. Как раз сейчас в Музее Виктории и Альберта открыта выставка, посвященная этим изменениям. Если кому-нибудь это интересно, советую сходить туда в свободное время.

— А вы не сходите с нами, учитель?

Барбара Пегг. Крупная веснушчатая девчонка, с лица не сходит улыбка. Сейчас она смотрела на меня с надеждой. Тащить с собой эту толпу через весь Лондон — такое никогда не приходило мне в голову. Тем не менее я ответил:

— Что ж, мисс Пегг, если желающих будет много, я поговорю об этом с мистером Флорианом.

— Давайте, давайте, учитель,— раздалось сразу несколько голосов.

Тут откуда-то с задних столов послышалось хихиканье. Я посмотрел туда и увидел, что Денэм и его дружок Сапиано развлекаются с чем-то, спрятанным у Денэма в столе. Я подошел и откинул крышку. Внутри лежала «Уик-энд мейл», со страницы которой улыбалась

молодая красотка в чисто символическом бикини. Фотография и так не предназначалась для глаз школьников, Денэм же, орудуя карандашом, превращал ее в полную порнографию.

Я взял газету и закрыл крышку. Денэм, откинувшись на спинку стула, нахально скалил зубы — он хотел, чтобы я нашел газету. Не говоря ни слова, я разорвал эту мерзость на кусочки, вернулся к своему столу и бросил их в корзину для мусора. Уже стоя к Денэму спиной, я услышал, как он прошипел сквозь зубы, но довольно отчетливо: «Черное дерьмо». Я продолжал урок, словно ничего не произошло.

Денэма всего перекосило от злости. Он-то лез на скандал, может быть, рассчитывал даже сорвать урок, но затея его лопнула. Разрывая газету, я поймал несколько пар тревожно глядящих на меня глаз — все хорошо знали, что за фрукт этот Денэм, и удивленные взволнованные лица предупредили меня: жди сюрприза.

Ждать пришлось недолго.

## Глава 11

В четверг утром мне показалось, что класс охвачен ожиданием какого-то важного события. Во время перерыва все стояли у дверей класса и о чем-то шептались, но стоило мне подойти поближе, наступала тишина. Однако я не придал этому особого значения. Уроки шли хоть и без особого успеха, но более или менее нормально.

В полдень мы спустились в спортивный зал на урок физкультуры. Совсем недавно здесь была столовая, а сейчас место столов и табуреток занял спортинвентарь: конь, козел, стойки для прыжков в высоту, медицинские мячи, маты, через коня было переброшено несколько пар боксерских перчаток. Все ребята, за исключением одного, были босиком и в синих трусиках. В сторонке на низкой скамеечке сидел Сапиано, на правой руке его от кисти до локтя белел бинт.

— Строиться в центре зала,— скомандовал я.

Они быстро построились в два ровных ряда. Затем вперед шагнул Денэм.

— Извините, учитель.

— Пожалуйста, Денэм.

— Можно мы сегодня начнем с бокса, учитель?

— Зачем, Денэм?

— Да просто так, учитель, для разнообразия.

— Ну что ж,— ответил я.— Как хотите. Разбейтесь на пары по весу.

Разбивку сделали мгновенно, словно все было отрепетировано заранее. Без пары остался только Денэм.

— У моего партнера травма, учитель.— Он показал на перевязанного Сапиано.— Может, побоксируем с вами?

При этих словах остальные словно по сигналу медленно приблизились к нам и замерли в ожидании моего ответа.

— Подождите, а потом побоксируйте с Поттером или еще с кем-нибудь.

Наконец все стало на свои места, наконец я понял их коварный замысел.

— Да у них на меня уже дыхалки не хватит, учитель, а с вами было бы в самый раз.

— Давайте, учитель, набейте ему.

Такие болельщики мне сейчас были совсем ни к чему.

— Нет, Денэм, я думаю, матч не состоится.

Денэм с сожалением взглянул на меня, стянул с больших рук перчатки и небрежно уронил их мне под ноги. Он добился своего. Я быстро взглянул на ребят и прочитал на их лицах разочарование и презрение. Они решили, что я просто испугался этого грубого верзилу.

— Ладно, давайте.

Я взял с коня перчатки. Поттер со знанием дела зашнуровал их, а Сапиано, которому его таинственная травма, казалось, совсем не мешала, помог Денэму. Остальные, преисполненные ожидания, молча встали вдоль стены.

В первую же секунду я понял: репутация Денэма, как хорошего боксера, вполне оправданна. Двигался он быстро и бил точно, хотя вложить в удар всю силу ему не удавалось. Я в основном уклонялся и защищался как мог, решил, что надо просто продержаться какое-то время, а потом остановить бой. Как последний глупец, я позволил заманить себя в ловушку, теперь надо выходить из положения с минимальным ущербом — моральным и физическим.

— Давайте, учитель, набейте ему.— Я узнал голос Патрика Фернмана. В нем слышалось разочарование. Их, наверно, удивляла моя пассивность.

Вдруг Денэм оказался рядом и ударил меня в лицо. Ударил здорово, и глаза мои наполнились слезами, а во рту я почувствовал соленый привкус крови. Что ж, если парень настроен серьезно, тогда шутки в сторону. То ли вид крови на моем лице тому виной, то ли науськивание дружков, но Денэм сразу забыл об осторожности. Раскрывшись, он кинулся на меня и пропустил удар. Мой кулак угодил ему в солнечное сплетение, и Денэм, судорожно схватив ртом воздух, согнулся вдвое и рухнул на пол.

Какое-то мгновение все стояли, словно громом пораженные, потом Поттер и кто-то еще кинулись помочь Денэму.

— Стойте. Не трогайте его. Всем строиться на опорный прыжок. Кларк, соберите перчатки и сложите их у двери.

К моему удивлению, они выполнили эту команду без всяких возражений. Я подошел к Денэму и отвел его к низкой скамье у стены. Я просто сбил ему дыхание, больше ничего, вот-вот он будет в норме. Когда ему стало лучше, я продолжил урок, который прошел без сучка без задоринки. Ребята старались вовсю, выполняли все нужные упражнения — никаких подсказок или указаний с моей стороны. Они смотрели на меня, словно я, как по волшебству, прямо у них на глазах стал выше ростом.

Перед концом урока я отпустил класс и подошел к Денэму. Он еще не совсем пришел в себя.

— Удар получился случайно, старина, я и сам не ожидал. Знаешь, что? Дуй-ка в умывалку и сунь там голову под холодную воду. Сразу полегчает.

— Ладно, учитель. — Голос звучал неровно, но «учитель» было произнесено без колебания или издевки. Я помог ему подняться на ноги, он сделал знак Поттеру, и тот повел Денэма в сторону туалета.

Этот случай стал поворотным пунктом в моих отношениях с классом. Постепенно я заметил, что Денэм относится ко мне лучше, а вместе с ним и его дружки. Правда, он все равно не упускал возможности отпустить какую-нибудь колкость или шуточку, но теперь они не выходили за рамки приличий, а главное, в них не чувствовалось злобы и вызова. На занятия он стал приходить чистым, старался быть активнее на уроках, вел себя вежливее, и когда этот очаг сопротивления был в какой-то мере подавлен, класс сразу заработал на более высоких оборотах. Мало того, я вдруг ощутил, что и сам отношусь к ним по-другому. Я не просто испытывал удовлетворение оттого, что они внимательно меня слушают, выполняют мои указания и уважают во мне своего учителя. Я понял, что начинаю любить, по-настоящему любить их, всех вместе и каждого в отдельности. Поначалу я шел в школу с чувством легкого беспокойства и даже испуга, но полный решимости провести уроки хорошо,

потому что это была моя работа. Теперь я стал относиться к занятиям по-иному, мне хотелось учить их ради их же блага, и я искренне радовался, когда видел, что урок проведен не впустую. Общение с ними приносило мне радость, я с удивлением убеждался, что во многих отношениях они вполне взрослые люди. С каждым днем я узнавал их все лучше. Многие во время перемены оставались в классе, и мы разговаривали обо всем на свете.

Почти все они жили в больших семьях и понимали, как нужны и важны в жизни деньги. Многие считали, что им уже пора работать и хотя бы частично снять финансовое бремя с плеч родителей, да и свои потребности — одежда, косметика, развлечения — постоянно росли. Они говорили о супружестве и детях как о чем-то хорошо известном и понятном. Одной девочке даже пришлось принимать роды при появлении на свет братика, и она рассказывала об этом с материнской заботой.

Уроки все больше захватывали меня. Любую тему я старался давать на хорошо знакомых им примерах. Такой путь помогал им лучше усваивать новое, облегчал понимание абстрактных явлений. На уроках географии и истории мы беседовали и читали вслух, тут я имел счастливую возможность о многом рассказать из личного опыта. Уроки проходили живо, ребята задавали вопросы с неподдельным интересом, и часто звонок заставал нас за оживленной беседой, и никто не хотел расходиться.

Иногда на урок без предупреждения заглядывал директор, и его тоже втягивали в разговор на ту или другую тему. Это ему нравилось, и он с похвалой отзывался о моей работе. Как-то я высказал идею о походе в Музей Виктории и Альберта.

— Я бы не советовал,— ответил он.— В классе вы с ними как будто справляетесь, но вести их куда-то через весь Лондон — это совсем другое дело.

— Думаю, все пройдет нормально, сэр.

— Даже самые примерные дети, оказавшись за пределами школы и выйдя из-под бдительного надзора учителей, склонны встряхнуться и подурачиться. Ваших же учеников примерными никак не назовешь — пожалуй, они еще хуже других. В любом случае один вы не уследите за оравой в сорок шесть человек.

— Я бы хотел попробовать, сэр.

— Нет, Брейтуэйт, это исключено, но можно сделать вот что. Уговорите пойти с вами кого-нибудь из коллег, тогда я не возражаю. Правила Совета по школьному образованию категорически запрещают, чтобы один учитель выходил в город с такой большой группой учащихся.

— Я поговорю — может быть, кто-то согласится.

— Прекрасно, если она согласится, скажете мне, и я договорюсь о разрешении на этот поход.

Он хитро улыбался. Интересно, кого он имеет в виду?

— А что будет с ее собственным классом, сэр?

— Не беспокойтесь, я сам проведу в нем уроки.

В обеденный перерыв я рассказал о своем намерении мисс Бланшар.

— Вы не поможете мне с ними, мисс Бланшар?

— С удовольствием. Когда вы хотите поехать?

— Как только директор получит разрешение.

Все шло как нельзя лучше.

— А почему вы не обратились к мисс Клинтридж?

— Мне как-то не пришло это в голову.

— Понятно.— В глазах ее появилась игривая усмешка.

Когда остальные преподаватели вернулись с обеда, я рассказал о предстоящем походе и что мисс Бланшар согласилась мне помочь. Моя идея всем показалась по меньшей мере сомнительной. Я сидел

и выслушивал их возражения, как вдруг раздался стук в дверь. Уэстон открыл ее, и на пороге появился Патрик Фернман. Он спросил:

— Извините, учитель, мисс Дэр просила узнать, готов ли для девочек волейбольный мяч?

— Мисс кто? — Уэстон от удивления даже запищал.

— Мисс Дэр, сэр.— Фернман взглянул на озадаченное лицо Уэстона и добавил: — Памела Дэр, сэр.

Ничего не ответив, Уэстон отошел от двери и прислонился к камину, изображая из себя человека, до крайности удивленного. Я тем временем достал из шкафа со спортивными принадлежностями волейбольный мяч и передал его Фернману, который быстро исчез, в спешке сильно хлопнув дверью.

— Ах, черт возьми! — Уэстон улыбался, но улыбка была неискренней, за ней пряталась ухмылка.— Как вам нравится? «Мисс Дэр просила волейбольный мяч»! — Он театральным жестом указал в мою сторону трубкой.— Послушайте, старина, что вы там такое творите со своим классом? Вот эти светские обращения и тому подобное? Не совсем уместно в нашей скромной обители, вам не кажется?

— В самом деле? — поинтересовался я. Я и подумать не мог, что, если мои ученики станут лучше и вежливее себя вести, мне придется защищаться. Может быть, Уэстон шутит?

— Чего вы хотите этим добиться, старина? — продолжал он.— Его волосатая рука торчала из засаленного отороченного кожей рукава, как у огородного пугала.— Ставите эксперимент в области культурного воспитания, который потом принесет пользу миллионам?

— Не совсем так,— ответил я.— Просто упражнение в элементарной вежливости. Вас это беспокоит? — Меня начинала раздражать его улыбка и покровительственный тон.

— Беспокоит меня? Ни в коем случае, старина. Но скажите, пожалуйста, вы также обращаетесь к ним «мисс» или для себя вы сделали исключение в связи со своим... привилегированным положением?

Мы оказались в центре всеобщего внимания, и я почувствовал себя неловко.

— Да, я тоже обращаюсь к девочкам «мисс».

— Что ж, весьма демократично и вполне достойно одобрения,— похвалил он, и его фальшивая улыбка стала еще слаще.— А скажите, все мы, остальные неотесанные простолюдины, тоже должны следовать вашему примеру?

— Не обязательно. Просто у себя в классе мы договорились соблюдать некоторые правила вежливости.

— Ну, слава богу! А то я думал, что вместе с Денэмом и компанией мне тоже придется величать этих немытых девок «мисс».

— Вы боитесь, что мальчишки преподадут вам урок вежливости, мистер Уэстон?

Я не мог поверить своим ушам. Это была мисс Доуз. Она, оказывается, может выступить в защиту не только мисс Филлипс!

— Мне не нужны уроки хорошего тона от этих кретинов, да и от профессиональных девственниц тоже, если на то пошло.

Мисс Доуз вспыхнула, но тут же решительно продолжала:

— Если есть чему поучиться, так ли уж важно у кого?

— Молодец, Джози,— поддержала ее Клинти.

— Что ж,— резюмировал Уэстон,— кое у кого входит в привычку то и дело говорить: «Да, мэм», «Да, сэр».

Гротескная пародия на угодливого негра могла бы даже вызвать улыбку, но стояло за этими словами что-то вовсе не смешное, и я почувствовал облегчение, когда в разговор со свойственным ей тактом вмешалась Грейс.

— Кстати, Рики,— обратилась ко мне она,— а что такое вы сказали Висюле?

— Висюле? А кто или что это — Висюля?

— Не притворяйтесь. Я говорю о Джейн Персел из вашего класса. У которой...— Тут она процитировала: — «Ее от пут свободный бюст сулит надежду», ну и так далее.

— Да-да, понятно. Но я ничего не говорил ей лично. А в чем дело?

— Просто ее *вдруг стали сильно заботить, гм, ее молочные железы.— Грейс громко рассмеялась*, и смех этот нашел отражение на каждом лице.— Она спрашивает у меня, какой ей лучше носить бюстгальтер — не люблю это слово, я сразу представляю какую-то тару для горячих углей.

— А что? Очень похоже.— Клинти всегда найдет что сказать.

— Она знала, к кому обратиться за советом.— Совиные глазки Уэстона остановились на привлекательном бюсте Грейс. Голос его звучал похотливо, а под неопрятной бороденкой наверняка таилась сальная улыбочка.

— Вы тоже получите хороший совет, любезный друг.

Грейс произнесла эти слова ледяным тоном, и Уэстон замолчал.

Напряжение, возникшее в учительской, меня немного встревожило. Поначалу мне казалось, что красной тряпкой для сидевшего внутри Уэстона быка стало мое появление, но теперь я понял — я здесь ни при чем, определенные отношения сложились здесь еще до меня. Почти все учительницы были по горло сыты коллегой мужского пола, который включался в разговор с одной целью — отпустить саркастическое либо критическое замечание. Что касается Джиллиан, ее эти выпады не трогали. Она умела занимать позицию стороннего наблюдателя, и любая ссора как бы проходила мимо нее. Она словно была уверена: ее осанка и умение держаться создают прекрасный защитный панцирь. Мисс Филлипс поведение Уэстона оставляло равнодушной по другой причине: все свободное время в учительской она проводила в каком-то таинственном мире грез, категорически закрытом для всех, кроме мисс Доуз, и та тоже, за исключением сегодняшнего смелого выпада, тщательно оберегала их совместное загадочное действо от вторжения извне.

Но, в конце концов, столкновение в учительской не имело большого значения, лишь бы эхо от него не докатилось до классов. Ведь это школа, и на первом месте здесь не учителя, а ученики.

## Глава 12

После обеда я объявил, что поход в Музей Виктории и Альберта разрешен, и все были в восторге. Поход, сказал я, состоится в следующий четверг, и с нами пойдет мисс Бланшар, она поможет следить за порядком. Раздались одобрительные возгласы, и Памела Дэр спросила:

— А она обязательно должна идти, учитель?

— Обязательно, мисс Дэр. По правилам Совета по школьному образованию запрещается, чтобы сорок с лишним учеников выходили в город в сопровождении одного учителя.

— А мне мисс Бланшар нравится, она — в порядке.— На лице плутишки Тича Джексона загорелась восторженная улыбка.

— Заткнись, Тич, тебя не спрашивают.

Тич ошарашенно уставился на Памелу. Действительно, откуда такая враждебность?

— Джексон,— поправил он спокойно.— Моя фамилия Джексон.

Девочка показала ему язык и демонстративно отвернулась, тряхнув копной рыжих волос.

В четверг утром я заглянул к директору и получил у него письменное разрешение на поход, а уже потом открыл дверь в класс. Все сидели на местах и ждали. Увиденная картина поразила меня:

они были умытые, причесанные, аккуратные и подтянутые. Девочки оделись во все лучшее, на многих лицах — следы помады. Ребята тоже были в новых костюмах, и все лукаво улыбались, видя мое неподдельное удивление.

Одно место было свободно. Место Тича Джексона. Я провел по журналу перекличку, но это была чистая формальность, этот класс стал частичкой моей души, и я определял отсутствующих с одного взгляда.

Я собрал деньги на обед и ждал прихода мисс Бланшар, как вдруг в коридоре послышался какой-то шум. Я подошел к двери и распахнул ее. На пороге стоял огромный узел с грязным бельем. Откуда-то из-под него донесся возбужденный голос:

— Учитель, это я, Джексон. Вот должен матери бельишко на стирку отнести. Вы без меня не уходите, учитель, я мигом.

Не дожидаясь ответа, узел мгновенно исчез, а класс разразился хохотом, и мне оставалось лишь посмеяться вместе с ними.

Вскоре появилась Джиллиан, для удобства мы разделили класс на две группы, и, дождавшись Джексона, все двинулись к станции метро.

На Уайтчепел мы пересели на линию, ведущую в Южный Кенсингтон. В эти утренние часы свободных мест почти не было, и ребята рассыпались по двум вагонам, где и стояли группками в три-четыре человека. Я был зажат возле двери вместе с Мойрой Джозеф, Барбарой Пегг и Памелой Дэр, и они оживленно расспрашивали меня о том, что мы увидим в музее. Особенно им не терпелось взглянуть на изящные и сложные ручные вышивки, о которых им рассказала Джиллиан, и их искренний энтузиазм был мне очень приятен. На Кэннон-стрит в вагон вошли две хорошо одетые женщины средних лет и стали около нас. Я заметил, что они бросают в нашу сторону неодобрительные взгляды. Скоро до моего слуха донеслось туманное бормотанье насчет «бесстыжих девчонок и этих чернокожих».

Я почувствовал себя неловко, смутился. Может быть, девочки увлечены разговором и ничего не слышат? Но шепот был намеренно громким.

Первой их услышала Барбара Пегг, которая стояла к ним ближе. Она наклонилась к Памеле и что-то прошептала ей на ухо, та поменялась с Барбарой местами и оказалась рядом с женщинами. Горящими от гнева глазами она посмотрела прямо на них.

— Это наш учитель. Вам не нравится?

Она постаралась, чтобы голос звучал внушительно, и ей это удалось. Женщины не знали, куда девать глаза от стыда, потому что полвагона обернулось и посмотрело в их сторону — на дерзкую статную девушку и двух пунцовых дамочек, готовых провалиться сквозь землю.

В музее я вкратце напомнил ученикам, чего от них хочу. Они делятся на группы по шесть-семь человек, и каждая с карандашом и бумагой изучает какие-то особенности туалета средневикторианской эпохи: фасон, материал, вышивки, украшения, прически, парики и так далее. В одиннадцать часов мы встречаемся в столовой музея и выпьем по чашке чая, потом продолжим экскурсию и в двенадцать отправимся домой. Я попросил их вести себя тихо и не трогать экспонаты.

Мы с Джиллиан ходили от одной группы к другой, помогали, подсказывали. Изящная, очаровательная Джиллиан покорила сердца мальчишек — они так и вились вокруг, стараясь привлечь ее внимание.

Я и не думал, что мои ученики так заинтересуются историей. Это было приятное открытие. Уэстон намекал, что они ухватились за идею об экскурсии по простой причине: что угодно, лишь бы не учиться. Но на их лицах я видел неподдельный интерес, а по вопро-

сам было ясно — к экскурсии они готовились заранее. Они отнеслись к ней очень серьезно: делали рисунки, записи, шепотом обсуждали увиденное.

За чаем я сидел вместе с Джиллиан, Патриком Фернманом, Памелой и Барбарой. Посторонний, пожалуй, не определил бы, кто из трех девушек — учительница. Джиллиан и тоньше, и меньше обеих школьниц, к тому же те выглядели старше, чем обычно,— на губах алела помада. Особенно эффектный вид был у Памелы: красная гофрированная юбка, красные туфли на высоком каблуке, а завершала ансамбль модная красная лента, туго стягивавшая волосы. Через несколько лет она расцветет и станет настоящей красавицей.

— ...Им, наверно, было очень неудобно это носить.

Я поймал только конец фразы и виновато посмотрел на Джиллиан.

— Зато роскошь какая! Подумать — столько материала, и все на одно платье! — Круглое лицо Барбары светилось от возбуждения.

Разговор вращался вокруг выставленных в музее экспонатов. Увиденное, конечно, лежало за пределами их будничных интересов, но их замечания были на редкость точны. Выяснилось, что Фернман, родители которого работали в текстильной промышленности, неплохо разбирается в искусстве фламандских ткачей, его бабушка до сих пор ткет на ручном ткацком станке.

Мои ученики вели себя выше всяких похвал. Их поведение сделало бы честь лучшим школам. Денэм и Поттер, видимо, назначили себя старшими, ближе к двенадцати они стали ходить от группы к группе и всех собирать, а потом по моему сигналу повели класс к станции метро.

Держать рот на замке больше двух часов — нелегкая задача, в поезде они мигом ожили и с шумом и гамом, словно вырвавшиеся на волю мартышки, принялись обсуждать экскурсию. Иногда до меня долетало ставшее теперь обычным «учитель сказал...», и категоричность, с какой произносились эти слова, беспрестанно напоминала о лежавшей на моих плечах ответственности. Все сказанное мной они принимали полностью и безоговорочно, потому что приняли меня. «Учитель сказал» — теперь эта печать исключала для них всякие сомнения.

У школы ребята разбежались: кто в столовую, кто домой, а мы с Джиллиан пошли в учительскую. На обратном пути я ее почти не видел, и когда мы наконец сели и достали бутерброды, она призналась мне, что получила от экскурсии редкое удовольствие.

— Никогда не думала, Рик, что это будет так чудесно — побыть с ними вне школы.

— Отлично вас понимаю. Они замечательные мальчишки и девчонки — миссис Дру совершенно права.

— Дело даже не в этом. На обратном пути я разговаривала с Мойрой Джозеф и Эффи Крук. Разговор шел на равных, у меня даже возникло странное чувство, что они знают о жизни больше, чем я.

— Ничего удивительного. Мать Мойры больше двух месяцев лежит в больнице, кажется с туберкулезом, и на Мойре — весь дом. Двое младших учатся в начальной школе неподалеку, она их забирает и каждый день должна уходить с уроков пораньше, с разрешения директора.

— Господи, как это ужасно!

— Едва ли это ей в тягость. Скорее наоборот. Она мне рассказывала, что отец, мол, не нахвалится, как она готовит. По-моему, подходить ко всем с одной меркой и считать их всех детьми — это ошибка.

— Ну, я бы их так называть не стала, по крайней мере многих. Ваша Памела Дэр, я заметила, влюбилась в вас вполне по-взрослому.

Я смотрел на нее, не зная, что сказать. Женщинам иногда такое приходит в голову!

— А вы разве этого не заметили? — Она улыбалась, но голос звучал серьезно.

— Нет. Ко всем в классе я отношусь одинаково и не давал никакого повода...

— Не будьте наивны, Рик. Конечно, не давали, но разве это имеет значение? Такое случается часто, вы не первый. Наверняка и среди моих малышей есть такие, которые умирают от любви ко мне.— И она залилась своим серебристым смехом. Разве будешь на нее сердиться? — Я слышала, в метро вам немного попортили нервы.

— Ну, это мелочи.— Я рассказал о случае в вагоне и как Памела лихо поставила дамочек на место. Джиллиан посмотрела на меня долгим, внимательным взглядом.

— Рик, похоже, как раз вы и считаете, что они дети. Но Памела Дэр не ребенок, уверяю вас. Она женщина, в полном смысле слова.

— Не знаю, Джиллиан, не знаю. Я, по крайней мере, ничего особенного в этом ее поступке не нахожу.

— Думайте как хотите. Впрочем, винить эту девочку не в чем — далеко не всякая устоит перед таким мужчиной.

Одна фраза — и вдруг все изменилось. В отношениях между нами возникло что-то новое, неожиданное. Я и обрадовался, и смутился. Под каким-то глупым предлогом я быстро покинул учительскую и пошел в свой класс. Нужно было собраться с мыслями. Ее слова застали меня врасплох. А может, я просто наивен и спешу с выводами, придаю обычной фразе слишком много значения? Джиллиан мне очень нравилась. Хорошие товарищеские отношения между нами были для меня светом в окошке, и я искренне желал эту дружбу сберечь.

Не скажу, что в Англии я вел аскетический образ жизни. В студенческие годы у меня были подруги, отношения наши носили временный характер, и обе стороны так на них и смотрели. А когда начались напряженные летние будни и каждый вылет мог оказаться последним, секс стал неотъемлемой частью нашей жизни. Как и мои коллеги, я встречался с девушками, цвет моей кожи не играл никакой роли. Собственно, он мне даже помогал. К тому же я был хорошим спортсменом: играл в регби, футбол, теннис, крикет, занимался легкой атлетикой. Так что в отношениях с женщинами у меня были свои преимущества. Кое-кто из моих менее везучих коллег не без зависти намекал: женщинам просто охота проверить, правда ли, мол, что в постели негры не знают себе равных. На самом деле жизнь свела меня с несколькими милыми девушками, и я искренне надеюсь, что не приобрел сомнительной репутации героя-любовника.

Но все это в прошлом. Сейчас надо было приспосабливаться к новым, совершенно иным условиям, и каждый шаг приходилось тщательно обдумывать. Я нередко замечал неодобрение на лицах англичан, когда они видели белую девушку в обществе негра. Случай в метро — прекрасное тому подтверждение. Сидеть с Джиллиан в тишине учительской — одно дело. Подставлять ее под недобрые взгляды мстительных обывателей — совсем другое. Долго ли продержится наш союз? Ведь эти злобные, презрительные взгляды означают одно: ты вывалялась в грязи, растоптала собственное достоинство, твое поведение — позор для женщины! Не дрогнуть перед таким натиском могут только очень сильные духом.

Казалось, в Англии действует неписаный закон, по которому любой физически здоровый негр, живущий здесь, должен быть от природы женоненавистником либо искусно делать вид, что женщины его не интересуют. А воспользуйся он услугами проституток или женщин легкого поведения, его немедленно заклеймят как низменного

и растленного типа. Какая бесчеловечность! Нам отказывали в элементарном праве — быть мужчинами.

Я все думал об этом, но мысли мои прервала вошедшая в класс Джиллиан. Ее обычно спокойное лицо как-то посуровело. Я поднялся ей навстречу.

— Почему вы убежали, Рик?

— Так, пустяки. Надо было кое о чем подумать.

— Неужели это не могло подождать? — На побледневшем от волнения лице драгоценными камнями сверкали темные глаза.

— Могло, конечно. Какая-то детская выходка. Простите меня.

— Это из-за того, что я сказала? — Губы ее чуть дрожали. Как мне хотелось обнять ее!

— Отчасти. Просто, когда вы говорили, я вдруг ясно кое-что понял.

— Поняли? Обо мне? О нас?

— Да.

— Я тоже, Рик.

Я смотрел на нее, чувствуя, что пол плывет у меня под ногами. Все происходило так быстро... Уж не снится ли мне это?

— Вы сердитесь на меня, Рик?

— Сержусь? Что вы!

— Вот и хорошо.— На ее лице снова засияла улыбка. Я всегда восхищался этой улыбкой. Она начиналась с едва заметного подрагивания возле уголков рта, потом вдруг вспыхивала молнией и зажигала глубокие бездонные глаза.

— Увидимся после уроков.— И она ушла, а я остался — смущенный, ошарашенный, но безумно счастливый.

На следующее утро я немного опоздал к первому уроку. Ох уж эти электрички, совсем перестали ходить по расписанию. Их почему-то обязательно задерживали перед какой-нибудь станцией, и выбора у меня не было, приходилось ждать. Когда я вошел в класс, все сидели на своих местах. Раздалось дружное, в один голос, приветствие:

— Доброе утро, учитель!

Я застыл на месте от удивления, только потом ответил им. Такого раньше не было. Обычно здоровался с классом я — перед перекличкой, а отвечал, кто хотел, по настроению. И вдруг такое...

Успокоившись, я подошел к столу, и тут меня ждал еще один сюрприз. В центре стола стояла большая ваза, в ней — скромный букет цветов. Эти цветы собрали на крошечных задних дворах, вытащили из оконных горшков — на некоторых виднелись следы земли. Но для меня это был самый прекрасный букет в мире, ведь они благодарили меня, благодарили всем классом! Я повернулся к ним, увидел довольные, улыбающиеся лица и от всего сердца произнес:

— Спасибо, большое вам спасибо.

*(Окончание следует)*

---

**ЗАГОТ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ** (род. в 1946 г.) Советский переводчик. В его переводе вышли романы английских писателей Б. Хайнса «Цена угля», Д. Френсиса «Последний барьер». Переводил рассказы ирландских писателей Ф. О'Коннора и Б. Фрила, американских писателей Ф. С. Фицджеральда, К. Вонегута, Ш. Андерсона, Н. Мейлера, Дж. Херси и других современных англоязычных писателей.

# ПЕНТТИ СААРИТСА

## *Стихи разных лет*

■

*Перевод с финского ПАВЛА ГРУШКО*[1]

■ ■ ■

За окном виден фронтон дома который я
видел столько раз
во все времена года и при любом освещении
и нынче вечером когда мой бокал не пустеет
я замечаю посреди штукатурки окошко
хотя еще вчера я бы поклялся что передо мной
глухая стена которую я всегда видел
ненавижу консерватизм

■ ■ ■

Все мы несем в душе
историю человечества
эту стену слез и голода
медленно движущийся рубеж
конечного отчаяния
все мы прижаты спиной
к этой холодной стене

если знобит
и ты знаешь отчего
сделай хотя бы короткий шаг
но вперед

отодвинься от стены
а там она и сама отступит
отодвинься от стены
и тебе станет теплее

шагая нагонишь
товарищей
идущих впереди

© Pentti Saaritsa, 1977, 1978, 1979, 1981.

1 Выполнить эти переводы помог мне специалист по финскому языку и литературе Юрий Каява. (Прим. П. Грушко.)

**ПЕНТТИ СААРИТСА — PENTTI SAARITSA** (род. в 1941 г.). Финский поэт и переводчик поэзии, в том числе русской, испанской и стран Латинской Америки. Автор двенадцати книг стихотворений, собранных в большую антологию, откуда взяты публикуемые стихи («Runoja. 1965—1982». Kirjayhtymä, 1983).

■ ■ ■

Несчастный Мидас
король поэтов
все к чему он ни прикоснется
становится словами
которые в состоянии усвоить
только он сам

## *Многоликость женщины*

1

Именно она, которой надо бы,
не вышла замуж.
Справедливо ли? Наверно, нет.
Теперь в ее глазах блестит зависть,
при этом она неприступна — знает:
когда нельзя жить тем, что есть,
живешь тем, чего нет.

2

Как-то я
потерял ее из виду.
Отошел подальше,
чтобы лучше видеть.
Это ее оскорбило — жаль.

3

Вот она произнесла
фразу без конца и начала,
я заглянул ей в глаза
и обнаружил на своих губах
улыбку мудрствующего старца.

4

Она ушла злая и печальная,
хлопнула дверью так,
что все порушилось.
Я остался один — словно вышел
из кино на пустынную улицу.

5

Счастье — такое краткое, странное.
От него один шаг
до несчастья:
были счастливы мгновение
и тут же испугались.

6

Говоря, она небрежно сбросила с плеча
мою руку: та упала не так уж безвольно,
обида длилась миг,
потом перешла в боль.

7

Мне часто хочется сказать,
что я люблю ее,
но в памяти, в связи с этим словом,
всплывает столько грязи.

Поэтому трудно говорить,
хотя слова многое облегчают.

8

Она поняла, какой я на самом деле.
Быстро отвела взгляд и стала
совсем-совсем чужой,
а я подумал, что отныне
несмотря ни на что мне придется
уживаться с тем, что называется
моей жизнью.

■ ■ ■

Ему теперь год
ведь возраст
измеряют именно так

Он еще не знает
что мыслит
вот и плачет
когда не сознает
что хочет спать

Прижавшись к подушке
он смотрит
на мои сомкнутые веки
играет моей бородой
трогает мои губы

Но наплывает
сон
он второпях давится
несоленой слезкой
и засыпает

■ ■ ■

Ты в моей жизни—
само естество,
которое ценишь, лишь утрачивая,—
как солнце, воду.
Любви не нужны ни стихи, ни свидетели,
она пишет себя сама
невидимой прописью существования.

■ ■ ■

Седьмой, восьмой, девятый вал
тоски:
рушится крепость, бушует вода.
Я борюсь, захлебываюсь
в водовороте,
из последних сил
выныриваю,

и вдруг телефонный звонок
и голос трехлетнего сына:
«Ты где?»

И все мы опять вместе.

## *Весть*

Всю эту летнюю ночь я переводил,
и сейчас, когда свет дня сделал
невидимым свет лампы,
очнулось сознание — и в зеленой дали
ожило детство.
Сквозь дебри молодости
оно доверчиво смотрит
на склонившегося над столом полуночника
скользит взглядом по виску,
по моим глазам, следящим за ним,
настигая среди снега бумаг
образ прошлого,
тень человека, который, оглянувшись,
продолжает свой путь,
пока не исчезнет.

Душа неповторима, и она,
подобно крови, всегда жива.

## *Dagenefter* [1]

Время разинуло
свою огромную пасть
и не спеша закусило
еще одним днем.

## *Тропики*

Может быть, путешествие
и не столь необходимо.
Зато идея путешествия!
Неосуществленное путешествие может запомниться,
осуществленное — забыться,
Но если можешь —
в путь.

Ничто так не согревает,
как билет в кармане на завтра.
Знакомый пиджак на вешалке
преображается у тех, кто собрался в путь,—
становится сказочным плащом-невидимкой,
счастьем и беспечностью,
бе́гом и развевающимися по ветру по́лами.

[1] Здесь: похмелье *(шведск.)*.

## *Воспоминания о Боготе*

Она устала от дневных игр,
решила поспать.
Она склонила голову к колену брата,
а брат свою — к ее голове.
Всего несколько движений —
и найдено самое удобное положение.
Она покрывает голову газетой,
а другой газетой — голову брата:
это субботняя «El Tiempo»,
толстая и теплая.
Потом она закрывает глаза,
глаза шестилетней девочки,
и проверяет на ощупь, здесь ли брат,
а тот, пятилетний, уже дремлет.
Она шарит маленькой рукой,
удостоверяется, что брат рядом.
Потом они засыпают — оба.
Все это для них привычно.
Они спят посреди улицы, в Боготе.
Никто не расскажет им вечернюю сказку.
На другой стороне, в боковой улочке, ночь съедает
неряшливую косметику на лице их матери.
А наутро их снова ждет схватка
с воскресной Боготой.

■ ■ ■

Колумбийский график пьет кофе.
За темными очками поблескивают глаза,
но выражения лица не понять.
Его руки немного дрожат,
когда он рассказывает,
как в нью-йоркской больнице
политических потчуют лазером,
как страх обволакивает тебя,
а одни и те же фразы
начинают стучать в гибнущем мозгу,
когда нарастает боль.
Родные не хотят с ним знаться,
любимая считает безумным.
Теперь у него нет никого, остались одни рисунки.

И мне, быть может, не стоило сюда заходить.

■ ■ ■

Я приглашаю тебя,
тоска в рост человека.
Ты хочешь танцевать,
я тоже,
но в мире нет
музыки.

## *Книга в тропиках*

В тропиках книга меняет свою сущность,
ее страницы впитывают
тропический морской климат.
В тропиках книга влажнеет и становится
подозрительно мокрой, как африканская ассигнация
в кармане летнего пиджака, в зной.
В тропиках книга становится мягкой
и как бы больше пригодной для забвения.
Первое пятно появляется само собой,
без хлеба с маслом, не от перелистывания.
В безграмотных тропиках в одно прекрасное утро
книга превращается в подставку для кастрюли.
Кляня недостаток духовной культуры,
профессор скандинавской литературы бродит
в тропической ночи,
разглядывая чернокожих проституток,
язык у него влажен,
подобно странице тропической книги.
В тропической ночи, никому не нужный,
старый профессор забредает
в сомнительный переулок к чернокожим блудницам.

## *We hope you can soon come back* [1]

В синем автобусе он читает письмо,
держа его так, что мне видно,
читает письмо,
складывает его и сует в карман.
Тут же достает снова,
разворачивает и опять читает —
письмо, которое начинается словом «Дорогой!»
На обороте
оно заканчивается детским почерком
на суахили, хотя все письмо
на английском, и читает его в Финляндии
человек с необычным здесь цветом кожи,
он снова кладет письмо в конверт,
а конверт в карман.
Взгляд его устремлен
на холодную воду под мостом,
плечи задумались, и вот —
письмо опять в его руках,
он достает его из конверта
и начинает читать, на чужбине,
в легком пальто, в мороз, в третий раз —
все то же письмо, начинающееся словом...
В который раз его читает преследуемый
беглец?

[1] Мы надеемся, что ты скоро сможешь вернуться *(англ.)*.

**ГРУШКО ПАВЕЛ МОИСЕЕВИЧ** (род. в 1931 г.) Советский поэт, переводчик. Публиковались его переводы из поэзии Луиса де Гонгоры, Лопе де Веги, Хосе Эспронседы, Антонио Мачадо, Хуана Рамона Хименеса, Федерико Гарсиа Лорки, Пабло Неруды, Сесара Вальехо, Николаса Гильена, Элисео Диего и других испанских и латиноамериканских поэтов. Переводил также современных поэтов США. Автор пьесы в стихах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» по мотивам драматической кантаты Пабло Неруды; статей по проблемам художественного перевода и творчества писателей Латинской Америки.

# ПЕТЕР АНДРУШКА

## *Рассказы*

*Со словацкого*

### От автора

Существует мнение, что романы читаются охотнее, чем рассказы. И в литературных кругах установился взгляд, что только в романе мастерство писателя проявляется в полной мере. Но с этим трудно согласиться: достаточно вспомнить Чехова и других великих рассказчиков. Естественно, что и словацкие писатели выступают с рассказами, и надо сказать — неплохими. Большинство наших современных авторов начинали именно с рассказов. Но у меня получилось по-другому. Моя первая прозаическая книга, «Дорога под соснами», была повестью, затем я выпустил ряд романов и только потом обратился к жанру рассказа; и рассказы нашли своих читателей. Так было со сборником «Жаркие годы», а особенно с книгой рассказов «Визит Вийона». Меня это порадовало, ибо я считаю, что жизнь книги начинается не с ее выхода в свет, а лишь тогда, когда она попадает в руки читателей.

В чем же успех той или иной книги? Ответить на это можно по-разному, но бесспорно одно: читатель предпочитает книгу, которая близка ему, которая затрагивает волнующие его темы, говорит о том, как с мучительными и для него трудностями справились герои произведения.

В моей второй книге рассказов «Визит Вийона» критика отметила именно титульный рассказ, и это очень поддержало меня в моих поисках. Ведь мне хотелось написать современный, максимально современный рассказ, который помог бы человеку выбраться из лабиринта проблем, им же самим созданных, так как он не нашел в жизни прямого пути. И Вийона я «пригласил» в свой рассказ не без умысла. В нашем традиционном представлении этот поэт — бунтарь и возмутитель спокойствия. Мы не задумываемся над тем, что это очень суженное представление о Вийоне — человеке проницательном, смелом, не боявшемся сказать своим современникам горькую правду, причем говорил он ее всегда с улыбкой. В моем рассказе стихи Вийона цитирует шофер, человек простой, которому наше общество дало все возможности духовного роста, но, увы, небезупречное поведение жены героя приводит его к трагическому концу. Мне хотелось обратить внимание читателя на то, что современный человек не всегда способен жить в ладу с идеалами нашего общества, он отстает от них, причем отстает потому, что так ему удобнее. Считаю прямой обязанностью писателя обнажать в своих произведениях те подводные рифы, которые мешают человеку активно жить и ввергают его в критические ситуации.

Я был бы очень рад, если бы читатели журнала «Иностранная литература» восприняли эти мои рассказы как попытку показать «горячие дни» современного человека, его блуждания и победу над самим собой. Искусство становится правдивым не потому, что показывает жизнь, исходя из представлений художника, а тогда, когда художник видит ее такой, какая она есть на самом деле. Задача художника — вносить в эту жизнь идеалы общества, в котором мы живем, искать и находить в жизни героев место для этих идеалов. Ведь общество всегда устремлено вперед, иначе жизнь не имела бы смысла.

© Peter Andruška, 1983.

**ПЕТЕР АНДРУШКА — PETER ANDRUŠKA** (род. в 1943 г.) Словацкий писатель. Автор прозаических книг «Дорога под соснами» («Cesta pod borovicami», 1973), «Часы с кукушкой» («Hodiny s kukučkou», 1974), «Память сердца» («Pamät srdca», 1976), «Жаркие годы» («Horúce leta», 1977), «За горами мой дом» («Za horami je môj domov», 1979), книг для юношества «Никому не скажу» («Nepoviem nikomu», 1978), «Двое из серебряного леса» («Dvaja zo strieborného lesa», 1980), двух поэтических сборников. Предлагаемые рассказы взяты из сборника П. Андрушки «Визит Вийона» («Villon na návšteve». Bratislava, Slovenský spisovatel', 1983).

# *Саженцы*

Распрощавшись с Михалом, я сошел с поезда и направился к дому. Медленно брел я по залитой солнцем улице: все предвещало скорый приход весны. Я шел долго, гораздо дольше обычного. Поднявшись лифтом, увидел, что Антония уже поджидает меня в дверях. Сердито спросила:

— Что это за фокусы, скажи на милость? Слоняешься невесть где... Я уж было подумала, что тебе домой не хочется возвращаться!

— Ну что ты, хочется, конечно, хочется, почему бы не хотелось? — бормотал я, понимая, что веду себя как-то неестественно, но мне неохота было рассказывать ей все наспех.

Антония принадлежит к той особой породе женщин, которые не очень-то пекутся о своих мужьях, и все же я считал нужным объяснить ей причины своих столь необычных странствий среди высоченных серых чудовищ нашего бетонного квартала.

— Я ведь тебе рассказывал о нем,— заговорил я с Антонией после ужина, когда дети были уже в постели.— Мы иногда ездим вместе в Братиславу. Это вполне приличный человек и вот теперь попал в передрягу. Он просто из головы у меня не выходит. Довольно любопытный случай. Ужас какой-то: и чего только не случается с людьми...

Антония слушала молча, помешивая ложечкой чай. И хотя лицо ее оставалось неподвижным, а глаза упорно разглядывали тщательно отутюженную цветастую скатерть, я знал, о чем она думает: «Ты опять весь в чужих заботах, забиваешь себе мозги чужой болтовней, от которой и сам чудить начинаешь, ходишь как потерянный. Ты забываешь, что и нам бывает несладко и что ради нас ни один из этих твоих горем убитых случайных знакомцев не станет ломать себе голову». Конечно, она права. Мне даже захотелось, чтобы она произнесла это вслух, чтобы я мог услышать ее мысли. Тогда бы я с удовольствием заверил ее, что полностью с ней согласен, но и добавил бы, что все равно оставлю за собой право на собственное мнение. Даже, быть может, объяснил бы Антонии, что не у всех жизнь складывается так удачно, как у нас, и потому мы не должны забывать и о тех, кто нуждается в нас, нуждается хотя бы для того, чтобы поделиться с нами своими невзгодами. И конечно же, наш разговор мог бы кончиться ссорой, как обычно и кончаются наши беседы подобного рода — ведь Антония считает, что все это ерунда, для меня же такие вещи значат очень много, намного больше, чем те пустячные проблемы, с которыми мы ежедневно сталкиваемся и пытаемся разрешить без чьей-либо помощи: кстати, Антония не учитывает такого простого факта, что мы вовсе и не нуждаемся в посторонней помощи — ну, поцапаемся, а если наша размолвка и затягивается, то каждый из нас живет себе припеваючи, как ему вздумается — ему и помощь ничья не нужна.

— Послушай,— обратилась ко мне Антония с самым серьезным видом,— уж не тот ли это Михал, для которого мы так усердно ищем саженцы?

— Он самый,— обрадовался я: наконец-то она проявила интерес,— он решил посадить виноградник... ну, в общем, небольшой виноградник... это приличный человек, Антония!

— Однако,— Антония не обратила никакого внимания на мои слова,— я должна тебе сказать, что этот твой Михал уже изрядно действует мне на нервы. Знаешь ли ты, как я набегалась из-за этих саженцев!

— Антония, прошу тебя! — попытался я повысить голос в надежде, что это как-то подействует на нее, но она продолжала:

— Да-да, к твоему сведению: пока вы болтаете о ваших так называемых проблемах, пока он морочит тебе голову своими россказнями, я обзваниваю людей, бегаю по всей округе, ищу, умоляю, даю взятки...

— Думается, все это не так уж страшно...

— Нет, страшно, дорогой мой! Страшно! Чтоб достать приличные саженцы, требуется гораздо больше усилий, чем купить машину.

— Ну скажи, почему ты опять заводишь разговор о машине? Ведь ты прекрасно знаешь, что я не собираюсь ее покупать!

Антония вцепилась в волосы. Это был ее привычный жест отчаяния.

— Ах, да, верно! Ведь ты не хочешь! Не собираешься! «Дорогая, хватит с нас и сада». Для чего мы будем подвергать себя опасности, когда мы можем спокойно бродить по нашему садику, выращивать морковку, петрушку, клубничку, виноград, а после сооружать чучела, чтобы скворцы не поклевали его!

— Пока что скворцы клюют только вишни.

— Вишни или виноград — не все ли равно! Саженцы-то приходится доставать мне!

— Не обещала бы, я и сам бы их достал. Причем давно!

Антония окинула меня взглядом, полным искреннего, неподдельного гнева, а вместе с тем и презрения.

— Ох, Эмилек, расскажи-ка ты это лучше своему Михалу. Пусть он тоже над тобой посмеется.

— Вот и отлично.— Злоба захлестнула и меня, хотя теперь я уже не знаю, точнее, не уверен в том, действительно ли это была злоба или, может, жалость, а может и опасение, угрюмое предчувствие того, что из-за какого-то моего знакомого рушится все, что мы создали с Антонией, весь этот прекрасный, спокойный мир, хотя и не без ссор и недоразумений, но все-таки в основном радостный, потому что мы вместе, у нас семья... Пожалуй, это была злоба, оскорбленная гордыня, иначе бы я не сказал: «Эти саженцы можешь не доставать! Я не посажу ни одного куста и Михалу их не дам. Черт с ней, с этой «франковкой»[1], с вином! Мы продадим сад и купим машину! Каждую субботу мы станем катать детей — пусть полюбуются красотами Словакии! — а в понедельник будем отправляться на работу, переполненные впечатлениями и по горло сытые дорожной нервотрепкой. Мы будем счастливы, и все будут нам завидовать. Как ты завидуешь каждому!

— Это я-то каждому завидую? — Антония залилась краской.— Вот этого ты, Эмиль, не должен был говорить. Нечего было демонстрировать свое ничтожество! Боже мой, за все эти годы, что мы тут обретаемся, живем, как замурованные, в этой проклятой квартире, ты даже не понял, что чувство зависти чуждо мне?

— Хорошо, Антония, ты права. Прости,— покорился я.— Прости, я сказал необдуманно, я устал, чувствую себя неважно... Просто... Мне нужно все это как-то осмыслить. Пойду немного посижу на балконе.

Антония была чутким человеком и все поняла. Молча встав из-за стола, она отодвинула чашку с недопитым чаем и отправилась в спальню. Другой бы на моем месте сбегал за бутылкой и потом вместе с женой распил ее. Перемирия ради. Я же не сделал этого. Голова моя была занята Михалом, мне даже казалось, что его судьба чем-то напоминает мою собственную, хотя моя жизнь с Антонией складывалась совсем иначе. А впрочем, кто знает...

Взяв бинокль, я вышел на балкон. Без особого интереса оглядел освещенные окна ближайших домов и, обнаружив, что всюду

[1] Сорт винограда. *(Здесь и далее прим. перев.)*

царит мир и покой, почувствовал, что под сердцем у меня снова кольнуло. Не из-за ссоры с Антонией. Я подумал, что пока это огромное множество людей, этот огромный человеческий улей тихонько жужжит, укрепляя соты и воспитывая новых тружеников, где-то далеко отсюда мой знакомый придавлен неприятностями. Волей-неволей я все время мысленно возвращался к нему. Этого Антонии не понять. Да, я пообещал ему саженцы, хорошую рачанскую «франковку» и даже «королеву», и сделал это искренне, от всей души, потому что видел, что и ему доставляет радость копаться в саду, знал я и то, что, роясь в земле, он забывает об этой сумасшедшей фурии, которая преследует его, хотя уже много лет не имеет на него никаких прав. Конечно, Михал совершил ошибку, совершил ее уже тогда, когда решил жениться на ней, когда из-за нее взвалил на себя кучу неприятностей, которые напугали бы и более уравновешенного и сильного человека. Я уважал его за смелость, за целеустремленность, но мне было и жаль его. Виданное ли это дело, чтобы взрослый человек позволил себя так окрутить, так подчинился жене, которая не уступает ему даже в мелочах? А его избранница Магдаленка и не думала ему ни в чем уступать! Ей и в голову не пришло отступиться от тех условий, которые она ставила ему, выходя за него замуж. Возможно, я был просто на стороне Михала, полностью находился под его влиянием (ведь отношение Магдаленки ко всей этой истории я не знал) и потому в моих глазах все приобрело такой характер, но это было далеко от истины...

Словом, вышло так, что Михал стал жертвой. Заполучил обыкновенную девчонку, да к тому же еще и радовался, что женился на ней вопреки всем препятствиям. Я, правда, не утверждаю, что это были обычные препятствия или что они были придуманы нарочно, чтобы отравить жизнь моему знакомому. Я так не считаю. Пусть эта история скажет сама за себя. А я лишь повторю то, что узнал от Михала и что захватило меня до такой степени, что на какое-то время я зыбыл о своих собственных заботах, об уйме больших и маленьких проблем, которые моя Антония так старательно копила для того, чтобы по своему разумению подсовывать мне их под нос, давая понять, что настало время их решать. А уж коль так случилось, то не моя вина в том, что собственные дела стали меня занимать меньше, чем судьбы других людей. Наверное, это связано еще и с моей профессией. Ведь ни один страхагент не обходится без того, чтобы не вникнуть в жизнь своих клиентов, пусть даже потенциальных. Чем ближе узнаешь человека, с которым намереваешься заключить страховой договор, тем определеннее твой шанс на успех. Я, конечно, не гарантирую людям их безопасности, моя задача куда скромнее: я должен пополнять число клиентов, страховать их на случай несчастья, убеждать в том, что хоть деньги еще и не все, но в тяжелые минуты жизни с их помощью можно прийти к правильному решению, а то и выпутаться из неприятной истории — без денег же человек чувствует себя как карась на сковородке... Не подумайте только, что я собирался заарканить Михала страховкой. Дружба для меня — святое дело, ни о чем таком я и не помышлял. Кроме того, Михал не принадлежал к моему участку. Мы встречались изредка, за разговорами сблизились — и это было все. Моя ли вина в том, что он слишком словоохотлив и обычно выкладывал мне гораздо больше того, что принято даже между друзьями, что он был слишком откровенен, посвящал меня в сугубо личные дела, в те не очень-то приятные подробности, которые так красноречиво говорили о его окружении, о людях, среди которых он жил.

Когда я был маленьким, родители не слишком-то заботились о моем религиозном воспитании. Сколько я себя помню, церковь всегда была от меня столь же далека, как Аляска, и с Михалом — о чем я узнал во время наших совместных поездок в столицу — дело обстоя-

ло точно так же. Более того, выходец из культурной семьи, Михал был абсолютным безбожником. Тем труднее было ему с Магдаленкой. Привлекательная — хотя красивой и не назовешь — девушка вначале охотно прощала ему его «языческие взгляды», и это великодушие одобряли даже ее родители, очень строгие и принципиальные в других вопросах. Но на одном она настаивала, пользуясь словами своей матери: «Паренек, ты поведешь мою дочь к алтарю. Иначе брак не состоится». Конечно, бракосочетание состоялось. Михал был хорошо воспитан, вежлив, трудолюбив, надежен, старателен и утешал себя так: «Как только эти пуритане узнают, что их дочка подзалетела, они заговорят по-другому. И я наплюю на их алтарь!»

Когда об этом плане Михала я рассказал Антонии, она высмеяла меня. Так же посмеялись над Михалом и родители Магдаленки. Его козырь вовсе не вывел их из равновесия.

— Мы вырастили дочь, воспитаем и ее отпрыска! Это для таких, как ты, нет ничего святого на свете!

Вы скажете — известная демагогия! Отнюдь нет. Это была хорошо продуманная тактика, ставка на сознательность Михала.

— Этот баран, дочь моя, женится на тебе,— заверил однажды вечером Магдаленку ее отец, не обращая никакого внимания на то, что молодой человек стоит под окном и в волнении курит одну сигарету за другой.

А Михал? Несмотря на всю нервотрепку, на все страхи, вызванные предстоящими заботами, он — по уши влюбленный — был глубоко убежден, что со временем, под его влиянием, Магдаленка покинет царство мрака. Так что в конце концов он охотно подчинился тем условиям, которые ставили ее родители, и с традиционным божьим благословением отправился в путь за семейным счастьем.

Естественно, осложнений он не избежал — ведь, как говорится, каждая палка о двух концах: незадолго до свадьбы он получил разнос на службе. Напрасно Михал пытался объяснить, что без венчания в костеле Магдаленка не выйдет за него замуж, а он должен жениться на ней — ведь у них будет ребенок; на собрании во всеуслышание его упрекали в беспринципности.

— Товарищи, я принимаю ваши упреки,— сказал Михал с чисто юношеской запальчивостью,— принимаю и одновременно обещаю вам: очень скоро я докажу, что с моей стороны это была не беспринципность, а хорошо продуманный шаг, нацеленный на то, чтобы, подчинившись желанию моей будущей супруги и завоевав ее доверие, подвести ее затем к тому значительному моменту в жизни, когда она безоговорочно примет мои убеждения как свои собственные. Или вы в этом сомневаетесь?

Михал был уверен, что своим метким вопросом он моментально обезоружит тех, кто не верил ему, кто сомневался, но случилось так, что ответом на его вопрос явился новый вопрос:

— У нас нет оснований сомневаться, вернее, пока нет,— с милой улыбкой ответила одна из его немолодых коллег,— но все мы тут присутствующие хотели бы знать, беседовали ли вы со своей нареченной, которую вы, конечно же, очень любите, о своих убеждениях?

Замешательство Михала продолжалось лишь мгновение.

— Разумеется, мы говорили обо всем. И о том, что я верю только в свою работу, в людей, которых знаю, а она, мол, верит кроме всего прочего еще и в помощь, которая... словом, сверхъестественного происхождения...

Он бы говорил, наверное, долго, обосновывая свои положения,— ведь он хорошо знал, что, если хочешь утолить человеческое любопытство, хочешь, чтобы тебя оставили в покое, надо все обстоятельно объяснить,— но на сей раз ему пришла на помощь другая сот-

рудница, ничуть не моложе первой, солидная блондинка из соседней канцелярии.

— Знаете что, вы так говорите, будто сами никогда не были молодыми... Оставьте парня в покое, пусть себе женится, пусть радуется... Хотела бы я знать, между прочим, кто из нас, здесь сидящих и прорабатывающих этого молодого человека, сам перед свадьбой думал об убеждениях.

— Я — да! — провозгласила предыдущая дама.

— А вот я, представьте себе, нет,— возразила блондинка.— Я мечтала о постели.

Дискуссия закончилась, и Михал почувствовал горячую симпатию к этой немолодой женщине, но она после собрания даже не взглянула на него.

Прошло время, и Михал стал счастливым, самым счастливым из мужей. Он хорошо зарабатывал. Магдаленка раз в неделю забегала в костел — ради мамы,— а остальное время крутилась вокруг него. Да, чтобы не забыть, она родила Михалу сына. Все шло как по маслу.

Однажды в холодную предвесеннюю ночь умерла мать Магдаленки. Совсем еще молодой женщиной она внезапно покинула этот мир, ушла не простившись, а Михал, хотя и искренне соболезновал Магдаленке, вместе с тем и радовался, что теперь он будет для своей жены не только источником всяческих удовольствий и благополучия, а что она еще крепче, всей душой привяжется к нему и он наконец докажет всей деревне, что отныне Магдаленка принадлежит ему безраздельно.

Как только закончились хлопоты с похоронами, Михал, добившись от местных властей безвозмездной ссуды, с головой ушел в строительство дома.

— Вот увидишь, Магдаленка, я построю для тебя дворец, какого деревня наша еще не видывала,— фантазировал Михал, чтобы молодая жена хотя бы на время забыла о своем горе. Он принес из сада небольшой, но спелый арбуз, разломил его, вдохнул в себя запах рыхлой розовато-красной мякоти и, насладившись нежным ароматом, протянул половину жене.

Магдаленка нарезала сердцевину на куски, посыпала сахаром и, повязав сынишке нагрудник, стала кормить его.

— Хорошенькие, как ангелочки, такие миленькие!— млел от нежности Михал и, чтобы совсем не растаять, вскочил на мотоцикл и помчался на участок. Как можно скорее закончить гнездышко-дворец — такова была цель его жизни.

— Когда малыш уснет, приходи ко мне! — крикнул он Магдаленке уже с улицы.

Она не пришла, и он один копал фундамент, рыл яму для подвала. От тяжелой работы его мускулы становились все тверже, он явственно ощущал, как он мужает, как растет уверенность в себе. Ах, до чего хороша жизнь, Магдаленка, моя прелесть!

Когда строительство дома было уже в полном разгаре, Магдаленка неожиданно дала ему понять, что вовсе не собирается уезжать из родительской квартиры. Михала это, конечно, удивило, но он старался сохранить спокойствие: ведь не может же муж из-за пустяков терять самообладание, ну, подумаешь, новый каприз, рассуждал он, моя голубушка-перепелушка говорит не подумав — наш сынуля слишком утомляет ее, она просто души в нем не чает. Потом ему пришло в голову, что, может, дело совсем и не в этом. У Магдаленки могло быть множество всяких причин, чтобы возненавидеть их будущий дом, ведь он только и делал, что рассказывал ей о том, как идет строительство, как трудно найти материал, о том, кого нанял на стройку и кому сколько заплатит, потому что, мол, мир теперь так устроен, что бесплатно тебе и брат не поможет.

— Послушай, Магдаленка,— обратился Михал к жене,— я все обдумал. Я понимаю, что тебе от меня мало проку. Я весь в стройке, стройка и служба, но мне было бы горько, если бы ты думала, что нам двоим не о чем разговаривать, вернее не о чем, кроме этого...

— Но ведь и в самом деле это так,— возразила Магдаленка,— собственно, с самых первых дней, Мишо, нам не о чем с тобой разговаривать! Мы поженились, любили друг друга, а потом ты начал строить этот проклятый дом, и он стал смыслом твоей жизни. Ну и строй на здоровье! Сооружай, воздвигай! Гордись! Что до меня, да будет тебе известно, нам и здесь неплохо живется. Сам видишь! Мой папа, хоть он, бедняга, и остался один, ни во что не вмешивается, в наши дела не лезет, только ты... Мы живем, но радости от этой жизни никакой. Ведь с тобой, Михал, тоска зеленая! Ты знаешь только дом, работу, собрания. Другой бы на твоем месте из этой твоей активности хоть что-нибудь для себя извлек! А ты у нас такой сознательный, смех один!

— Магдаленка, не говори так! — просил Михал жену, которая понемногу начинала выходить из себя.— Ты не имеешь права так говорить. Я из бедной семьи и знаю, что мы живем хорошо. Мы добились гораздо большего, чем когда-то наши родители... Пойми, ты не имеешь права меня осуждать только за то, что именно теперь я занят по горло.

— Не имею права! — Магдаленка горько усмехнулась.— Я — нет, а ты— да. У тебя на все есть право, потому что ты из бедной семьи. Ты имеешь право на дом, на свои заботы и обязанности, и на свои убеждения у тебя есть право... И даже на то, чтобы быть смешным! Боже мой, стоит только на тебя взглянуть, стоит только немного призадуматься! И что ты за человек?! Изредка выпьешь кружку пива, чтобы товарищи, не дай бог, не подумали, что ты не компанейский. Ведь ты даже не мужчина! Ты — расчетливый слабак, который питается чужими объедками!

— Магдаленка, пойми, в пивную я ради тебя все равно ходить не стану, и даже ради того, чтобы походить на других! А экономить я вынужден; за кирпичи — плати, за щебенку — плати, за цемент — плати, и доставка тоже не бесплатная! Годом-двумя пожертвую, черт бы их побрал! А потом мы заживем на широкую ногу!

— Вот уж, на широкую ногу! Ты всегда мечтаешь о чем-то особенном. Витаешь в облаках, Михал, а на деле барахтаешься в пыли.

Михал задумался, притихла и Магдаленка. Бледное лицо, ввалившиеся глаза. Девочка и впрямь страдает, подумал Михал и, испугавшись своих собственных мыслей, произнес вслух:

— Ты что, Магдаленка, думаешь, мы не подходим друг другу?

— Да, я так думаю, Михал,— кивнула та с готовностью. В эту минуту ей, наверное, было жаль мужа, но она хотела ему все высказать, потому что кто знает, когда ей еще представится такой случай.— Ты странный человек, Михал, с тобой моя жизнь будто в песок уходит. Сколько времени мы уже вместе, а ты еще ни разу по-настоящему не порадовал меня. Одна работа, заботы, печаль. Подумай только! Умерла мама, а ты радовался! Наконец-то в доме будет мир, Магдаленка! Ты так мне и сказал, помнишь? Не помнишь, конечно. Ничего такого, что бы говорило не в твою пользу, ты не помнишь! А этот дом... Прошу тебя, Михал, подумай! Ведь у нас есть где жить, мы бы и в город могли переселиться. Только не утверждай, что тебе не предлагали квартиру! Такому трудяге, как ты! Куда там, в город, панельный дом, этот хлев не для нас, Магдаленка! Нам нужно строиться! Показать всей деревне! Я построю тебе дворец, Магдаленка! Только ты ни разу меня не спросил, хочу ли я этот дворец, мечтаю ли о нем. Как же, глава семьи решил! Я понимаю, что у вас никогда ничего не было, что вы бедствовали, а те-

перь тебе представилась возможность, твой отец построил хоромы, и ты захотел, с какой стати отставать от отца, да и он, конечно, подначивал тебя; стройся, мол, парень, мы еще покажем этой паршивой деревне, что мы не хуже других, руки у нас рабочие... А подумал ли ты при этом обо мне? Скажи, мы хоть раз были с тобой в Высоких Татрах? А в свадебном путешествии?

— Не были,— удрученно подтвердил Михал, ибо понимал, что Магдаленка права, видел, что, пока он надрывался с домом, она копила против него обвинения. Ему стало больно, но он сдержался.— Нет, у нас не было свадебного путешествия, Магдаленка, и мы вообще нигде не были. Обещаю тебе, что отныне все будет иначе. Вот построим дом и отправимся в путешествие!

— Отправишься, Михал,— уточнила Магдаленка.— Один поедешь, без меня.

— Как это?! — удивился Михал.

— А вот так, я не желаю больше с тобой жить.

— Ты говоришь... не желаю?

— Не желаю!

— А знаешь ли ты, Магдаленка, что у меня в жизни из-за тебя были одни неприятности, из-за тебя и из-за этого твоего боженьки?!

— Не знаю, Михал, да это меня и не интересует. Я уже ничего не хочу знать, потому что ты...

— Я... Так я, Магдаленка, по-твоему, я...

— Именно так, как ты говоришь, Михал!

На суде они уже оба молчали. За них говорили отцы. В ходе судебного разбирательства он узнал о том, что систематически пренебрегал супружескими («Товарищ судья, не исключено, что этот молодой человек, который выдавал себя за мужа моей дочери, злоупотребляя ее доверием и безграничной преданностью, содержал женщин!») и родительскими обязанностями, в повседневном общении часто прибегал к ругательствам, что находится в резком противоречии с нравственными принципами молодой женщины. Магдаленка же услышала, что никто не может заставить Михала («Товарищ судья, даже ответственность за воспитание собственного ребенка, о котором, в конце концов, он может заботиться и вне рабских уз супружеского союза с такой особой, как эта, здесь присутствующая...») страдать из-за мракобесия супруги, что находится — и это безусловно знает каждый — в резком противоречии с нынешним прогрессом, с научными открытиями и т. п. и т. п... Солидный представитель охраны железных дорог и бывший крестьянин основательно подготовились к защите своих отпрысков, и, надо отдать им должное, у них это получилось. Неудивительно поэтому, что после судебного заседания оба папаши были в равной мере довольны собой. Беспристрастный наблюдатель, взглянув на них, мог бы даже подумать, что это они, а не их — теперь уже «вновь» счастливые — дети одержали победу.

Выйдя из здания районного суда, Михал и Магдаленка даже не простились. Папаши же, питая некоторую слабость к вежливому поведению, однако, откланялись: один слегка приподнял свою парадную шляпу крестьянина, другой приложил руку к козырьку фуражки.

Потом железнодорожник обратился к сыну:

— Я надеюсь, Михал, для тебя это был хороший урок. Наслушавшись здесь всякой всячины на добрых два десятка лет вперед, тебе уже не захочется волочиться за первой попавшейся юбкой.

— Не понимаю, отец, чему я должен был научиться,— задумчиво промолвил Михал.— Наоборот, я думаю, что мы сделали глупость. В общем-то Магдаленка была хорошей женой, и сын...

— Да будет тебе, Михал! — возмутился отец.— Не хочешь ли ты сказать, что нынче я изображал из себя шута? «Магдаленка была в общем-то хорошей!» Перестань! Развелись, и все тут! Ты что, не

мужчина?! Мало тебе, что она выставила тебя? И это тебя, моего сына? И, пожалуйста, не беспокойся о ребенке! Сын! Если бог послал тебе такого же отпрыска, каким одарила меня матушка-природа, лучше об этом мальчугане побыстрей забудь! — Отец махнул рукой, сделал кислую мину, а затем продолжал более мягко, по-отечески ласково: — У тебя еще будут дети. Завести ребенка — не хитрое дело.

Пожав Михалу руку, он отправился на службу: ведь штрафы за переход путей в неположенных местах взимаются даже в тот день, когда сын разводится.

Михал, хотя ему и улыбалась вновь обретенная свобода, все же страдал. С грустью провожал он удаляющуюся в тень Магдаленку. Парень окончательно утвердился в мысли, что она была хорошей женой и что даже с этим ее боженькой все обстояло не так уж страшно: раз в неделю костел, а в общем-то... Но все было кончено, и Михал понимал, что лучшее средство от грусти — это деятельность, движение, работа. Выйдя на дорогу, ведущую из города, он, как некогда его деды и прадеды, путь из райцентра домой прошел пешком, решив, что сегодня же сделает все возможное, даже попытается оформить продажу недостроенного дома.

В национальном комитете ему пошли навстречу.

— Покупателя мы вам подыщем,— пообещала молоденькая сотрудница,— у вас хорошее, удобное место, строительство в основном закончено, покупатель в два счета найдется! Вы не поверите, сколько людей мечтают приобрести дом в нашем поселке. Поезд, автобусное сообщение, райцентр в двух шагах, пляж рядом, до столицы рукой подать, Татры близко, сюда каждый стремится, кому посчастливится получить участок или купить дом.

Сотрудница даже шепнула ему, что в личном разговоре с покупателем можно запросить хотя бы еще тысчонку сверх положенной стоимости — это так обычно и делается. Михал слушал оторопело, советы сотрудницы пришлись ему не очень-то по душе, он пытался возразить, запротестовать, но под ее искренним взглядом сдержался, улыбнулся, а потом даже с облегчением вздохнул: ведь эта девушка желает ему добра, она доверительно посвящает его в таинства купли-продажи! Стоит мне только намекнуть в соответствующем месте, на что она меня тут подбивает, и неприятностей она не оберется, но похоже, что она ничего не боится, наверное, доверяет ему, потому что он ей не безразличен, ей далеко не безразлично, как у него все сложится. Эх, красавица, и как это я раньше тебя не замечал!

Еще прежде, чем Михал продал дом и вернул в национальный комитет ссуду, он попросил руки Милушки. Выплатив из ее немалых сбережений («Я напал на необычайно приличную девушку»,— хвастался он родителям) долю Магдаленки и не обращая внимания на отцовские покачивания головой, выражавшие сомнения, Михал получил ласковое материнское благословение и, отблагодарив мать поцелуем в лоб, принялся искать новый участок для предстоящей стройки.

— Ведь не потащу же я Милушку в дом, который мы строили вместе с Магдаленкой,— возразил он отцу, когда тот стал обвинять его в чрезмерном и никому не нужном усердии.— Молодой я, отец, и сил у меня что у быка!

— Рубаха-парень, герой! — отрезал отец: он с удовольствием влепил бы сыну пару горячих по голой заднице. К сожалению, время для этого прошло, хотя Михал и оставался все таким же щуплым и хилым — в мать пошел.

Настал день свадьбы.

— Пусть эта разбогатевшая сволочь видит, кому принадлежит мир! — провозгласил железнодорожник над пышным свадебным столом, имея в виду надутого отца Магдаленки, который в этот же день

закатил в пивной роскошное контрзастолье. Гости не обратили внимания на тост отца Михала, и тому ничего не оставалось, как чокнуться только с сыном.

— Надеюсь, теперь тебе повезет,— произнес он в перерыве между двумя большими глотками, а потом добавил, чтобы отвести душу: — К черту мужика, который не может удержать бабу!

Свадьба была замечательная! Гости веселились от души, но Михал, которого задело замечание отца, скис. Он пил немного, хотя вино ему нравилось («Я тебе на эту твою кутерьму достану вина, какого деревня еще и не видывала!» — похвалился отец накануне свадьбы и тут же поторопился на станцию разведать, когда завезут в винные заведения хорошее заграничное вино. А поскольку ничего хорошего в ближайшее время не ожидалось и все магазины были пусты, выправил билет и отправился в Южную Моравию — не то в Микулов, не то в Стражнице, Михал так и не узнал этого точно. «Не суйся ты, парень, в мои дела,— укрощал его любопытство отец,— лучше обхаживай Милушку, чтобы еще до свадьбы ее от тебя не увел какой-нибудь пижон! Не считай, что для такой девушки, как она, парень с ребенком большая находка!»)

На следующий день около полудня они проводили последних гостей. Отец Михала, устав, точно после тяжкой погони за грабителями железнодорожных вагонов или прочего воровского отребья, со вздохом опустился на старый диван.

— А теперь, пожалуйста, потише! — распорядился он и тут же словно провалился в небытие. От его храпа аж звенело в ушах.

Милушка, взяв за руку Михала, повела его за дом, к лестнице, стоящей у стены,— там была дверь на чердак.

— На сене будет чудесно! — шепнула она, и Михал понял, что удачно женился. У него такая жена, о которой большинство мужчин может только мечтать! Подумаешь, Магдаленка! Красивая, рассудительная, но пустая и холодная, как у собаки нос!

Восторги Михала продолжались пять лет. Купив участок, он принялся строить дом. Сменил работу, начал заочно учиться в институте. Не будь у него сына от первого брака, он бы и не вспомнил о Магдаленке!

Когда через год после свадьбы Милушка родила ему сына, он напился до положения риз. Тогда мы уже были знакомы. Дня через два после этого радостного события мы встретились на станции. Его глаза были налиты кровью, он был обросший, невыспавшийся, неумытый, пьяный и сияющий.

— Ты не поверишь, Эмиль, как прекрасна жизнь! — бормотал он.— У меня есть сын Михал. У меня есть маленький Михал! Ми... Ми...!

Сначала я подумал, что он шутит, потом меня осенило, и я чуть было не поддался искушению уговорить его застраховаться. Но все же сдержал себя: такого парня ничего не стоит подбить и на десяток страховок. Я уже смирился с тем, что посижу с ним часок в вагоне, выслушаю его разглагольствования о человеческом счастье, его блаженное бормотание о том, что его Милушка очаровательна даже в больнице, что ее розовые щечки прекрасно выделяются на фоне мрачной белизны стен, однако Михал решил иначе. Он насильно втащил меня в привокзальный ресторан и заставил выпить с ним литр вина.

Я слушал Михала, его нескончаемые речи доходили до меня, словно со старой, истертой магнитофонной ленты, и все-таки я завидовал ему. Завидовал его радости, его успокоенности, беззаботности, счастью. Антония, конечно, удивлялась мне.

— Ты, Эмиль, так легко веришь всяким небылицам! — упрекала она меня. Правда, тогда мы еще не знали, что Михалу, собственно, завидовать нечего. Его подстерегали новые беды.

Но об этом знала только Магдаленка.

Магдаленка!

— Ты только вообрази, Эмилек, что со мной приключилось,— обратился ко мне Михал однажды, выглядывая из-за груды чертежей и эскизов, которыми он должен был «документально подтвердить шефу уровень своей работы, свой технический рост и пригодность к инженерной профессии», то есть то, чему я никогда не придавал никакого значения: для чего нужны страховому агенту технические познания? Михал рассказывал, а я терпеливо слушал. Вначале его рассказ показался мне каким-то сбивчивым, как будто мой приятель, доверяя мне, вместе с тем что-то утаивал от меня ради того, чтобы выставить себя в лучшем свете и очернить Магдаленку. И вы бы сначала, конечно, не поверили, что женщина после пяти лет разлуки без какой-либо видимой причины способна написать на своего бывшего мужа — от которого, кстати, она сама же добровольно отказалась — жалобу или, даже хуже того, кляузу! А Михал утверждал именно это! — Эмилек, представь себе, она написала! Сначала в институт. Мол, она считает своим гражданским долгом предупредить уважаемый деканат, что я веду беспорядочную супружескую жизнь, что вечерами таскаюсь где попало и что учебе не уделяю должного внимания, что я-де карьерист и проходимец, что втерся в армию заочников для того лишь, чтобы осуществить свои корыстные цели! Вот как она все изобразила. А может быть, еще и похлеще! Когда же из деканата ей ответили, что свои студенческие обязанности я выполняю вполне удовлетворительно и что в мои семейные дела — поскольку у них нет сигналов и это не относится непосредственно к моим занятиям — они вмешиваться не могут, она обратилась ко мне на службу. Я не могу этого понять, Эмилек. Зачем она это сделала? Для чего она это делает? Я часто задаю себе этот вопрос. Все время задаю. В подобной ситуации минуты тянутся, как часы, как дни! Это просто ужасно, Эмиль! На тебя нападают, а ты даже не знаешь, как и от чего ты должен защищаться. Если бы я хоть понимал, почему ей это пришло в голову, почему она ведет себя как одержимая. Я же ровным счетом ничего не понимаю! Знаю только, что она доставила мне кучу неприятностей. Эмилек, представь себе! Сначала меня вызвала к себе наша кадровичка, мол, товарищ Гукота, послушай, у нас тут есть одно письмо, прочитай его внимательно, оно наверняка тебя заинтересует...

Я живо представил себе, как Михал протягивает руку к письму, как сжимает зубы, еще не понимая и не зная, что это за письмо, но он уже полон недоброго предчувствия: горький опыт делает человека осторожным, наделяет способностью предвидеть многие вещи. «Магдаленка»,— мелькнуло у него в голове. Взяв письмо, он начинает читать. Все ясно, он сникает, Магдаленка! И снова перед ним дилемма: положить письмо на стол, не комментируя его, или объяснить, удовлетворить любопытство кадровички, рассказать, разговориться по своему обыкновению, как он это делал и прежде, еще тогда, когда, например, завел с нами разговор в поезде: «Марьяж — отличная игра, компанейская, если хотите, милые мои попутчики, я сыграю с вами, что вы на это скажете?» Но на сей раз, когда он дочитал письмо Магдаленки в отделе кадров, ему, как ни странно, было не до разговоров. В отчаянии он едва не закричал: «Что за чушь вы суете мне под нос?» — но вовремя спохватился. Кадровичка успокаивала его: «Прежде все хорошенько обдумай, товарищ Гукота, а потом выскажешься!» — «Я ничего не желаю слушать. Хватит с меня и того, что нацарапано в письме!»

— Вы правы,— произнес тихо Михал,— видимо, вы в самом деле правы! Пусть сначала все уляжется у меня в голове, а потом, быть может, мы еще и потолкуем.

В пивной, что была неподалеку, подавали отличное холодное пиво. Михал опрокинул две полные кружки, не сдув даже, как это обычно делают завсегдатаи, густую белую пену на обшарпанный пол: ему нужно было утолить жажду, успокоиться, чтобы все улеглось и он бы не натворил глупостей, ведь кадровичка ему сказала, что надо действовать с холодной головой, что, мол, ты не имеешь права, товарищ Гукота, на опрометчивые поступки, я верю, что твоя бывшая супруга лжет, но знаю также и то, что, когда женщина ненавидит, она способна на все, а ты, мой милый, видно, напоролся как раз на такую! Только вот почему... почему же именно меня и именно теперь? Михал, склонившись над пустой кружкой, ломал голову. И что это ей, несчастной, пришло на ум... Пьянство, беспорядочная жизнь! Что она знает обо мне? Мы уже несколько лет не виделись, алименты на сына я посылаю регулярно!

У него дрожали губы даже теперь, когда он мне это рассказывал.

— Эта женщина — настоящая фурия! — кипел он.— Нормальный человек не способен на такое. Порочить меня безо всяких причин, просто так, от нечего делать, по зловредности, лишать меня покоя, давать повод моим коллегам для всяких нелепых сплетен, которые я не в состоянии опровергнуть, потому что, как ты понимаешь, не стану же я приглашать всех подряд домой и говорить им: поглядите, вот так я живу, у меня все есть, и у меня, и у моей жены, и у ребенка, можете их сами спросить... И ведь они в самом деле их спросят — люди так любопытны! — а после скажут, что это я нарочно подговорил своих, чтобы они давали показания в мою пользу! Стоит только пустить слух, а потом уже не отделаешься, ложь всегда лучше помнится, чем правда, ложь возбуждает уже тем, что она кому-то доставляет страдания, ложь волнует, а когда подумаешь, сколько на свете недоброжелателей, испытывающих радость от того, что кого-то преследуют несчастья... К сожалению, Магдаленка знала, как надо действовать, чтобы отравить мое существование. Когда ей не удалось ничего добиться ни в институте, ни у кадровички, она обратилась в заводской комитет. Это был уже предел, и я решил зайти к ней объясниться, но Милушка мне отсоветовала. «Не делай глупостей, Михал,— предостерегала она,— ты что, не видишь, что она этого и добивается, этого ждет, что заманивает тебя, хочет унизить, опозорить, если ты хоть раз ей покажешь, что боишься ее, она до самой смерти будет преследовать тебя и ты не сможешь от нее избавиться!» Милушка наверняка была права — женщина ведь чувствует опасность, а может, она вообразила, что Магдаленка захотела меня опять заполучить, ведь ее жизнь не сложилась: в то время как мы с Милушкой жили в мире и согласии, она разошлась с человеком, которого встретила после меня,— он не устраивал ее, и теперь ей нужна была замена, ибо такая особа, как Магдаленка, не выносит одиночества. Именно одиночество, видимо, гнетет ее больше всего на свете. Об этом говорило ее следующее письмо. Она поносила меня в нем с новой силой, что, мол, моя учеба в институте — это проявление моей извращенности, что я езжу в Братиславу исключительно для того, чтобы волочиться там за девушками, что, говорят, будто в поезде я не пропускаю ни одной женщины, что уже кое-кто обратил внимание на мои вызывающие, жадные взгляды и разговоры, полные бесстыдных предложений! Ты ездишь со мной, Эмилек, уже довольно долго, можешь иметь свое мнение. Ухаживал я за какой-нибудь женщиной в поезде? Никогда! Я ничего не говорю, красивых женщин нельзя не заметить. Милушка мне тоже сказала, не обходи, мол, вниманием женщин, смотри на всех красавиц, и тогда ты поймешь, что самая красивая из них ждет тебя дома! Ну скажи, Эмилек, разве не сокровище моя Милушка? Она прекрасно понимает, что нельзя быть равнодушным как бревно при виде всех этих красоток: ты толь-

ко взгляни, как они одеты, посмотри, как они ведут себя! Хоть они и держатся вызывающе, даже дерзко — это правда,— но ведь они привлекательны! Привлекательны, Эмилек! Сплошное изящество! Разве ты не испытываешь огромного удовольствия, когда видишь девушку, прелести которой подчеркивают и брюки, сшитые по фигуре, и облегающий свитер? Это красиво, очаровательно. Это заставляет нас благоговеть и перед природой, и перед человеком. Перед природой — потому, что она одарила девушку такой прекрасной внешностью, а перед человеком за то, что он с таким вкусом украсил эту внешность. Только глупца может возмущать наше восхищение этой сокровищницей прелестей! Магдаленка никогда этого не поймет. Женская красота навсегда останется для нее дьявольским наваждением. Подумай только, ведь она даже передо мной, перед своим законным мужем, ни разу при свете не разделась! А стоило мне только заглядеться на нее, когда она одевалась, она поднимала такой крик, будто я хлестал ее крапивой! А ведь я-то ее столько ласкал! Но если бы она ограничилась только тем, что объявила меня развратником и бабником! В конце концов такое оскорбление меня бы даже порадовало! Куда там! Магдаленка пошла дальше, значительно дальше! В свои сети она впутала и нашего ребенка. Моего первого сына. А как примитивно это сделала! В своем вымученном бредовом пасквиле, полном всяческих оскорблений, она написала, к примеру, что прошлой зимой я не послал своему сыну подарок от Деда Мороза! Это чтобы я да не послал!

Подумай только! Если бы она не накропала эту несусветную ложь, я бы наверняка и не обратил внимания на ее писанину, но ведь ты знаешь, как бывает. Председатель профкома тут же струхнул: Михал, дело приняло такой оборот, что мы вынуждены всерьез им заняться. Мы уже информировали обо всем товарища директора, беседовали о тебе с руководством. Что касается подарка — мы разберемся, это поручено мне. Я зайду к хозяйственнику, мы посмотрим списки, но все равно: напиши объяснение. Ты представляешь — объяснение! Я пытался высмеять его: какое еще объяснение, скажи, пожалуйста? Ведь я уже все рассказал тебе, все объяснил! Да, верно, и все же мы в профкоме полагаем, что будет лучше, если ты подробно обо всем напишешь, потому что письмо твоей бывшей супруги — это уже жалоба. И мы обязаны ее рассмотреть, принять решение, а результаты доложить, подтвердив их документально. Ведь не хочешь же ты, чтобы она на смех всем таскала нас по судам!

— Суд! Вот это как раз то, что нужно! — воскликнул я, обрадовавшись своей находчивости.— Ведь ты преспокойно можешь обратиться в суд с просьбой помочь тебе! Ты можешь подать жалобу на эту особу за клевету и оскорбления.

Я мысленно смаковал этот возможный блестящий выход из сложившегося положения, этот в самом высоком смысле слова мудрый защитный акт. Михал же только улыбался.

— Конечно, об этом я тоже подумал. Я даже советовался с отцом. Тот считает, что прежде всего надо зайти в национальный комитет. У них там, говорят, есть нечто вроде комиссии по семейным делам. А уж коли там не помогут, обращайся в суд, посоветовал мне отец. Что было делать? Я тоже так решил. Отец — опытный человек, знает, что к чему. По службе он встречается с разными людьми. Милушка тоже согласилась. Лично мне как-то не очень хотелось связываться с национальным комитетом: для чего выставлять напоказ перед всей деревней свои семейные неурядицы, чтобы потом на Милушку показывали пальцем, ага, это вот, мол, та, у которой мужика отбивают — да хоть бы действительно был мужик! А то ведь такой слюнтяй, такой сморчок! Сам знаешь, Эмилек, на что люди горазды! Поэтому идея с судом мне с самого начала показалась более удачной, но инстанции есть инстанции. Отец сказал, что из суда дело

все равно бы вернули в национальный комитет, поначалу там должны попытаться найти какое-то решение...

— Ну и как, был этот твой Михал в национальном комитете? — спросила Антония, когда однажды я обо всем ей поведал.

— Нет, не был. Магдаленка его опередила.

— Понятно, что она его опередила! — засмеялась Антония. Она ведь в отличие от этого твоего Михала такая шустрая и находчивая... Послушай, я не понимаю, и чего ты заводишь разговоры со всякими...

Две вещи не понравились мне в ее замечании: то, что она считает моих знакомых «всякими», и то, как однозначно она оценивает Магдаленку. Или она просто настроена против Михала? Потом я понял, что сведения о Магдаленке она получила от своего брата. Мой милый шурин Флориан сначала работал в суде простым курьером, потом выдвинулся в заместители завхоза, а затем стал и самим завхозом. Поэтому о том, что творится в суде, он осведомлен лучше, чем председатель. Все идут к нему на поклон: то лифт сломался, то топят плохо, то вода не течет или в туалете мыла нет. Приходят, жалуются, рассказывают. Секретарь суда — о судебном заседании, судья — о коллегах, коллеги — о председателе, председатель жалуется на всех, все — на председателя, настоящее вавилонское столпотворение, ибо людям нужно поговорить, излить душу, очиститься, а Флориан только улыбается, отвешивает учтивые поклоны и все запоминает, заносит в свою яйцевидную башку — все и обо всем. Я легко представил себе, что, как только Антония упомянула имя Михала Гукоты, он тотчас же смекнул, о чем речь, и доложил ей, как было дело во время развода и что за птицы они оба. В конце концов, удивительно ли, что Антония симпатизирует Магдаленке? Ничуть. Между прочим, связи Флориана могут оказаться нам полезными, ведь это он помог достать нам саженцы, но об этом мне довелось узнать позже.

Хотя Антония и не злой человек, но в тот день ее сильно позабавило то, что ее известие сбило меня с толку.

— Теперь ты видишь: для того чтобы узнать человека, совсем не надо говорить с ним, выслушивать всякую ерунду, которую он мелет.

Меня так и подмывало спросить у нее, а не чепуха ли это все, что наболтал Флориан. Но я предпочел семейный покой. Мне было бы трудно убедить Антонию в том, что меня интересует Михал вовсе не потому, что я хочу что-то о нем разузнать. Я выслушиваю его лишь с одной-единственной целью: может быть, я чем-то смогу помочь ему, если он, конечно, этого пожелает.

Я был подавлен, и Антония сжалилась надо мной.

— Саженцы будут,— заявила она,— скажи своему Михалу, чтобы он готовил лунки. Придется ему, бедняжке, потрудиться. Я надеюсь, для него не будет иметь значения, что эти саженцы достала Магдаленка.

— Кто? — Я не поверил собственным ушам.

— Разве я не ясно сказала? — засмеялась Антония.— Саженцы достала жена Флориана... А ей их раздобыла Магдаленка через своего нового знакомого. Через того самого, что посоветовал ей потребовать через суд увеличения алиментов. Может, ты расскажешь об этом своему приятелю?

— Антония, и почему только ты такая вредная?

— Вовсе не вредная. Я только хочу, чтобы ты смотрел на вещи реально! И не печалился о каком-то парне, если не знаешь, как все было на самом деле.

— А я и не хочу знать, Антония, как было на самом деле, если вообще что-либо было,— отрезал я сердито. Антония отреагировала на это весьма своеобразно:

— Это на тебя похоже, дорогой!

Увидев, что Антония не принимает меня всерьез, я предпочел промолчать. Я тут перед ней распинаюсь, а она уже давно все знает! Знает,

и, очевидно, все в другом свете, чем я! Ну и пусть! Все равно эта ерунда не повлияет на мою симпатию к Михалу. Теперь, размышляя над отношением Антонии ко мне, я еще больше понимаю своего знакомого..

Когда две недели спустя я снова встретился с Михалом, он был совершенно спокоен.

— Ну как, сыграем? — обратился он ко мне.— Если бы не ты, я бы в жизни не взялся за карты. Ты оказал мне большую услугу. Ты не представляешь, до чего страстная картежница моя Милушка. Если бы благодаря тебе я не подучился играть, я бы выглядел перед ней полным идиотом! Для разнообразия сегодня можно сыграть в дурака, что скажешь, в марьяж ведь лучше играть втроем, а в дурака и вдвоем сойдет.

Михал разглагольствовал, распинался, его бесконечный монолог был расцвечен подобно открытке с пожеланиями счастья.

— Наконец-то все кончилось, Эмилек! Больше не будет звонков, писем, точек зрения, не будет Магдаленки, не будет больше никаких мерзостей! Теперь мы заживем. Вчера Милушка купила мне бочонок пива. Мы с отцом присосались к нему и до полуночи все вылакали. Сейчас я еду сдавать физику, и мне наплевать, что наш милый доцент меня с превеликим удовольствием выставит. Я полечу, как птица, напевая: ляляля-ляляля.

— Если я правильно понял,— попытался я перевести разговор на серьезный лад,— все переменилось к лучшему.

— Переменилось! Эмилек, ты что?! — Михал загоготал.— Слишком слабо сказано. Произошел коренной перелом, поворот, вот так: Магдаленка попалась в свои собственные сети.

Минутой позже я узнал, что же, собственно, произошло и о чем уже была осведомлена Антония, когда мы с ней разговаривали. Михал был в растрепанных чувствах, как никогда прежде, ежеминутно доставал из кармана бутылочку рома и отхлебывал из нее. Пьяница, пришли мне на память слова Антонии о нем, настоящий алкоголик! Но, взвесив все за и против, я вынужден был признать, что на его месте каждый бы подружился с бутылкой. А Михал? Тот отмечал свое великое освобождение.

Вы не поверите, но мне вдруг стало жаль Магдаленку. Я не знал ее, я никогда не встречался с ней, мои симпатии были на стороне Михала, но теперь, когда услышал, что ее обвели вокруг пальца, мне стало жаль ее. Как будто это я доставил ей неприятности. А Михал все рассказывал, рассказывал...

— Эмилек, представь себе, она подала заявление с просьбой об увеличении алиментов! Мало ей было, что я сам, добровольно, каждый месяц посылал на сотню больше положенного, мало, что я думаю о нашем ребенке, что я никогда не отказывался от сына, она хотела уничтожить меня, этот дурень внушил ей, что меня можно уничтожить только при помощи денег, я как будто слышу его голос: Магдаленка, эту гидру можно прикончить только с помощью денег, теперь как раз удобный случай, он достроил дом, у него наверняка нет ни кроны, мы нанесем ему удар, положись на меня, уж это-то его наверняка доконает! Не вышло. Тогда она помчалась в суд. Подала заявление с просьбой в судебном порядке взимать с меня больше алиментов. Что может быть смешнее? Только это уже и для суда было слишком, даже суд в конце концов она настроила против себя. А я только чуть помог суду. Я сказал себе: коль скоро моя красавица просит, пусть себе просит, на то есть суд, чтобы типы, подобные Магдаленке и этому ее пузатому трепачу, подкидывали ему работу, но только уж если судиться, то как положено! Я не ленился, Эмилек! Я приготовился к активной контратаке. Короче говоря, я потребовал, чтобы проверили зарплату Магдаленки, понимаешь, Эмилек, имеет ли она законное право требовать увеличения алиментов. Простой, но точный ход, ты должен это признать! Ее адвокатишка квакал, что, мол, все есть на бумаге, по-

этому ничего проверять не нужно, что, мол, он, как должностное лицо, ручается за точность сведений, но я стоял на своем. Насколько мне известно, сказал я, заявительница, работая в отделе кадров, сама могла написать на бланке сумму оклада, галантный же шеф в благодарность за очаровательную улыбку подмахнул бумагу не глядя. Судье это понравилось: вы не глупы, Гукота, но мне было наплевать, что он обо мне думает, считайте меня, паны пройдохи, дураком, любите меня, для меня важнее всего, чтобы эта женщина в конце концов оставила меня в покое! Эмилек, надо было видеть, как они раскрыли глазищи, когда оказалось, что Магдаленка уменьшила себе зарплату на три сотни. Ее просьбу сразу же отклонили, пусть еще радуется, что ее не привлекли к ответственности за обман официальных органов.

— Она получила то, что заслужила,— сказал я, чтобы поддержать разговор.

Мой попутчик задумался.

— Да, она получила по заслугам, но меня это как-то не радует. Знаешь, может быть, эти номера она откалывала только потому, что любит меня. Я ничего не смыслю в этих делах, а потому стараюсь лучше об этом не думать. По всей видимости, она, Эмилек, несчастлива. Со мной не была счастлива, но и без меня нет ей счастья...

Когда я напомнил ему о саженцах, к нему вернулось доброе расположение духа. Он вежливо, я бы даже сказал благодарно, улыбнулся. Но он не ожидал, что я расскажу ему, как и через кого я их достал.

— Мне неудобно,— промолвил он,— что у тебя было столько мороки с этими саженцами. Я приношу свои извинения и твоей супруге, но, к сожалению, мне они уже не нужны. Не поверишь, приятель, но я продаю дом. Уже второй раз в жизни. Многие не могут осилить и одного, а вот я продаю второй! Мы уезжаем. На Мораву. У Милушки умер дядюшка. Тетушка осталась одна в большом доме. Это старый крестьянский дом, но сделан он добротно, и в нем неплохо живется. Он еще постоит, только надо провести водопровод, газ. Тетушке хватит и одной комнаты, остальные будут наши. Готовая усадьба, Эмилек! С работой — никаких проблем. Уже кое-что наклевывается на железной дороге. А уж когда закончу институт! Инженеры-механики всегда нужны. Милушка же, я надеюсь, устроится в кооперативе. Плановиком. Ведь экономическое училище — неплохая штука. Отец, хоть и сопротивляется, но ему ничего не остается делать: он уже слишком стар, чтобы самому решать свои дела.

Дома на столе лежал прелестный веничек. Саженцы — привитые, довольно большие.

— Так много нам вряд ли понадобится,— сказал я Антонии.

— Что, «заказчик» отказался?

— Отказался.

— Этого следовало ожидать,— произнесла миролюбиво Антония.— Ты был бы не ты, если бы не дал себя облапошить любому проходимцу.

Я собирался возразить, но Антония решительным жестом остановила меня:

— Прошу тебя, молчи! Я уже знаю, что ты хочешь сказать. Люди должны помогать друг другу, а не жить рядом, как чужие, нельзя быть равнодушными... Я это знаю, Эмилек! Но только нужно различать, кому нужна твоя помощь, а кто тебя просто использует.

— Не думаю, что Михал меня использовал.

— Нет! Может быть, он и не хотел тебя использовать. Это человек, которому все безразлично. Трепал языком от нечего делать!

— Мне кажется, что ты разговаривала с Магдаленкой...

— Разве в этом дело?!

— А что с саженцами?

— Посадишь их.

— Все?

— Ну конечно все!

— Это значит, что мы не продадим сад и у нас не будет машины?

— Дети хотят сад. И домик тоже. И небольшой сарайчик, чтобы они могли завести животных. Кур, уток, кроликов...

— Новое увлечение?

— Пусть будет так.

Саженцы я отнес в подвал. Побрызгал их, прикрыл влажной тряпкой, чтобы до субботы не высохли. Сел на ящик, в котором хранились зимние груши, и стал смотреть на запыленные подвальные стены. Мне было хорошо в этом неуютном помещении, вдали от поездов и обязанностей страхагента. Я думал о том, что в субботу займусь саженцами, три-четыре года буду ухаживать за ними, поливать, обрезать, подвязывать, опрыскивать, а потом приготовлю первый бочонок вина. Сделаю в саду уютный погребок, бутылки с волшебным нектаром стану охлаждать в расщелинах толстой кирпичной стены, вокруг массивного дубового стола поставлю для сиденья пни. За столом буду потягивать вино. С друзьями или один, потому что того, кто пьет дома, в пивной не поколотят. К тому времени я уже, наверное, забуду о Михале... Сидя в запыленном подвальчике многоэтажного дома, я мечтал о своем винограде и думал о Михале. Как ни странно, но у меня не было такого ощущения, что его преследовал рок. Не понимал я и мотивов, которыми руководствовалась в своих действиях Магдаленка, однако я был почти уверен в том, что на ее месте Антония повела бы себя точно так же. Странные люди! Мне было хорошо без них. Хорошо и беззаботно. Меня ждали саженцы. Большая мужская работа.

*Перевод А. МАШКОВОЙ*



## *Визит Вийона*

Я наблюдаю за ним с утра. Копает он медленно и лениво. Моросит дождь, на лопату налипает желтая вязкая глина, и он то и дело счищает ее веткой акации или старого дуба — их тут целые заросли, и развесистые кроны деревьев с тонкими и грубыми переплетениями ветвей нависают над сумрачным городом бесконечной сероватой сетью, сквозь которую упорно сеется мелкий дождь. Могильщик не спешит. За голенищем у него напильник, время от времени он точит им край лопаты. Мое присутствие его как будто раздражает. Впрочем, я придумываю — будь это так, он копал бы быстрее. Или собрал бы манатки и убрался прочь. Что ему я? Он занят своим делом, а сегодня похорон больше не предвидится, вот он и не торопится. К тому же он явно не одобряет место, выбранное родственниками покойного,— в самом углу кладбища, под пригорком, где прежде зарывали бродяг без роду и племени, а также отщепенцев общества, если такие обнаруживались. Могильщик, поди, возмущен пренебрежением к традиции, хотя лучше других знает, что кладбище неумолимо продвигается все дальше в этот угол. И уж конечно, он не допускает мысли, что кого-то сюда решили поместить умышленно. Франтишек — первый уважаемый гражданин города, которому предстоит покоиться вечным сном в этом недостойном месте. Франтишек! Готов поспорить, что за сегодняшнее утро могильщик не раз проклял его за то, что стакнулся он с безносой шалавой, решив досадить всем знакомым, припереть их к стенке, заставить в страхе углубиться в себя, вспомнить о совести и страдать. Что ж, проделка ему удалась, хотя я почти уверен, что сам Франтишек скорее предпочел бы стоять тут же, со всеми вместе и мокнуть под дождем. Мне искренне жаль Франтишека, и хуже всего, что об этом никому не скажешь. Гильда меня избегает — безуспешно пытался я выразить ей мое соболезнование. Женщина в черном, по всей вероятности родственница Фран-

тишека, встала в дверях и объявила, что Гильда ни с кем не желает говорить, тем более со мной.

Что поделаешь! На свете творятся дела и пострашнее. Земля ходуном ходит от землетрясений, жерла вулканов извергают огненные потоки, громы небесные сжигают, а не знающие пощады полые воды заливают целые области. Град крушит оконные стекла. Ребенком я не мог представить себе ничего более страшного. В этих своевольных выходках, с помощью которых стихии утверждали свое господство над устрашенными человеческими душами, искал я приключений, замирая от страха, но в них находил и успокоение. Ведь нет покоя более прекрасного, чем тот, который сам стелется нам под ноги после таких вот наводящих ужас минут. Этот покой — искупление и мудрость примирения, избавляющий от новых страхов. Нагрянув снова, они уже не проникнут в душу, скованную холодом, и пусть лучше холод, чем капризы запоздалого женского сожаления. У Гильды это сожаление сочетается с ненавистью. Конечно, она ненавидит меня, хотя при чем тут я? Ведь если разобраться, я все время выполнял роль козла отпущения то для одного, то для другого в этой странной супружеской паре. И уж если на то пошло, моя вина ничуть не больше Гильдиной.

Меня пробирает озноб, но не хочется даже двигаться с места. Тонкие тополевые ветки выпустили клейкие листочки, и я ощущаю их липкую смоляную горечь на руках, на всем теле — словно влажные объятья весны, от которых во мне замерзали соки, застывали в жилах, причиняя боль. Вот Франтишек нашелся бы в этой ситуации — призвал бы на помощь Вийона, чье имя, думаю, единственное имя поэта, застряло в памяти Франтишека, и то лишь потому, что привлекло непристойностями. Если б бедняга Вийон знал, чьи уста будут трепать его вирши! Франтишек шпарил его наизусть кстати и некстати, балаболил и при этом гоготал. Меня это бесило и подспудно давало моральное право презирать его. Ах, все это отговорки. Признав свою вину, теперь я сам же ищу себе оправданий. Я вникаю в случившееся, погружаюсь в его мутные глубины, чтобы получить возможность причислить себя к скорбящим. Жалея Франтишека, я пытаюсь пожалеть и себя. Так мне легче, хотя никто об этом не догадывается и никому до этого и дела нет.

С самого утра меня подмывает заговорить с могильщиком, вытащить его из ямы, пригласить на кружку пива, поболтать, но неприветливая физиономия и грязные руки останавливают. Может, я просто боюсь, как бы он не раскусил меня. Не по той ли причине побаивался я и Франтишека? Да, я недооценивал его, держал за дурака и все, что он говорил, считал трепотней. А Гильда еще поощряла меня, и мы оба потешались над его Вийоном, нам смешно было видеть, как у него загорались маленькие мышиные глазки; стоило ему произнести это удивительное, магическое имя — и он начинал декламировать с немалым трудом заученные строки:

Упреки, колотушки, страх —
Я все прощала, боль любую,
Бывало, ради поцелуя
Я забывала сто обид... [1]

Бедный Франтишек!

— Ну скажи, разве не здóрово? — разорялся он на всю квартиру.— До чего точно, а, Тибин?

В тот вечер я впервые пришел к ним. Я и мысли не допускал, что застану его дома, а о том, что он начнет декламировать стихи о женской преданности, и подавно не думал. Стоя за его креслом, Гильда пожимала плечами. По ее беспомощному жесту я понял, что

[1] Перевод здесь и далее (кроме отрывка на с. 99) Ф. Мендельсона. Цит. по изданию: Ф. Вийон. Стихи. М., Гослитиздат, 1963.

мне следует вести себя сдержанно. Меня и не надо было особенно призывать к этому. Уверяла, что Франтишек будет в отъезде, и на́ тебе! Он оказался дома и с вызовом разглагольствовал:

— Друзья известили меня, что застану дома дорогого гостя. И я в порядке исключения передал свою командировку товарищу. Оцени, Тибичек.

— Разумеется,— пролепетал я.

Гильда не стала усложнять обстановку и деловито принесла бокалы, затем стала искать вино. Я поразился ее невозмутимости и присутствию духа и невольно задал себе вопрос: впервые ли с ней приключился такой курьез или ей не привыкать выпутываться из щекотливых ситуаций? Не успел я сделать вывод, как Франтишек, наблюдавший за тщетными Гильдиными поисками, развел руками и с довольным видом, можно сказать почти торжественно, заявил:

— Дорогая! Вино, которое ты ищешь, давно во мне! А теперь прости, пойду отолью его.

Пребывая в некоторой неуверенности — не из Вийона ли и эта мужественная тирада, я счел за лучшее промолчать.

Франтишек вернулся в комнату быстрее, чем я успел шепнуть Гильде хотя бы слово. Я не обиделся. С какой стати он будет создавать нам условия для беседы? Не для того же, чтоб мы начали выяснять недоразумение этого вечера или чтоб я обрушился на Гильду с упреками, а она огрызнулась бы: «Виновата я, что ли, если он остался дома и рыщет, будто ищейка?»

— Так что винца у нас, стало быть, нету! — резюмировал Франтишек, застегиваясь на ходу. Глаза его при этом светились почти искренним, непритворным разочарованием (как же отвратителен был мне этот маскарад!). Посмотрев на Гильду, он добавил: — Раз уж ты приглашаешь гостей, позаботилась бы о напитках. Закусочная, между прочим, еще работает.

— Я думала, ты заскочишь...

— Ну, нет, дорогая, сходи сама. Давай, давай топай наконец! А мы тут с корешом побеседуем.

Его непонятные, загадочные намеки и тщетные попытки сохранить непринужденность и светские манеры настораживали. Чем больше он петушился, вертясь в ободранном кресле, стоявшем под немыслимыми пейзажиками кисти какого-то местного мазилки, тем больше подмывало меня захохотать ему прямо в глаза, высказать все, что я о нем думаю и что знаю от Гильды — такими яркими красками расписала она его, так выразительно обрисовала его ничтожность, закомплексованность и нервозность, его тупую физиономию, желтую и напряженную, и вечно стиснутые челюсти. Я ненавидел его и в то же время жалел. Вызывала мое сочувствие и Гильда, наверное, надо было сказать: никуда не ходи, обойдемся без вина,— но я не хотел, чтобы Франтишек, жалкая животина в человеческом облике, подумал, будто я боюсь или избегаю разговора с ним, поэтому я просто сказал:

— Гильдочка, если я могу тебя о чем-то попросить, сходи!

И она пошла. Мягко выскользнув из комнаты, она легонько притворила дверь, и звуки ее шагов, удаляясь, затихли.

— Я слушаю,— повернулся я к хозяину дома, но Франтишек сразу как-то сник. Не думаю, что ему нечего было мне сказать. Наоборот, этого было даже слишком много, чтобы за короткое время он в состоянии был осмыслить своей дубовой башкой. Он предельно напрягся, собираясь совершить сей отважный шаг. Мозговой механизм этого молодца израсходовал всю без остатка энергию, чтобы произвести одну-единственную мыслишку:

— Не воображай, будто надо мной все могут насмехаться!

— Если хочешь, чтоб я тебя понял, проясни,— заметил я, в то время как Франтишек, исчерпав силы на эту фразу, которая, види-

мо, давно кристаллизовалась в нем, замолчал, а я продолжал: — Уж и не знаю, почему над тобой должны насмехаться.

— Хрястну тебя по морде, тогда все поймешь! — Вскочив с кресла, он нервно заметался по комнате.— Я женился на Гильде, потому что она лучше других баб знала свое дело. На то, что ей нужно, меня еще запросто хватит!

В стремлении Франтишека доказать свои доблести было больше отчаяния, чем гордости, но поведение его заставляло быть начеку; он безостановочно передвигался от стены к стене, раздергивал шторы и выглядывал из окна. Похоже, готовился к чему-то; я же в свою очередь был полон решимости начисто отвергать и малейшие намеки на мою связь с его женой. Не из-за себя. Я-то уж как-нибудь сладил бы с ним, в крайнем случае дал бы деру. Беспокоился я за Гильду. Что способен учудить тип вроде него, уязвленный в своем самолюбии и в то же время бессильный, когда в один прекрасный момент сообразит, что теряет все? Для Франтишека не было ничего дороже Гильды. При этом бедняга не понимал, что никому он не безразличен так, как своей собственной жене. Он не понял этого за долгие ночи без сна, когда ворочался в постели и вздыхал, и отзвуком ему было лишь недовольное ворчание и отговорки необходимостью рано вставать. Ясней ясного, что такому достаточно шепнуть, будто жену его видели в городе с каким-то сопляком.

— Гильде скоро тридцать,— почти свирепо продолжал Франтишек.— Мне на два года меньше, а тебе только-только двадцать пять стукнуло! Удивляешься, да? Я уж поднатужился и выяснил, что было надо. Будь спокоен, я давно вышел на твою вшивую контору. Канцелярских крыс я всегда терпеть не мог, и ты не исключение. Скажи спасибо Гильде, что я с тобой мирно беседую. Сегодня она еще расстроилась бы, если б я попортил тебе вывеску. Но завтра, попомни мои слова, завтра она сама подставит тебя мне под удар, отпихнет тебя с дороги, потому что бабе вроде Гильды нужен мужчина, соображаешь — мужчина!

Пожалуй, он прав. Будь я мужчиной, я не позволил бы оскорблять себя и покинул бы этот дом. Но, одержимый необъяснимым идиотским любопытством, я не уходил и, с удобством, как и он, рассевшись на старом диване, выжидал, что выкинет этот тип. Но чего, кроме оскорблений в свой адрес, мог я дождаться при таком самовосхвалении, которым он пытался завуалировать свое жалкое положение? Ведь будь он уверен в себе, как пытался меня убедить, он просто не стал бы со мной разговаривать, выяснил бы все с Гильдой. Но Гильда и вправду удивительная женщина, доводы рассудка не имеют для нее ровно никакого значения. Впрочем, пожалуй, все же имели. Она понимала, что в один прекрасный момент произойдет то, что в минуты приливов ненависти, отчаяния и бессилия пророчил ей муж, вдохновленный Вийоном:

Вот доля женской красоты!
Согнулись плечи, грудь запала,
И руки скручены в жгуты,
И зад и бедра — все пропало!
И ляжки, пышные, бывало,
Как пара сморщенных колбас...

Бедная Гильда!

— Вот уж не думал, что ты начисто лишена вкуса! — приветствовал ее Франтишек, когда она появилась снова.— Твой любезный миленочек молчун, с ним не поговоришь. Я-то надеялся, что в обществе интеллигента по крайней мере развлекусь умной беседой. А он знай слушает разинув рот да мотает на ус, что говорит ему умудренный опытом мужчина.

Схватив бутылку огромной, словно лопата, ладонью, он повернулся к батарее отопления и замахнулся. Мне показалось — он собрался отбить горлышко, чтоб не возиться с пробкой. Перехватив мой испуганный взгляд, Франтишек расхохотался, но затем серьезно заключил:

— Тибинчик, наш брат ценит заработанное собственными руками, так что не трухай! У меня от баранки, погляди, во мозоли! Гильда, давай бокалы, господа желают выпить!

Модной стенкой они пока не обзавелись. Старый, видимо доставшийся по наследству, сервант, в котором двумя шеренгами выстроились хрустальные фужеры и бокалы для шампанского, свидетельствовал о стойком консерватизме Франтишека и его развитом чувстве семейных привычек. Оно и понятно. В долгих рейсах по стране, а то и по Европе, ему, небось, часто вспоминается родной очаг. Это мое суждение. Не подумайте, будто я собираюсь приписывать Франтишеку какие-то там мысли или, не дай бог, сентиментальности. Крепкий малый, гордый своей профессией, щедро наливал, как бы демонстрируя, что от разговоров у него пересохло горло.

Выпила с нами и Гильда и даже подмигнула мне: ну, что, не говорила я тебе, какой он баран — вопит, блеет благим матом, но рогом не подденет. Рогатая башка! Она глотнула вина, заглушая смешок, и легкая улыбка тронула ее губы, оживила порозовевшие щеки. Она была очаровательна, и я чувствовал себя королем! Ну кто еще может похвастать, что обманутый муж тебя же потчует вином? Много ли таких баловней судьбы! А может, и вправду много? Ну и неважно! Франтишек откровенно заявил, что терпеть не может канцелярских крыс, но в тот вечер я готов был побиться об заклад, что втайне он благоговел перед моей причастностью к сословию канцелярских писак. Еще бы! Без них никуда не денешься, чиновники — это сила! Без чиновников ничегошеньки не сделаешь, и только с их благословением в виде соответствующей бумажки сможешь что-либо предпринять — поступить на работу, получить метрику о рождении, оформить брак, купить телевизор в рассрочку, поехать отдыхать за границу, не говоря уж о проклятом медицинском обслуживании! Золотой мой Франтишек! Я постепенно обретал чувство превосходства, пил вино, и мне было неплохо.

Когда я уже почти совсем уверился, что воцарился в их скромном доме и призван сюда единственно для того, чтобы избавить Гильду от убийственной монотонности семейной обстановки, Франтишек произнес:

— Ребенок плачет, ступай посмотри, ему пописать надо!

— Прости, но я ничего не слышу,— возразил я медовым голосом.

— Зато я слышу! — зловеще возгласил Франтишек и сильно стукнул бокалом о стол.

Гильда виновато улыбнулась мне и убежала в спальню.

— А теперь все, лавочка закрывается! — уже спокойно сказал он.— Выпили мы до дна и тихо разойдемся. Что скажешь, дорогой?

Тут я обратил внимание, что бутылка пуста, и утешил Франтишека:

— Куда спешить, я позабочусь о выпивке.

— С наценкой я пью исключительно в кабаках,— ответствовал он.

— Можем зайти в винный погребок,— предложил я.

— О чем ты говоришь! Мы с тобой? Если у тебя горячая голова, прими аспирину. Мне утром за руль. Тебе мамулечка еще рубашечку будет наглаживать, а я, дорогой мой, буду уже в рейсе!

— Тогда я пошел.

— Мудрые слова.

— Попрощаюсь только с Гильдой...

— Я верно расслышал? — Франтишек осклабился.— Прости, мне почудилось, ты что-то сказал? Ничего? Ну и хорошо. Ты правильный малый, дорогуша. О Гильде забудь. Говорю тебе, забудь ее! Если б не твои художества, я давно б уж был в постели, а так мне пришлось потратить на тебя свое время, отведенное для сна. Надеюсь, в первый и последний раз, не то придется проучить тебя. Разделаюсь я и с Гильдой, у тебя только челюсть отвиснет.

— Если ты угрожаешь, я могу тебя уверить...

— Не утомляй себя, дорогуша, твои слова меня ничуть не интересуют. И ты можешь наплевать на мои, но запомни одно: Гильды для тебя не существует.

Я выкатился из их скромной квартиры — слишком скромной при неконтролируемых доходах моего нового друга, но домой не пошел. Я еще поболтался по городу, по нашему пригожему городишку, где самая крошечная лужайка украшена жестяной табличкой «По газону ходить воспрещается». Очень скоро все эти запреты до того меня разозлили, что я принялся топтать траву в сквере, а потом прошелся по всем попавшимся на пути газончикам, по всем клумбам перед магазинами, этими адскими заведениями, где, что бы ты ни покупал, тратишь уйму нервов. Сейчас мне были предельно безразличны все магазины с выставленным напоказ залежалым товаром и дефицитными вещами под прилавками, меня даже не трогали недовольные, невыразительные лица продавцов и продавщиц,— ведь я ничего не собирался приобретать, я ни в чем не нуждался, наоборот, кое от чего жаждал избавиться, например, от избытка глупости, отягощавшей мою голову, страстно жаждал выкинуть из мыслей невыносимого Франтишека, который сверлил мои мозги, будто жук-дровосек, и сверлил, и пилил, и от этого было худо до тошноты, и в какой-то момент я даже малодушно подумал, как же нелепо было с моей стороны вообще затевать всю эту историю с Гильдой, когда вокруг полно славных девчонок, среди которых, в конце концов, была Мария, прежде всего Мария, и ничто не мешало мне жениться на ней. Мало того, все и шло к тому, что в один прекрасный момент нас проводят в национальный комитет, в отдел записей актов гражданского состояния. Но проблема заключалась в том, что Гильда мне нравилась. Случай свел нас, я протянул ей руку, и Гильда уже не отпустила меня. Она посмеивалась надо мной, играла мной, а посмеиваясь, приговаривала: не надейся легко избавиться от меня, ты не похож на моего шута горохового, того, что есть у меня дома. Уж я тобой попользуюсь, поиграю немножко, а потом иди себе на все четыре стороны! ДА, ИДИ!

Наступление этого момента должна была определить Гильда, мне это льстило, и оставалось одно — наслаждаться. Да и кому другому на моем месте пришло бы на ум в состоянии почти беспредельного блаженства вспомнить о существовании мужа, которого собственная жена ни во что не ставит, и еще думать о том, что он может возмутиться и защищаться? Пожалуй, никому. Тем более мне. Тот вечер посеял во мне кое-какие сомнения, но вскоре я снова обрел душевное равновесие. Повторив про себя все, что за эти часы пытался вдолбить мне в голову Франтишек, проанализировав его многозначительные тирады, я задумался над его отношением к Вийону и пришел к утешительным выводам, что сколько бы этот малый ни рисовался, прибегая к сильным выражениям и угрозам, мне с его стороны ничего не грозит, все это разве что небольшое развлечение; если я буду держаться стойко и не спасую, то играючи навяжу ему роль скомороха, бессловесного мима, придворного дурачка. Все же я немножко жалел его, но не настолько, чтобы отказаться от Гильды. Если память меня не подводит, в какой-то момент я даже склонен был примириться с мыслью, что мы поженимся, если она предложит. Порву с Марией и покорно суну голову в сладостное

ярмо, подставленное мне Гильдой. Ерунда, конечно,— Гильду устраивала жизнь с Франтишеком. Что я? Мы были бы с ней на равных, а Франтишек представлял собой удобное приспособление, с помощью которого можно было нафаршировать сберегательную книжку, приобрести заграничные вещи, поехать в путешествие за границу и так далее. Он не был ей ровня в духовном отношении? Ну и что? Где записано, что ей суждено иметь в жизни все?..

На работу я явился около восьми, до смерти усталый и невыспавшийся. Мой непосредственный начальник Ксавер Мартинчек, помнивший чиновничье обхождение еще времен первой республики[1] и, к удовольствию начальства, соблюдавший его и сейчас, уставил на меня неподвижный взгляд серо-голубых глаз, притворился расстроенным и, проявляя сочувствие, машинально спросил:

— Кофе, а, Тибин?

Нежнее воркованья прозвучал для меня его иронический вопрос.

Я плюхнулся в кресло и уточнил:

— Двойной и, пожалуйста, без сахара!

Вскоре позвонила Гильда и сообщила, что Франтишек отбыл. Всю ночь он травил себя содой, нейтрализуя желудочный сок, и не успел заснуть, как его поднял будильник. Со злости он трахнул будильником о стену, порвав обои, от грохота проснулась и отчаянно расплакалась дочка, но сейчас все в порядке. Франтишек вернется из Остравы только к завтрашнему вечеру, и то если не придется ехать в объезд через Брно. Во всяком случае, день принадлежит нам. Голос Гильды журчал, как молодое искристое вино, когда его наливают в хрустальный бокал, и я тщетно пытался объяснить ей, что ужасно устал и больше всего хочу спать. Она назначила свидание на половину пятого у кладбищенских ворот. Только я положил трубку и отхлебнул кофе, заботливо приготовленного Ксавером, появился директор с несокрушимым ожесточением на лице, надутый как индюк.

— Представьте себе, Тибор, утром меня вытащил из ванны какой-то аноним и сообщил, что по ночам вы таскаетесь по городу, топчете газоны и вообще что вы пьяница!.. Потрудились бы хоть побриться, отправляясь на работу!..

Я ничего не стал объяснять ни ему, ни Ксаверу, а про себя поклялся, что этого сюрприза Франтишеку не прощу, и уже с нескрываемой радостью дожидался, когда же пробьет четыре и я смогу поспешить к кладбищенским воротам.

Так началась единственная в своем роде осень! Мрамор и обыкновенные гранитные глыбы, с помощью которых граждане города увековечивали память о своих близких, почти ежедневно оживали на час-другой и превращались в райский вертоград, из которого нас не могли выгнать ни дождь, ни слякоть, ни мороз, ни снежная вьюга. Понемногу я привыкал к фокусам Франтишека, к даже смешным в общем-то выходкам беспомощного мужчины, ведь что бы он ни делал, все оборачивалось против него же. На это время Гильда оказалась для него начисто потеряна.

Итак, мы встречались на кладбище. Изредка Гильдина подружка давала нам ключи от своей квартиры. В крошечной квартирке гостиничного типа, еще необставленной и без занавесок, мы сидели на голом паркетном полу или подстилали Гильдину дубленку. Время от времени, примерно раз в неделю, Франтишек напоминал о себе. По телефону. Он был в курсе всего, кроме квартиры подруги. «Дорогой, вы не боитесь простудиться на кладбище? Впрочем, для тебя это уже неважно, потому что в ближайшие дни я разорву тебя, как жабу, ну, а Гильде надо заботиться о ребенке. И обо мне». В конце декабря Гильда сообщила, что у Франтишека крупные неприятности на рабо-

[1] То есть довоенной буржуазной Чехословакии.

те. Вроде бы его сняли с дальних рейсов и переводят на обыкновенный грузовик. Я не заметил, чтоб ее это как-то особенно обеспокоило, зато для меня было небезразлично. А в одно прекрасное утро Франтишек позвонил и объявил: «Слушай, друг, я только что узнал, что мне скостили премию! Случаем не знаешь почему? Тогда объясню! Два раза я попался на дутье перед сменой — да, дул в трубку, и она показала зеленое, еще я, оказывается, грубиян, лишенный чувства коллектива. Непонятно. Подскажи, что бы это значило. На работе сложности, в которых надо разобраться. Если станут приставать и требовать объяснений, я пошлю их к тебе,— что ты на это скажешь, дорогой? Хуже всего, что и в постели моя производительность сильно упала. Нервы сдали, дорогой! Тебе не мешало бы задуматься над этим. Я еще позвоню и с удовольствием выслушаю, что ты скажешь».

И он с такой злостью — уже не первый раз — швырнул трубку на рычаг, что у меня зазвенело в ухе. Я обругал себя за то, что не угадал, в какой именно момент терпение его лопнет и он шваркнет трубкой! Не хватало оглохнуть из-за этого кретина! С Гильдой говорить о нем было невозможно. «Тебе кто нужен — я или он?» Разумеется, мне нужна была она, но я все чаще задумывался о том, что, пока мы с Гильдой играем в любовь, Франтишек, видимо, страдает. Я словно предчувствовал, что близится роковой миг в наших отношениях, но сначала пришел конец зимы, и раздался его очередной телефонный звонок, на этот раз последний.

— Это, по-видимому, тебя,— сказал Ксавер.

— Можешь взять трубку.

Ксавер поднял трубку:

— Алло, да, плановый отдел...— Затем он состроил кислую мину и бросил трубку на поворотную подставку.— Я говорил, что тебя,— и подтолкнул подставку с телефоном ко мне.

Аппарат остановился против моего лица.

— Соблаговерный! — ехидно бросил Ксавер и погрузился в чтение бумаг.

— Наконец-то многоуважаемый фон-барон соизволил отозваться! — раздалось в трубке.— Ты отнимаешь у меня время!

— Нечего было звонить.

— Не скажи! Почем тебе знать, что мне надо делать, чего не надо?

— Ты вроде намекнул, что тебе некогда. Так что кончай бодягу.

— Ясно, дорогой. Но я действую в твоих же интересах и советую лучше не ходить на сегодняшнее рандеву.

— Я не знаю, о чем ты говоришь.

— В самом деле? Тогда загляни в свой календарь, он у тебя перед носом, а в нем пометка: 18.30.

Я метнул яростный взгляд на Ксавера. Тот пожал плечами. Ясно, даже если б он знал, о чем речь, с моей стороны было бы наивным думать, что божье создание Ксавер сплетничает или информирует Франтишека. Скорее всего это наши водители. Пижоны, суют нос всюду, когда нет поездок, шляются по кабинетам и развлекаются как могут.

— Слушай,— сказал я,— уж не собираешься ли и ты явиться на наше свидание? Надеюсь, ты не против, если я приглашаю кое-кого на чашку кофе?

— Само собой, если этот кое-кто не моя жена.

— С Гильдой нам надо выяснить дела по работе.

— Скажи, пожалуйста! Я и не знал, что служебные дела выясняются в кафе после работы.

— Приходи и убедишься.

— Чихал я на тебя!

И он бросил трубку.

Изящным движением, чтобы позлить Ксавера, я толкнул подставку так, чтобы аппарат остановился точно посредине стола, и со вздохом сообщил:

— Что за народ пошел, лезут со своим носом даже в твои личные дела!

— Ты удивлен?— спросил Ксавер.

— Вообрази себе, да. Видимо, это звучит наивно, но я удивлен.

— При твоем поведении тебе надо быть готовым ко всему.

— Узна́ю, кто доносит на меня этому кретину,— хребет переломаю!

— Ого, у тебя уже и агрессивность появилась!— Ксавер ухмыльнулся.

— Сделал бы это не задумываясь.

— Герой!

— Ксаврик, скажи, пожалуйста, что ты против меня имеешь? Разве я лезу тебе в душу?

— Зря старался бы. В моей жизни для тебя нет ничего интересного.

— А в моей, стало быть, есть?

— Как видишь.

— Так вот, Ксаврик, я считал тебя товарищем, а теперь вижу, что ты сволочь!

— За что оскорбляешь?

— Прости.

— Считай, что я забыл, Тибин.

Я сварил себе кофе и успокоился. В самом деле, плевал я на звонки обманутого мужа, а также на то, что кто-то систематически и небезуспешно роется в моем белье, но что я смешон своему товарищу по работе, обидно. Не будь у меня уверенности, что встреча с Гильдой вернет мне хорошее настроение, что рядом с этим единственным в своем роде созданием я очнусь от летаргии, я наверняка пошел бы и попросил отпуск и отправился куда-нибудь в горы.

— Вот смотри,— неожиданно откликнулся Ксавер,— все мы знаем, что вы с Марией собираетесь пожениться. Мария — славная девушка, и нам не хочется, чтобы ты испортил ей жизнь.

Я многое терпел от Ксавера, но такое заявление, согласитесь, меня здорово задело.

— Ксавер, ты что несешь? С какой стати ты приплел Марию? Все это мое личное дело.

— Прости, но... что бы ты сказал, если б сейчас позвонила Мария и захотела с тобой встретиться? Или, к примеру, она достала билеты в театр и...

— Предложил бы пригласить приятельницу или попросил тебя разделить ее общество.

— Ладно, ты сказал бы ей о Гильде?

— О Гильде? А зачем?

— Мария должна знать, что ты водишь ее за нос!

— Ты в самом деле считаешь...

— Я знаю одно, Тибичек, что ты ведешь нечестную игру.

— А я полагаю — за этим стоит кое-что другое: ты завидуешь мне. Ты и все остальные, кто суется в мои дела.

Ксавер снял очки, близоруко глянул на меня, взял кусок сахара, пососал его, подержал на языке, а нерастаявший комочек разгрыз и запил глотком кофе из моей чашки. Задор его чуточку поувял, но он все-таки высказался:

— Тибин, выслушай мое мнение! Меня ничуть не трогают твои красотки, будь их целый табун,— если они не мешают Марии, чего бы они мешали мне? Хороводься с ними, если тебя на это хватает. Но мне противно, что ты гоняешься за количеством!

— В ущерб качеству...

— Совершенно верно!

Мне стало смешно, хотя я с серьезной миной продолжал поддерживать разговор:

— Честно говоря, я тебя не понимаю...

— Такое поймешь только трезвым умом!— распалился Ксавер.— Но количество всегда отражается на качестве...

— Об этом я не подумал. Ах я, наивная душа, я считал, что количество не имеет значения, когда ты увлечен всей душой, и какая разница, сколько этих красоток,— они тебе нравятся, и ты бросаешься в объятия любви, пускай и ненадолго, на несколько дней... Тебе подобное незнакомо, Ксаврик? Не подумай, что я недооцениваю тебя, мне просто жаль, что какие-то вещи до тебя не доходят, что ты оперируешь показателями, которые в данном случае ничего не показывают, ты знаешь, что количество отражается на качестве, а имеешь ли ты понятие об этом самом качестве? Имеешь ли представление о женской красоте и что это за чудо — здоровое женское тело? Фига с два ты понимаешь. Ну, там, что такое жена, которой ты повелеваешь варить, стирать тебе рубашки и исподники, заботиться о детях, пока ты изображаешь главу семьи,— еще куда ни шло, это ты еще понимаешь, но ведь этого маловато!

— Ничуть не меньше, чем твои встречи украдкой, на минутку. Разве не унизительно для мужчины подвергать себя дурацким испытаниям только ради того, чтобы залезть в чужую постель!

— Кто сказал, что в чужую? Я ведь стремлюсь попасть в постель к любимой женщине.

— Оставь, пожалуйста! Не пытайся поразить меня ходульными благоглупостями!

— Ничего подобно, Ксаврик! Меня, можно сказать, подхватило волной чужого вдохновения. У меня приятель художник.

— Еще бы! Пьянь Влчимак!

— Герберт Влчимак! Художник, окончивший Академию. Вот его упрекают, что он печет картины без счета, но своими работами ничего нового в нашу живопись не внес, что-то в этом роде. Другие же, наоборот, ругают за то, что живопись его слишком отвлеченна, что картины его оторваны от жизни. А ты посмотри на его произведения — и увидишь словно отраженным в зеркале все, что окружает нас. Герберт Влчимак придерживается той точки зрения, что нет ничего возвышеннее действительности.

— Не могу сказать, что его картины вдохновляют меня.

— Просто ты не задумывался над ними.

— На картину достаточно смотреть.

— Но воспринимают ее не только взглядом.

— Интересно, а чем же еще? Задницей? Я, с твоего позволения, умею видеть только глазами.

— Ясно. Остальное для тебя не существует. До остального ты не дорос.

Ксавер поскучнел.

— Опять оскорбляешь! Ты прямо набиваешься, чтоб тебе перышки пообстригли.

— А ты ослеплен завистью! И все твои наставления — оборотная сторона самой вульгарной зависти! Очнись, прошу тебя! Если будешь продолжать в том же духе, то скоро позавидуешь и курице, что она снесла яйцо. Таких вот, как ты, сжирает зависть, от которой они слепнут и глохнут, а бедная трудяга-курочка просто-напросто занята своим скромным повседневным делом.

— Господи, что ты мелешь, Тибор! Хочешь сказать, что ты тоже занят своим скромным повседневным делом.

— Я, дружище, живу и хочу жить полнокровной жизнью, пускай и без возлюбленных! А меня преследуют пустобрехи-благодетели вроде тебя!

— Объясни хотя бы, для чего тебе все это нужно, не возьму в толк, честное слово. Баба как баба, чего гоняться за тем, что тебе не принадлежит, и вешать себе на шею ее мужа и кучу всяких неприятностей!

— Меня это развлекает, Ксаврик!

— Развлекает его! Избавь меня от своего цинизма!

Я — и цинизм! Ничто не затронуло так глубоко моих чувств, как эта история, ничто не переживал я так интенсивно и полно, а ты обвиняешь меня в цинизме? Да, дружочек, тебе и вправду надо все как следует разжевать и поразить твой свинячий слух волшебной сказкой о том, как мне хорошо с Гильдой, какое восхитительное ощущение испытываю я, когда она обвивает меня своими красивыми руками и шепчет: не торопись, у нас есть время, все вокруг принадлежит нам, весь мир кругом, весь мир и эта ночь, это мимолетное мгновенье, не спеши, пусть эти мгновенья тянутся бесконечно долго, понимаешь, долго, ты мое чудное ушко, мое сокровище ненаглядное, сказочный принц, тайна моей жизни, сладкое тело, нежнейшая душа, шелковистая кожа, грех мой единственный, наплюй на все и думай только обо мне, об этой минуте, я хочу, чтобы ты принадлежал мне одной, понимаешь, мне одной! Лежим мы на мягкой белой постели или на поношенной дубленке и плевать нам на всех, потому что все, что мы делаем, чисто — чисты ее руки, касающиеся меня, чиста ее душистая шея, ее великолепные полные груди, весь божий дар ее тела чист для меня и дороже всех наставлений всех вместе взятых моралистов, мечущих на нас громы и молнии, потому что им вовеки не видать такой красоты! Судьба несправедливо жестока к ним, она подбросила им всего лишь дар мечтать да зависть, и свои несбывшиеся мечты они возмещают злословием и нападками на тех, кому в жизни повезло.

— Знаешь, Ксаврик, мне надо в сберкассу,— заключил я вслух свой монолог; больше я не в состоянии был изливаться на эту тему.— Если шеф будет искать меня, скажи, что я пошел за профсоюзными марками, или придумай что-нибудь поумнее.

Надев пальто, я выскочил на улицу, и меня сразу окутала восхитительная тишина. Рядом грохотали автобусы и автомашины, шумели люди, скрипел гравий, шелестели листья деревьев, а я слышал только тишину, ту единственную тишину, в которой я искал спасения от надоевших пересудов. Я помчался под дождем в сберкассу, в старую, обшарпанную развалюху, хранившую в своем вонючем чреве тридцать тысяч моих холостяцких сбережений, и которая, увы, была единственным божеством для многих глупцов, со всеми потрохами погрязших в своих пухлых сберегательных книжках, откуда они изредка высовывали свои пустые головы для того лишь, чтобы кому-нибудь отравить жизнь. Я понимаю, что был несправедливо пристрастен к этим людям, склонный причислить к злоумышленникам и совершенно порядочных людей, видевших смысл жизни в бережливости, в то время как я... Что ж, я исподволь преображался, стремясь обрести гражданское достоинство, и меня меньше всего заботило, что думают другие об этом моем переходном состоянии. Тем не менее, когда я миновал телефонную будку, что-то словно толкнуло меня, какой-то дурацкий внутренний голос приказал: остановись и позвони, скажи своей драгоценной Гильде, что сегодня не придешь, сошлись на занятость, на собрание, отговорись необходимостью переводить для французской делегации, отговорись чем угодно и пошли ко всем чертям ту дешевую бурду, которую вы собираетесь пить сегодня в кабаке, преследуемые страхом, что в любую минуту появится полоумный Франтишек, и позвони Марии, скажи, что не прочь сходить с ней сегодня в кино, или возьми у кого-нибудь машину и скатайте вместе в Братиславу. Ах, что за ерунда! Меня разозлили мои собственные дурацкие затеи. Ну чего звонить Марии — мы и так встретимся в

обед в столовке. Одержимый такими немыслимыми идеями, я почувствовал себя парией, но это было даже забавно. Я ведь не просто гонимый всеми, я их же благодетель! Своими выходками я помог многим обрести смысл жизни. Кто сосчитает, скольких людей озаботил я своими сумасбродствами и избавил от собственных забот?

Вечером я сидел в кафе и ждал Гильду. Она пришла. Одна. Франтишек появился чуть погодя.

— Ты, я вижу, не слушаешься! — Он покосился на меня и вытащил из кармана короткую толстую цепь.— Случалось тебе развлекаться дешевым чтивом, дорогуша? Наверняка да. Ты человек образованный, с дипломом, тебе ничего не надо объяснять. Надеюсь, ты оценил, как надежно работает моя мафия. Если через пять минут ты отсюда не слиняешь, я забуду, что знаком с тобой.

— Будет сделано, Франтишек,— сказал я.— Но сначала сядь и выпей со мной. И прочти какой-нибудь стишок.

Франтишек швырнул цепь на стол и сел.

— На улице меня ждут друзья,— добавил он, но я не принял его заявление всерьез. Такие герои не опасны. Я заказал ему двойную порцию можжевеловки и даже почти обрадовался его обществу. Утренний разговор с Ксавером испортил мне настроение, а сейчас, разглядывая тронутую ржавчиной цепь на белой скатерти, я неожиданно взбодрился. Ну не замечательно ли быть участником комедии, в которой все мы играем свои, пусть маленькие роли и не ждем аплодисментов, нам достаточно волнения, которое мы испытываем, и мы никогда не знаем наверняка, успешно ли выступили, чем кончится действие, и все играем и играем! До бесконечности и без сдерживающих препон, потому что тогда-то игра и имеет какой-то смысл.

Франтишек опрокинул в себя можжевеловку, засунул руку за ворот толстого свитера, вытащил книжку и на манер деревенского проповедника, которого вытолкнули на амвон, провозгласил:

— Стишочков захотелось! Дурака из меня делать, вот чего тебе охота! Только я дурак не больше твоего, кадришься с моей женой, а воображаешь себя золотоискателем. А правда вот она, послушай:

Как ведьма, будет он сожжен
За всех блондинок и брюнеток!
Как счастлив тот, кто не влюблен!

И я, несчастный, искренне, от всего сердца захлопал ему!

— Франтишек! Ты великолепен. Выпьем за твою гениальность!

Официант был тут как тут. Не заставив себя долго ждать, он водрузил на стол бутылку и предложил тарелочку жареного миндаля, явно рассчитывая на наше долгое сидение. Мы, разумеется, были не первой троицей, которой он ассистировал в тяжкую минуту.

Франтишек пил жадно. Гильда, поглядывая на него, веселилась. Оба мы считали, что худшее позади. Единственной пока нерешенной проблемой оставалась цепь на столе, которая словно бы не имела ни к кому из нас отношения, зато привлекала недоуменные взгляды и внимание окружающих. Я вообразил, что мое знание Вийона поможет разделаться и с этим:

Принцесса, поверьте! Отныне покоя
От вас вдалеке мне не знать никогда!
Без вас я погибну, измучен тоскою,
А поэтому с вами я буду всегда.

Бедный Франтишек! Огорошенный, он не сразу обрел дар речи. Наконец, махнув рукой, он взял со стола цепь и вздохнул:

— Это как же понимать? Выходит, ты подбрасываешь мне мою

же собственную жену и хочешь, чтоб я повторил ей вслед за тобой все эти глупости.

У меня отлегло на душе.

— Не собираюсь давать тебе советы, Франтишек, но сделай так.

— Один треп у тебя! Таскаешься за Гильдой, но ведь ты ее совсем не знаешь. Моя жена никогда не придавала значения словам, она слишком благородная натура, чтоб читать всякую чушь. Это только лопух-шофер убивает время на разгрузке за чтением стихов, чтоб замутить себе мозги.

Гильда беспокойно заерзала. Как же она была хороша — ее красило волнение.

— Пожалуй, нам пора идти,— перебила она его.— Франтишеку завтра рано утром на работу.

— И то верно,— согласился Франтишек.— Допьем и тронем. Знаешь что, дорогой? Я приглашаю тебя к нам. Трахнем еще по банке!

На улице было холодно и ветрено. Мы тащились по темной улице, и Франтишек весело напевал. Недобрые предчувствия тревожили меня, и на площади я предложил разойтись, но Франтишек запротестовал. Не вздумай, дорогой, во всем верить Гильде! Пан Франтишек возьмет и устроит себе завтра внеочередной отгул, так что сегодня мы пошумим.

— Не спорь,— шепнула Гильда и ущипнула меня.— Побудем вместе подольше.

И в самом деле, идея неглупа, согласился я и больше не сопротивлялся.

Мы свернули с мостовой на тротуар к светящейся сетке окошек, и тут Франтишек остановился:

— Я зайду в гараж, у меня там бутылка под сиденьем.

— А пустит тебя сторож? — усомнилась Гильда.

— Меня и не пустит? Меня, Гильдушка, даже директор пустит!

Он покинул нас и, пошатываясь, исчез в темноте, а Гильда схватила меня за руку.

Я отстранился:

— Пожалуй, мне лучше смыться домой.

— Ты что!

— А если он собрался подловить нас?

— Пошел он в гараж или нет?— воскликнула Гильда.— Вот и поспешим; пока он притащится, мы успеем побыть одни.

Он так и не притащился. Ни в тот вечер, ни позже. Уже под утро, когда я уходил, зазвонил телефон. Гильде сообщили о случившемся. Она не позвала меня, не окликнула, хотя знала, что я только что вышел из квартиры...

...Пальто мое совершенно промокло, лопатками я ощущал холод и сырость.

Могильщик копал. Медленно, устало, с отвращением. Пожалуй, все же заговорю с ним. Кладбищенская тропка совершенно раскисла, и, ступая, я невольно вдавливал камешки глубоко в грязь. Заметив мое приближение, он поплевал на руки и продолжал копать. Комья липкой желто-серой глины вылетали из ямы и шлепались на свежую насыпь.

— Не мешало бы пропустить чайку,— сказал я могильщику.— С ромом.

Он молча продолжал копать, с трудом, аккуратно погружая острие лопаты в грунт.

— Я вас приглашаю. На чашку чаю с ромом.

Он все копал. Дождь стекал ему за шиворот, руки были в грязи. Глубже грунт становился песчанее и рассыпчатей, может и теплее.

— Можно зайти в привокзальный буфет,— не унимался я.

Наконец могильщик сделал последний взмах и воткнул лопату в середину ямы. Вылез, вытер руки о штаны, сморкнулся на траву. Ему было жарко, он вспотел.

— Не самое подходящее время выбрал он...

— Случайность. Не надо было включать на третью скорость.

— Говорят, он был пьян.

— Съехал с дороги на третьей скорости и разбил грузовик. Да еще перед самым костелом. У него песенник нашли.

— Песенник?

— Книжку такую с крестом.

— Вийона.

— А я говорю — песенник!

— Это одно и то же.

— Ну...

— Вы знали его?

— Он мне был двоюродный брат.

Вот неожиданность!

— Я тоже его знал.

— Так это ты тот самый?..

— Смотря что вы имеете в виду.

— В последнее время у нее был только один.

— В таком случае, стало быть, я.

— Ладно, поехали!

В неуютном буфете мы нашли место за расшатанным треногим столом. Ели гуляш, пили ром и пиво, забыв о чае. Разговор шел о Франтишеке. И о Гильде. О ней меньше — могильщик будто побаивался ее. А может, он тоже на нее глаз положил, как и многие другие мужчины, но, не желая показать мне этого, все возвращался к Франтишеку, искренне жалея брата. Родни убывает, задумчиво проговорил он, уставясь на сиреневый пластик стола, и мне пришлось признать немного и своей вины, которая гнетет меня и сейчас. Так уж и гнетет? Просто я испытываю легкое, нельзя сказать часто, ощущение озноба, экзему на душе или на сером веществе мозга.

Около половины второго показался Ксавер Мартинчек. Маленький, сутулый, в новом плаще. Он притворился, что не заметил меня, хотя весь напрягся, увидев нас краем глаза. Готов спорить, ради меня он и пришел сюда — ведь недалеко от нашей фирмы в городе есть несколько кафе. Ксавер взял себе граммов сто парижского салата, добавил столовую ложку перца, нарезанного и посыпанного тертым эмментальским сыром, и еще два рогалика. После этого, направившись к нашему столу, он словно нечаянно обратил на меня внимание. Я предложил ему сесть. Он отказался. Видать, его не устраивало общество — вахлак, одетый в обвисший рабочий комбинезон и к тому же совершенно окосевший. Ксавер Мартинчек неплохой человек, но во всем признает только совершенство — дома ли, в работе, в своих знакомых. Мой сосед по столу определенно не показался ему даже как рабочий человек.

— Тебя разыскивает шеф!— с нескрываемым злорадством выложил он.

— Завтра я подам заявление об отпуске,— охладил я его пыл.— Если он снова будет искать меня, спокойно скажи ему, что по серьезным семейным обстоятельствам с завтрашнего дня я ухожу в отпуск. Отпускной листок лично принесу ему на подпись. Или пускай запишет мне прогул.

Ксавер пожал плечом. Жадным и даже умильным взглядом обвел он свою скромную покупку, лишний раз проверяя, не забыл ли чего, и направился к выходу. Обеденный перерыв у нас кончался в два, и Ксавер не пережил бы опоздания с обеда хотя бы на минуту.

Я догнал его у дверей. Не догадываясь, чего я хочу, он, однако, живо перехватил у меня инициативу и с важным видом спросил:

— Ты до сих пор не понял, что перегибаешь палку?

— Нет, Ксаврик.— И я махнул как только мог легкомысленнее.

— Ты даже служебными обязанностями пренебрегаешь!

— Говорю тебе, что беру отпуск.

— Дополнительный?— расстроенно проговорил он и покраснел: да, уж этот-то вопрос надо было задавать сразу, когда я первый раз обмолвился об отпуске.

— Хотя бы и дополнительний.

— Как знаешь,— смирился Ксавер Мартинчек,— но помни, что в вине ты не найдешь спасенья.

— Мне не от чего спасаться,— жестко возразил я.— Могильщика я просто пригласил выпить рома. Ну, и закусили.

— Ладно,— перебил меня Ксавер.— Отпуск я тебе оформлю еще сегодня, чтоб в этом плане все было в порядке. Спокойно довершай свое губительное дело.

— И довершу,— негромко проговорил я, чтоб он не вообразил, будто его причитания меня тронули. Ладно б это были «Жалобы прекрасной оружейницы»[1]! А то ведь жалкие слова старого запуганного чинуши!— Уж могилу-то я, по крайней мере, никому еще не копал.

— Прекрати! — почти в голос взвизгнул Ксавер Мартинчек.— Поступай как знаешь, но не смей шутить серьезными вещами. Ты и так натворил достаточно зла. Другой на твоем месте постыдился бы смотреть людям в глаза...— И тише:— Извини, я обязан был сказать тебе это, потому что я так думаю!

Он был искренен, однако сильно расстроил меня. Я раскусил его с большим опозданием — так вот оно что, братец, ты всерьез считаешь, что я причина всей этой гнусной комедии? Ксавер Мартинчек, канцелярская крыса высшего ранга, опытный практик, прекрасно образованный, в самом деле считал так, что давало ему право смотреть на меня свысока. У него словно прорвало все шлюзы. Я был обыкновенным ничтожеством в его глазах, в лучшем случае прохвостом, и больше ничего. А он, служащий в сатиновых нарукавниках и в трехсотлетнем клетчатом пиджаке, мог позволить себе такое. Ах, с каким удовольствием я вышиб бы у него из рук вонючий салат и непропеченные, анемичные рогалики! Но этим шагом я лишний раз подтвердил бы его мнение, что во мне дремлет грубиян и авантюрист. Признаться, я понимал его. Ну мог ли он примириться с тем, что грязный, подвыпивший могильщик мне ближе, чем он, товарищ по работе, лучший друг и советчик, можно сказать, отец родной и не знаю кто еще. При этом Ксавер не отдавал себе отчета в том, что, пока он настырно стучится в мою совесть, могильщик просто сидит со мной за столом, ни о чем не допытывая, не поучает, сопереживая со мной мою обыкновенную грусть, и ни в чем не пытается меня обвинить.

— Не будь ты глух и слеп, как пень,— шипел Ксавер,— ты знал бы, о чем говорят люди! Чего только на тебя не вешают! Что ты, мол, со своей финтифлюшкой напоил его, обобрал, и в отчаянии он покончил с собой. Примитивная, но вполне приемлемая версия трагедии, что скажешь? Очень возможно, что тобой займется и милиция. Не надейся, что люди не набросятся на такое. Этот, который делил с тобой свое супружеское ложе, имеет родственников, которые знают, что он прилично зарабатывал. Они потребуют денег...

— Ксавер, прошу тебя... ну какое мне до всего этого дело? Франтишека я видел всего несколько раз в жизни, и не будь его дурацких телефонных звонков, я не думал бы о нем ни минуты. Он сам разбился, я знаю наверное. Никто не велел ему садиться за руль.

— Меня тебе убеждать незачем,— гнул свое Ксавер.— Я охотно

[1] Стихотворение Вийона.

верю тебе, но считаю своей товарищеской обязанностью предостеречь: не призывай на свою голову громы и молнии!

Какая чуткость! Ксавер Мартинчек — мой ангел-хранитель! Он был отвратителен со своей сословной спесью! Я не мог сообразить, чего ему все-таки нужно, чего он добивается. Или в нем вспыхнула любовь к ближнему? А может, ему дали профсоюзное поручение? Плевать мне на любую опеку. От чего мог он спасти теперь, когда все случилось? Разве что от досужих разговоров, до которых мне не было никакого дела. Могильщик знал Франтишека и Гильду, вот мне и было с ним легко и хорошо. Он не сообщил мне о них ничего нового, но по его корявым, отрывистым фразам я чувствовал, что они близки ему. А что кроется за всхлипами Ксавера? Трусливый страх перед возможным скандалом, перестраховка начальника, стремление отвратить и малейшую тень подозрения, будто в его отделе нашелся сотрудник, который ведет неупорядоченный образ жизни? У могильщика ясная цель: выкопать яму, туда опустят гроб с останками Франтишека, затем насыпать могильный холм, над которым изредка постоит в задумчивости Гильда. Могильный холм — воплощенный укор для моей совести, эту могилу я буду обходить стороной. Высказать все это Ксаверу? Поделиться и дать ему повод со злорадством неуязвимого победителя указывать на меня своим гнусным перстом с безукоризненно ровно подстриженным ногтем: «Я же говорил тебе!»

— Иди, Ксавер,— попросил я.— Ради бога уйди. Завтра утром буду на работе как штык.

— Не забудь, Тибин, о чем я тебя предупреждал,— заключил он, уже стоя в дверях.

— Я тебе очень благодарен, Ксаврик.

— Сильно подозреваю, что после всего случившегося Мария потеряет к тебе интерес.

— Вполне допускаю.

— Отвернется от тебя и та дамочка. Деньги, как ее муж, ты никогда ей в дом приносить не будешь.

— Гильда и раньше-то никогда не принимала меня всерьез. А чтобы ты спал спокойно, скажу еще, что и я никогда не думал о ней всерьез.

— Опять ты со своим цинизмом! Тибор, Тибор, как это тебе не идет!

Я похлопал Ксавера по плечу и легонько вытолкал за дверь, чем немало озадачил и шокировал. Постояв под дождем, словно мокрая курица, он потащился усталой походкой в город. Одинокий, неприкаянный. Мне стало жаль его. Он ведь и вправду беспокоится обо мне, замирает от страха, что я выкину какую-нибудь глупость.

Я вернулся к столу. Мой собеседник не спросил, с кем я беседовал. Он прихлебывал пиво и чистил ногти обломком зубочистки. Черная грязь сыпалась на стол, и он смахивал ее на кафельный пол. А я подумал о том, что мой приятель, художник Герберт Влчимак, мог бы сотворить надгробный обелиск из песчаника и вытесать на нем строки любимого Франтишеком поэта:

Испил до дна он чашу,
Юдоль земную покидая...

Но пока я умолчал о своем замысле. Мой собутыльник и не оценил бы его по достоинству. Ладно б я придумал гранит или там шведский мрамор, а песчаник найдешь ведь на дне любой речушки. И я счел за лучшее подойти к буфетчице и попросить у нее какой-никакой фонарик, затем кивнул могильщику, и мы отправились на кладбище кончать работу.

Провозились мы до поздней ночи. Могильщик изредка изрыгал проклятие и продолжал копать. Кругом стояла тишина, а на нас все сыпало и сыпало густой весенней моросью.

# Тесть

Он заказал бутылку красного вина. После сытного обеда я предпочел бы кружку холодного пива, но зачем портить удовольствие старику — пускай думает, что угодил мне. Зузана сболтнула как-то, что мне по вкусу красное, вот он и покупал его ради меня, когда мы встречались. Надо сказать, я любил своего тестя, он понравился мне с самого начала нашего знакомства. Когда я появился в этих краях, он занимался мной не один день, хотя и не обязан был. Он мог привести меня сюда, показать лесные угодья и сказать: «А теперь разбирайся как знаешь!» Но не таким человеком был Владо Габриш. Он долго ходил со мной, рассказывал, показывал. Не для того, чтобы развлечь меня или убить время. Он считал необходимым посвятить меня во все тонкости, и я был благодарен ему, ведь нам предстояло не только заниматься общим делом — я собирался стать членом его семьи. Он сразу принял меня как своего, ничего не таил и наблюдал, как я реагирую на его слова. Проверял меня. А я старался расположить его к себе хотя бы тем, что внимательно слушал. Владо Габриш был словоохотлив тогда. Как, впрочем, и сейчас. Только на этот раз он говорил мне о Зузане и подчеркивал, что мы с ней плохо понимаем друг друга. От него не ускользнуло, что в последнее время между нами не все в порядке: два года назад мы очертя голову бросились друг другу в объятья, но с тех пор многое изменилось. Мой тесть — страж упорядоченной семейной жизни! Хуже всего, что я не знал, с какого края подойти и выложить все как есть или хотя бы намекнуть, что усилия его напрасны и он зря старается, сидя сейчас вот против меня и тиская в крепких руках стакан с вином. А он все говорил, старательно низал слова в продуманные фразы, опасаясь, видимо, что сама Зузана не сказала мне всего о себе, отчего и возникли между нами трения. Отсюда же и мое недоверие к ней.

— Зузана для тебя теперь все, сынок, с ней ты живешь, ложишься и встаешь, она готовит тебе завтрак, к ней возвращаешься ты после работы. Насчет маленькой Зузанки мы сами позаботимся. Пока силы есть, присмотрим за ней, не беспокойся. А вы живите для себя. По вечерам мы с матерью толкуем про вас, и мать всегда говорит: «Зузана хороший сделала выбор». И тебе, сынок, я прямо скажу: счастье, что она встретила тебя, не то что в первый раз...

В сонной полуденной тишине раздавалось лишь жужжание мух да гул вентилятора под самым потолком; жестяная решетка дрожала, лопасти вгоняли в ресторан свежий воздух, и тут было сравнительно терпимо, можно было дышать. Владо Габриш отхлебнул вина, подержал его во рту, оберегая горло, согрел, затем осторожно глотнул.

— Ты уж извини, что я ворошу старое. О прошлом да плохом лучше не поминать, но знать про это надо, чтоб не получилось в нашей жизни пустоты. Дочка моя о своем первом замужестве тебе, небось, не рассказывала. Может, это и неправильно, да ты не сердись на нее. Женщине трудно рассказывать мужу о другом мужчине. А для Зузаны это тем тяжелее, что она того поганца любила. Ты же видишь, она не вертихвостка; что до меня, так я считаю, что она порой даже слишком серьезно относится к жизни. И своего первого не вспоминала, чтобы тебя не задевать. Но мы с тобой, сынок, мы обо всем можем говорить. И давно пора было это сделать.

Тесть предложил выпить. Трудяга, он любил и поесть хорошо, и выпить, а особенно поговорить. И сейчас он очень кстати предложил выпить, потому что я уже готов был сбрехать его: «Погодите, отец, не утруждайте себя, у нас с ней все совсем не так, как вы думаете...» Наверняка мои слова его огорчили бы и обидели, поэтому я предпочел отхлебнуть вина. У тестя довольно заблестели глаза — как славно-то,

что тебе нравится вино, говорили они, он любовно посмотрел на вино и снова щедро наполнил мой стакан.

— Развелась она... Пришлось развестись, все с ним было не слава богу. Не скажу, что он был плохой человек, нет. О ком однозначно скажешь, что он плохой? Но был он сильный эгоист. От его вечного «Я» да «Я» спасу не было. Ты меня знаешь, я человек спокойный, терпимый, понимаю, что люди на свете всякие живут, но этот малый мне действовал на нервы, и я этого не таил — не люблю таить того, что о людях думаю. После-то я уж и корил себя, что приложил руку к их разводу, настроил Зузану против его гонора. Слава богу, не моя в том была вина! Зузана сама во всем разобралась, она женщина умная. Они разошлись, и дочка зажила по-другому, спокойно. Мог бы и я успокоиться, что этот поганец не помыкает ею, так нет же! Я все возвращался в мыслях к старому и доискивался: в чем же у них ошибка вышла? И все докапывался, почему не нравилось ему, что Зузана врач, а он обыкновенный слесарь-сантехник. Ведь Зузана не считала его чем-то ниже себя, из-за этого не относилась к нему хуже. Вышла она за него по любви. У нее на этот счет никаких предрассудков не было. И когда подружки удивлялись, что она не нашла кого получше, Зузана только смеялась: «Зачем мне его положение, если мы понимаем друг друга! Милый, умный, тонкий человек!» Это ее слова. Ну, пришло бы на ум такой женщине ставить себя выше мужа! Никогда ничем не дала она ему понять, что не в пример ему она делает ответственную работу, и вот надо же... То он хвастался, что зашибает много денег, носился с собой как с писаной торбой, павлин несчастный, донимали его всякие комплексы. Я места себе не находил и часто думал: что происходит с человеком, когда он чувствует себя не в своей тарелке? Первый муж моей дочери, может, особый случай, по нему и нельзя судить обо всех, это было бы и неправильно и несправедливо. Но, с другой стороны, посмотри, сколько людей кроме своего собственного пупка ничего не видят и знать не хотят. А ведь они хоть бы морально обязаны служить обществу, своему делу, семье, жене, детям, а вместо этого поглощены своим неповторимым «Я»! Они не умеют преодолеть себя, а напомни им об их долге, обрати внимание на то, что в нашем мире царят совсем другие идеалы, что воспитывать в себе эгоиста, может, в данную минуту и удобно, но в общем-то бесперспективно, и на тебя посмотрят как на дурака, ретрограда и догматика!

Кивая головой, я и в самом деле был согласен с ним. Чего говорить — я любил Владо Габриша, сочувствовал, что частенько ему не у кого найти поддержку, и при случае давал понять прямо или косвенно, что разделяю его взгляды. Разумеется, нередко взгляды людей расходятся с их поступками. Вечное противоречие между идеалом, мечтой и тем, как течет жизнь в многоликих своих подобиях, очевидно, сознавал и тесть, но вслух об этом не говорил. Мысли его вновь обратились к Зузане.

— Поначалу она старалась поладить с мужем по-хорошему. Ведь они поженились, собираясь жить дружно и мирно. Заметил я, что дочка часто разговаривает с мужем и обо мне. И получалось у нее так, что я строю из себя героя и борца, а он еще и поддерживал ее в этом, ему по духу пришлось то, что Зузане не очень нравились мои истории о войне. Он понимал, что Зузана любит меня, и чем она больше предъявляла претензий мне, тем больше значил в ее глазах ОН. Так он это поворачивал, всегда в свою пользу! Я не упрекал Зузану, что ей неинтересны мои рассказы, что я могу только испортить вечер, начав «убивать» его своими воспоминаниями. Меня это немного огорчало, но я думал: ладно, она живет своей жизнью, занимается прежде всего своей внешностью, нарядами и семьей, и слава богу. Самое сильное переживание в моей жизни были война, бои, на войне я учился жить. У дочери все получилось по-другому. На первом месте семья,

и тут ей не повезло, попался поганый человек. Только он немного притерся и огляделся, понял, что мы простая, скромная и порядочная семья, и тут же стал показывать коготки. Мы с женой расстраивались, что у Зузаны не ладится, винили себя, видя причину несчастья в том, что не сумели ее воспитать: мы готовили ее для приятной, гармоничной жизни, учили быть искренней, доверять людям. И вот все наше воспитание потерпело крах — она оказалась лицом к лицу с суровой действительностью и растерялась. Чем мог помочь ей я со своим опытом? Что толку утешать ее словами? И вот однажды вечером она сказала мне: «Отец, ты счастливый человек. Ты выбираешь в жизни то, что тебе подходит, и у тебя это получается. Если б я так могла! Но я невезучая. В каждой семье, видимо, должен быть неудачник».

Тесть улыбнулся. Воспоминание о том вечере, о доверительном разговоре с дочерью было приятно и радостно. Наконец-то он услышал слова признательности от собственного чада! И если прежде Зузана неуважительно относилась к его рассказам, считая, что ему хочется покрасоваться и напомнить о своих заслугах, то в тот вечер она неожиданно призналась в своем заблуждении. А чего еще надо было такому человеку, как не малая толика признания?

— Я сказал ей: «Я научился делать верный выбор, дочка. Со временем и у тебя получится». Она промолчала в ответ, и только глаза ее наполнились слезами. Жалко ей было, жаль было расставаться с тем поганцем. Ничего, девочка, ничего, подумал я, огорчение пройдет, ты успокоишься. Главное, что мы избавились от этого типа. Не по ком плакать! Так я думал, сынок, но не потому, что был настроен против него; нет, конечно, было и это, просто я не принимал его эгоизма по отношению к нашей семье, но готов был простить ему все, все, чем он нам досаждал. Не мог только простить того, что он вытворял с маленькой Зузанкой, вот этого никак не мог ему простить! И никогда не смогу! В квартире у дочери и ее бывшего мужа не редкость было увидеть деньги где попало — просто так, в серванте, да что в серванте! Деньги валялись в книжном шкафу, даже за галошницей ты мог увидеть сотенную! Зятек мой очень любил «натыкаться» на деньги. «Деньги — смысл моей жизни»,— говаривал он, это была его любимая песенка. Деньги поднимали его престиж. Казалось, не бывало счастливее его, когда, например, при гостях он, шаря в карманах в поисках спичечного коробка, чтобы зажечь свечу на столе, вместо спичек доставал скомканные деньги. Кадр из дешевой комедии! С виноватым видом — ах, простите, дорогие гости, просто уже деваться некуда от этих проклятых денег, не жечь же их либо в корзину выкидывать,— хотя, к слову сказать, они и мусор! Кое-кто ему завидовал, но в общем-то уважали за это, а ему только того и надо было, радовался он до смешного, вырастал в собственных глазах. Одевался зять элегантно, носил светлые костюмы, как какой-нибудь фиговый американец из Техаса, сорочки пастельных тонов, модная прическа, аккуратно подстриженные усики, ну и улыбка, а вот улыбка — злобная и настороженная, как и всегда у людей, не вполне уверенных в себе, не вполне довольных собой и тем, как их воспринимают окружающие. Мой пан зять, видишь ли, относится к тому сорту людей, которые сознают, что возбуждают зависть и уважение, а точнее — таких уважают из зависти. И все равно они не вполне довольны собой, потому что, несмотря на достаток, испытывают неудовлетворение! Швыряют они деньгами, хвастаются, но нет в их поведении широты, что ли, свободы. В любом их движении проглядывает судорожность, натужность, с первого взгляда ясно, что они в разладе с собой же, с напряжением ловят твой взгляд, выжидая, как ты реагируешь на их действия, на их достаток, и никогда не бывают довольны, даже если ты роняешь слюни восторга при виде всего того, что они нахапали. Они сделались рабами собственных денег. То же происходило и с моим зятем. У него, правда, хватало мужского достоинства не скрывать, что главное для него —

выгода, он не прикидывался добродетельным. Для него важнее было, что люди ценят его за деньги, и ему не приходило в голову, что все, чем он кичится и что возвышает его в собственных глазах, что радует его,— все это ведет к развалу его семейного счастья. Послушай только — он ахал от восхищения, когда его трехлетняя дочка сама ходила в магазин и покупала себе игрушки! Дескать, поглядите, какая жизнеспособность! «Этот ребенок не пропадет! У Милана Страпачки достойная наследница! Да, ребенок пошел в меня, тут уж не отопрешься, если б и захотел! Предприимчивость у нее в крови! Молодец, Зузаночка, за это я тебя люблю! Дяди понастроили для нас магазинчики, и мы ходим туда за покупками!»

Со стороны это, наверное, выглядело даже мило — столько отцовской любви у слесаря, который не отказывается ни от какой халтуры, по двенадцати часов в день приваривает газовые трубы, чинит краны, электричество, устанавливает всякие там котлы и батареи! И чтоб когда пришло ему в голову спросить у ребенка: а откуда у тебя деньги? А она то купила себе книжку-раскладушку, то акварельные краски, печатки с картинками, а потом и куклу с тележкой за двадцать крон! «Деньги? Деньги, пан тесть, были и будут! На то здесь МЫ, чтобы денег в нашем кошельке копилось все больше!» Все для него было просто, все он решал быстро и прямолинейно. А по существу ничего не решал. Все проблемы отодвигал от себя, ничем не занимался всерьез, ничего не делал основательно, порхал по жизни, вместо того чтобы призадуматься. Он да чтоб пошевелил мозгами! Как-то Зузана нашла деньги в игрушках и спросила, не давал ли я внучке денег. Пан зять расхохотался, и нам стало ясно, откуда ветер дует. А поганцу и невдомек, что мы расстроены. Взял девочку на руки и засюсюкал: «А зачем Зузаночке давать денежки, она и сама сообразит, сколько ей надо взять, наша Зузаночка умненькая девочка, правда, птичка моя?» И хохотал, кружился с ней по комнате, орал, шумел на всю квартиру, а Зузанке это нравилось, она визжала и обнимала отца за шею. Чего еще ждать от ребенка? Когда они оба, запыхавшись, сели к столу, Зузана сказала: «Так дальше не пойдет!» — «Что не пойдет?» — удивился зять. «Ведь ребенок ворует!» — «Ворует? — Зять широко улыбнулся.— Ты всерьез? Не болтай, женщина,— сказал он бодро, но сквозь металл в голосе прозвучала и обида.— У нас есть все, мы семья, основанная на демократических началах, каждый ее член имеет равное право на доходы. Почему же мы будем ограничивать нашу золотую маленькую Зузаночку?» Он прижался к голове девочки, стал тереться щекой о ее волосики и лохматить их. «Потому что ты портишь ребенка,— возразила Зузана.— Она, бедняжка, ведь понятия не имеет, что такое деньги, просто берет их и тратит!» — «Вот и нормально. Деньги на то и существуют, чтоб их тратить. Что ей — сидеть над ними и рассматривать, как картинки? Не смеши!» Может, ты осудишь меня, сынок, но я не мог не вмешаться. Отношения до того накалились, что надо было срочно искать выход. Пока зять отравлял жизнь нам, я стискивал зубы и молчал, убеждая себя тем, что, мол, молодо — зелено, какой спрос со слесаря, люди наперебой зовут его, вот ему моча и ударила в голову. Пройдет время — устанет, угомонится. Но когда дело коснулось внучки, я не мог молчать. Не мог и не хотел, хотя после того случая он пустил обо мне слух — и с удовольствием его распространял,— будто я невыносимый склочник. Но Зузанка и покой семьи были для меня важнее собственных амбиций.

А тогда я сказал: «Извини, дорогой зятек, но ты неправ.— Дело было в воскресенье, мы сидели дома, слушали радио.— Пока ребенок не понимает, что деньги надо заработать, он не имеет права их тратить. И знай — твоя отцовская обязанность не только обеспечивать семью, но и объяснить ребенку, что нельзя бросаться деньгами и без ведома родителей ходить в магазин. Ребенок прежде всего должен понимать, что деньги — это труд. Без труда не вытащишь и...» Зять

оскорбленно засмеялся: «Тесть, о чем вы говорите, можно подумать, будто мы живем в старой буржуазной Чехословакии, при капитализме. В наше время деньги не проблема, теперь у всех есть деньги».— «Но проблема воспитания осталась,— стоял я на своем.— Как отцу тебе это не мешало бы знать. И еще подумай, что ребенку нужнее денег и игрушек».— «Нужнее? — удивился зять и, можно сказать, просто набросился на меня: — А что ребенку еще надо? Игрушки ему нужны, чтобы играл сколько влезет. Чтоб играть, уважаемый пан тесть! Между прочим, вы-то что дали своему ребенку? А ребенок, насколько мне известно, у вас был один! И что вы дали своей дочери? Послали ее учиться, сделали из нее врачиху, а еще что? Господи, еще россказни о партизанском героизме! А на кой они сдались? Ну, анкета у нее покрасивше, чем у других, а дальше что? Что дальше, уважаемый пан тесть?» — «Не трогай отца! — вступилась тут дочь, словно предчувствуя, что я растеряюсь и не отвечу должным образом на его черствость и злобные нападки.— Отец прав, и ты это понимаешь!» — «Понимаю? Ничего я не понимаю. И могу только сказать, что от одного его вида у меня желчь закипает, с души воротит! Ах, скажите на милость, какой человек сидит дома и проповедует! Вот и слушай его вместе со своей скромницей матерью, но имей в виду, что я до таких развлечений еще не дорос!»

Ясно, Зузана тебе про это не рассказывала. После того случая у нас многое изменилось. Ты ее не вини. Мне и то трудно говорить об этом, с годами у человека складываются устойчивые представления о жизни, и вдруг все рушится. Неважно, что не по твоей вине, а по злой воле кого-то третьего. Семья, где царил мир, теряла покой, все разваливалось. Зять заявил, что в доме, где его слова ни во что не ставят, где его унижают и считают дураком, он не останется больше ни секунды. Пускай, мол, пани докторша ищет себе ровню, а он перебьется и без нас. Пока не отменили деньги и люди строят себе дома, он не пропадет, а вот как бы мы, шибко сознательные, не просчитались!

Зузана плакала. Она проплакала не одну ночь, но поняла, что развод неотвратим. Что получилась бы у них за жизнь, если б их связывали только деньги, а для ребенка на первом месте был кошелек? Стыдно сказать, но я был счастлив, что дочь несчастна, полагал, что она справится со своей трагедией, раз у нее открылись глаза, и заживет по-другому, лучше. Появился ты, сынок, и я понял, что счастье не отвернулось от нее. Ну, случаются между вами ссоры и размолвки, без них не обойдешься. Ведь мы все разные, и жизнь постоянно сталкивает наши желания, мечты, интересы, запросы. Человек зрелый сумеет подняться выше мелочей и найдет верное решение в любой ситуации, а что Зузана женщина своевольная, мне объяснять незачем, такой я воспитал ее. Но чудачества ее — результат первого замужества. Тебя же она любит, ты нужен ей, иногда она и понервничает, как без этого? Да и у тебя забот выше головы, все это так, но вы друг друга понимаете, и я спокоен, зная, что дочь моя в надежных руках.

Габриш взглянул на часы, висевшие над стойкой на стене. Шли они точно и показывали половину третьего. В углу пенсионеры допивали пиво, ели суп из рубцов и рогалики. Недорогой, зато сытный и вкусный обед. Каждый положил на стол точно отсчитанные монеты. Молодая официантка собрала со стола тарелки и получила за обед. Затем старики заказали еще по кружке и принялись за карты. Играли сосредоточенно и без лишних слов. Марьяж по десять геллеров ставка. Самый большой выигрыш, как, впрочем, и проигрыш, за весь день — пять крон. Не та сумма, что могла бы пошатнуть их прожиточный минимум.

Буфетчик сидел за стойкой с составленными кружками и зевал со скучающим видом. Было время послеобеденной сиесты. Но едва солнце зайдет за Чистую гору, ресторан снова наполнится. Спустятся

с гор туристы, привалят купальщики из бассейна, где даже в жаркие июльские дни температура воды не поднимается выше девятнадцати-двадцати градусов. Припекает солнце, а ты сидишь в прозрачной, зеленоватой воде, и кажется, будто превращаешься в сосульку — восхитительное освежающее ощущение. Ладно, сказал я себе, когда тесть уйдет, я искупаюсь. Остужу голову. Когда-то, мальчишками, мы переплывали Ваг по два-три раза в день. После половодья вода в реке до июня оставалась коричневато-бурой и высоко стояла между плотинами.

Тесть вылил в стаканы остатки вина.

— Задержал я тебя, сынок. Нарочно. Мне непременно надо было сказать тебе обо всем. Не подумай, будто меня подослала Зузана! Она и знать не знает, что мы тут с тобой сидим, да еще и вино пьем.

Тесть улыбнулся мягкой, дружеской улыбкой, сохраняя таинственный и заговорщический вид, а мне было не по себе оттого, что я так и не отважился хотя бы намекнуть ему, что его усилия напрасны. Я быстренько допил. Так. А теперь ты скажешь ему все, приказал я себе, но в ту же минуту на широкой, посыпанной щебнем площадке перед рестораном затормозила серая «Волга».

— Главный инженер вернулся,— возгласил тесть.

В обеденный зал вошел высокий блондин в белой рубашке навыпуск и в клетчатых брюках.

— Все устроил,— объявил он Габришу.— Просто чудо какое-то — обо всем удалось договориться, обошлось без задоринки. Заехал я и к железнодорожникам насчет погрузочной рампы. Они хотят, чтоб мы ее поставили еще в этом квартале, имейте в виду — до конца сентября! Они, мол, уже и так задерживаются с земляными работами.

— С ними надо действовать дипломатично,— меланхолически произнес Владо Габриш.— Надо было сказать, что мы можем поставить новую рампу, а вот как быть с завалами дерева на старом складе? Обеспечат они нам нужное число вагонов? А?

Главный инженер махнул рукой.

— Последние полгода мы, мол, давали минимальные заявки на вагоны.

— Мы плановые задания выполнили,— серьезно проговорил Габриш.— Если б на нас не напирали всегда уже в последнюю секунду, мы могли бы договориться с заказчиками на больший объем поставок. А так валили лес под план, но это наше дело, и нечего им соваться в наши дела. Проект и вся документация у них ведь давно готовы. Разумеется, интересы у нас общие, но сейчас говорю открыто, что у меня нет ни малейшего желания таскать кому-то каштаны из огня. Договорный срок — весна будущего года, и в него мы точно уложимся.

— Однако бывают случаи, когда надо действовать гибко и не ссылаться на договорные условия.

— Меня в этом нет необходимости убеждать,— сердито отрезал Габриш, и разговор их прервался.

Главный инженер заказал себе шницель по-венски и принялся уничтожать его нервно и торопливо. Ему явно мешало мое присутствие. За два года работы здесь мы встречались всего несколько раз, на совещаниях да на собраниях. Он считал меня сторонником Габриша и ограничивался письменным общением — посылал распоряжения, директорские приказы и всякие к ним дополнения и изменения. Запив обед виноградным напитком, он спросил Габриша:

— Вернетесь на работу со мной?

— Вы же знаете, что я принципиально не пользуюсь транспортом лесхоза, когда могу подъехать на автобусе,— отказался Габриш.

— Как хотите. Утром производственное совещание.

И главный инженер отбыл, промчавшись по залу, словно его гнали взашей.

— Не любите вы его...— начал я.

— Не люблю!— с вызовом подтвердил тесть.— Я вообще не люблю людей такого типа. Пижон и пустобрех! Директора задурил, вертит им как хочет, а тот смотрит ему в рот, потому что главный достанет и луну с неба. При его методе «ты — мне, я — тебе» оно и неудивительно. Я раза два сцепился с директором из-за него, но оба раза мне сделали внушение, что я не дорос до новых методов работы. Уж если шахеры-махеры стали новыми методами работы — благодарю покорно!

— Я слышал, людям он нравится...

— Ничего не скажешь, он популярен, умеет привлечь на свою сторону народ. Достаточно в течение года получать прибыль, чтобы в конце года иметь возможность выплатить «тринадцатую», и ты самый лучший человек в лесхозе. Не дай сбить себя с панталыку: этот человек без фантазии. Он знает несколько фокусов, ими и перебивается, пока кто-нибудь не выведет его на чистую воду.

— Вы, скажем...

— Я? Нет, сынок, моя песня спета, это сделают другие. Я устал, без пяти минут на пенсии. Я! Куда там! Я рабочая лошадка, а такое нынче не в моде. Дурака работа любит. И я дурак. Ну и слава богу, ведь если оглянуться — сколько же сделано моими руками! Взять хотя бы наш лесхоз. Какие у нас кадры! Сколько замечательных людей! Грустно сказать, но ведь и главный инженер, этот стрекулист,— мой выученик. Я привел его сюда, видел, что он толковый, ловкий человек. Дело он, конечно, знает, специалист хороший, но частенько пользуется методами, которые я считаю неприемлемыми. Заработать не работая! Ему чуждо чувство радости от сделанной работы — радуют денежки сами по себе. Радуется, если догонит кого и оберет! В точности как первый Зузанин муж Милан Страпачка! И знаешь, эти два деляги встречаются? Главный строит себе дом, а пан бывший зять кому-то подрядился достать бревна. Как видишь, круг замкнулся. Жена укоряет меня, я, мол, неисправим, но виноват ли я в том, что на склоне лет поздно менять свои убеждения? По крайней мере я никому не навязываю своих взглядов, не принуждаю жить по-моему. Ну, что, сынок, выпьем еще?

— Я думаю, хватит,— проговорил я, все отчетливее сознавая, что чем дальше, тем больше обижаю этого славного человека. Чем дольше я его слушаю, молча соглашаясь с ним, тем больше возрастает моя вина и тем сильнее будет его разочарование.

— Ладно,— сдался тесть.— Для таких пьяниц, как мы с тобой, и бутылки многовато. У меня уж голова покруживается. Пора отправляться.

Я проводил его на остановку.

— А Зузана... Имей терпение, она хлебнула сполна...— сказал он, прежде чем сесть в автобус.

И автобус отшуршал по гладкой асфальтированной дороге.

Я поплелся в лес, забыв о купанье. В лесу была моя работа. Там был и мой дом. Уже только мой, потому что Зузана... Надо было выложить ему все как есть. А я не нашел в себе смелости... У меня не хватило бы духу увидеть его расстроенное лицо, прочесть в его глазах горький упрек... Разве смог бы я объяснить, почему Зузана возвращается к первому мужу, к человеку, для которого у старика нет другого слова, как поганец. Эти два года мы с Зузаной тщетно пытались наладить совместное житье-бытье, но наша семейная жизнь устраивала одного меня. Зузана молчала, словно и она была довольна, но просто потому, что ей ничего другого не оставалось. Только потому она и выдержала так долго. А Милана она продолжала любить, даже ложась в постель со мной, и стоило Милану однажды заговорить с ней, как на меня она тут же перестала обращать внимание. Мог ли я рассказать об этом тестю? Лишать его иллюзий насчет соб-

ственной дочери? Он бы, глядишь, стал уговаривать меня не сдаваться, а Зузана подумает, что я призываю отца на подмогу. Она и так ставила меня с ним на одну доску. «Ты такой же невозможный, как и отец,— заявила она однажды.— Только я ничуть не похожа на свою маму, чтобы в одной упряжке тянуть нашу разваливающуюся колымагу. Тебя и Зузанка не любит, ей противна твоя деланная нежность, бесконечные напоминания о принципах и порядке. Мы не желаем жить в клетке, ясно? Мне это невыносимо. Я хочу жить свободно и естественно. Да что тебе известно о свободе?! Кроме работы и обязанностей ты ничего не знаешь. Запрограммированная радость, печаль, все! Не умеешь устроиться в жизни и цепляешься за слова, поешь надоевшую песенку о жизни, наполненной смыслом, содержанием! А каким содержанием? Скажи, каким? В чем — надрываться на работе, трястись над каждой кроной? А какой скандал устроил однажды отец из-за денег и в конце концов разогнал всю семью, а я еще и поддержала его! Вообразила, что он прав. Это он-то! Прожив с ним жизнь, мать считала и считает каждую крону, потому что, кроме мизерной зарплаты, он ничего больше в дом не приносил. Зато берется поучать Милана, как обращаться с деньгами! И приплел к этому Зузанку!» — «Я ничего об этом не знаю,— сказал я.— И знать не хочу».— «Ах, ты не хочешь знать! Отца-то ты слушаешь, Владо Габриш твой идол. «Девочка, у тебя потрясающий отец!» Хватит, наслушалась, теперь ты послушай, я хочу говорить сама. «Прекрасные образцы человеколюбия! Давайте говорить о том, что нас возвышает!» А меня все возвышает, в том числе и деньги. Все, кроме жизни с тобой, потому что я не могу избавиться от ощущения, будто у меня на шее цепь. Я все время жду чего-то, чему ты даже не можешь дать названия. Размеренная жизнь! Что это такое? Получать деньги только за работу, которую выполняешь? Выпить в пивной кружку пива и спешить домой, чтоб к жене ненароком не забрел хахаль? Даже ваш старый, заплесневелый хрен, директор, понял, что отцу на семью наплевать, и решил подкинуть ему немного, дать премию побольше, и что учудил мой дорогой папаша? Он возмутился и запротестовал. Вежливо, но настойчиво. «Товарищ директор, мне очень лестно, что ты ценишь мой труд, но не стоит его переоценивать. У нас много отличных работников, которых следует отметить — производственников, трактористов и мотористов-лесорубов, женщин на лесопосадках». Ах, как трогательно и красиво! Но мне он выдавал на карманные расходы всего сто крон в месяц, и прежде чем пойти в кино раз в неделю я еще должна была крепко подумать, могу ли позволить себе такую роскошь. Я ненавижу эту его благородную скромность! И я поражаюсь, ну как только тебе приходит в голову подражать ему! Мне казалось, что Милан и вправду немного перегибает палку с деньгами, а сейчас вижу, что он совершенно нормальный мужик, который ни в чем себе не отказывает. Ну, выколачивает он деньги из дураков, разве это его недостаток? По крайней мере из него никто дурака не делал. Это мой папенька вообразил, что Милан, видите ли, закомплексован. Теперь-то мне понятно, почему Милану смешон был наш «благопристойный» образ жизни! Извини, я тебя, наверное, обижу, но я возвращаюсь назад к Милану. Мне надоели леса, очаровательный домик в лесу под горой, на который пялятся, разинув рты и затаив дыхание, занюханные туристы! Я снова буду жить в многоквартирном доме и среди людей. От здешней мертвящей тишины у меня уши болят! И что же — прожить здесь до самой старости?! Ужас!» — Она села к столу неодетая и непричесанная. Злость безжалостно обращается с женщинами после тридцати. Она покрывает лицо морщинами, делает дряблыми мышцы. Зузана и раньше-то не отличалась красотой, а тут в ней словно проглянули признаки смерти. — «Зимой и летом, по снегу и грязи гонять по участку к пациентам. Это утомительно, не правда ли, Зузана? Купим тебе мопед!» Плевала я на твой

мопед. Не хочу ни мопеда, ни этого очаровательного уголка природы! Ты определенно лучше Милана, как человек ты гораздо лучше его, но я не могу оставаться с тобой больше ни минуты. Отцу... ничего не говори, я скажу сама. Он не перенес бы, что обманулся в тебе». По щекам ее текли слезы, и мне, как ни странно, не пришло в голову отговаривать ее.

Как было сказать об этом Габришу? Да я рта раскрыть не мог после того, как он всеми силами пытался укрепить наш с Зузаной союз! Мог ли я лишить его веры, слабую паутинку которой он ткал в беседе со мной? К тому же я развенчал бы себя в его глазах. Какой после этого я был бы «отличный парень»? История тестя лишний раз убедила меня, что в жизни приходилось туго не только благородным романтическим героям приключенческих фильмов и книг. Благородные натуры продолжают страдать и поныне, сейчас им приходится страдать даже больше, потому что невозможно указать на врага пальцем, он невидим, коварен, он подкрадывается тихонько и наносит удар исподтишка, поражая душу человека. Габриш запишет меня в число своих недругов, теперь этого не избежать, но хотелось оттянуть этот момент. Не представляю, как я выговорю: «Дорогой мой тесть, увы, я не оправдал ваши лучшие надежды. Зузана больше не любит меня и возвращается к своему поганцу. Простите меня, тесть...»

Простит ли? Затрудняюсь ответить. Впрочем, если и простит, я об этом не узнаю. Через несколько дней я отсюда уезжаю. Директор лесхоза обещал мне все устроить. Формальности, связанные с увольнением, и тому подобное. Мой отъезд будет похож на бегство, на трусливое бегство слабака, но другого выхода нет, и я хотя бы не увижу переживаний тестя. Он вел себя как настоящий мужчина, поддержал меня, когда я поступил сюда работать, и хотелось бы избежать его упреков.

Месяца через два мой бывший тесть написал мне. Я не обрадовался его письму, куда там, наоборот — с трепетом разрывал я конверт. От адресанта, зашифрованного под инициалами В. Г., я не ожидал ничего хорошего. И ошибся. Габриш писал:

«Ты бежал, как вор. Испугался Владо Габриша! Не нашел в себе смелости посмотреть мне в глаза! Поначалу я недоумевал: неужели ты не доверяешь мне? А сегодня я спрашиваю себя: почему ты должен был верить именно мне? Потому, что мы как-никак дружили и, пока ты жил и работал здесь, ладили меж собой? Откуда тебе знать, что тесть отнесется к тебе великодушно? За то, что ты рассыпал его карточный домик? Развеял его иллюзии насчет дочери? Я не был великодушен! И правильно, что ты уехал, не сказав ни слова. Я рвал и метал, был совершенно убит и впервые в жизни подумал, что жизнь ни черта не стоит. Все мои помыслы сосредоточились на Зузане, она была для меня все. Когда жизнь у нее с тем сукиным сыном не сложилась, я все-таки выдержал. И как же я радовался, что в тебе она нашла то, в чем нуждалась. Я был убежден, что вы будете жить в согласии, а оно, видишь, не получилось. Уж большего разочарования мне в жизни, видимо, не суждено испытать. Что поделаешь. Злость моя помаленьку испарилась, я немножко пришел в себя, стал размышлять по-другому. Вы, молодые, я признаю это, подходите к жизни с другой меркой. Моя мерка то ли короче вашей, то ли длинней, почем знать. Досадно, что ничего не могу поделать с собой. Досадно, но не больше. Я, можно сказать, почти на пенсии. Иногда приятно сознавать это. Человек я непрактичный или просто плохо понимаю нынешнюю жизнь. Я не реалист, я наивный оптимист. И волюнтарист, как мне сказали. Наш директор, я с ним говорил. Да, с ним тоже. Через несколько дней после твоего отъезда он пришел, попросил подготовить твои документы и переправить их по месту твоей новой работы. Не вешай нос, Вла-

до, сказал я себе, есть вещи, которые ты не в силах изменить. И человек со своим характером и судьбой существует — и все тут. Силой воли многое, конечно, можно преодолеть, я знаю, можно пережить и войну. У тебя, например, есть сила воли, ты можешь приказать себе, ограничить себя в чем-то, но не все так могут. Некоторые люди хотят жить иначе, легче, не морочить себе голову обязанностями и долгом, примирись с этим. Миром правит практицизм. Но чтоб я да смирился! До чего же хотелось мне треснуть кулаком по столу, потому что меня всегда бесило, если слабость прикрывали необходимостью реально смотреть на жизнь. Но я смирился. Даже с вашим разрывом. Собственно, я смирился только с этим фактом. И, как видишь, пишу тебе письмо — по-моему, вполне разумное письмо. Меня очень поддержал разговор с директором. Шеф хладнокровно заявил, что он терпит меня в лесхозе исключительно потому, что я надежный, хороший работник и что все меня знают как человека честного. В свою очередь я прекрасно понимаю, что он предпочел бы видеть на моем месте ловкого, умеющего приспосабливаться к обстоятельствам молодого человека или пригожую девицу. Короче, до пенсии я выдержу, а потом уйду, а когда он будет вешать мне на проводах награду нашего ведомства, я засмеюсь ему в лицо. Действительно, я не тип нашего времени. «Отдельные наши сотрудники недостаточно гибки...» — заявил на последнем совещании наш главный инженер. Какой смысл было объяснять ему, что я не люблю спешки и признаю лишь основательную работу? И с тобой, помнишь, я возился несколько дней и не потому, что ты собирался войти в нашу семью. Я беседовал с тобой, старался понять, что ты собой представляешь, так как должен был высказать о тебе мнение и дать согласие, чтоб тебя взяли в наш лесхоз. Ты навострил лыжи, но все равно я считаю тебя отличным работником. Ты дело знаешь, понимаешь лес, и это уже хорошо. Ты лесник не только на бумаге. Нынче-то большинство работников леса ездят к нам на работу из ближайших городов и поселков. Не хотят жить на хуторах, в лесничествах, наши прекрасные дома, построенные для лесников, ветшают. Если я когда упрекну в чем Зузану, так это в том, что не удержала тебя, выжила тебя из-за какого-то поганца. Не будут они довольны, так и знай. Я хоть и желаю им спокойной жизни, но не верю в это, даже маленькая Зузанка не сдружит их.

Будь ты поближе, я пригласил бы тебя в винный погребок. Уж мы пустили бы себе в жилку. Ты знаешь, я не любитель пить, но с тобой мне всегда приятно было посидеть за бутылочкой вина. Мне ведь не с кем даже в трактир пойти. В молодости это было противно, я больше возился в саду, по дому что делал, а теперь... Жена постарела, но еще крепится, хотя Зузанины фокусы отняли у нее немало сил. Раньше, когда у меня случались неприятности, она всегда меня утешала и поддерживала. А теперь я должен ее утешать. Для нее весь свет сошелся на Зузане, не поняла она, что иметь дочку-врача еще не все. Не учел этого и я. Что мы, старики, знаем о нынешнем поколении? Мы создали себе свой мир, жили в нем, доживаем понемногу, и не надо требовать от молодых, чтоб они приспосабливались к нам или спрашивали: отец, мать, как вы пробивались в жизни? Каждый все начинает заново, от Адама, сынок! Я зря считал, что взял хороший жизненный старт, честно прошел трассу, теперь это важно, наверное, уже только для меня. Ты сам видел: Зузана меня не слушает, мои разговоры скучны ей. В последнее время она изредка бывает у нас, иногда заглядывает и Страпачка. Не выношу я его, он меня раздражает. Жена уверяет, что зять изменился, разумеется к лучшему, но чего стоит женское мнение! Они готовы внушить себе чего и нету, лишь бы успокоить себя. А жена нуждается в покое больше, чем я.

У тебя, надеюсь, все в порядке. Будешь в наших краях — заходи.

Я не стану утомлять тебя разговорами, просто хочу видеть, узнать про твои дела».

Я тут же откликнулся на зов Габриша. Конечно, я мог бы написать, что устроился на хорошее место, что из окна моего кабинета в новом лесхозе открывается вид на прекрасно содержащийся лесопарк, но ведь Габриш просил меня приехать к нему! Мог ли я подвести его?

Радость тестя стоила мне двух дней отпуска и одной субботы. Владо Габриш сразу ожил, он готов был даже устроить мне встречу с Зузаной или хотя бы с маленькой Зузанкой. Я отказался. Зачем возвращаться к тому, что потеряло всякую ценность? В этих краях меня интересовал один Владо Габриш.

Мы упились до того, что, как говорится, «маму не вязали». Когда под утро я проводил его до дома, мне показалось, что через приоткрытую дверь нас окликнула Зузана. Пробурчав что-то вместо приветствия, я побежал прочь, вниз по улице. Меня звали, кричали, я, хотя меня ужасно подмывало, так и не оглянулся. Добравшись до станции, я плюхнулся на скамейку и задремал, хотя меня пробирал озноб.

Уехал я утренним же поездом. Состав неуютных, разболтанных старых вагонов тащился на юг, все дальше и дальше. Путешествовал я целых полдня.

На дворе стояла осень. Солнце еще нежилось в виноградниках, но лесам уже немного доставалось его тепла. Над густыми зарослями молодняка поднимался прохладный туман, все дольше задерживаясь между стволами и в густых кронах, и вместо веселого птичьего гомона все чаще раздавался вороний грай.

Не пройдет и месяца, как вороны заполонят все пашни.

*Перевод И. ИВАНОВОЙ*

◆

# РОБЕРТ ЛАДЛЭМ

# *Бумага Мэтлока*

РОМАН

*Перевод с английского МИХАИЛА БРУКА*

**20**

Если Эйвонский плавательный клуб был удачным стартом, то Хартфордский охотничий клуб был первым этапом многодневной гонки. Путь к Нимроду теперь представлялся Мэтлоку гонкой, которая закончится через две недели и один день, когда где-то в окрестностях Карлайла соберутся нимродовцы и мафиози. А для Мэтлока она закончится, когда он увидит у кого-нибудь второй лист корсиканской серебряной бумаги.

Телефонный звонок Бартолоцци возымел действие. Мэтлок вошел в старое здание из красного камня и сначала подумал, что ему дали неправильный адрес: в окнах не было света, а в самом здании — никаких признаков жизни, но потом в конце коридора он обнаружил грузовой лифт, перед которым на стуле одиноко сидел негр-лифтер. При виде Мэтлока негр поднялся и указал ему на лифт.

В холле наверху его ждал человек.

— Очень приятно познакомиться. Меня зовут Рокко. Рокко Айелло.— Он протянул руку, и Мэтлок пожал ее.

— Спасибо... А я совсем растерялся. Не слышно ни звука. Я даже подумал, что перепутал адрес.

— Если бы вы что-то услышали, это означало бы, что строители меня надули. Стены здесь восемнадцатидюймовые, с двойной звукоизоляцией, а окна ложные. Абсолютно безопасно.

— Вот здорово!

Рокко вытащил из кармана небольшой деревянный портсигар.

— У меня тут для вас есть коробочка сигареток. Бесплатно. Я хотел бы показать вам наше заведение, но Джоко сказал, что вы вроде торопитесь.

— Джоко ошибается. Я бы с удовольствием чего-нибудь выпил.

— Отлично! Заходите... Только вот что, мистер Мэтлок. У меня здесь неплохая клиентура — вы меня понимаете? Очень богатая, архиконсервативная. Некоторые из них знают, чем занимается Джоко, большинство же представления не имеет. Вы меня понимаете?

— Понимаю. Вообще говоря, я никогда не увлекался плаванием.

— Отлично, отлично... Добро пожаловать в лучший клуб Хартфорда.— Он открыл толстую стальную дверь.— Я слыхал, вы за сегодняшний вечер потеряли сверточек?

— Это теперь так называется? — рассмеялся Мэтлок.

— В Коннектикуте это так называется... Видите? У меня тут два этажа. На каждом — по пять больших залов, в каждом зале бар. Все очень пристойно и уединенно. Можно привести с собой жену или еще кого-нибудь... Вы меня понимаете?

— Думаю, что да. Впечатление внушительное.

— Официанты — в основном ребята из университета. Помогаю им подработать на образование. Народ самый разный — и ниггеры, и все прочие. Никакой дискриминации. Разве только по части волос: терпеть не могу длинноволосых.

---

Окончание. Начало см. в № 1.

— Ребята из университета! А это не опасно? Ведь ребята любят поболтать.

— Да что вы! Это заведение и открыл-то колледж Джо. У нас тут что-то вроде дома студенческого братства. Все честно, все платят членские взносы. Какие к нам могут быть претензии?

— Ясно. Ну, а как по части другого?

— Чего — другого?

— Того, за чем я приехал.

— Это вы насчет травки? Так она же продается в любом киоске.

— Два ноль в вашу пользу, Рокко...— рассмеялся Мэтлок. Он не хотел переигрывать.— И все же, если бы я знал вас получше, я, пожалуй, кое-что купил бы у вас. Бартолоцци сказал, что у вас все есть... Ну да бог с ним. Я сегодня совсем вымотался. Вышью чего-нибудь и поползу. А то моя девочка скоро начнет тревожиться, куда я девался.

— Иногда Бартолоцци слишком много болтает.

— Думаю, что вы правы. Между прочим, завтра вечером мы с ним будем у Шарпа в Виндзор-Шоулз. Ко мне прилетает приятель из Лондона. Не хотите составить нам компанию?

На Айелло новость явно произвела впечатление. Лондон — это тебе не Лас-Вегас и не Карибский бассейн. Но почему вдруг к Сэмми Шарпу?

— Ну, что ж, может, и подъеду... Да, если вам что понадобится, скажите. Хорошо?

— Непременно. Только вот знаете, меня немножко беспокоят эти ребята.

Айелло взял Мэтлока под локоть и повел его к бару.

— И напрасно беспокоят. Эти ребята — никакие не ребята. Вы меня понимаете?

— Нет. Ребята всегда есть ребята. От их глаз ничего не укроется. Ну, неважно. Я для них интереса не представляю.— Мэтлок извлек из кармана то, что осталось от пачки банкнотов. Вытянул двадцатидолларовую бумажку и положил ее на стойку бара.— «Старый Фиц» с водой, пожалуйста.

— Уберите свои деньги,— сказал Рокко.

— Мистер Айелло? — К ним подошел молодой человек лет двадцати двух — двадцати трех в официантской куртке.

— Ну, что там?

— Подпишите, пожалуйста, этот счет. Одиннадцатый столик. Это Джонсоны. Из Кантона. В полном порядке.

Айелло взял у официанта блокнот и нацарапал свои инициалы. Молодой человек вернулся к столикам.

— Видите этого парня? Вот вам пример. Он из Йельского университета. Полгода назад был еще во Вьетнаме.

— Ну и что?

— Лейтенант. Офицер. А теперь изучает управленческое дело... Сюда к нам приходит два раза в неделю. В основном для контактов. К тому времени, когда он окончит обучение, у него будет отложено немало. Сможет открыть собственный бизнес.

— Что?

— Он из поставщиков... Вот вам и ребятки... Послушали бы вы их рассказы. Сайгон, Дананг. Даже Гонконг. Настоящая торговля. М-да, ребятки нынче что надо! Знают, на что спрос. Башковитые. Так что, поверьте мне, можно не тревожиться.

— Я вам верю.— Мэтлок взял стакан и сделал глоток. У него не было особого желания пить — просто надо было скрыть от внимательных глаз Айелло, как он потрясен услышанным. Эти ребята, прошедшие школу Индокитая, не походили на розовощеких энтузиастов, преждевременно состарившихся ветеранов битв при Армантьере, Анцио или даже Паньмыньчжоне. Это были совсем другие люди — куда более шустрые, более разочарованные, более многоопытные. Героем в Индокитае был тот, кто сумел завязать контакты в портах и на складах. Такой в Индокитае был гигантом среди гигантов. Эти преждевременно состарившиеся ребята почти все вернулись целыми и невредимыми.

Мэтлок допил бурбон, и Рокко провел его по остальным залам третьего этажа. Похвалив Айелло, Мэтлок пообещал снова приехать. О Сэме Шарпе и Виндзор-Шоулз больше не упоминалось. Он знал, что это уже излишне. Он сумел заинтересовать Айелло.

До середины наступившего воскресенья Мэтлоку необходимо было сделать два дела: во-первых, раздобыть англичанина; во-вторых, еще одну крупную сумму денег. И то и другое чрезвычайно важно. Вечером он должен быть у Шарпа в Виндзор-Шоулз.

Англичанин, на которого рассчитывал Мэтлок, жил в Уэбстере; он был адъюнкт-профессором математики в небольшом колледже Мадисонского университета. Он жил в Штатах менее двух лет. Мэтлок познакомился с ним на водном празднике в Сейбруке. Англичанин этот провел большую часть жизни на побережье Корнуолла и был большим любителем парусного спорта. Мэтлоку и Пэт он сразу понравился. И Мэтлок теперь молил бога, чтобы Джон Холден хоть немного разбирался в азартных играх.

С деньгами сложнее. Придется снова обращаться к Алексу Андерсону, а тот вполне может найти благовидный предлог для отказа, он человек осторожный, пугливый. С другой стороны, у Андерсона хороший нюх, и если запахнет «вознаграждением», он в лепешку расшибется. На это-то и рассчитывал Мэтлок.

Его звонок, кажется, удивил, но нисколько не рассердил Холдена. Помимо доброты англичанин отличался еще и любопытством. Он дважды объяснил, как проехать к его дому, и Мэтлок, поблагодарив, заверил, что хорошо все помнит.

— Не стану скрывать, Джим,— сказал Холден, впуская Мэтлока в свою чистенькую трехкомнатную квартирку,— я просто сгораю от нетерпения. Что-нибудь случилось? Здорова ли Патриция?

— Соответственно да и нет. Я расскажу вам все, что могу, но сразу предупреждаю, что это немного... Я хочу попросить вас об одолжении. Даже о двух. Во-первых, нельзя ли сегодня у вас переночевать?

— Конечно, о чем разговор! По-моему, вы уже на пределе. Проходите же, садитесь. Хотите выпить?

— Нет-нет, спасибо.— Мэтлок сел на диван. Он вспомнил, что это диван-кровать, притом очень удобный. Они с Пэт несколько месяцев назад, после хорошей выпивки, провели здесь счастливую ночь. Кажется, это было давным-давно...

— Ну, а второе одолжение? Первое доставит мне удовольствие. Но если вам нужны деньги, то у меня на руках что-то около тысячи. Можете ими располагать.

— Нет, дело не в деньгах, но все равно спасибо... Я хочу попросить вас выступить в роли англичанина.

— Ну, это, наверное, не так уж трудно,— рассмеялся Холден.— Я подозреваю, что у меня еще сохранился корнуэльский выговор. Едва заметный, правда.

— Едва. Если вы немножко попрактикуетесь, то, может, даже избавитесь от гнусавости янки... Но есть еще одно обстоятельство, и тут могут возникнуть затруднения. Вы когда-нибудь играли в азартные игры?

— В азартные игры? Вы имеете в виду скачки, тотализатор?

— Нет, карты, кости, рулетку.

— Ну, не всерьез. Как любой математик, обладающий минимумом воображения, я, конечно, прошел через это, полагая, что с помощью математики можно без труда выигрывать.

— И вам это удавалось?

— Я прошел через это, но не стал игроком. Если математика тут и применима, мне ее применить не удалось.

— Но вы играли? Вы знаете, какие существуют игры?

— И даже довольно неплохо. А почему вы спрашиваете?

Мэтлок повторил то, что рассказал Блэкстоуну. Однако он приуменьшил увечья, нанесенные Пэт, и не стал распространяться о причинах нападения. Когда он кончил свой рассказ, англичанин, куривший трубку, выбил пепел в большую стеклянную пепельницу.

— Прямо как в кино! Значит, Патриция не пострадала? Отделалась легким испугом?

— Совершенно верно. Если бы я заявил в полицию, это могло бы отразиться на ее стипендии.

— Понимаю... То есть я ничего не понимаю, но бог с ним. И вы хотите, чтобы я завтра проиграл.

— Это не имеет значения. Вам нужно только делать большие ставки.

— Но вы готовы к серьезным проигрышам?

— Да.

— Я согласен.— Холден встал.— Давайте устроим такой спектакль. Может получиться очень весело. Однако вы многое от меня скрываете, а было бы неплохо, если б вы мне рассказали. Но настаивать я не буду. Могу лишь сказать вам, что в вашей версии полно математических просчетов.

— А именно?

— Насколько я понимаю, сумма, которую завтра вечером вы готовы проиграть, намного больше той, которую Патриция могла бы получить в качестве стипендии. Отсюда логическое заключение, что вы не хотите обращаться в полицию. Или не можете.

Мэтлок взглянул на англичанина и подивился собственной глупости. Ему стало неприятно, неловко.

— Извините... Я не специально вас обманул. Вам вовсе не обязательно идти туда со мной; наверное, мне не следовало вас об этом просить.

— Я вовсе не имею в виду, что вы меня обманули; и потом, это не имеет значения. Я только сказал, что вы многое скрыли от меня. Конечно, я пойду с вами. И если вы решите обо всем рассказать, вы найдете в моем лице внимательного и благодарного слушателя. Ну, а теперь уже поздно и вы устали. Идите-ка в спальню и ложитесь.

— Нет-нет, спасибо. Я и здесь прекрасно устроюсь. К тому же у меня с этой комнатой связаны приятные воспоминания. Дайте мне только, если можно, одеяло. Кроме того, я должен позвонить по телефону.

— Ну, как вам больше нравится. Одеяло я сейчас принесу, а где телефон, вы знаете.

Холден вышел, и Мэтлок направился к телефону. Телектроник, который он решил арендовать, будет включен только в понедельник утром.

— Агентство Блэкстоуна.

— Говорит Джеймс Мэтлок. Мне сказали, что по этому телефону я могу узнать, нет ли для меня каких-нибудь сообщений.

— Да, мистер Мэтлок.. Для вас есть сообщение... одну минуту, я сейчас возьму карточку... Вот оно. От бригады в Карлайле. «Все в порядке. Лечение идет хорошо. У подопечной было три посетителя. Мистер Сэмюел Крессел, мистер Адриан Силфонт и мисс Лоис Мейерс. Подопечной дважды звонили, однако врач не разрешил ей говорить по телефону. Оба раза звонил один и тот же человек, мистер Джейсон Гринберг. Он звонил из Уилинга, Западная Виргиния. Бригада в Карлайле ни на секунду не покидала подопечную... Можете расслабиться».

— Благодарю вас. Конечно. Вы хорошо работаете. Спокойной ночи.— Мэтлок облегченно и устало вздохнул. Лоис Мейерс жила на одной площадке с Пэт в доме для аспирантов. Хорошо, что Гринберг позвонил. Ему не хватало Гринберга.

Он протянул руку и выключил лампу на столике возле дивана. В окна светила яркая апрельская луна. Человек из агентства Блэкстоуна был прав: можно расслабиться.

Тем не менее он обязан продумать завтрашний день — и послезавтрашний. Нельзя распускаться, удовлетворяться достигнутым, ибо это может замедлить продвижение к цели.

А послезавтра, после того как он побывает у Сэмми Шарпа в Виндзор-Шоулз, если его расчет оправдается, настанет время перенести боевые действия в район Карлайла. Мэтлок закрыл глаза и мысленно представил себе отпечатанный на машинке список, который дал ему Блэкстоун.

КАРМАУНТСКИЙ ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ. Посредник — Говард Стоктон.

ПАРУСНО-ЛЫЖНЫЙ КУРОРТ. ЗАПАДНЫЙ КАРЛАЙЛ. Посредник — Алан Кэнтор.

Кармаунт находился к востоку от Карлайла, неподалеку от Маунт-Холли. Парусно-лыжный курорт — к западу, на озере Деррон.

Он придумает, как попросить Бартолоцци, или Айелло, или, может быть, Сэмми Шарпа дать ему необходимые рекомендации. А оказавшись в районе Карлайла, он разок-другой обмолвится. Возможно, не просто обмолвится, а скомандует, прикажет, распорядится. Необходимо действовать смело, по-нимродовски.

Глаза его были закрыты, мышцы расслабились. Однако прежде чем заснуть, он вспомнил о корсиканской бумаге. Придется теперь достать эту бумагу. Она понадобится ему. Понадобится как приглашение к Нимроду.

Теперь это его личное приглашение. Его бумага.

Бумага Мэтлока.

Если бы старейшины конгрегационалистской общины в Виндзор-Шоулз узнали, что Сэмюел Шарп, умный, блестящий адвокат, ведавший финансовыми делами церкви, известен в Северном Хартфорде и Южном Спрингфилде, штат Массачусетс, как Сэмми Банкомет, вечерние богослужения были бы отменены на целый месяц. К счастью, они так и не сделали этого открытия, и конгрегационалистская церковь продолжала относиться к нему благосклонно. Он изрядно приумножал церковную казну и во время кампаний по сбору средств сам щедро жертвовал. Конгрегационалистская община в Виндзор-Шоулз, как, впрочем, и почти все в городе, была весьма расположена к Сэмюелу Шарпу.

Мэтлок узнал обо всем этом в кабинете Шарпа в его заведении «Виндзор-вэлли инн». Половину рассказали ему грамоты, висевшие в рамках на стенах, а Джакопо Бартолоцци охотно досказал остальное. Джакопо постарался, чтобы Мэтлок и его английский друг поняли, что заведение Шарпа не имеет добрых традиций Эйвонского плавательного клуба.

Холден превзошел все ожидания Мэтлока. Несколько раз он чуть не расхохотался, глядя, как Холден берет стодолларовые банкноты, спешно доставленные в Уэбстер взмыленным Алексом Андерсоном, и небрежно помахивает ими перед крупье. Холден играл умно, осторожно и вскоре выиграл на девять тысяч больше, чем было в банке. К концу вечера он сократил свой выигрыш до нескольких сотен, и хозяева «Виндзор-вэлли инн» вздохнули с облегчением.

Джеймс Мэтлок выругался — второй вечер подряд не везет!— но отнесся к своему проигрышу в тысячу двести долларов спокойно, как и следовало отнестись к такой мелочи.

В четыре часа утра Мэтлок и Холден сидели вместе с Айелло, Бартолоцци, Шарпом и двумя их друзьями за большим дубовым столом в ресторане, оформленном и обставленном в колониальном стиле Кроме них, здесь никого не было. Официант и двое мальчиков с кухни помогали убирать, залы для азартных игр на третьем этаже закрылись.

Тучный Айелло и толстый коротышка Бартолоцци наперебой расхваливали своих клиентов, каждый считал, что другому «было бы неплохо познакомиться» с мистером и миссис Джонсон из Кантона или с неким доктором Уодсвортом. Что касается Шарпа, то он больше интересовался Холденом и постановкой дела в Англии. Он рассказал несколько смешных историй о своем посещении лондонских клубов и о том, как в разгар игры он запутался в английской денежной системе.

Бартолоцци спросил у Холдена, куда он направляется дальше. Ответ Холдена пришелся как нельзя кстати: Мэтлок давно ждал подходящего момента.

— К сожалению, мне трудно сейчас говорить о маршруте.

— Я просто подумал, что вы непременно должны заглянуть ко мне в Эйвон,— пояснил Бартолоцци.— Вам понравится.

— Наверняка понравится. Загляну как-нибудь в другой раз.

— Джонни свяжется со мной на будущей неделе.— Мэтлок потянулся к пепельнице и потушил сигарету.— Мне нужно быть в... Карлайле — так, кажется, он называется.

В разговоре наступила еле заметная пауза. Шарп, Айелло и один из их друзей переглянулись. Бартолоцци, однако, вроде бы ничего особенного не заметил.

— Это там, где университет? — спросил он.

— Совершенно верно,— ответил Мэтлок.— Я, возможно, остановлюсь в Кармаунтском загородном клубе или на Парусно-лыжном курорте. Вы, наверное, знаете, где это.

— Наверное, знаем,— мягко рассмеялся Айелло.

— А какое у вас дело в Карлайле? — спросил человек с сигарой, которого никто не потрудился представить.

— Это уж мое дело,— улыбнулся Мэтлок.

— Я просто так спросил. Я совсем не хотел вас обидеть.

— А вы меня и не обидели.. Ого, черт побери, половина пятого! Вы, джентльмены, чересчур гостеприимны.— Мэтлок отодвинулся вместе со стулом, готовясь встать.

Однако у человека с сигарой был еще один вопрос:

— А ваш друг едет с вами в Карлайл?

Холден предусмотрительно поднял руку:

— Простите, маршруты мы не обсуждаем. У меня чисто туристские планы... Нам в самом деле пора.

Оба поднялись. Поднялся и Шарп. Опережая остальных, он сказал:

— Я провожу ребят до машины и покажу, как выехать. А вы подождите меня здесь: нам нужно рассчитаться. Я ведь должен тебе деньги, Рокко. А Фрэнк должен мне. Может, я еще и останусь при своих.

Человек с сигарой — это, очевидно, и был Фрэнк — рассмеялся. Айелло тупо уставился на них, но через несколько секунд до него дошло: Шарп хочет, чтобы все дождались его.

Шарп проводил их до почти уже пустой стоянки. В «Виндзор-вэлли инн» гости не задерживались на ночь.

— Мы не очень любим, когда у нас остаются ночевать,— пояснил Шарп.— Нас знают в основном как хороший ресторан.

— Я это могу понять,— сказал Мэтлок.

— Джентльмены,— начал, немного запинаясь, Шарп.— Вы разрешите обратиться к вам с просьбой, которая может показаться невежливой?

— Валяйте.

— Я хотел бы поговорить с мистером Мэтлоком с глазу на глаз.

— Ну разумеется,— сказал Холден.— Я все прекрасно понимаю. Вы тут поговорите, а я немного пройдусь.— И он неторопливо удалился.

— Славный малый этот ваш английский друг,— сказал Шарп.

— Не то слово. Так в чем же дело, Сэмми?

— Несколько разъяснений, как мы говорим в суде.

— А именно?

— Я человек осторожный, но также и любопытный. Как вы убедились, у меня хорошо отлаженная организация.

— Это видно.

— Мы расширяемся — медленно, но верно.

— Принято к сведению.

— Я опытный юрист, и я горжусь тем, что не делаю ошибок.

— К чему вы клоните?

— Мне кажется — и должен быть с вами честен, это пришло в голову также моему партнеру Фрэнку и Рокко Айелло,— что вы посланы сюда, чтобы понаблюдать за нами.

— А почему вы так считаете?

— Почему?.. Такие игроки с неба не сваливаются. У вас влиятельные друзья в Сан-Хуане. Вы знаете все наши заведения как свои пять пальцев. Затем — у вас очень богатый, очень милый коллега из Лондона. Но главное — и я думаю, вы это понимаете,— ваше упоминание о Карлайле. Будем откровенны: все это кое во что складывается.

— Разве?

— Я не лезу на рожон. Я ведь сказал вам: я человек осторожный. Знаю правила, не задаю лишних вопросов и не говорю о вещах, которые меня не касаются... Тем не менее генералы должны знать, что у них в организации есть несколько умных, даже честолюбивых лейтенантов. Кто угодно вам это скажет.

— Вы хотите, чтобы я дал о вас хороший отзыв?

— Ну, что-то в этом роде. Я человек ценный. Уважаемый адвокат. Мой партнер — очень преуспевающий страховой маклер. Мы всегда в выигрыше.

— А что вы скажете про Айелло? Вы как будто с ним на дружеской ноге?

— Рокко — хороший парень. Может, не самый умный, но надежный. К тому же добрый. Но смешно его ставить рядом с нами.

— А Бартолоцци?

— О Бартолоцци мне сказать нечего. Вы должны сами решить, что он собой представляет.

— Не говоря ничего, вы говорите очень много.

— По-моему, он слишком много болтает. Такой уж у него характер. Он действует мне на нервы. Но все-таки это не Рокко.

Мэтлок вдруг понял, что произошло. Все вполне логично; он сам это спланировал,

а теперь чувствовал себя почему-то сторонним наблюдателем. Он и на себя смотрел как бы со стороны.

Он вошел в мир Нимрода чужаком — возможно, даже чужаком, вызывающим подозрение и, уж конечно, не внушающим доверия.

И однако, это недоверие породило уважение к нему. Было ясно, что он — птица высокого полета. Эмиссар высших эшелонов власти. И его следует бояться.

Он шел по краю пропасти. Но свернуть с этого пути уже не мог.

— Вы отличный малый, Шарп. И чертовски умный к тому же... Что вы знаете о Карлайле?

— Ничего! Решительно ничего!

— А вот теперь вы врете, и это уже неумно.

— Но это правда. Я ничего не знаю. Слухи разные доходили.

— Какие слухи? Выкладывайте — это в ваших же интересах.

— Просто слухи. Что-то вроде собрания клана. Встреча очень высокопоставленных лиц. Предстоит выработать соглашение.

— Речь идет о Нимроде?

Сэмми Шарп прикрыл глаза.

— Вот теперь вы заговорили на языке, который я не желаю слышать,— произнес он, не открывая глаз.

— В таком случае вы ничего и не слышали.

— Можете быть уверены, из протокола это вычеркнуто.

— О'кей! Вы молодчина. Но когда вы вернетесь, не стоит обсуждать эти слухи. Так мог бы поступить лишь глупый лейтенант.

— Не только глупый — безумный.

— Зачем же вы им велели остаться? Ведь уже поздно.

— Если честно, то я хотел узнать, что они думают о вас и о вашем английском друге. Но поскольку вы упомянули некое имя, никакого обсуждения не будет. Я ведь уже говорил, что знаю правила.

— Прекрасно. Я вам верю. Вы далеко пойдете. А теперь вам пора вернуться. Впрочем, еще одно: я хочу... мы хотим, чтобы вы позвонили Стоктону в Кармаунт и Кэнтору на Парусно-лыжный курорт. Скажите им, что я ваш друг и собираюсь заглянуть к ним. Это очень важно, Сэмми. Больше ничего.

— С удовольствием позвоню, а вы не забудьте передать мои наилучшие пожелания вашим друзьям!

— Не забуду. Вы отличный малый.

— Стараюсь. Что еще человек может сделать...

Предрассветную тишину разорвало пять громких выстрелов. Звон разбитого стекла. Топот ног, крики, треск ломающейся мебели. Мэтлок бросился на землю.

— Джон! Джон!

— Я здесь! У машины! Вы не ранены?!

— Нет! Не двигайтесь!

Шарп бросился в темноту, забился в угол, словно хотел вжаться в кирпич, и вытащил из внутреннего кармана револьвер.

Сзади снова послышались выстрелы и крики ужаса, и из боковой двери с истошным воплем вылетел мальчик, помогавший убирать со стола. Он бросился на землю и пополз к автомобильной стоянке. Следом за ним выбежал официант в белой куртке, таща за собой человека, у которого из плеча текла кровь, а правая рука беспомощно болталась.

Раздался еще выстрел, официант рухнул навзничь. Раненый, которого он тащил, не устоял на ногах и словно подкошенный упал лицом в гравий. В доме кто-то кричал:

— Выходите! В машину!

Он ожидал, что из боковой двери сейчас посыплются люди и побегут к автомобильной стоянке, но этого не произошло. Где-то в другой стороне взревел мотор, и Мэтлок увидел черный автомобиль, мчавшийся по направлению к главной дороге.

Это был тот же автомобиль, который вынырнул из темноты через секунду после убийства Ральфа Лоринга.

Все стихло. Стало светлеть.

— Джим! Джим! Сюда! Они, кажется, уехали! — крикнул Холден. Он вышел из-под защиты автомобиля и наклонился над человеком в белой куртке.

— Иду,— сказал Мэтлок, поднимаясь с земли.

— Этот убит. Пуля прошла между лопаток.— Холден подошел к лежавшему без сознания.— А этот еще дышит. Надо вызвать «скорую».

— Где Шарп?

— Он только что вошел туда. В эту дверь. У него был револьвер.

Они осторожно направились к боковому входу. Мэтлок медленно открыл дверь и вошел в холл первым. Мебель была вся перевернута, стулья и столы лежали на боку; деревянный пол блестел от крови.

— Шарп! Где вы?

— Здесь. В ресторане,— не сразу ответил Шарп.

Мэтлок и Холден прошли через дубовую арку и застыли от ужаса, увидев четыре залитых кровью трупа. Рокко Айелло, вернее, то, что от него осталось. Партнер Шарпа Фрэнк, с которым их так и не познакомили. Джакопо Бартолоцци. Еще кто-то, лежавший головой на правой ноге Бартолоцци.

— О боже! — пробормотал Мэтлок, не веря своим глазам.

— Вам лучше уехать,— устало, еле слышно сказал Шарп.— И вам, и вашему английскому другу — и побыстрее.

— Вам придется вызвать полицию,— растерянно произнес Мэтлок.

— Там мальчик... Он еще жив,— запинаясь, сказал Холден.

Шарп взглянул на них, не выпуская из рук револьвера. В глазах его мелькнуло подозрение.

— Я не сомневаюсь, что все провода перерезаны. До ближайших ферм не меньше полумили... Я обо всем позабочусь. А вам лучше сматываться.

— Вы так считаете? — спросил Холден.

— Послушайте, англичанин,— сказал Шарп,— лично мне наплевать, что вы оба будете делать. Мне есть о чем поразмыслить... Так что для вашего же блага — выкатывайтесь. Чем меньше осложнений, тем меньше риска. Разве не так?

— Да, вы правы,— сказал Мэтлок.

— Если вас задержат, скажете, что уехали отсюда полчаса назад. Вы друзья Бартолоцци — и больше я ничего о вас не знаю.

— Хорошо.

Шарп отвернулся от трупов. Мэтлоку показалось, что он сейчас заплачет, но он лишь глубоко вздохнул и произнес:

— Я опытный юрист, мистер Мэтлок. Я могу пригодиться. Скажите им.

— Непременно.

— Скажите также, что мне нужна защита и я заслуживаю защиты. Обязательно скажите.

— Конечно.

— А теперь уезжайте.— Шарп с отвращением швырнул револьвер на пол и завопил, уже не сдерживая слез: — Да уезжайте же, бога ради! Уезжайте!

## 22

Мэтлок и Холден вскоре расстались. Преподаватель английской литературы отвез математика домой и поехал на юг в сторону Фэрфилда. Он решил остановиться в каком-нибудь мотеле, достаточно далеко от Виндзор-Шоулз, чтобы немного успокоиться, и в то же время не слишком далеко от Хартфорда, чтобы в два часа дня быть у Блэкстоуна.

Мэтлок нашел третьеразрядный мотель к западу от Стратфорда и немало удивил ночного портье своим появлением в единственном числе.

Регистрируясь, он бормотал себе под нос, что от этих ревнивых жен просто жизни нет, а десятидолларовая бумажка убедила портье записать, что он прибыл в два часа ночи, один. Он свалился в кровать в семь утра и попросил разбудить его в половине первого. На свежую голову, подумал он, легче будет разобраться.

Мэтлок проспал пять часов и двадцать минут, но ничего не изменилось. Он по-прежнему ничего не понимал. То, что произошло в Виндзор-Шоулз, казалось ему теперь еще удивительнее, чем раньше. Не собирались ли прикончить таким образом его? Или, наоборот, убийцы ждали, когда он уедет, чтобы учинить расправу?

Ошибка или предупреждение?

В четверть второго он уже ехал по Меррит-паркуэй, в половине второго въехал в Хартфорд, а в пять минут третьего вошел в контору Блэкстоуна.

— Послушайте,— сказал Майкл Блэкстоун, пригнувшись к столу и в упор глядя на Мэтлока.— Мы стараемся задавать как можно меньше вопросов, но это вовсе не означает, что мы предоставляем нашим клиентам полную свободу действий!

— Мне кажется, вы хотите, чтобы все было наоборот!

— В таком случае забирайте свои деньги и обращайтесь к кому-нибудь другому. Мы как-нибудь переживем! — Неожиданно Блэкстоун положил локти на стол, пригнулся еще ниже и хрипло зашептал: — Господи, Мэтлок! Два человека! Двое из этого чертова списка убиты сегодня ночью! Если вы маньяк, я не хочу иметь с вами дело. Мы об этом не договаривались! И мне наплевать, кто ваш отец и сколько у вас денег!

— Да о чем вы говорите? Я узнал об этом из газет. Ночь я провел в мотеле в Фэрфилде. Приехал туда в два часа ночи — это зарегистрировано. А если верить газетам, убили тех двоих около пяти.

Блэкстоун оттолкнулся от письменного стола, встал и недоверчиво взглянул на Мэтлока.

— Вы можете это доказать?

— Дать вам название мотеля и номер телефона? У вас есть телефонная книга? Я сейчас вам все найду.

— Нет... нет. Я ничего не хочу знать. Значит, вы были в Фэрфилде?

— Дайте мне телефонную книгу.

— Ладно, ладно. Забудем это. Я думаю, что вы лжете, но вы обеспечили себе алиби.

— В больнице все в порядке?

— Да... да...— озабоченно ответил Блэкстоун.— Я получил ваш телектроник. Он работает. И будет стоить дополнительно двадцать долларов в день.

— Понятно. Оптовая цена.

— Мы никогда не делали вида, что берем дешево.

— Вам это вряд ли удалось бы.

— Мы и не пытаемся.— Блэкстоун, по-прежнему стоя, нажал кнопку и сказал: — Пожалуйста, принесите телектроник мистера Мэтлока.

Через несколько секунд в кабинет вошла привлекательная девушка; в руках у нее был приборчик не больше пачки сигарет. Она положила его на письменный стол Блэкстоуна и быстро вышла.

— Пожалуйста,— сказал Блэкстоун.— Ваш код — Абонент три-ноль. Это означает: район Карлайла, бригада из трех человек. Номер телефона, по которому вам следует звонить: пять-пять-пять-шесть-восемь-шесть-восемь. Телектроник будет подавать короткие звуковые сигналы. Выключается он нажатием вот этой кнопки. Услышав сигнал, вы должны позвонить по номеру, который я вам дал. Записывающее устройство, подключенное к этому телефону, передаст вам сообщение от бригады. Возможно также, что вас попросят позвонить по другому телефону для прямого контакта. Это очень просто.

— Да,— сказал Мэтлок, беря металлическую коробочку.— Я только одного не могу понять: почему вы не хотите, чтобы ваши люди звонили сюда к вам, в контору, а вы связывались со мной? Разве это не будет удобнее?

— Нет. Слишком много возможностей для ошибки. У нас большая клиентура. Мы предпочитаем, чтобы наши клиенты находились в прямом контакте с теми людьми, за услуги которых они платят.

— Понятно.

— К тому же мы не хотим влезать в личную жизнь наших клиентов. Кстати, вы можете связываться с бригадой тем же путем, что и они с вами. У каждого есть такой же прибор. Позвоните по телефону и продиктуйте то, что вы хотите им передать.

— Похвально.

— Профессионально. — Тут Блэкстоун наконец опустился в свое кресло и откинулся назад.— А теперь я вам кое-что скажу, и, если вы сочтете это угрозой, я на вас не обижусь. И если захотите отказаться от наших услуг — тоже о'кей... Мы знаем, что вас усиленно разыскивают агенты министерства юстиции. Правда, против вас не выдвинуто никаких обвинений и ордера на ваш арест нет. У вас есть определенные права, о которых федеральные агенты часто забывают в своем рвении, и это одна из причин существования нашего агентства. Однако должен предупредить вас: если ваш статус из-

менится, если против вас будут выдвинуты обвинения или будет выдан ордер на ваш арест, наши услуги прекратятся немедленно и мы, не колеблясь, поможем властям найти вас. Информация, которой мы располагаем, не подлежит разглашению и будет сообщена только вашим адвокатам, но к информации о вашем местонахождении это не относится. Понятно?

— Да. Это достаточно честно.

— Это более чем честно. Вот почему я прошу вас заплатить сейчас вперед за десять дней — неиспользованные деньги мы вам вернем... Если ситуация изменится и федеральные агенты получат ордер на ваш арест, вам только один раз скажут по телефону следующую фразу...— Блэкстоун выдержал эффектную паузу.

— Какую же?

— «Абонент три-ноль отключен».

Когда Мэтлок вышел на Бонд-стрит, у него появилось ощущение, которое — он уже знал — не покинет его до самого конца этой многодневной гонки: ощущение, что все на него смотрят. Ему стало казаться, что какие-то незнакомые люди не сводят с него пристальных взглядов. Он то и дело оборачивался, однако ни разу не обнаружил ничего подозрительного.

Теперь необходимо извлечь из квартиры корсиканскую бумагу. А после того, что сказал Блэкстоун, бессмысленно пытаться сделать это самому. Квартира, конечно, под наблюдением обоих лагерей — преследователей и преследуемых.

Он использует кого-нибудь из бригады Блэкстоуна. Он свяжется с ними — с ним — после того, как позвонит по одному телефону и выяснит, нужно ли ему иметь при себе приглашение — корсиканскую бумагу — или нет. Он позвонит в Виндзор-Шоулз адвокату Сэмюелу Шарпу.

Мэтлок решил выразить Шарпу сочувствие. Сейчас самое время показать Шарпу, что даже такие люди, как он, Мэтлок,— люди, имеющие влиятельных друзей в Сан-Хуане и Лондоне,— думают не только о себе.

Он вошел в вестибюль отеля «Американа» и набрал номер Шарпа. Ответила секретарша.

— Оставьте ваш телефон, мистер Шарп вам перезвонит.

— Я говорю из автомата и очень спешу.

Последовало молчание, затем раздался щелчок переключателя. Ждать Мэтлоку пришлось менее десяти секунд.

— Разрешите, я запишу номер вашего автомата, мистер Мэтлок. Мистер Шарп позвонит вам через пять минут.

Мэтлок дал девушке номер и повесил трубку.

Сидя на пластмассовом сиденье, он вспомнил другую телефонную будку, другое пластмассовое сиденье. И черный автомобиль, промчавшийся мимо этой будки, где остался человек с пулей во лбу.

Раздался звонок; Мэтлок поднял трубку.

— Мэтлок?

— Шарп?

— Не стоит звонить мне в контору. Надо бы вам это знать. Мне пришлось выйти в вестибюль, чтобы позвонить из автомата.

— Я был уверен, что телефон уважаемого адвоката не прослушивается. Простите.

На другом конце провода молчали. Шарп, очевидно, не ждал извинения.

— Я человек осторожный, как я уже говорил. В чем дело?

— Я просто хотел узнать, как вы себя чувствуете. Чем все кончилось? То, что произошло ночью,— ужасно.

— У меня не было времени это осмыслить. Слишком много дел. Полиция, похороны, репортеры.

— Что же вы им говорите? Как ведете себя?

— Стараюсь поумнее. В двух словах — я всего лишь невинная жертва. И Фрэнк — жертва, но он мертв... Мне будет не хватать Фрэнка. Он был очень хороший малый. Я, конечно, закрою верхний этаж. Полиции штата заплатили. Видимо, ваши люди. Все останется так, как сказано в газетах. Банда итальянских головорезов устроила перестрелку в милом загородном ресторане.

— Вы хорошо владеете собой.

— Я же говорил вам,— уныло промолвил Шарп,— я осторожный человек. Й готов ко всяким случайностям.

— Кто это сделал?

Шарп не ответил. Он просто молчал.

— Я спрашиваю, кто, по-вашему, это сделал?

— Я думаю, ваши люди узнают об этом раньше, чем я... У Бартолоцци были враги — он был не очень приятный человек. У Рокко, наверное, тоже... Но при чем тут Фрэнк? На это ответьте мне вы.

— Не знаю. Я пока ни с кем не связывался.

— Пожалуйста, узнайте. Зря они так

— Попытаюсь. Обещаю вам... Кстати, Сэмми, не забудьте позвонить Стоктону и Кэнтору.

— Не забуду. У меня это записано на сегодня.

— Спасибо. И примите мои соболезнования по поводу Фрэнка. Он мне показался славным малым.

— Он был стоящий человек.

— Не сомневаюсь... Я еще свяжусь с вами, Сэмми. И я помню, о чем вы меня просили. Вы произвели на меня самое приятное впечатление. Я...

Послышалось звяканье монет, падающих в приемник телефона-автомата в Виндзор-Шоулз, и разговор прервался. Впрочем, продолжать его уже не было необходимости. Мэтлок узнал то, что хотел узнать. Надо доставать корсиканскую бумагу. Ужас не отбил память у методичного Шарпа: он не забыл, кому должен позвонить. Почему не забыл, Мэтлок не мог объяснить, но это было так. Осторожный Шарп не поддался панике. Хладнокровен как черт.

В телефонной будке было душно, тесно, неудобно. Мэтлок открыл дверцу и быстро прошел через вестибюль к выходу.

Он завернул за угол в поисках подходящего ресторана, где можно перекусить и подождать ответного звонка от Абонента три-ноль. Блэкстоун сказал, что он должен оставить какой-нибудь номер, а что может быть лучше номера ресторанного телефона?

Он увидел вывеску: «Дары моря». Явно такое место, куда заглядывают деловые люди.

Ему дали не просто столик, а целую кабинку. Было почти три часа дня; люди уже отобедали. Мэтлок сел, заказал бурбон со льдом и спросил у официантки, где ближайший телефон. Он уже собрался выйти из кабинки и позвонить по телефону 555-68-68, но тут услышал приглушенный высокий, пугающий звук телектроника. Сначала он застыл. Было такое ощущение, будто какая-то частица его тела, какой-то орган посылает сигналы бедствия. Дрожащей рукой он вытащил из кармана пиджака маленькую металлическую коробочку и нажал кнопку выключателя. Посмотрел вокруг — не привлек ли этот звук внимания?

Не привлек. Никто на него не смотрел. Никто ничего не услышал.

Он встал со стула и быстро прошел к телефону, думая только об одном: что-то случилось с Пэт.

Мэтлок закрыл за собой дверь и набрал номер 555-68-68.

— Абонент три-ноль докладывает.— Голос звучал, как обычно звучат голоса, записанные на пленку.— Просьба позвонить по телефону пять-пять-пять-один-девять-пять-один. Причин для тревоги нет, сэр. Ничего срочного. В течение ближайшего часа будем по этому номеру. Повторяю номер: пять-пять-пять-один-девять-пять-один. Все.

Мэтлок понял: Абонент три-ноль специально вызвал его, чтобы успокоить,— возможно, потому, что он впервые пользуется телектроником. Он достал из кармана несколько монет, подумав при этом, что надо будет разменять два-три доллара, чтобы у него всегда была мелочь. Телефон-автомат вошел в его жизнь.

— Это пять-пять-пять-один-девять-пять-один?

— Да,— ответил тот же голос, который он слышал только что в записи.— Мистер Мэтлок?

— Да. С мисс Бэллентайн все в порядке?

— Она отлично себя чувствует. У вас хороший врач. Сегодня утром ей разрешили сесть. Доктор вполне доволен... Она несколько раз спрашивала о вас.

— Что вы ей сказали?

— Правду. Что вы нас наняли, чтобы никто ей не докучал.

— Нет. Относительно того, где я нахожусь.

— Мы просто сказали, что вам пришлось уехать на несколько дней. Неплохо было бы вам позвонить ей. Начиная с сегодняшнего дня ей уже разрешено отвечать на телефонные звонки. Мы, естественно, все будем прослушивать.

— Конечно. Вы ради этого связывались со мной?

— Частично. Но также из-за Гринберга. Джейсона Гринберга. Он все время вам звонит. Требует, чтобы вы с ним связались.

— Что он сказал? Кто с ним разговаривал?

— Я. Кстати, меня зовут Клифф.

— О'кей, Клифф! Что он сказал?

— Велел передать, чтобы вы немедленно позвонили ему. Сказал, что это необходимо. У меня есть номер. Это в Уилинге, штат Западная Виргиния.

— Дайте мне его.— Мэтлок вытащил шариковую ручку и записал номер на деревянной полочке под телефоном.

— Мистер Мэтлок?

— Что?

— Гринберг также просил передать вам... что «города не умирают, они уже умерли». Это его слова. «Города умерли».



## 23

Клифф без звука согласился добыть корсиканскую бумагу из квартиры Мэтлока. Позже они договорятся по телефону о встрече. Если бумаги не окажется на месте, Абонент три-ноль немедленно поставит Мэтлока об этом в известность.

Мэтлок ограничился одной порцией бурбона, лениво поковырял в тарелке и в половине четвертого покинул «Дары моря». На стоянке, подходя к своему «кадиллаку», он увидел бело-голубые полосы патрульного автомобиля хартфордской полиции. Один из полицейских пытался открыть «кадиллак», второй говорил по рации. Они нашли машину. Это испугало Мэтлока, но не удивило.

Он осторожно пошел назад; если его заметят, он бросится бежать... Теперь все очень осложняется. Во-первых, нужно срочно раздобыть какую-нибудь машину. Во-вторых, они знают, что он находится в районе Хартфорда. Следовательно, такие средства передвижения, как поезд, автобус, даже такси, исключаются. Вокруг все уже предупреждены. Единственный выход — найти другую машину.

И все равно странно. Блэкстоун ведь ясно сказал, что против него не выдвинуто обвинений, нет ордера на арест. В противном случае он уже услышал бы: «Абонент три-ноль отключен».

Но он не услышал таких слов. Даже намека не было. Может, вернуться к полицейской машине и заплатить штраф за нарушение правил стоянки?

Однако он тут же отказался от этой мысли. Полицейские там не для того, чтобы ловить нарушителей. До этого на другой стоянке его выслеживал другой полицейский — в штатском. Все это не случайно, хотя и непонятно.

Мэтлок быстро пошел по Бонд-стрит. Он свернул в первую же боковую улицу и вдруг заметил, что бежит. Он тотчас замедлил шаг, чтобы не привлекать внимания прохожих. Он пошел шагом в ритме толпы, стараясь раствориться в людском потоке. Он даже останавливался там и сям и тупо смотрел на витрины, не видя, что в них выставлено. Потом он попытался понять, что с ним происходит. И понял: теперь им управляют первобытные инстинкты преследуемого. Они неожиданно проснулись в нем, и вот уже во все стороны протянулись защитные щупальца, а тело, точно у хамелеона, стало почти неразличимым на окружающем фоне.

Но ведь он не преследуемый! Он преследователь! Черт возьми, он же преследователь!

— Хэлло, Джим! Как поживаете, старина? Что вы делаете в этом великом городе?

От неожиданности Мэтлок споткнулся и, потеряв равновесие, упал на тротуар, а человек, окликнувший его, протянул ему руку и помог подняться.

— О, привет, Джефф! Господи, как вы меня напугали. Спасибо.— Мэтлок встал, отряхнулся и огляделся по сторонам — кто еще кроме Джеффа Креймера наблюдает за ним?

— Что, хорошо пообедали, старина? — рассмеялся Креймер.

Он был выпускником Карлайла и имел степень по психологии, которая произвела достаточно сильное впечатление на шикарную посредническую фирму.

— Да нет, что вы. Просто задумался. Настоящий рассеянный профессор.— Мэтлок взглянул на Джеффа Креймера. Джефф Креймер не только работал в шикарной фирме, у него еще была шикарная жена и двое очень шикарных детей, которые учились в чрезвычайно шикарных школах.— А что касается «обеда», то за целый день всего одна порция бурбона, и ту не допил.

— Почему бы нам это не исправить? — предложил Креймер, показывая на бар «Кабанья голова».— Я ведь вас несколько месяцев не видел. Читал в газете, что вас ограбили.

— Ограбление еще можно пережить, но что они сделали с квартирой! И с машиной! — Мэтлок и Джефф Креймер направились к бару «Кабанья голова».— Ее сейчас как раз здесь чинят. Вот я и торчу в городе.

Оказывается, у преследуемого есть не только щупальца, предупреждающие об опасности, но еще и сверхъестественная — пусть даже временная — способность превращать невыгодную ситуацию в выгодную. Проигрыш — в явный выигрыш.

Пока Мэтлок потягивал бурбон с водой, Креймер в несколько глотков расправился со своим виски.

— Как подумаю, что придется тащиться в Скарсдейл на автобусе с двумя пересадками, просто настроение портится.

— Так возьмите машину напрокат, в чем проблема?

— Я уже обращался в два места. В одном машин не будет до вечера, в другом — вообще до завтра. Какой-то здесь, по-моему, съезд.

— Так подождите до вечера.

— Никак не могу. Дела. Отец собирает своих экономических советников. Но если вы думаете, что я поеду в Скарсдейл не на собственных колесах, то очень ошибаетесь.— Мэтлок рассмеялся и заказал еще бурбон и виски, затем положил на стойку бара пятидесятидолларовый банкнот. Банкнот должен был привлечь внимание Джеффа Креймера, у которого такая шикарная жена.

— Мне кажется, вы не способны подвести итог по чековой книжке, а уж быть экономическим советником...

— Не забывайте, ведь я наследник престола.

— Вы везунчик. Вот это я хорошо помню. Везунчик.

— Послушайте! Великолепная мысль! Ваша машина в городе?

— Погодите, дружище...

— Нет, серьезно...— Мэтлок вытащил деньги.— Старик заплатит... Что, если я возьму напрокат вашу машину? На четыре-пять дней. Вот. Даю вам двести — триста долларов.

— Да вы рехнулись!

— Ничего подобного. Старик хочет, чтобы я приехал? Вот пусть он и заплатит!

Мэтлок чувствовал, как лихорадочно Креймер подсчитывает, во сколько ему обойдется за неделю дешевая прокатная машина. Семьдесят девять пятьдесят плюс десять центов за милю при ежедневном пробеге миль пятнадцать—двадцать. Сто пять, максимум сто десять долларов. У Креймера ведь была шикарная жена и двое весьма шикарных деток в чрезвычайно шикарных школах.

— Ну зачем же вас так грабить?

— Не меня! При чем здесь я? Его!

— Ну не знаю...

— Я напишу счет и сразу же вручу его отцу.— Мэтлок схватил картонную подставку под бокалы, перевернул ее чистой стороной вверх и начал писать.— Самый обычный контракт. «Я, Джеймс Б. Мэтлок, обязуюсь уплатить Джеффри Креймеру триста...» Какого черта, это же его деньги!.. «Четыреста долларов за пользование его...» Марка?

— «Форд-универсал». Белый. Прошлогодняя модель.— Глаза Креймера переходили от картонки к пачке банкнотов, которые Мэтлок небрежно положил у локтя Креймера на стойке бара.

— «Фордом-универсалом» в течение...» ну, скажем, недели, о'кей!

— Идет! — Креймер допил вторую порцию виски.

— «Одной недели... Подписано: Джеймс Б. Мэтлок!» Подпишитесь здесь тоже. И вот вам ваши четыреста долларов. А где машина?

Инстинкт преследуемого безошибочен, подумал Мэтлок. Креймер спрятал деньги в карман, вытер покрывшийся испариной подбородок и достал ключи от машины и талон с платной стоянки. Как и ожидал Мэтлок, Джефф Креймер хотел теперь поскорее уйти со своими четырьмя сотнями.

Мэтлок сказал, что вернет автомобиль дней через пять. Креймер настоял на том, чтобы заплатить за выпивку, и быстро ушел. Оставшись один, Мэтлок допил бурбон и обдумал свой следующий шаг.

Преследуемый и преследователь соединились теперь в одном лице.

## 24

Он быстро ехал по дороге № 72 к городку Маунт-Холли в белом «форде-универсале» Креймера. Он знал, что в течение часа должен найти другой телефон-автомат и еще раз позвонить. На этот раз Говарду Стоктону, владельцу Кармаунтского загородного клуба. Он взглянул на часы: почти половина девятого вечера. Сэмюел Шарп давно уже должен был связаться со Стоктоном.

Интересно, как реагировал Стоктон. И что он вообще за человек.

Фары машины высветили придорожную надпись:

МАУНТ-ХОЛЛИ

А за ним следующую:

КЛУБ «РОТАРИ»
РЕСТОРАН ХАРПЕРА
1 МИЛЯ

А почему бы и нет, подумал Мэтлок. Терять нечего. А может, что-то даже и выиграешь, что-то узнаешь.

Белый оштукатуренный фасад и красные неоновые лампы в окнах говорили достаточно ясно о кухне Харпера. Мэтлок поставил машину, вылез и запер дверцы. Его новоприобретенный чемодан с новоприобретенными вещами лежал на заднем сиденье. В Хартфорде он потратил на это несколько сот долларов: не хотел рисковать.

Он прошел по дорожке, выложенной крупным дешевым гравием, и вошел в бар ресторана.

— Мне нужно в Кармаунт,— сказал Мэтлок, давая бармену двадцатидолларовую бумажку.— Вы не могли бы объяснить мне, как туда проехать?

— Мили две с половиной к западу. Свернете с основной дороги вправо. А у вас что, мельче двадцатки нет? У меня только две пятерки и доллары. А доллары мне нужны.

— Давайте мне пятерки, а на остальное сыграем в орла и решку. Орел — ваш, решка — вы мне даете еще стаканчик, а сдачу оставляете себе.— Мэтлок подбросил монету и прикрыл ладонью, затем приподнял ладонь и взял, не показав бармену.— Вам сегодня не везет. Наливайте, и десятка ваша.

Мэтлок заметил, что трое других посетителей прислушиваются к разговору. «Очень хорошо»,— подумал он, ища глазами телефонную будку.

— Мужской туалет там, в глубине за углом,— сказал похожий на фермера человек в бейсбольной фуражке.

— Спасибо. А телефон?

— Рядом с туалетом.

— Еще раз спасибо.— Мэтлок вытащил листок бумаги, на котором было написано: «Говард Стоктон. Кармаунт — 203-421-1100», и сделал знак бармену. Тот мигом подлетел к нему.— Мне нужно позвонить этому человеку,— тихо сказал Мэтлок.— По-моему, я неверно записал фамилию. То ли Стэктон, то ли Стоктон. Вы его не знаете?

Бармен посмотрел на бумажку, и Мэтлок по его лицу увидел, что фамилия ему знакома.

— Конечно. У вас все правильно написано. Это Стоктон. Мистер Стоктон. Он вице-президент «Ротари». А раньше был президентом. Верно, ребята? — обратился бармен к другим посетителям.

— Точно.

— Правильно. Стоктон.

— Хороший малый.

Человек в бейсбольной фуражке счел необходимым дать более подробную информацию:

— Он заправляет Загородным клубом. Отменное местечко.

— Загородным клубом? — Мэтлок придал вопросу чуть иронический оттенок.

— Ну да. Плавательный бассейн, поле для гольфа, танцы по уик-эндам. Отменное местечко.— Это уже добавил бармен.

— Одно могу сказать: его очень хвалят, этого Стоктона.— Мэтлок осушил стакан и посмотрел в глубь бара.— Телефон там, говорите?

— Совершенно верно, мистер. За углом.

Мэтлок сунул руку в карман, ища мелочь, и направился к узкому коридору, где находились туалеты и телефон. Он завернул за угол, прижался к стене и, понимая, что сейчас заговорят о нем, стал слушать.

— Здорово кидает, а? — произнес бармен.

— Да они все такие. Я вам рассказывал? Мой сынок подносил там клюшки пару недель назад, так один тип, когда выиграл, дал ему пятьдесят долларов. Представляете!

— А моя старуха говорит, все эти шикарные дамочки там — шлюхи. Она там иной раз работает, моя старуха. Говорит, настоящие шлюхи...

— Эх, вот бы мне такая попалась. Спорим, они и лифчиков-то не носят!

— Настоящие шлюхи...

— А не все ли равно? Этот Стоктон — он малый о'кей! Знаешь, что он сделал? Ну, для Кингов-то. Ты же знаешь Арти Кинга — у него случился инфаркт: он там стриг траву на лужайке и замертво свалился. Так вот старик Стоктон не только дал семье кучу денег, он для них открыл постоянный счет в магазине «Эй энд Пи». Он малый о'кей!

— Настоящие шлюхи! Развлекаются с мужиками за деньги...

— Да еще выложил чуть не все денежки наличными на пристройку к школе. Ты верно говоришь, черт возьми, он малый о'кей! У меня двое парней в этой школе!

— А знаешь, сколько он отвалил на пикник в День поминовения?..

— Настоящие шлюхи...

Мэтлок скользнул вдоль стены к телефонной будке и как можно тише закрыл дверцу. Мужчины в баре наперебой выражали свое восхищение Говардом Стоктоном, владельцем Кармаунтского загородного клуба. Теперь Мэтлока уже не заботило, услышат они или не услышат, что он не сразу вошел в будку.

Говард Стоктон: бывший президент, ныне вице-президент клуба «Ротари» в Маунт-Холли; человек щедрый, сердобольный. Человек, который позаботился о семье покойного служащего по имени Арти Кинг; который финансировал пристройку к школе. Владелец роскошного загородного клуба, где подносчикам клюшек дают по пятьдесят долларов на чай и где к услугам членов клуба вполне пристойные девочки. К тому же добрый американец, благодаря которому жители Маунт-Холли в День поминовения могли устроить прекрасный пикник.

Достаточно для начала. Достаточно, чтобы встряхнуть Говарда Стоктона, если дело до этого дойдет. Говард Стоктон больше уже не был чем-то неопределенным, хотя Мэтлок еще не знал, как этот человек выглядит.

Мэтлок опустил десятицентовую монету и набрал номер Загородного клуба.

— Очень рад, мистер Мэтлок! — воскликнул Говард Стоктон, приветствуя Мэтлока на мраморных ступенях Кармаунтского загородного клуба.— Малый отгонит ваш автомобиль. Эй, малый! Смотри не перестарайся!

Негр, присматривавший за автомобилями, рассмеялся. Стоктон подбросил в воздух полдоллара, и негр, осклабясь, поймал монету.

— Спасибо, хозяин.

— Ты к ним по-хорошему, и они к тебе — тоже. Верно, малый? Я хорошо к тебе отношусь?

— Очень хорошо, мистер Говард!

На мгновение Мэтлоку показалось, что он участвует в низкопробной телерекламе, но тут он увидел, что Говард Стоктон ничуть не играет. В этом человеке все до корней светлых седеющих волос над загорелым лицом, на фоне которого еще заметнее была белая щеточка усов и синева глаз, окруженных морщинками,— все говорило что он живет в свое удовольствие.

— Добро пожаловать в Кармаунт, мистер Мэтлок.

— Спасибо. Меня зовут Джим.

— Джим? Мне нравится это имя. В нем есть что-то доброе, честное! Для друзей я — Говард. Прошу вас называть меня Говард.

Кармаунтский загородный клуб — или, по крайней мере, та его часть, которую увидел Мэтлок,— напоминал здания, существовавшие до Гражданской войны. Пальмы в кадках, изящные люстры, голубые обои со сценами в стиле рококо. Говард Стоктон — хоть он и не признался бы в этом — был приверженцем того образа жизни, который рухнул в 1865 году. Даже слуги у него, в основном черные, были в самых настоящих дивреях. Из большого ресторана слышалась тихая музыка — там играл струнный оркестр человек из восьми, играл мелодично, как уже не играют. В центре большого холла широким изгибом уходила вверх широкая лестница. Вокруг было много привлекательных женщин под руку с не очень привлекательными мужчинами.

«Невероятно»,— подумал Мэтлок, шагая рядом с хозяином в его так называемую «личную библиотеку».

Южанин закрыл толстую деревянную дверь и направился к бару красного дерева, где стояла целая батарея бутылок. Он наполнил стаканы, не спрашивая гостя.

— Сэм Шарп говорил, что вы пьете кислый бурбон. Разрешите сказать вам, что вы человек со вкусом.— Он взял два стакана и подошел к Мэтлоку.— Выбирайте. В наши дни виргинец должен обезоруживать северянина полным отсутствием предубежденности.

— Благодарю вас,— сказал Мэтлок, взяв стакан и садясь в кресло, которое указал ему Стоктон.

— Этот виргинец,— продолжал Говард Стоктон, усевшись напротив Мэтлока,— имеет также совсем не южную привычку переходить сразу к делу... Я буду с вами совершенно откровенен. Я вовсе не уверен, что вы правильно поступили, приехав к нам. Вот почему я провел вас прямо сюда.

— Не понимаю. Вы же могли сказать мне по телефону, чтобы я не приезжал. К чему такая игра?

— Возможно, на этот вопрос вы ответите лучше, чем я. Сэмми говорит, что вы очень важная персона. Так сказать... международного масштаба. Я — только «за». Люблю, когда толковый молодой человек поднимается по лестнице успеха. Это можно только приветствовать... Но я оплачиваю свои счета. Плачу каждый месяц. И у меня лучший комплекс к северу от Атланты. Мне неприятности ни к чему.

— Из-за меня у вас их не будет. Я усталый бизнесмен, который решил поразвлечься,— вот и все.

— А что случилось у Шарпа? Сейчас газеты только об этом и пишут! Мне такого не нужно.

Мэтлок наблюдал за южанином. Капилляры заметно обозначились на его лице — потому он, вероятно, и предпочитал круглый год ходить загорелым.

— Я думаю, вы меня не поняли.— Мэтлок поднес стакан к губам, взвешивая свои слова.— Я приехал издалека, потому что должен быть здесь. Я вовсе не хочу быть здесь. По чисто личным соображениям я оказался в этом районе раньше времени и потому занимаюсь осмотром достопримечательностей. Другой причины нет. Я просто осматриваю эти места... В ожидании встречи.

— Какой встречи?

— Встречи, назначенной в Карлайле, штат Коннектикут.

Стоктон прищурился и подергал свои идеально подстриженные усы.

— Вы должны быть в Карлайле.

— Да. Не для разглашения, но вам я об этом могу и не говорить.

— А вы мне ничего и не сказали.— Стоктон продолжал внимательно смотреть на Мэтлока, и Мэтлок понимал, что южанин сомневается — ищет фальшивую ноту, неточное слово, нерешительный взгляд...

— Вот и хорошо... Кстати, может быть, вам тоже предстоит встреча в Карлайле? Недели через полторы?

Стоктон потягивал бурбон, причмокивая губами; затем он осторожно, словно антикварную ценность, поставил стакан на стол.

— Я всего лишь бедный южанин, пытающийся заработать лишний доллар. Живу в свое удовольствие и зарабатываю. Ни о каких встречах в Карлайле я не знаю.

— Извините... Я допустил... большую ошибку. Надеюсь — в наших общих интересах,— что вы нигде не будете об этом говорить. Как и обо мне.

— Можете не беспокоиться...— Стоктон вдруг согнулся пополам и, скрестив на

груди руки, уперся локтями в колени.— Все-таки что, черт подери, произошло в Виндзор-Шоулз? Можете вы мне объяснить?

— Насколько я понимаю, это местная вендетта. У Бартолоцци были враги. Говорили к тому же, что он слишком много болтал. Айелло, наверное, тоже. Любили побахвалиться. А Фрэнк, я думаю, случайно попал.

— Чертовы итальяшки! Все портят! Ну и уровень... вы меня понимаете?

Опять эта фраза. Обычный риторический вопрос — только у южанина это звучало не вопросом. Это было утверждение.

— Понимаю,— устало сказал Мэтлок.

— К сожалению, Джим, у меня для вас не очень хорошие вести. Я на несколько дней ликвидировал столы. Просто струсил, как заяц, после того, что случилось в Шоулз.

— Ну, для меня это не такие уж плохие вести. Особенно если учесть, как мне не везет.

— Я уже слышал. Сэмми мне сказал. Но у нас есть другие развлечения. Во всяком случае, скучать в Кармаунте вам не придется, это я вам обещаю.

Они осушили свои стаканы, и Стоктон, успокоившись, проводил своего гостя в заполненный посетителями элегантный ресторан и усадил за стол, сервированный в стиле самых богатых плантаций Юга до Гражданской войны.

Обед был превосходный, однако ничего существенного он не дал. Говард Стоктон не рассказывал о своем «деле» — разве что в самых туманных выражениях, хотя то и дело повторял, что обслуживает «янки самого высокого класса». В середине обеда Стоктон извинился и вышел из-за стола, сказав, что ему надо попрощаться с каким-то очень важным членом клуба.

Это дало Мэтлоку первую возможность взглянуть на клиентуру Стоктона — «янки самого высокого класса».

Что ж, термин вполне подходящий, подумал Мэтлок, если слово «класс» заменить словом «деньги» (с его точки зрения, это было не одно и то же). Деньги здесь бросались в глаза. О них говорило прежде всего количество загорелых людей, а ведь дело происходило в начале мая в штате Коннектикут. Эти люди при желании садились в реактивный самолет и летели на залитые солнцем острова. Затем — непринужденный грудной смех и сверкание драгоценных камней. Одежда тоже говорила о многом: элегантные костюмы из мягкой ткани, пиджаки из шелка-сырца, галстуки от Диора. Картину дополняли бутылки с искрящимся коллекционным вином в серебряных ведерках.

Но что-то здесь не так, подумал Мэтлок. Чего-то недостает или что-то тут странное; в течение нескольких минут он никак не мог определить, в чем дело. Затем понял.

Загорелые лица, смех, дорогие браслеты, пиджаки, галстуки от Диора — весь этот шик, вся элегантность, самый дух был мужской.

Выпадали из этой атмосферы женщины, вернее, девушки. Не то чтобы все они не соответствовали своим партнерам, но в основном — не соответствовали. Они были моложе. Гораздо, гораздо моложе. И совсем другие.

Сначала он не мог понять — какие же? А затем до него дошло. В девушках было что-то очень знакомое. Да это же студентки! Не служащие, не секретарши, а именно студентки! Слегка небрежная манера разговора. Девушки, не привыкшие к повседневной рутине, не сидящие за картотеками или пишущими машинками. Мэтлок знал их более десяти лет и ошибиться не мог.

Затем он обратил внимание на их одежду. Студентки так не одеваются. Платья слишком хорошо скроены, слишком подчеркивают фигуру. Для времени, когда девушки и юноши одеваются одинаково, эта одежда просто слишком женственна.

— Ух, ну и кайф!

Кто это сказал? Какой знакомый голос!

Он прикрыл лицо рукой и медленно повернулся в направлении голоса. Девушка смеялась и пила шампанское, а ее немолодой спутник с удовольствием разглядывал ее пышную грудь.

Это была Вирджиния Бисон. Вечная студентка, любительница «розового кайфа», жена Арчи Бисона, преподавателя истории Карлайлского университета.

Человека, спешившего сделать академическую карьеру.

Мэтлок дал на чай негру, который отнес его чемодан по широкой, с изгибом, лестнице в большую, роскошно убранную комнату. На полу лежал толстый винного цвета

ковер, кровать была с балдахином, белые стены украшала фигурная лепка. На секретере стояло ведерко со льдом, две бутылки виски «Джек Дэниелс» и несколько стаканов. Он открыл чемодан, вытащил свои туалетные принадлежности и разложил их на столике у кровати. Затем вынул из чемодана костюм, легкий пиджак и две пары летних брюк и повесил в гардероб. Вернулся к чемодану, снял его с постели и положил на деревянные ручки кресла.

В дверь тихо постучали. Он подумал, что это Говард Стоктон, но ошибся.

На пороге стояла девушка в весьма соблазнительном темно-красном облегающем платье. Лет двадцати с небольшим, очень хорошенькая. Она улыбалась, но улыбка была деланная.

— Да?

— Привет от мистера Стоктона! — С этими словами она прошла в комнату мимо Мэтлока.

Мэтлок закрыл дверь и уставился на девушку не столько с удивлением, сколько с любопытством.

— Мистер Стоктон очень внимателен.

— Я рада, что вы довольны. Тут на секретере есть виски, лед и стаканы. Я бы хотела сначала немножко выпить, если вы, конечно, никуда не спешите.

Мэтлок медленно подошел к секретеру.

— Я не спешу. Что вам налить?

— Все равно. Что есть.

— Понимаю.— Мэтлок налил девушке виски и подал стакан.— Присаживайтесь, пожалуйста.

— На кровать?

Единственное кресло в комнате, помимо того, на котором стоял чемодан, находилось в другом конце, у большого окна.

— Извините.— Он снял чемодан, и девушка села. У Говарда Стоктона хороший вкус, подумал он.— Как вас зовут?

— Джинни.— Она несколькими большими глотками почти осушила стакан. Возможно, девушка и не разбиралась в напитках, но пить она умела. Когда она опустила стакан, Мэтлок заметил у нее на среднем пальце правой руки кольцо.

Он знал эти кольца. Их продавали в Уэбстере в университетской книжной лавке недалеко от дома Джона Холдена. Это было кольцо Мадисонского университета.

— А если бы я сказал, что вы меня не интересуете? — спросил Мэтлок.

— Я бы удивилась. На гомика вы не похожи.

— Я не гомик.

Девушка подняла на Мэтлока взгляд теплых — но профессионально теплых — голубых глаз, на что-то намекавших и не намекавших. Губы у нее были молодые, сочные и напряженно сжатые.

— Может быть, вас просто нужно чуточку разогреть.

— А вы и это умеете?

— Я все умею! — произнесла она со спокойным высокомерием.

Такая молодая, подумал Мэтлок, а уже пожила. И научилась ненавидеть. Ненависть была замаскирована, но не слишком удачно. Она играла роль — об этом свидетельствовали ее одежда, глаза, губы. Возможно, ей претила эта роль, но она ее играла.

Профессионально.

— Ну, а если я просто хочу побеседовать?

— Разговоры — это совсем другое. Тут никаких правил нет. Тут у меня с вами равные права. Quid pro quo [1], мистер Инкогнито.

— Это кое о чем говорит.

— Не понимаю.

— У проституток другой язык.

— А это, если вы сами еще не заметили, не Avenida de las Putas [2].

— Теннесси Уильямс?

— Кто его знает.

— Думаю, что вы знаете.

---

[1] Удовлетворение по договору; то, что одна сторона по договору предоставляет другой стороне *(лат.)*.

[2] Проспект шлюх *(исп.)*.

— Ладно. Можем поговорить о Прусте в постели. Ведь вы именно там хотели бы провести со мной время?

— Я предпочел бы просто поговорить.

— Вы что, легавый? — испуганно прошептала девушка.

— Ничего общего,— рассмеялся Мэтлок.— Более того, местные полицейские шишки дорого бы дали, чтоб меня найти. Хоть я не преступник... И не сумасшедший.

— Ну, это мне все равно. Можно еще выпить?

— Конечно.— Мэтлок снова налил. Они молчали, пока он не подал ей стакан.

— Ничего, если я побуду у вас? Ровно столько, сколько вам потребовалось бы...

— Не желаете терять свой гонорар?

— Пятьдесят долларов.

— Вам, очевидно, придется отдать часть этих денег старосте общежития. Мадисонский университет немножко старомоден. В некоторых общежитиях до сих пор в будние дни проверки. А вы опоздаете.

— Так вы все-таки легавый! — ужаснулась девушка.— Проклятый легавый! — Она привстала, но Мэтлок взял ее за плечи и усадил обратно.

— Я не полицейский, я же сказал. Но вы мне расскажете все.

Девушка снова хотела встать, но Мэтлок схватил ее за плечи. Она попыталась вырваться — он с силой толкнул ее обратно в кресло.

— Ты всегда ходишь с этим кольцом? Чтобы показать, что ты не с панели?

— Господи! Боже мой, боже мой! — Она схватилась за палец с кольцом и начала его выкручивать, словно от этого кольцо могло исчезнуть.

— Теперь слушай меня и отвечай на мои вопросы! Иначе я завтра утром буду в Уэбстере и начну задавать вопросы там! Тебе это больше понравится?

— Пожалуйста! Пожалуйста! — В глазах девушки заблестели слезы. Руки ее тряслись, она тяжело дышала.

— Как ты попала сюда?

— Нет! Не могу...

— Как?

— Меня завербовали...

— Кто?

— Другая... другие девушки. Мы друг друга вербуем.

— Сколько вас здесь?

— Немного. Не очень много... Здесь тихо. Мы должны вести себя тихо. Отпустите меня, пожалуйста. Я хочу уйти.

— Нет, подожди! Я хочу знать, сколько вас и почему вы здесь.

— Я же сказала вам! Немного — может быть, семь или восемь девушек.

— Но там, внизу, человек тридцать!

— Я их не знаю. Они из других мест. Мы ведь не спрашиваем, кого как зовут.

— Но ты знаешь, откуда они?

— Некоторые... да...

— Из других университетов?

— Да...

— Но зачем, Джинни? Зачем?

— Зачем?! Да ради денег.

На девушке было платье с длинными рукавами. Он схватил ее за правое плечо и дернул вниз, оторвав рукав ниже локтя. Она пыталась сопротивляться, но он одолел ее.

Никаких следов. Никаких отметин.

Девушка начала лягаться, и он ударил ее по лицу. Она застыла. Мэтлок схватил ее за левое плечо и оторвал рукав.

Вот они. Поблекшие. Не вчерашние. Но несомненные.

Крошечные красные точечки — следы иглы.

— Я сейчас не колюсь. Уже много месяцев не колюсь.

— Но тебе нужны деньги! Тебе нужны эти пятьдесят или сто долларов, которые ты получаешь каждый раз, как приходишь сюда... Для чего на этот раз? Чтоб купить желтеньких? Красненьких? ЛСД? Метедрина? Для чего сейчас? Травка ведь так дорого не стоит!

Девушка зарыдала. Слезы текли по ее щекам. Она закрыла лицо руками и, всхлипывая, простонала:

— Столько горя! Столько... горя! Пожалуйста, отпустите меня!

Мэтлок опустился на колени и прижал голову девушки к своей груди.

— В чем же горе? Расскажи мне, пожалуйста. В чем?

— Они заставляют нас... Столько людей нуждается в помощи. А они не станут никому помогать, если ты отказываешься... Я не знаю, как вас зовут, но отпустите меня. И никому ничего не говорите. Отпустите меня!.. Пожалуйста!

— Отпущу, но сначала ты должна кое-что мне объяснить. Тогда ты сможешь уйти, и я никому ничего не скажу... Ты здесь потому, что тебе угрожали? Угрожали и другим девочкам?

Девушка молча кивнула.

— Чем тебе угрожали? Что донесут на тебя?.. Сообщат, что ты наркоманка? Это же чепуха. По крайней мере, нынче...

— О, как же вы отстали! — сквозь слезы произнесла девушка.— Они могут уничтожить тебя. Испортить тебе всю жизнь. И твоей семье, и соученикам... Могут даже упрятать в тюрьму. Обвинят в наркомании, в продаже наркотиков... Ты, скажем, знаешь парня, который попал в беду, а они могут его вызволить... Или какая-нибудь девушка на третьем месяце, ей нужен врач — они могут все устроить. Без шума.

— Но тебе-то они зачем? Ты что, вчера родилась? Не знаешь, куда в таких случаях обращаться?

— О господи! Это не я, а вы вчера родились! Суды, которые занимаются делами о наркомании, врачи, судьи! Они их всех держат в руках!.. И вы тут ничего не можете сделать! И я ничего не могу сделать. Так что оставьте меня в покое, оставьте нас в покое! Слишком много людей пострадает!

— А ты будешь по-прежнему делать то, что тебе велят!

Девушка снова подняла на него взгляд, полный страха и презрения.

— Я так и думала,— сказала она странно спокойным голосом.— Я не рассчитывала, что вы поймете. Вы же понятия об этом не имеете... Мы не такие, как вы. Никого, кроме друзей, у меня нет. И у них тоже. Мы помогаем друг другу... Я вовсе не хочу быть героиней. У меня на ветровом стекле нет флажка с переводной картинки, и мне не нравится Джон Уэйн [1]. По-моему, он дерьмо. Вы все дерьмо. Все!

Мэтлок отпустил руку девушки.

— Как ты думаешь, долго ты так продержишься?

— О, я везучая. Через месяц я получу эту бумажку, за которую заплатили мои родители, и выйду из игры. Они потом обещают поддерживать контакт, но больше почти никогда не возникают... Просто ты должен каждую минуту помнить, что это возможно...

Мэтлок отвернулся.

— Мне очень жаль тебя. Очень, очень жаль.

— Не стоит жалеть. Я везучая. Через две недели после того, как я получу это гравированное дерьмо, которое так необходимо моим родителям, я уже буду в самолете. Я уезжаю из этой проклятой страны. И никогда не вернусь!

## 25

Заснуть он даже не пытался — знал, что не удастся. Он дал девушке денег и отослал ее; ничего другого — ни надежды, ни мужества — он дать ей не мог. То, к чему он призывал ее, было отвергнуто, ибо влекло за собой опасность и страдания для множества юных существ. Ни убеждениями, ни угрозами не заставишь их сбросить свое бремя. В конечном счете это их собственная битва. И они не хотят никакой помощи.

Сколько еще таких Джинни? Насколько широко Нимрод организовал вербовку?

Он должен все это выяснить.

Девушка подтвердила, что, кроме Кармаунта, есть и другие подобные заведения, но она не знает где. Одних ее подружек посылали в Нью-Хейвен, других — в Бостон, третьих — на север, в пригороды Гановера.

Йельский, Гарвардский, Дартмутский университеты.

И самое ужасное, что Нимрод угрожает будущему тысяч людей. Как это она сказала?

«Они потом обещают поддерживать контакт, но больше почти никогда не возникают... Просто ты помнишь, что это возможно».

Мэтлок решил съездить в Нью-Хейвен. Может быть, там он найдет ответы. В Йельском университете у него было полно знакомых. Придется, конечно, сделать

[1] Известный американский киноактер.

крюк и отклониться от намеченного курса, но такова уж эта нимродовская одиссея.

Вдруг Мэтлок замер. Несколько секунд он не мог понять, откуда исходят эти странные высокие звуки. Он не сразу вспомнил о телектронике, лежавшем в кармане пиджака. Но где же пиджак? Возле кровати его не было.

Мэтлок включил лампу на ночном столике и оглядел комнату; от непрерывных коротких сигналов у него бешено колотилось сердце, на лбу выступил пот. Наконец он увидел пиджак на кресле в дальнем конце комнаты. Он взглянул на часы: тридцать пять пятого. Бросившись к пиджаку, он вытащил ужасный прибор, выключил его и снял телефонную трубку.

Гудок был обычный — как везде вдали от больших городов. Глуховатый, но непрерывный. Если телефон прослушивается, он все равно не сможет об этом узнать. Он набрал 555-68-68.

— Абонент три-ноль докладывает,— раздался голос, записанный на пленку,— просим извинения за беспокойство. У подопечной по-прежнему все в порядке. Однако ваш друг из Уилинга, штат Западная Виргиния, очень настойчив. Он звонил в четыре пятнадцать и сказал, чтобы вы немедленно ему позвонили. Мы обеспокоены. Все.

Мэтлок повесил трубку и стал искать сигареты, стараясь ни о чем не думать. Ему нужно было успокоиться.

Он закурил, глубоко затянулся и понял, что выбора у него нет. Придется выйти из Кармаунтского загородного клуба и найти телефон-автомат. Гринберг не стал бы просто так звонить в четыре утра. А отсюда звонить Гринбергу не стоит.

Он побросал свои вещи в чемодан и быстро оделся.

Если внизу будет ночной портье или в будке на стоянке будет дремать сторож, он сможет взять свой, вернее, креймеровский автомобиль. Если же нет, придется разбудить кого-нибудь — пусть даже самого Стоктона. Стоктон все еще боится неприятностей — подобных тем, что произошли в Виндзор-Шоулз,— и не станет его задерживать.

Мэтлок тихо приоткрыл дверь и прошел по замершему коридору к громадной лестнице. На стенах горели канделябры; свет их был притушен реостатами, чтобы создать впечатление зажженных свечей. Даже ночью Говард Стоктон не забывал, откуда он родом. Его клуб был сейчас удивительно похож на громадный спящий плантаторский дом.

Мэтлок направился к выходу, но понял, что тут ему придется остановиться. По крайней мере на время.

Навстречу ему из-за стеклянной двери вышел Говард Стоктон в развевающемся бархатном халате, а вместе с ним — огромный, похожий на итальянца человек с черными, как уголь, глазами. Сразу было видно, что это потомственный профессиональный убийца.

— Мистер Мэтлок! Вы что же, нас покидаете?

Мэтлок решил перейти в наступление:

— Поскольку вы подслушивали мои разговоры, я полагаю, вам известно, что у меня возникли неотложные дела. Дела, которые касаются меня, а не вас! И если хотите знать, мне не нравится ваша наглость!

Это сработало. Стоктона поразила враждебность Мэтлока.

— Не нужно сердиться... Я бизнесмен, как и вы. И если мы что-то сделали не так, то лишь в ваших же интересах.

— Ладно, попытаюсь принять ваше дурацкое объяснение. Ключи в машине?

— Нет, они у моего друга Марио. Вот это настоящий родовитый итальянец, разрешите вас заверить.

— Я вижу у него на кармане семейный герб. Так как насчет ключей?

Марио посмотрел на Стоктона, явно сбитый с толку.

— Одну минутку,— сказал Стоктон.— Подождите, Марио. Не будем спешить... Я человек разумный. Очень разумный, рациональный человек. Я ведь всего лишь бедный...

— Южанин, пытающийся заработать лишний доллар!— прервал его Мэтлок.— Так и договоримся! А теперь отдайте мне ключи и убирайтесь!

— Боже мой, что вы за люди! Поставьте себя на мое место!.. Какой-то странный код — «Абонент три-ноль», срочный звонок из Уилинга, штат Западная Виргиния! И вместо того, чтобы позвонить отсюда, вы хватаете чемодан и куда-то бежите! А ну, Джим, как бы вы поступили в такой ситуации!

— Я бы попытался понять, с кем я имею дело,— произнес Мэтлок рассчитанно ледяным тоном.— Мы навели справки относительно вас, Говард, и мои шефы обеспокоены.

— Что-вы-хотите-сказать? — Стоктон произнес это так быстро, что все слова слились в одно.

— Они считают... мы считаем, что вы слишком привлекаете к себе внимание. Президент и вице-президент клуба «Ротари»! Человек, в одиночку создающий фонд для строительства школ; покровитель вдов и сирот — вплоть до открытых счетов в магазинах; пикники в День поминовения! Наем местных жителей для распространения слухов о полуголых девочках! Вы думаете, местные жители молчат? Бог с вами, Говард!

— Да кто вы, в конце концов?

— Просто усталый бизнесмен, которому неприятно видеть, как другой бизнесмен делает глупости. Кем вы хотите себя выставить? Санта-Клаусом? А вы знаете, как бросается в глаза такой наряд?

— Черт бы вас подрал, это вы меня так обрядили! Не знаю, с кем говорили ваши люди, но я вам заявляю: Маунт-Холли за меня в огонь и в воду пойдет. А то, что вы тут раскопали,— это все благодеяния! Настоящие благодеяния... Извратить все можно так, что потом и не отмоешься. Нехорошо это!

Стоктон вытащил носовой платок и вытер раскрасневшееся, вспотевшее лицо. Мэтлок быстро соображал. Может быть, надо воспользоваться моментом? Он должен послать собственное приглашение. Должен начать последний этап своей многодневной гонки, своего путешествия к Нимроду.

— Успокойтесь, Стоктон. Расслабьтесь. Может быть, вы и правы. Мне сейчас некогда об этом думать. Мы все попали в трудное положение. Все. Этот телефонный звонок...— Мэтлок сделал паузу, посмотрел в упор на встревоженного Стоктона и опустил чемодан на мраморный пол.— Говард,— сказал он медленно, тщательно выбирая слова,— я хочу доверить вам нечто исключительно важное и очень надеюсь, что вы оправдаете мое доверие. Если вы сделаете то, что я вам скажу, никогда и никто не будет вас больше беспокоить.

— Что я должен сделать?

— Велите ему пройтись. Пусть погуляет по холлу.

— Ты слышал, что тебе сказали! Пойди покури сигару.

Марио, обозлившись, медленно, нехотя направился в сторону лестницы.

— Чего вы от меня хотите? — спросил Стоктон.— Я же сказал вам, что мне не нужны неприятности.

— У нас у всех будут неприятности, если я не сумею связаться с несколькими делегатами. Именно об этом мне сообщили из Уилинга.

— С какими делегатами?

— Я имею в виду совещание в Карлайле. Встречу наших людей с организацией Нимрода.

— Меня это не касается! — буквально выплюнул Стоктон.— Я ничего об этом не знаю!

— Наверняка не знаете; вы и не должны были знать. Но теперь это касается нас всех... Правила приходится иногда нарушать, и сейчас как раз тот случай. Нимрод зашел слишком далеко — вот все, что я могу вам сказать.

— Это вы мне говорите? Да я каждый день имею с ними дело, а когда я жалуюсь, наши говорят: «Что поделаешь, старина Гови, все мы занимаемся бизнесом!» Как вам нравится? Почему я должен заниматься бизнесом с ними?

— Может быть, это уже ненадолго. Вот почему мне необходимо связаться с кем-то из делегатов.

— Меня на эти совещания не приглашают. Я никого не знаю.

— Конечно, не знаете. Опять-таки и не должны никого знать. Это встреча на высоком уровне — на очень высоком уровне и совершенно секретная. Но приказ есть приказ. Мы должны связаться с одним или двумя.

— Я не могу вам помочь.

— А я думаю, что можете.— Мэтлок жестко посмотрел на южанина.— Послушайте меня. Утром садитесь на телефон... только не поднимайте паники, это ни к чему. Просто скажите, что вы встретились с человеком, у которого есть корсиканская серебряная бумага. И ему нужно без шума встретиться с тем, у кого есть такая же бумага. Поняли?

— Я все понял, но мне это не нравится! Ко мне это не имеет отношения!

— Вы что, предпочитаете закрыться? Предпочитаете потерять свой роскошный антикварный клуб и лет десять или двадцать глядеть на мир через тюремную решетку? Говорят, похороны в тюрьме — очень трогательная штука.

— Хорошо!.. Хорошо. Я позвоню своему почтальону[1] и скажу, что сам я ничего не знаю. Просто передаю поручение.

— Вот и отлично. Если вы кого-то разыщете, скажите, что я буду сегодня вечером или завтра утром на Парусно-лыжном курорте. И пусть принесет с собой бумагу. Без бумаги я ни с кем говорить не стану!

— Без бумаги...

— А теперь верните мне ключи.

Стоктон позвал Марио, и Мэтлок получил свои ключи.

Выехав из Маунт-Холли по дороге № 72, он резко свернул и поехал на юг. Он помнил, что по пути из Хартфорда проезжал мимо нескольких телефонов-автоматов, но где они находятся? Забавно, что он стал теперь обращать внимание на телефонные будки — свою единственную связь с чем-то прочным, надежным. Все остальное было преходящим, случайным, незнакомым, пугающим. Он позвонит Гринбергу, как просил Абонент три-ноль, но прежде свяжется с одним из людей Блэкстоуна.

Встреча должна быть организована немедленно. Следовательно, ему необходима сейчас корсиканская бумага. Он произнес это слово, и надо быть готовым выполнить свою часть обязательства, иначе он ничего не узнает. Если Стоктон все передаст и кто-то действительно установит с ним контакт, то, не окажись при Мэтлоке бумаги, этот кто-то убьет или будет убит, но не нарушит клятву «Омерты».

А может, он это все зря затеял? Может, он и в самом деле всего лишь дилетант, как говорили Крессел и Гринберг? Он не знал. Он старался как можно лучше все продумать, взвесить каждое свое действие, оценить его со всех сторон, используя в качестве инструмента свой натренированный ум ученого. Но достаточно ли этого? Или, может быть, чувство долга, страстное желание отомстить и отвращение превратили его всего лишь в донкихота?

Если так, он это как-нибудь переживет. У него на то есть веские причины: брат по имени Дэвид; девушка по имени Пэт; добрый старик по имени Лукас; славный малый по имени Лоринг; запутавшаяся и запуганная студентка Мадисонского университета по имени Джинни.

Мэтлок нашел телефон-автомат на пустынном участке дороги № 72 и набрал 555-68-68. Он назвал номер телефона-автомата и стал ждать ответа Абонента три-ноль.

Мимо прогремела молочная цистерна. Водитель что-то распевал. Увидев Мэтлока, он помахал ему рукой. Через несколько минут пронесся громадный мебельный фургон, потом грузовик с продуктами. Время приближалось к половине шестого, начинался новый день. На небе серели дождевые облака.

Зазвонил телефон.

— Алло!

— В чем дело, сэр? Вы позвонили вашему другу в Западную Виргинию? Он сказал, что на этот раз дело нешуточное.

— Я позвоню ему через несколько минут. Вас зовут Клифф? — Мэтлок знал, что это не он. Голос был другой.

— Нет, сэр, меня зовут Джим. Как и вас.

— Хорошо, Джим. Скажите мне, ваш товарищ сделал то, о чем я его просил? Он достал бумагу?

— Да, сэр. Вы имеете в виду серебряную бумагу, на которой что-то написано по-итальянски? По-моему, это итальянский язык.

— Это та самая...

Мэтлок договорился встретиться с Клиффом через два часа в Хартфорде возле ресторана на Скофилд авеню. Условились, что передача произойдет быстро, на автомобильной стоянке,— на этом настаивал Абонент три-ноль. Мэтлок описал свою машину и повесил трубку.

Затем он позвонил Джейсону Гринбергу в Уилинг. Гринберг был взбешен.

---

[1] Посыльный в преступном мире.

— Вы полный идиот! Мало того, что не держите слово, еще наняли и собственную армию! Неужели вы думаете, что эти клоуны могут сделать больше, чем правительство Соединенных Штатов?

— Эти клоуны стоят мне триста долларов в день, Джейсон. Поэтому они должны работать лучше.

— Вы отбились от рук! Зачем? Вы же сказали, что будете работать с нашим человеком!

— Ваш человек предъявил мне ультиматум, с которым я не мог согласиться. А если это была ваша идея, я скажу вам то же, что сказал Хьюстону.

— Ничего не понимаю! Какой ультиматум?

— Вы сами прекрасно знаете какой! Не надо играть в эти игры. И слушайте меня...— Мэтлок сделал паузу, чтобы ложь звучала убедительнее.— В Хартфорде у одного адвоката лежит подписанное мною письмо. Примерно того же плана, что и письмо, которое находится у вас. Только там все сказано напрямик. Подробно описана моя вербовка и как вы, сукины дети, втянули меня в это дело, а потом бросили. Как заставили подписать заведомую ложь... Попробуйте что-нибудь сделать, и адвокат немедленно обнародует это письмо, а в министерстве юстиции кое-кому станет неловко... Это вы подали мне такую мысль, Джейсон... Очень хорошую мысль. После этого воинствующие молодчики как минимум решат разнести к чертовой матери весь Карлайлский университет. А если повезет, то и начать мятеж по всей стране. Сонное академическое царство, как сказал Силфонт, вполне готово выйти из спячки. Только на этот раз не по поводу войны, или призыва в армию, или наркотиков. Ярлык будет поинтереснее: проникновение правительственных спецслужб, полицейское государство... гестаповские методы. Вы к такому готовы?

— Вам это не поможет. Не настолько вы важная фигура... И о чем вообще вы говорите? Я же сам его инструктировал! Никаких условий, кроме того, что вы должны его информировать о своих действиях.

— Черта с два! Мне было сказано, чтобы я не покидал университета и ни о чем не говорил с преподавателями и сотрудниками. Меня ограничили проведением расследования среди студентов с тем, однако, чтобы я все согласовывал заранее! А не считая этих мелких ограничений, я свободен в своих действиях как птица! Бросьте вы! Вы же видели Пэт. Видели, что они с ней сделали. И вы знаете, что они сделали еще,— это называется изнасилованием, Гринберг! Вы думали, я скажу Хьюстону спасибо за чуткость и понимание?

— Поверьте мне,— тихо и зло сказал Гринберг,— эти условия были добавлены уже после инструктажа. Но добавлены ради вашей же безопасности. Неужели вы не понимаете?

— В нашем уговоре об этом не было речи!

— Нет, не было. И им следовало поставить меня в известность...

— А кроме того, интересно, о чьей безопасности они пекутся? О моей или о своей собственной?

— Справедливый вопрос. Они не имеют права возлагать на человека ответственность и лишать его свободы действий. Это нелогично.

— Это безнравственно. Моя маленькая одиссея все ближе и ближе подводит меня к великому вопросу о нравственности.

— Я рад за вас, но боюсь, что ваша одиссея кончается.

— Только посмейте!

— Они это сделают. И письма в адвокатских конторах не помогут. Я сказал им, что сначала сам попытаюсь вас уговорить... Если в течение сорока восьми часов вы не сдадитесь, они выдадут ордер на ваш арест.

— На каком основании?!

— Вы социально опасный элемент. Человек с неустойчивой психикой. Душевнобольной. Они обратятся к вашим армейским характеристикам — два военно-полевых суда, проявление неуравновешенности в боевых условиях. Вы балуетесь наркотиками. И пьете — у них есть свидетели. Вдобавок вы расист: имеются письменные показания Крессела о том, что произошло в Лумумба-Холле. А теперь, насколько я понимаю, хотя у меня и нет фактов, вы связались с известными преступниками Есть фотографии, сделанные в каком-то местечке в Эйвоне... Лучше сами сдайтесь полиции. Джим. Они сломают вам жизнь.

Сорок восемь часов! Почему через сорок восемь часов? Почему не через двадцать четыре, или через двенадцать, или немедленно? И вдруг он понял и, не выходя из будки, расхохотался. Он стоял один в половине шестого утра в телефонной будке на пустынном участке шоссе возле Маунт-Холли, штат Коннектикут, и громко хохотал.

Это практичные люди, и они дают ему время чего-то добиться. А если он не сможет и что-то случится, то они ни при чем. У них записано: наркоман, неустойчивая психика, расистские настроения, связи с известными преступниками. Они его предупреждали. А поскольку с такими сумасшедшими необходима особая осторожность, они соответствующим образом рассчитали время, дабы свести возможную опасность к минимуму. О боже, ну и мошенники!

В шесть сорок пять он доехал до ресторана на Скофилд авеню и плотно позавтракал, считая, что пища заменит ему сон и придаст энергии. Он то и дело смотрел на часы, чтобы не опоздать к семи тридцати на автомобильную стоянку.

Интересно, каков он, этот Абонент три-ноль.

Это оказался огромный детина с худым умным лицом и широкой улыбкой.

— Не вылезайте из машины, мистер Мэтлок.— Клифф пригнулся и пожал Мэтлоку руку.— Вот бумага, в конверте. Кстати, могу вас обрадовать: вчера вечером нам удалось рассмешить мисс Бэллентайн. Ей гораздо лучше. Энцефалограмма спокойная, метаболизм возвращается в норму, зрачки сужаются.

— По-моему, все идет на лад.

— Да. Мы подружились с ее врачом. Он на уровне.

— А как больница относится к вашей охране?

— Мистер Блэкстоун эти вопросы решает заранее. У нас палаты справа и слева от той, где лежит наша подопечная.

— За что мне, конечно, пришлют отдельный счет.

— Вы же знаете мистера Блэкстоуна.

— Постепенно узнаю. Он все делает по первому классу.

— И клиенты у него тоже первый класс. Ну, рад был познакомиться.— И, быстро отойдя от машины Мэтлока, он сел за руль старого, ничем не примечательного автомобиля.

Мэтлоку пора было ехать в Нью-Хейвен.

Никакого определенного плана у него не было, никаких встреч он не намечал. Информация, которой он располагал, была, мягко говоря, скудной. Впрочем, кому-то, наверное, и такой достаточно — если этот «кто-то» хорошо знает, что творится в университете и в студенческом городке.

Однако Йельский университет в пять раз больше Карлайлского; здания его разбросаны по значительной части Нью-Хейвена, а не стоят отдельно, как в Карлайле. Есть, правда, Бюро по делам студентов, но Мэтлок никого там не знал. А прийти туда с улицы и объявить, что студентки занимаются — или их вынуждают заниматься — организованной проституцией, которая, насколько он мог установить, охватывает штаты Коннектикут, Массачусетс и Нью-Гэмпшир,— значит, если его сообщение будет принято всерьез, всех перепугать. Если же оно не будет принято всерьез — что более вероятно,— тогда он ничего не узнает.

Была еще одна возможность — обратиться в приемную комиссию. Конечно, это не то, что Бюро по делам студентов, но там тоже в курсе университетских дел. В приемной комиссии Йельского университета у него был знакомый по имени Питер Дэниелс. Они с Дэниелсом читали когда-то лекции для поступающих. Дэниелсу можно выложить все как есть: он не усомнится ни в одном слове и при этом не запаникует. Тем не менее лучше ограничиться рассказом о девушке.

Он остановился на углу улиц Чэпел и Йорк, вылез из машины, запер ее и направился к старому кирпичному зданию с американским флагом, развевавшимся рядом с флажком Йельского университета.

— Это же абсурд! В век Водолея за секс не платят, им свободно обмениваются.

— Я знаю лишь то, что видел, и то, что рассказала мне девушка, а она не врала.

— Повторяю: вы не можете быть до конца уверены.

— Это связано с очень многим другим, что я тоже видел.

— Но вот какой напрашивается вопрос: почему вы не обратились в полицию?

— Ответ тоже напрашивается. В университетах уже достаточно было всяких неприятностей. А я располагаю лишь разрозненными фактами. Мне нужно больше информации. Я не хочу называть имена без разбора и пугать людей. Это ни к чему.

— Хорошо, согласен. Но я не могу вам помочь.

— Дайте мне несколько имен. Студентов или преподавателей. Людей, которые, как вы знаете... точно знаете... попали в трудное положение. Клянусь, эти люди никогда не узнают, кто мне их назвал.

— Трудное положение — это слишком расплывчато.— Дэниелс встал с кресла и закурил трубку.— В академическом плане, в политическом? Наркотики, алкоголь? Давайте конкретнее.

— Стойте-ка.— Слушая Дэниелса, Мэтлок вдруг вспомнил Охотничий клуб Рокко Айелло и высокого молодого официанта, который принес Айелло счет на подпись.— Я знаю, кого я хочу видеть.

— Как его зовут?

— Понятия не имею. Он демобилизованный, служил в Индокитае, лет двадцати двух — двадцати трех, довольно высокий, светлый шатен, изучает управленческое дело.

— Под это описание подойдет человек пятьсот. Нам придется просмотреть все их документы.

— А фотографии на заявлениях о приеме?

— Их теперь отменили, вы же знаете.

Мэтлок глядел в окно, сдвинув брови, и думал. Потом снова взглянул на Дэниелса.

— Пит, сейчас ведь май. Через месяц выпуск. Есть же фотографии старшекурсников. Портреты для ежегодника.

Дэниелс вытащил изо рта трубку и направился к двери.

— Пойдемте.

Его звали Алан Пэйс. Он жил не в университетском городке, а снимал квартиру в пригороде на Черч-стрит. Согласно личному делу Алан Пэйс прекрасно успевал по всем предметам и мог рассчитывать на стипендию в Максуэлловском институте политических наук. Он провел в армии два года и четыре месяца — на четыре месяца больше, чем положено. Как и другие демобилизованные, он занимался только тем, что входило в программу.

В армии Пэйс был интендантом. Он добровольно остался еще на четыре месяца в Сайгоне, что было подчеркнуто в его повторном заявлении. Алан Пэйс отдал родине дополнительно четыре месяца своей жизни. В наше циничное время Алан Пэйс был человеком явно достойным...

Весьма возможно, размышлял Мэтлок, что этот Алан Пэйс работает в одиночку. Ни с кем не связан, никакими обязательствами не обременен.

Но логики в этом не было.

Квартира Пэйса помещалась в неказистом кирпичном доме, какие часто встречаются в пригородах. Когда-то, сорок — пятьдесят лет назад, это здание было гордым символом набиравшего тогда силу среднего класса, который начинал выбираться из бетонных домов на природу, но еще не решался совсем покинуть город. Дом этот был не то чтобы запущен, он просто требовал косметического ремонта. Однако Мэтлоку прежде всего бросилось в глаза, что для студенческого жилья это не самое подходящее место.

Но именно здесь жил Пэйс. Питер Дэниелс выяснил это.

Пэйс не хотел открывать. Только после того, как Мэтлок заверил, что он не из полиции, и упомянул имя Рокко Айелло, студент впустил его.

— Что вам угодно? Мне некогда разговаривать. Завтра у меня экзамен.

— Могу я присесть?

— Зачем? Я же вам сказал, что занят.— И высокий шатен направился обратно

к своему письменному столу, заваленному книгами и бумагами. Квартира, довольно большая, была аккуратно прибрана — только на столе царил беспорядок. Здесь было много дверей и коридорчиков, которые вели к другим дверям. В таких квартирах обычно живут четверо или пятеро студентов. Но Алан Пэйс жил один.

— Я все же присяду. Уж на это-то — в память Рокко — вы должны согласиться.

— Что вы хотите этим сказать?

— Только то, что Рокко был мой друг. Я был с ним в тот вечер, когда вы принесли ему на подпись счет. Помните? Он хорошо к вам относился... Он мертв.

— Я знаю. Я об этом читал. Очень жаль. Но я ему ничего не должен.

— Но вы же покупали у него.

— Вы о чем?

— Бросьте, Пэйс. Ни у вас, ни у меня нет времени. Вы не имеете никакого отношения к смерти Айелло — я это знаю. Но мне необходима информация, и вы мне ее дадите.

— Вы обратились не по адресу. Я вас не знаю. Я ничего не знаю.

— Зато я знаю вас. У меня есть о вас все сведения. Мы с Айелло намеревались вместе начать одно дело. Вас это, конечно, не касается, я понимаю, но мы с ним обменялись... кое-какой информацией. Я пришел к вам, откровенно говоря, потому, что Рокко нет, а у меня остались некоторые неясности. В общем-то я прошу вас об одолжении и готов за это заплатить.

— Я же вам сказал — вы обратились не по адресу. Я почти не знал Айелло. Подрабатывал у него официантом. Конечно, до меня доходили всякие слухи, но и только. Я не знаю, что вам надо, так что лучше обратитесь к кому-нибудь другому.

«Хитер этот Пэйс»,— подумал Мэтлок. Отмежевывается, но не утверждает поглупому, что не знает абсолютно ничего. С другой стороны, возможно, он говорит правду. И есть только один способ это узнать.

— Предприму еще одну попытку. Год и три месяца во Вьетнаме. Сайгон, Дананг; поездки в Гонконг, в Японию. Вы были интендантом — скучнейшая работа для молодого человека, способного прослушать нелегкий университетский курс и отлично сдать все экзамены.

— Служить интендантом неплохо: в военных действиях не участвуешь, потеть особенно не приходится. А что до поездок, так все ездили. Можете проверить по путевым листам.

— Затем,— продолжал Мэтлок, не обращая внимания на слова Пэйса,— добровольно продлив на четыре месяца свою службу в Сайгоне — удивляюсь, как вас на этом не поймали,— молодой офицер возвращается к гражданской жизни. Возвращается с приличным капиталом... естественно, речь идет не о его армейском жалованье... и вкладывает денежки в дело. Сейчас он один из самых крупных поставщиков в Нью-Хейвене. Продолжать?

Пэйс, белый как мел, стоял у письменного стола и, не отрываясь, смотрел на Мэтлока. Наконец он заговорил голосом испуганного мальчишки:

— Вы ничего не докажете. Я ничего не сделал. Мой послужной список в армии и здесь — оба в порядке. В полном порядке.

— В наилучшем. Ни единого пятнышка. Такими характеристиками можно гордиться — я говорю это искренне. И я вовсе не хочу вам их испортить. Это я тоже говорю искренне.

— А вы и не можете. Я абсолютно чист!

— Ну нет! Вы в этом деле сидите по уши. Айелло мне все изложил. В письменном виде.

— Вы лжете!

— Какой же вы дурак! Вы думаете, Айелло стал бы вступать в дело с кем бы то ни было без проверки? Вы думаете, ему бы это позволили? Он вел очень подробные записи, Пэйс, теперь они у меня.

— Таких записей нет,— еле слышно произнес Пэйс.— И никогда не было. Только города, места, коды. Никаких имен. Никогда никаких имен.

— Тогда почему же я, по-вашему, приехал сюда?

— Вы видели меня в Хартфорде и ищете связь.

— Но вы-то знаете, что это не так. Не валяйте дурака.

Быстрота реакции Мэтлока и град намеков сделали свое дело.

— Почему же вы ко мне приехали? Я не настолько важная шишка. Вы говорите, что знаете обо мне, в таком случае вы знаете и то, что я человек маленький.

— Я вам уже сказал. Мне нужна информация. Я не хочу идти к верховным жрецам, к тем, у кого власть. Не хочу быть в невыгодном положении. Потому-то я и готов заплатить вам и уничтожить все касающиеся вас материалы.

Пэйс, думавший только о том, как бы высвободиться из мертвой хватки незнакомца, быстро сказал:

— А что, если я не смогу ответить на ваши вопросы? Вы же подумаете, что я лгу.

— Хуже вам от этого не будет. Попробуйте — сами увидите.

— Ну давайте...

— Я познакомился с девушкой... из университета неподалеку отсюда. Познакомился с ней при таких обстоятельствах, которые иначе как «профессиональная проституция» не назовешь. Профессиональная во всех смыслах слова. Незнакомые клиенты, четко установленная такса... Что вам об этом известно?

— Что значит — что мне известно? — Пэйс сделал несколько шагов к Мэтлоку.— Мне известно, что это существует. А что тут еще может быть известно?

— Насколько широко это распространено?

— Повсюду. Это же не новость.

— Для меня — новость.

— Вы просто не знаете, что сейчас делается. Пройдитесь по университетским городкам... Во всяком случае, я к этому не имею отношения. Что еще?

— Давайте на минутку остановимся на этом... Зачем?

— Зачем — что?

— Зачем девушки этим занимаются?

— Ради хлеба насущного, дружище. Каждый зарабатывает как может!

— Вы слишком умны, чтобы так думать... А это как-то организовано?

— Наверное. Я же вам сказал, я к этому не имею отношения.

— Поосторожней! У меня ведь достаточно на вас материала...

— Ладно. Да, организовано. Все организовано. Иначе ничего бы и не было.

— Где именно налажено дело?

— Я же вам сказал! Всюду!

— В самих университетах?

— Нет, не в университетах. В окрестностях. Обычно милях в двух, если это в сельской местности. В старых домах, подальше от пригородов. Если же университет в городе, дело налаживают в отеле, в частном клубе или просто в доме. Но не в этом.

— Вы говорите... о Колумбийском университете, Гарварде, Рэдклиффе, Смите, Холиоке? И о южных?

— Почему-то все забывают Принстон,— криво улыбнулся Пэйс.— А там ведь много уютных старых поместий на неезженых дорогах... Да, я говорю именно о них.

— Вот уж никогда бы не поверил...— сказал Мэтлок, обращаясь больше к себе, чем к Пэйсу.— Но зачем? Только не говорите мне о «хлебе насущном»...

— Хлеб насущный — это свобода, дружище. Для них — это свобода. Мы кое-чему научились. Заработаешь денег, приятель, и ты в фаворе у порядочных людей... К тому же — не знаю, заметили вы это или нет,— деньги теперь не так легко заработать, как раньше. А молодежи деньги нужны.

— Вот эта девушка, о которой я говорил,— у меня такое впечатление, что ее заставили этим заниматься.

— О господи! Никто никого не заставляет! Это все чепуха.

— Она мне кое-что рассказала... У тех, кто ее заставил, в руках такие рычаги, как суды, врачи, даже работа...

— Впервые слышу.

— Кто такой Нимрод? — Мэтлок спросил это тихо, без нажима, но молодой человек тотчас отошел в дальний угол комнаты.

— Не знаю. Таких сведений у меня нет.

Мэтлок поднялся со стула и выпрямился во весь рост.

— Я еще раз задам вам этот вопрос; если я не получу на него ответа, я уйду

отсюда, но вам конец. Весь благополучный ход вашей жизни изменится... если вообще вас оставят в живых... Кто такой Нимрод?

Молодой человек резко повернулся, и Мэтлок увидел страх в его глазах. Страх, который он видел на лице Лукаса Херрона, в глазах Лукаса Херрона.

— Будь что будет, но я не могу ответить.

— Не можете или не хотите?

— Не могу. Я не знаю.

— А я думаю, что знаете. Но я сказал вам, что задам этот вопрос еще только раз. Я это уже сделал.— И, не взглянув на студента, Мэтлок направился к двери.

— Нет!.. Я не знаю... Откуда мне знать? Вы не можете так поступить.— Пэйс бросился к Мэтлоку.

— Как?

— Так, как вы сказали... Я не знаю, кто они. У меня нет...

— Они?

Пэйс с удивлением посмотрел на Мэтлока.

— Угу... По-моему, это «они»... Я не знаю. У меня нет никаких контактов. У других есть, а у меня нет. Они меня не трогали.

— Но вы знаете об их существовании.— Это был не вопрос, а утверждение.

— Знаю?.. Да знаю. Но кто они — честно, клянусь богом, не знаю.

— Пойдем на компромисс. Пока что. Расскажите мне то, что вы знаете.

Испуганный Пэйс стал рассказывать. По мере того как он говорил, страх передавался Джеймсу Мэтлоку.

Нимрод был невидимый главный кукольник. Это был не «он» и не «они» — это, по словам Алана Пэйса, была сила, запустившая свои щупальца во все крупные университеты на Северо-Востоке страны, во все города и муниципалитеты, связанные с университетами, во все финансовые учреждения, за счет которых существует сложная система высшего образования в Новой Англии. А если верить слухам, и на Юге — тоже.

Наркотики были лишь одной из сфер «их» деятельности и непосредственной причиной майской встречи, пропуском на которую служила корсиканская бумага.

Нимрод прибрал к рукам не только наркотики и прибыли от них — он хозяйничал в десятках университетов. Пэйс был убежден, что составление учебных программ, наем и увольнение преподавателей, присвоение степеней и назначение стипендий,— все это осуществлялось по указаниям организации Нимрода. Мэтлок мысленно перенесся в Карлайл. Вспомнил заместителя председателя приемной комиссии в Карлайле — человека Нимрода, как утверждал покойный Лоринг. Арчера Бисона; тренера университетской футбольной команды; дюжину других преподавателей и сотрудников, числившихся в списке Лоринга.

Сколько же их еще? Насколько глубоко Нимрод проник в университеты?

Зачем?

И вдобавок — организованная проституция. Вербовкой занимались сами юные проститутки в своей среде; новеньким давали адреса, устанавливали таксу. Молодые существа, достаточно ловкие и привлекательные, могли найти путь к Нимроду и заключить с ним соглашение. Это давало им «свободу», «хлеб насущный».

И никто от этого не погибал. Это было преступление без жертв.

— Никакого преступления — просто свобода, дружище. Ни у кого не пухнет голова. Не нужно набирать очки, чтоб получить стипендию.

Алан Пэйс видел немало хорошего в этой завуалированной деятельности практичного Нимрода. И не просто хорошего.

— Вы думаете, это чем-то отличается от всего остального? Ошибаетесь, мистер. Это же мини-Америка — высокоорганизованная, набитая счетно-вычислительными машинами и самоуправляющаяся. Все сделано по единому американскому образцу, дружище, и работает так же, как большие компании. Это то же, что «Дженерал моторс», «Интернэшнл телефон энд телеграф» и старушка «Белл»,— просто нашелся ловкач, прибравший к рукам академические сферы. И дело быстро растет. С этим не бороться надо, а присоединяться.

— Так вы и собираетесь поступить? — спросил Мэтлок.

— Это единственный путь, дружище. Во что же еще верить? Насколько я понимаю, вы тоже в этом увязли. Наверное, вы вербовщик. От вас ведь не спрячешься; я вас уже давно жду.

— А если это не так?

— В таком случае вы лишились рассудка. А скоро лишитесь и головы.

## 27

Тот, кто обратил бы внимание на белый «универсал», возвращавшийся в центр Нью-Хейвена, и его водителя, подумал бы: вот мчится дорогой автомобиль под стать богатому пригороду и за рулем сидит человек под стать автомобилю.

Сторонний наблюдатель не знал бы, конечно, что водитель не замечает или почти не замечает потока машин, не в силах прийти в себя от того, что узнал в течение последнего часа. Это был измученный человек, который не спал двое суток; ему казалось, что он держится за тоненькую веревку, натянутую над бездонной пропастью, и в любое мгновенье эта его связь с жизнью может оборваться и он рухнет вниз.

Мэтлок пытался заставить себя ни о чем не думать. Он хорошо знал, что человеческий мозг, по крайней мере его мозг, не может нормально работать, если он устал и переполнен впечатлениями.

А ему надо действовать.

Мэтлок подъехал к отелю «Шератон» и снял номер.

Он присел на кровать и позвонил Говарду Стоктону в Кармаунт. Стоктона не было.

Сухо и официально он попросил телефонистку в Кармаунте передать Стоктону, чтобы тот позвонил ему (Мэтлок посмотрел на часы — было без десяти два) через четыре часа. В шесть. Мэтлок назвал свой номер в «Шератоне» и повесил трубку.

Ему необходимо поспать хотя бы четыре часа. Неизвестно, когда теперь удастся прилечь.

Он опять снял телефонную трубку и попросил разбудить его без четверти шесть.

Три коротких, резких телефонных звонка: служба «Шератона» выполнила его просьбу. Было ровно без четверти шесть. Через пятнадцать минут раздался еще один звонок — на сей раз более длинный, нормальный. Звонил Говард Стоктон.

— Я буду краток, Мэтлок. С вами встретятся. Только не на самом Парусно-лыжном. Подъезжайте к восточному склону ущелья, откуда весной и летом туристам показывают окрестности, и поднимитесь наверх на подъемнике. Вы должны быть там в восемь тридцать сегодня вечером. Наверху вас встретит человек. Больше я вам ничего сказать не могу. Меня это не касается.

Стоктон повесил трубку, раздались короткие гудки.

Но он добился своего! Добился своего! Он установил контакт с Нимродом! С теми, кто будет на совещании.

Мэтлок прошел по тропинке к лыжному подъемнику. На автомобильной стоянке Парусно-лыжного курорта он дал сторожу десять долларов, и тот сразу понял, что у этого приятного мужчины, приехавшего на «универсале», свидание с какой-то дамочкой. Муж явится не скоро, жизнь есть жизнь. Сторож оказался очень услужливым человеком.

Когда Мэтлок достиг восточного склона ущелья, начался дождь, который собирался весь день. В Коннектикуте апрельские ливни всегда оборачиваются майскими грозами, и Мэтлок выругал себя за то, что не купил плащ.

В помещении, где находились машины, приводившие в движение подъемник, горел едва заметный свет. Мэтлок подошел к двери и постучал. Невысокий жилистый человек открыл дверь и уставился на него.

— Это вы должны наверх подниматься?

— Похоже, что да.

— А зовут вас как?

— Мэтлок.

— Видать, вы и есть. Знаете, как держаться за штангу?

— Я катаюсь на лыжах. Согнутой рукой надо обхватить штангу, сесть на скамейку, ноги положить на перекладину.

— Помощь вам не потребуется. Я сейчас включу, а уж вы вскакивайте.

— Прекрасно.

— Промокнете вот только.

— Что делать.

Мэтлок стал справа от колодца подъемника и услышал, как заработали колеса. Канаты, поскрипывая, медленно поползли, задергались, и одновременно появилась штанга. Он вскочил в подъемник, уперся ногами в перекладину и закрыл планку, запиравшую его на уровне поясницы.

Он двигался вверх по восточному склону ущелья, на встречу с человеком Нимрода. Дождь уже не раздражал его, а наоборот — возбуждал. Его путешествие, его гонка подходила к концу. Тот, кто ждет его там, наверху, будет в сильном замешательстве. Мэтлок на это и рассчитывал, из этого исходил в своих планах. Если то, что рассказывали ему убитый Лоринг, а потом Гринберг, правда,— иначе и быть не может. Абсолютная секретность встречи; делегаты, не знающие друг друга; клятва «Омерты»; настоятельное требование пользоваться кодами и контркодами — все это было правдой. Он это видел в действии. А такая сложная система — особенно если она вдруг нарушается — неизбежно рождает подозрительность, страх и в конечном счете замешательство. На это-то Мэтлок и рассчитывал.

Неожиданный рывок: машина остановилась. Мэтлок вцепился в запорную планку и посмотрел вниз. Он был метрах в пяти над землей. Если он повиснет на руках, уцепившись за нижнюю перекладину, ему придется падать с высоты не более трех или двух с половиной метров. Ничего, как-нибудь. И тогда оставшийся путь он проделает пешком. Медлить нельзя. Ибо подъем по склону займет двадцать минут, а то и больше.

Нельзя допустить, чтобы тот, с кем он должен встретиться, заподозрил неладное и ушел.

— Не шевелиться! Планку не снимать!

Голос донесся из темноты, сквозь дождь и ветер. Это было не только неожиданно, но и страшно. Внизу, справа от канатов стоял человек в непромокаемом плаще и кепке.

— Кто вы?! Что вам надо?!

— Я тот, на встречу с кем вы пришли. Я хочу видеть бумагу. Бросьте ее вниз.

— Я покажу вам свою бумагу, когда увижу вашу. Такое условие я поставил.

— Бросьте бумагу, Мэтлок. Вот и все.

— Вы соображаете, что говорите?!

Свет мощного фонаря ослепил его. Он потянулся рукой к запорной планке.

— Не трогать! Руки вперед, или я вас убью.

Яркий луч передвинулся с его лица на грудь. Когда зрение вернулось, Мэтлок увидел, что человек, освещая себе путь фонарем, подходит ближе к канатам. В правой руке он держал большой тупорылый автоматический пистолет. Слепящий свет снова ударил в лицо Мэтлоку — теперь прямо снизу.

— Ты что, угрожать? — крикнул Мэтлок, вспомнив, какое впечатление произвела вспышка его ярости на Стоктона в четыре часа утра.— Убери свою пушку и помоги мне слезть! У нас мало времени!

Однако на этот раз все получилось иначе. Человек, стоявший внизу, громко расхохотался.

— Ну и смешной же ты! Умора, да и только! Знаешь, на кого ты сейчас похож? На картонную обезьянку в тире. Ты меня понимаешь? А теперь кончай валять дурака и бросай мне бумагу!

Он снова расхохотался, и Мэтлоку вдруг все стало ясно.

Никакого контакта он так и не сумел установить. И никого не загнал в угол. Все его хитроумные планы и продуманные действия ни на шаг не приблизили его к Нимроду.

Он попал в западню.

Тем не менее надо попытаться что-то сделать. Иного выхода у него нет.

— Ты делаешь большую глупость.

— Ладно, кончай трепаться! Давай сюда бумагу. Мы ее уже целую неделю ищем. Мне велено без нее не возвращаться.

— Я не могу ее отдать.

— Тогда я вышибу тебе мозги!

— Я сказал, что не могу! Я не сказал, что не хочу!

— Не ври. Она при тебе! Без нее ты бы сюда не приехал.

— Она в пакете у меня на пояснице.

— Достань ее!

— Да не могу я! Я сижу на деревяшке десять сантиметров шириной, ноги у меня на перекладине, и я болтаюсь в воздухе на высоте шести метров.

Половину его слов заглушил шум дождя. Человек внизу начал проявлять нетерпение.

— Я тебе сказал — достань ее!

— Тогда мне придется спрыгнуть вниз! Я не могу дотянуться до завязок! — кричал Мэтлок, стараясь, чтобы тот расслышал.— Я же ничего не могу сделать! И у меня нет оружия!

Человек с большим тупорылым пистолетом отошел от канатов и нацелил луч своего мощного фонаря и пистолет на Мэтлока.

— О'кей, прыгай! Но одно неверное движение, и я прострелю тебе башку!

Мэтлок откинул планку, ухватился за перекладину для ног, соскользнул вниз и повис в воздухе.

— Убери фонарь! Я ничего не вижу!

— Как же, как же, сейчас! Падай!

Он упал, громко вскрикнул и схватился за ногу, извиваясь от боли.

— А-а-а! Я сломал ногу!

— Заткнись! Давай бумагу! Ну!

— Господи, да ты что! Я же сломал ногу!

— Не повезло! Ладно, давай бумагу!

Мэтлок лежал на земле, мотая головой из стороны в сторону.

— Вот тут завязки,— с трудом произнес он.— Развяжи.— Он рванул рубашку, под которой оказался брезентовый пояс.

— Сам развязывай! Живо!

Но все же человек подошел ближе. Теперь фонарь был прямо над головой Мэтлока. Затем луч передвинулся Мэтлоку на живот, и Мэтлок увидел черное дуло пистолета.

Этого мгновения он и ждал.

Резким движением правой руки он схватился за дуло и одновременно, с силой распрямившись, ударил человека в плаще по ногам. Прогремели два выстрела, и отдача чуть не сломала Мэтлоку руку. Человек был теперь под ним — он извивался, бил ногами и свободной рукой, пытаясь сбросить с себя более тяжелого Мэтлока. Мэтлок изловчился и вонзил зубы в запястье руки, державшей оружие.

Человек взвизгнул от боли и выпустил пистолет. Мэтлок схватил его и несколько раз ударил им человека по лицу. Фонарь валялся поодаль в высокой траве, освещая мокрые листья деревьев.

Мэтлок склонился над оглушенным, окровавленным человеком, который совсем недавно держал его на мушке. Мэтлок тяжело дышал, во рту был тошнотворный вкус крови. Он сплюнул несколько раз.

— О'кей! — Он схватил человека за шиворот и дернул.— Теперь рассказывай, в чем дело! Устроили мне западню, да?

— Бумага. Мне нужна бумага.— Слова были еле слышны.

— Значит, это западня! Всю неделю вы меня вели в западню.

— Угу... Угу... Бумага.

— Эта бумага очень для вас важна, да?

— Они убьют тебя... убьют, чтоб получить ее! У тебя нет ни единого шанса, мистер. Ни единого.

— Кто это «они»?

— Я не знаю... не знаю!

— Кто такой Нимрод?

— Не знаю... «Омерта»! «Омерта»!

Глаза у человека вдруг стали вылезать из орбит. Какая-то мысль заслонила все остальное в его измученном мозгу. Это было тяжкое зрелище. Слишком он напоминал обезумевшего от ужаса Лукаса Херрона, перепуганного Алана Пэйса.

— Пойдем. Я помогу тебе спуститься.

Но спускаться не пришлось. Человек с залитым кровью лицом из последних сил вдруг рванулся вперед в отчаянной попытке выхватить пистолет из правой руки Мэтлока. Мэтлок отшатнулся и инстинктивно нажал на курок. Кровь брызнула во все стороны.

Мэтлок медленно встал. Над мертвецом еще висел дымок от выстрела; дождь прибивал его к земле.

Мэтлок потянулся в траву за фонарем, и, когда он наклонился, его вырвало.

## 28

Десять минут спустя он сидел на огромном клене возле автомобильной стоянки и наблюдал за тем, что там происходит. Белый «универсал» стоял недалеко от каменных ворот Парусно-лыжного курорта. Все было относительно спокойно: никто не подъезжал, а те, кто уже приехал, будут ждать конца ливня и лишь потом рискнут двинуться в путь. Сторож с автомобильной стоянки, которому он дал десять долларов, разговаривал со швейцаром в ливрее под навесом у входа в ресторан. Мэтлоку очень хотелось поскорее добежать до машины и уехать, но он знал, что его вид насторожит обоих и заставит призадуматься над тем, что же случилось на восточном склоне ущелья. Поэтому оставалось лишь ждать, пока кто-нибудь не отвлечет их или пока они не войдут внутрь.

Ожидание раздражало его. Раздражало и пугало. Он никого не заметил возле домика, из которого приводился в движение подъемник, но это вовсе не значило, что там никого нет. Ведь человек от Нимрода вполне мог прийти вдвоем с кем-то, кто сейчас тоже выжидает, как и сам Мэтлок. И если найдут мертвеца, то его, Мэтлока, схватят, убьют — не из мести, так из-за корсиканской бумаги.

Выбора у него не было. Он исчерпал все свои силы, все умение. Он оказался игрушкой в руках Нимрода, как был игрушкой в руках людей из министерства юстиции. Он позвонит Джейсону Гринбергу и поступит так, как тот скажет.

Отчасти он был рад, что все кончилось или скоро закончится. Он все еще не считал себя свободным от обязательств, но сделать больше ничего не мог. Он не сумел выполнить задание.

Внизу открылась дверь ресторана, и официантка поманила швейцара в ливрее. Швейцар и сторож с автомобильной стоянки поднялись по лестнице и заговорили с девушкой.

Мэтлок спрыгнул с клена и бросился к автомобильной стоянке. При этом он не выпускал из поля зрения дверь ресторана. Официантка протянула швейцару термос с кофе. Все трое курили и смеялись.

Мэтлок подкрался к своему автомобилю и с большим облегчением увидел, что ключи — в замке зажигания. Сделав глубокий вдох, он как можно тише открыл дверцу и прыгнул внутрь, но не захлопнул дверцу, а бесшумно прикрыл ее, чтобы потушить загоревшийся в салоне свет. Швейцар, сторож и официантка ничего не заметили, они все еще болтали и смеялись.

Мэтлок поудобнее устроился за рулем, включил зажигание и задним ходом подъехал к воротам. Там он развернулся, проскочил между двумя каменными столбами и помчался по узкой дороге к шоссе.

Швейцар, сторож и официантка вздрогнули от испуга. Но тут же испуг на их лицах сменился недоумением и даже любопытством: они услышали глухой рев другого, более мощного мотора. Вспыхнули яркие фары, заштрихованные дождем, и длинный черный лимузин рванулся вперед.

Шины взвизгнули, и зловещая машина повернула к каменным столбам. Набрав скорость, она неслась за машиной Мэтлока.

Большого движения на шоссе не было, но все-таки лучше, подумал Мэтлок, въехать в Карлайл кружным путем. Он решил направиться прямо к Кресселу, несмотря на истеричный характер Сэма. Они могли бы вместе позвонить Гринбергу. Ведь Мэтлок только что жестоко, зверски убил другое человеческое существо, и, были его действия оправданны или нет, он все еще находился в шоковом состоянии. Он понимал, что это уже навсегда. И он не был уверен, что Кресселл — тот человек, к которому надо ехать.

Но больше не к кому. Можно, конечно, вернуться домой и сидеть там в ожидании какого-нибудь федерального агента. Если только вместо агента туда не явится посланец Нимрода.

Дождь перестал. Мэтлок вжал акселератор в пол и почувствовал, как машина рванулась вперед. Дважды, затем в третий раз взглянул в зеркало — нет ли полицейских машин. Сзади приближались фары. Он посмотрел на спидометр. Стрелка показывала восемьдесят семь миль в час, и тем не менее фары в зеркале приближались. Мэтлок понял, что это не полицейская машина. Мокрую тишину не разрывала сирена, на крыше не сверкала «мигалка».

Он до отказа нажал правой ногой на акселератор, но мотор уже не отреагировал. Спидометр показывал девяносто четыре мили в час — это был предел.

Фары светили теперь прямо ему в хвост. Неизвестный преследователь находился на расстоянии нескольких футов, нескольких дюймов от его заднего бампера. Неожиданно фары вильнули влево, и машина поравнялась с ним.

Это был тот огромный черный лимузин, который он видел после убийства Лоринга и после резни в Виндзор-Шоулз! Мэтлоку нужно было следить одновременно за дорогой и за водителем автомобиля, прижимавшего его к правой обочине. «Универсал» Мэтлока вибрировал от большой скорости, руль вырывался из рук.

И тут он увидел дуло пистолета, направленное на него в окно автомобиля. Увидел глаза, судорожно ищущие точку прицела.

Раздались выстрелы, посыпался град осколков. Он резко затормозил и повернул вправо; машина перелетела через обочину, пробила ограду из колючей проволоки и выскочила на поле, усыпанное камнями, но тут же врезалась в кучу камней, обозначающую границу участка. Фары разлетелись вдребезги, решетка радиатора погнулась. Мэтлок успел лишь выбросить вперед руки, чтобы не удариться головой о ветровое стекло.

Он услышал, как открылась и закрылась дверца машины, и понял, что убийца вышел на охоту за корсиканской бумагой. Мэтлок почувствовал, что по лбу у него струится кровь — то ли от задевшей его пули, то ли от осколка стекла. Он был рад, что идет кровь. Сейчас ему было нужно, необходимо видеть кровь. Он скорчился за рулем и сидел неподвижно, затаив дыхание.

Под пиджаком он держал уродливый пистолет, который взял у мертвеца в плаще на восточном склоне ущелья. Дуло было направлено из-под левой руки на дверцу машины.

Он услышал хруст гальки возле «универсала» и физически почувствовал — как чувствует слепой,— что кто-то заглядывает к нему в машину. Он услышал щелчок замка и скрип открывающейся дверцы.

Чья-то рука взяла его за плечо. Мэтлок выстрелил.

Оглушительный грохот и крик раненого человека разорвали сырую мглу. Мэтлок выпрыгнул из машины, всей тяжестью навалился на убийцу, державшегося за левое плечо, и яростно ударил его рукояткой пистолета по лицу, затем по шее. Тот свалился на землю. Оружия у него в руках уже не было. Мэтлок поставил ногу ему на горло и надавил.

— Я сниму ногу, когда ты дашь мне знак, что будешь говорить, сукин сын! Иначе пощады не жди!

Человек давился слюной, глаза у него вылезали из орбит. Он умоляюще поднял правую руку.

Мэтлок убрал ногу и опустился на колени возле своего преследователя. Это был мускулистый брюнет с лицом убийцы.

— Кто тебя послал? Как ты узнал машину?

Человек слегка приподнял голову, словно собираясь ответить, но вместо этого правой рукой выхватил из-за пояса нож, откатился вниз и двинул Мэтлока в пах огромным, как у гориллы, коленом. Нож вспорол рубашку Мэтлока, и, почувствовав кожей стальное острие, он понял, что был на волосок от смерти.

Дулом тяжелого пистолета он ударил человека в висок. Этого было достаточно. Голова убийцы откинулась назад, из-под волос выступила кровь. Мэтлок встал и наступил на руку с ножом.

Вскоре глаза убийцы открылись.

Тогда Мэтлок устроил ему пытку; он никогда не думал, что способен на такое.

Когда убийца закричал, Мэтлок ударил его дулом пистолета по губам и сломал несколько зубов.

Продолжалось это недолго.

— Бумага!

— А еще что?

Убийца извивался на земле, стонал, плевался кровью, но молчал.

— Отвечай,— спокойно и твердо сказал Мэтлок,— или я вот этим ножом выколю тебе глаза. Мне уже все равно. Я не шучу.

— Старик! — прохрипел убийца.— Он сказал, что все написал... Никто не знает где... Ты говорил с ним...

— Какой старик...— Мэтлок осекся — он сам испугался своей догадки.— Лукас Херрон?! Ты о нем?

— Он сказал, он все написал. Они думают, ты знаешь. Может, он и наврал... он же мог и наврать...

Убийца потерял сознание.

Мэтлок медленно поднялся, руки его тряслись, он весь дрожал. Он взглянул на дорогу, на огромный черный лимузин, тихо стоявший под затихающим дождем. Остается сделать последнюю ставку, предпринять последнее усилие.

Что-то шевельнулось у него в мозгу, что-то едва уловимое. Надо довериться этому чувству, как он уже научился доверять инстинктам преследуемого и преследователя.

Старик!

Разгадка находилась где-то в доме Лукаса Херрона.

## 29

Он остановил лимузин в четверти мили от дома Херрона и пошел по обочине, готовый скрыться в лесу при звуке приближающейся машины.

Однако никаких машин не было.

Он миновал один дом, затем другой, глядя на освещенные окна и проверяя, не следит ли кто-нибудь за ним.

Но никто не следил.

Он дошел до владений Херрона и пополз. Медленно, осторожно, бесшумно подбирался он к входу. Дом был погружен в темноту — ни машин, ни людей, никаких признаков жизни. Лишь дух смерти витал над ним.

Мэтлок прошел по каменным плитам дорожки и, несмотря на темноту, увидел на входной двери какую-то бумагу. Он подошел и зажег спичку. Вход был опечатан шерифом.

«Еще одно преступление»,— подумал Мэтлок.

Он обогнул дом и, подходя к двери, ведущей во внутренний дворик, отчетливо вспомнил, как Херрон пробежал по своей ухоженной лужайке к неприступной стене зелени, ловко раздвинул ее и бесследно исчез.

Задний вход тоже был опечатан шерифом. Бумага была наклеена прямо на стекло.

Мэтлок вытащил из-за пояса пистолет, осторожно выбил в двери стекло слева от бумаги с печатью шерифа, отпер дверь и вошел.

Прежде всего его поразила кромешная тьма. За последнюю неделю он понял, что свет и тьма — понятия относительные. Ночью, когда глаза привыкнут, можно многое разглядеть, а дневной свет часто бывает обманчив, полон теней и туманных, непроницаемых для глаз пятен. Но в доме Херрона стояла кромешная тьма. Мэтлок зажег спичку и понял, в чем дело.

Окна в маленькой кухне были закрыты шторами. Причем не обычными, а сделанными на заказ из плотной тяжелой материи и плотно прилегавшими к рамам и подоконникам благодаря вертикальным планкам и большим алюминиевым крючкам. Сквозь них свет не мог просочиться ни внутрь, ни наружу. Если и в комнатах на всех окнах такие же шторы, то Херрону нетрудно было оберегать свое уединение, к которому он так стремился.

Мэтлок зажег третью спичку и вошел в гостиную. От того, что он увидел при неверном свете спички, у него перехватило дух. Он остановился как вкопанный.

Все в комнате было вверх дном. Книги валялись на полу, мебель была опрокинута и вспорота, ковры подняты, стены разворочены. Словно он вошел в собственную квартиру после ужина у Бисона. В гостиной Херрона что-то искали.

Мэтлок вернулся на кухню, понимая, что из-за темноты и штор он мог там многого не заметить. Так оно и оказалось. Все ящики были выдвинуты, все шкафчики обысканы. На дне шкафчика для щеток он увидел два фонаря. Один не работал, второй зажегся.

Мэтлок проверил все окна в гостиной, направляя на них луч фонаря. Они были все плотно закрыты, а шторы прикреплены к подоконникам.

Наискосок от гостиной, по другую сторону узкого коридора перед еще более узкой лестницей, была открыта дверь. Она вела в кабинет Херрона, который подвергся такому же страшному разгрому. Два шкафа с картотекой валялись на боку, их задние стенки были оторваны, большой письменный стол отодвинут от стены, расколот, разбит. Стены, как и в гостиной, во многих местах пробиты. Мэтлок решил, что, видимо, в этих местах при простукивании слышался глухой звук. Наверху, в двух маленьких спальнях и в ванной, такая же картина.

Мэтлок снова спустился вниз; на лестнице были выломаны даже некоторые ступеньки.

Дом Лукаса Херрона обыскивали профессионалы. Что же он может здесь найти, если они не нашли ничего? Он вернулся в гостиную и сел на разбитое кресло. У него было неприятное чувство, что и эта последняя попытка тоже окончится крахом. Он закурил и попытался собраться с мыслями.

Люди, обыскивавшие дом, не нашли того, что искали. А может быть, нашли? Неизвестно. Известно одно: человек, пытавшийся убить его в поле, крикнул, что «старик все написал...». Как будто это было не менее важно, чем корсиканская бумага, за которой так охотились. И все же убийца добавил: «Может, он и наврал... он же мог и наврать». Наврал? Зачем смертельно перепуганному человеку ставить под сомнение нечто столь важное?

Очевидно, это была защитная реакция. Человек, находящийся на грани безумия, отвергает самое худшее, чтобы не потерять остатки рассудка.

Нет... Нет, они не нашли того, что должны были найти. А раз они этого не нашли после столь тщательного обыска, значит, этого нет.

Но он-то знал, что есть.

Херрон был связан с миром Нимрода, но он не был его порождением. Его отношения с этим миром были трудными. Где-то, в каком-то месте он оставил обвинение. Слишком он был хорошим, порядочным человеком, чтобы не сделать этого. Так что где-то... в каком-то месте...

Но где?

Он еще раз проанализировал все, что говорил ему Лукас тогда, четыре дня назад,— каждое слово, каждое выражение... Как только Мэтлок открыл дверь, старик уже знал, зачем он пришел. В глазах его тотчас вспыхнула догадка. Мэтлок не мог ошибиться. Но было еще что-то. Здесь, в доме. В этой комнате. Перед тем, как Херрон предложил посидеть на воздухе... Даже не предложил — велел, приказал.

А перед этим он бесшумно вошел в комнату с двумя полными стаканами в руках и напугал Мэтлока. Он толкнул качающуюся дверь, и Мэтлок не слышал, как он вошел... Мэтлок включил фонарик и посветил вниз. У кухонной двери не было никакого коврика, который мог бы заглушить шаги,— просто голый деревянный пол. Он подошел к качающимся дверям, распахнул створки, прошел и закрыл их. Затем быстро толкнул их. Петли скрипнули, как и должны скрипеть петли, если они старые и если дверь толкнуть. Когда дверь закрылась, он нажал на створки медленно, открывая ее дюйм за дюймом.

Она открылась бесшумно.

Лукас Херрон приготовил коктейли и бесшумно вернулся в гостиную. Вернулся, чтобы незаметно понаблюдать за Мэтлоком. И лишь после этого решительно предложил выйти наружу.

Мэтлок заставил свою память точно восстановить, что сказал и что сделал Лукас Херрон в ту минуту.

«...Выйдем на задний двор... Слишком хороший день, чтобы сидеть в доме». И, не дожидаясь ответа, пусть даже неохотного согласия, Херрон быстро вы-

шел. Куда девалась его обычная обходительность! Это было распоряжение, категорический приказ офицера.

Вот-вот! Мэтлок быстро перевел луч света на письменный стол.

Фотография! Фотография офицера с картой и автоматом в руках, сделанная где-то в джунглях, на крошечном тихоокеанском островке.

«Я храню этот старый снимок, ибо он напоминает мне, что время не всегда было так разрушительно».

В тот момент, когда Херрон вошел в дверь, Мэтлок рассматривал фотографию! И это встревожило старика — настолько встревожило, что он потребовал, чтобы они немедленно вышли во двор.

Мэтлок быстро подошел к письменному столу. Маленькая фотография по-прежнему висела на стене — внизу, справа, над письменным столом. Стекла на других, более крупных фотографиях были разбиты; эту не тронули. Она была маленькая и совсем незаметная.

Мэтлок взялся за картонную рамку и дернул. Фотография осталась у него в руках — она висела на одной-единственной кнопке. Он внимательно осмотрел ее, перевернул, обследовал тонкие края.

При ярком свете фонаря в верхнем углу картона обнаружились царапины. Что это — следы ногтей? Возможно. Он осветил письменный стол. Там лежали незаточенные карандаши, листки почтовой бумаги и ножницы. Он взял ножницы и, раздвинув кончиком лезвия тонкие пластинки картона, вытащил фотографию из рамки.

Так он нашел то, что искал.

На обороте маленькой фотографии он увидел схему, вычерченную чернильной авторучкой с толстым пером. Это был прямоугольник; сверху две маленькие стрелки — одна указывала прямо, другая направо. Над каждой стрелкой стоял знак XXX.

Тридцать.

С боков прямоугольник обрамляли по-детски нарисованные деревья.

Наверху, над цифрами, был еще один примитивный рисунок. Несколько полукружий, соединенных внизу волнистой линией. Облако. Под ним — снова деревья.

Это была карта, и Мэтлок с первого взгляда понял, что на ней изображено. Задний двор Херрона; а линии с трех сторон — стена из зелени.

Цифры — тридцатки — означали расстояние, но и что-то еще. Это был какой-то современный символ.

Как подтвердит любой первокурсник факультета журналистики, XXX в конце газетной страницы означает, что статья окончена. Продолжения не будет.

Все уже сказано.

Мэтлок вошел в лес почти прямо по центру, взяв немного левее, как было показано на схеме. Цифра тридцать могла означать футы, ярды, метры, шаги, но, конечно, не дюймы.

Он отмерил тридцать шагов по двенадцать дюймов. Тридцать футов прямо, тридцать — направо.

Ничего.

Ничего, кроме густых мокрых зарослей и непролазного кустарника.

Он вернулся к исходной точке и решил сочетать шаги с ярдами, понимая, что в этой буйной, точно в джунглях, зелени шаги вряд ли могут быть одинаковыми.

Он сделал тридцать шагов, оставил отметину и двинулся дальше. Пройдя в общей сложности около тридцати ярдов, он возвратился к отметине и пошел вбок.

И снова ничего. Тридцать шагов в сторону — и Мэтлок оказался возле старого, сгнившего клена. Ничего более примечательного поблизости не было. Он вернулся к погнутой ветке и продолжал путь ко второй отметине.

Тридцать ярдов прямо. Девяносто футов — футом больше, футом меньше. Затем тридцать ярдов вправо — медленное продвижение сквозь пропитанные влагой заросли. Еще девяносто футов. Всего сто восемьдесят. Примерно две трети футбольного поля.

Теперь он шел медленнее — то ли заросли стали гуще, то ли ему так показалось. Мэтлок пожалел, что у него нет мачете или хоть чего-нибудь, чтобы убрать с дороги эти мокрые ветки. Один раз он сбился со счета и не знал, сколько он сделал — двадцать один или двадцать три больших шага. Но разве это важно?

Он дошел до следующего места, пройдя то ли двадцать восемь, то ли тридцать ярдов. Разница небольшая, если есть на что смотреть. Мэтлок направил луч фонарика в землю и начал медленно водить им из стороны в сторону.

Ничего. Только бурая мокрая земля, покрытая блестящей травой. Напряженно вглядываясь, он продвигался вперед, ему все время казалось, что он тут уже проходил.

Вероятность неудачи возрастала. Можно, конечно, вернуться и начать сначала. Вдруг старик использовал какую-то другую единицу измерения, например метры. А что, если тридцать — это только сомножитель какого-то числа, закодированного в схеме?

Он вытащил фотографию из внутреннего кармана. Выпрямляясь, чтобы размять затекшую поясницу, он ощутил под ногой твердую, неподатливую поверхность. Сначала он подумал, что это сук или, может быть, камень.

Но тут же понял, что это не то и не другое.

Он ничего не мог разглядеть — все было оплетено травой. Но чувствовал, что это нечто прямое, гладкое. Нечто чужеродное в лесу.

Он посветил вниз и увидел, что это вовсе не трава. Это были какие-то полураспустившиеся цветочки. Цветочки, которым не нужен ни простор, ни солнечный свет.

Цветы, вывезенные из джунглей. Совсем здесь неуместные, купленные и высаженные.

Он сбросил их и нагнулся. Под цветами был толстый полированный кусок дерева — фута в два длиной и фута в полтора шириной.

Мэтлок разрыл пальцами землю и приподнял деревянный брус. Под ним оказалась потускневшая металлическая пластина — возможно, бронзовая.

*Майору Лукасу Н. Херрону*
*в знак благодарности от офицеров и солдат роты Браво*
*четырнадцатого батальона первой морской десантной дивизии*
***Соломоновы острова***
***Май 1943 года***

У Мэтлока было такое ощущение, что он смотрит на могилу.

Он окопал пластину, осторожно приподнял ее и положил в сторону.

Он нашел то, что искал.

В земле был металлический контейнер того типа, что обычно используют в библиотеках для хранения ценных рукописей. Воздухонепроницаемый, водонепроницаемый — на века.

«Гроб»,— подумал Мэтлок.

Он поднял его и поддел холодными мокрыми пальцами защелку замка. Открыть ее удалось не сразу. Наконец послышалось шипение устремившегося внутрь воздуха, как бывает, когда открываешь герметически запечатанную банку кофе. Резиновые прокладки раздались. Внутри Мэтлок увидел клеенчатый пакет в форме записной книжки.

Он понял, что нашел обвинение.

## 30

Записная книжка была толстой — более трехсот страниц; своего рода дневник, довольно беспорядочный. То записи велись изо дня в день, то с перерывом в несколько недель и даже месяцев. Манера изложения тоже была неровной. Ясное, четкое повествование сменялось вдруг бессвязными, разрозненными обрывками мыслей. В таких местах рука заметно дрожала, и почерк становился неразборчивым.

Дневник Лукаса Херрона был воплем боли, исповедью человека, потерявшего надежду.

Сидя на холодной мокрой земле, словно загипнотизированный словами Херрона, Мэтлок понял, что побудило старика искать полного уединения, окружить себя непроходимой зеленой стеной, закрыть окна глухими шторами.

Лукас Херрон в течение четверти века был наркоманом. Только наркотики и помогали ему не чувствовать боли. И никто не в силах был ему помочь — разве что поместить его на весь остаток так называемой «жизни» в госпиталь для ветеранов.

Решительный отказ влачить существование живого трупа и заставил Лукаса Херрона броситься очертя голову в объятия другой смерти.

Майор Лукас Натаниел Херрон водил роты четырнадцатого батальона первой морской десантной дивизии в атаку на Соломоновых и Каролинских островах, занятых японцами.

И раненого майора Лукаса Херрона увезли на носилках с крошечного островка Каролинского архипелага, после того как он вывел на берег из горящих джунглей две роты. Никто не думал, что он выживет. Японская пуля застряла у основания шеи, и врачи сочли дальнейшее хирургическое вмешательство невозможным. Малейшее осложнение — и пациент перестанет быть человеком. А отвечать за это никто не хотел.

Ему назначили уйму сильнейших болеутоляющих, и больше двух лет он пролежал в Мэрилендском госпитале. Выздоровление шло мучительно и медленно. Сначала были специальные воротники для шеи и таблетки; затем — костыли, металлические шины для ходьбы и все те же таблетки. Наконец просто костыли, специальные корсеты и неизменные таблетки. Лукас Херрон вернулся в стан живых, но — с таблетками. А в моменты невыносимой боли ему помогал шприц с морфием.

Таких, как Лукас Херрон, были сотни, возможно, даже тысячи, но он обладал особыми качествами, чрезвычайно ценными с определенной точки зрения. Настоящий герой войны на Тихом океане, блестящий ученый, человек с безупречной репутацией.

Идеальный человек. И его можно было идеально использовать.

С одной стороны, он не мог жить, не мог сражаться с болью без наркотиков-таблеток и все возраставшего количества уколов. С другой стороны, если бы степень его зависимости от наркотиков стала известна медикам, его бы снова упрятали в больницу.

Это обстоятельство постепенно, исподволь довели до его сознания. Время от времени поставщики наркотиков просили его о каком-нибудь одолжении — то нужно было установить контакт в Бостоне, то кому-то заплатить в Нью-Йорке. Когда же Херрон начал беспокоиться, ему мягко объяснили, что это все абсолютно невинно. Невинно, но необходимо.

Шли годы, и он стал представлять немалую ценность в глазах людей, которые были ему так нужны. Они все чаще обращались к нему с просьбами, раз от разу все более настоятельными. Лукаса отправляли все дальше и дальше. Канада, Мексика, Франция... Средиземноморье.

Он превратился в курьера.

При этом его никогда не покидала мысль о больничной палате, прочно засевшая в его измученном теле и мозгу.

Им манипулировали блестяще. Он никогда не знал о результатах своей деятельности, не знал, как росла та разрушительная сеть, которую он помогал создавать. Когда же наконец узнал, было уже поздно. Сеть была создана.

Нимрод приобрел власть.

*22 апреля 1951 г.* В середине семестра меня снова посылают в Мексику. Остановлюсь, как обычно, в университете Мехико, а на обратном пути — в Бейлоре. Какая ирония: казначей вызвал меня и сказал, что Карлайл будет рад покрыть мои расходы по «научно-исследовательской» работе. Я отказался, заявив, что мне вполне хватит и пособия по инвалидности. А может быть, следовало согласиться...

*13 июня 1956 г.* В Лиссабон — на три недели. Маршрут, как мне сказали,— обычный для небольшого судна: Азорские острова, Куба и Панама. Остановки — для меня — в Сорбонне, в Толедском университете и в Мадридском. Я становлюсь настоящим ученым шмелем! Мне не очень нравится, как все это делается,— да и кому бы понравилось?— но я не отвечаю за устаревшие законы. Ведь скольким, скольким можно помочь! Я беседовал по телефону с десятками людей, которые, подобно мне, не могут прожить и дня без помощи... И все же меня беспокоит... Но что поделать? Если я откажусь, этим займутся другие...

*24 февраля 1957 г.* Я крайне встревожен, но сохраняю спокойствие. Мне сейчас сказали, что, когда меня пошлют устанавливать контакты, я буду выступать в качестве посланца «Нимрода»! Название это кодовое — так, ничего не значащая выдумка, говорят они,— и к нему отнесутся с должным почтением. Похоже на разведывательные данные, которые мы во время войны получали из штаба

Макартура. Одни коды и никаких фактов... Боль усилилась — врачи говорят, что будет еще хуже... Но... «Нимрод» очень внимателен... Как и я...

*10 марта 1957 г.* Они рассердились на меня! Два дня не давали мне нужной дозы — я думал, что покончу с собой. Я отправился было в госпиталь для ветеранов в Хартфорд, но они остановили меня на шоссе. Они были в карлайлской полицейской машине; мне следовало бы знать, что полиция здесь с ними заодно... Итак, либо компромисс, либо больница... Они правильно рассчитали!.. Отправляюсь в Канаду; задание: привезти человека из Северной Африки... Я должен это сделать! Мне непрерывно звонят. Сегодня вечером какой-то человек из 27-й армии, раненный под Нахой, сказал, что он и шестеро других зависят от меня! А ведь сколько таких, как мы! Но почему? Почему, великий боже, нас презирают? Нам нужна помощь, а нам предлагают больничные палаты!..

*19 августа 1960 г.* Я открыто изложил свою позицию! Слишком далеко они заходят... «Нимрод», оказывается, не просто кодовое название места, это также и человек! География не меняется, зато меняется человек. Они больше не помогают людям вроде меня — то есть, может быть, и помогают, но дело не ограничивается нами. Они разрастаются, втягивают людей в свои сети — ради денег!..

*20 августа 1960 г.* Теперь они стали мне угрожать. Говорят, что, когда у меня опустеет аптечка, они мне больше ничего не дадут!.. А мне наплевать! К счастью, у меня достаточно запасов на неделю, если повезет — дней на десять... Как жаль, что я не люблю пить и от спиртного меня тошнит...

*28 августа 1960 г.* Я дрожал как осиновый лист и все-таки обратился в полицейский участок Карлайла. Я не подумал. Сказал, что хочу поговорить с самым главным; мне объявили, что время позднее — шестой час — и он уехал домой. Тогда я сказал, что у меня есть информация касательно наркотиков, и через десять минут шеф полиции появился... К этому времени им все стало ясно: я потерял контроль над собой и намочил брюки. Шеф полиции отвел меня в небольшую комнату, вытащил шприц и сделал мне укол. Это был человек Нимрода!..

*7 октября 1965 г.* Этот Нимрод недоволен мной. Я всегда ладил с Нимродами — с теми двумя, с которыми встречался,— но этот более жесткий, более требовательный... Его зовут Мэтью Ортон, и он всего лишь помощник вице-губернатора в Хартфорде. Но он Нимрод. И я буду ему повиноваться...

*14 ноября 1967 г.* Спина невыносимо болит — врачи говорят, что происходит распад костей; именно это слово они и употребили... Я не думал, что будет так! Я могу читать лекцию в течение сорока минут, не более, а затем вынужден извиниться и выйти... Я спрашиваю себя: стоит ли так жить?.. Очевидно, стоит, иначе я бы прекратил существование... А может быть, я слишком большой эгоист или слишком большой трус и поэтому не кончаю счеты с жизнью?.. Сегодня вечером встречаюсь с Нимродом. Через неделю День благодарения — интересно, куда я отправляюсь...

*27 января 1970 г.* Теперь уже надо кончать. Моя песенка спета, а Нимрод слишком многих и слишком глубоко заразил. Я постараюсь покончить с жизнью безболезненно, насколько это возможно,— ведь я уже столько вытерпел боли...

*28 января 1970 г.* Я пытался убить себя! Я не могу этого сделать. Беру пистолет, затем нож, но решиться не могу! Неужели я настолько заражен, что не могу довести до конца то, чего больше всего желаю?.. Нимрод убьет меня. Я хорошо это знаю, а он — еще лучше.

*29 января 1970 г.* Теперь Нимрод — это Артур Латона! Невероятно! Тот самый Артур Латона, который построил в Маунт-Холли дома для людей среднего достатка! Так или иначе, он сейчас дал мне совершенно немыслимый приказ. Я сказал, что это немыслимо. А я слишком ценен, чтобы от меня отказываться,— это я ему тоже сказал... Он хочет, чтобы я отвез большую сумму денег в Турцию, в Торос Даглари!.. Почему, ну почему я не могу покончить с жизнью?..

*18 апреля 1971 г.* Какой удивительно странный мир! Чтобы выжить, чтобы существовать и дышать, человек вынужден делать столько для себя ненавистного. Итог страшен... оправдания и объяснения — еще страшнее... Боль передвинулась вниз. Я этого ждал. Как обычно, отправился к врачу Нимрода — я ведь должен обращаться только к нему. Я теряю в весе, у меня стало плохо с рефлексами. Он обеспокоен, и завтра я отправляюсь в частную клинику в Саутбери. Врач сказал — на исследование. Я знаю, они сделают все возможное. Предстоят

поездки — очень важные поездки, говорит Нимрод. Он сказал, что я буду разъезжать большую часть лета. Если бы не было меня, был бы кто-то другой... Какая невыносимая боль.

*22 мая 1971 г.* Старый усталый солдат дома. «Гнездо Херрона» — мое спасение! Мне удалили одну почку. Неизвестно, что будет со второй, сказал врач. Но я-то знаю. Я умираю... О господи, как я этого жду. Не будет больше поездок, не будет угроз. Нимрод уже не сможет ничего сделать... Но они постараются, чтобы я протянул подольше... Теперь у них нет другого выхода! Я намекнул врачу, что многие годы веду записи. Он лишь молча на меня уставился. Я никогда не видел, чтобы человек был так напуган...

*23 мая 1971 г.* Латона — Нимрод заехал сегодня утром. Прежде чем он начал говорить о деле, я сказал ему, что умираю и знаю это. И теперь для меня ничто не имеет значения, жизнь моя оборвется не потому, что я так решил. Я даже сказал, что готов к этому и что мне от этого только легче: я ведь пытался покончить с собой, но у меня не хватило сил. Он спросил меня: «Что вы сказали врачу?» Он с трудом выговорил эти слова. Страх его заполнил комнату, словно густой туман... Я ответил спокойно и, думаю, с большим достоинством. Я сказал, что все мои записи будут переданы ему — если мне облегчат мои последние дни или месяцы. Он был взбешен, но понимал, что ничего не может поделать. Что можно сделать со стариком, который мучается от боли и знает, что вот-вот умрет? Какие тут могут быть аргументы?

*14 августа 1971 г.* Нимрод мертв! Латона умер от разрыва сердца! Раньше меня — какая ирония судьбы! И тем не менее все идет по-прежнему. Каждую неделю мне по-прежнему привозят нужную дозу, и каждую неделю напуганный посыльный спрашивает одно и то же: «Где записи?», «Где они?» Они чуть не угрожают мне, но я напоминаю им, что умирающий старик дал слово Нимроду. Зачем же мне что-то менять?.. И они живут со своим страхом... Скоро будет избран новый Нимрод... Я сказал, что не хочу знать, кто им станет,— и это правда!

*20 сентября 1971 г.* В Карлайле начинается новый учебный год. Мой последний год, я это знаю — я имею в виду мои обязанности... Смерть Нимрода придала мне храбрости. Или, может быть, сознание того, что я сам умираю? Видит бог, я мало что могу исправить, но я пытаюсь!.. Нахожу страдающих людей и если не могу предложить ничего другого, то хотя бы предлагаю помощь в виде слов утешения или совета. Одно сознание того, что я там побывал, приносит облегчение. Те, с кем я говорю, всегда бывают так потрясены! Еще бы — сам «великий старец»! Боль и омертвение конечностей почти невыносимы. Возможно, я не смогу больше ждать...

*23 декабря 1971 г.* Два дня осталось до моего последнего рождества. Многие приглашали меня к себе, но я всем сказал, что уезжаю в Нью-Йорк. Конечно, никуда я не уеду. Проведу эти дни здесь, в своем Гнезде... Тревожное известие. Посыльные говорят, что новый Нимрод — самый суровый, самый сильный из всех. Говорят, он беспощаден. Он отдает приказы о ликвидации с такой же легкостью, с какой его предшественники отдавали самые обычные распоряжения. А может быть, они меня пугают? Но меня напугать невозможно!

*18 февраля 1972 г.* Врач сказал, что выпишет мне более сильные «лекарства», но предупредил, чтобы я не увлекался. Он тоже говорил о новом Нимроде. Даже он обеспокоен: намекает, что это сумасшедший. Я сказал ему, что не хочу ничего знать. Я вышел из игры.

*26 февраля 1972 г.* Невероятно! Нимрод — чудовище! Настоящий безумец! Он потребовал, чтобы все, кто проработал здесь свыше трех лет, были убраны, высланы из страны, а если откажутся, то убиты! Доктор уезжает на следующей неделе. А у него жена, семья, практика... Вдова Латоны погибла в «автомобильной катастрофе» Одного из посыльных — Поллизи — застрелили в Нью-Хейвене. Другому — Кэпелбо,— по слухам, дали смертельную дозу наркотиков.

*5 апреля 1972 г.* Нимрод приказал мне передать все записи посыльным, иначе он приостановит мое снабжение. Мой дом будет находиться круглые сутки под наблюдением. За мной всюду будет ходить хвост. Меня лишат медицинской помощи. Рак и отсутствие наркотиков окажут на меня такое действие, что я даже себе представить не могу. Но одного Нимрод не знает: перед отъездом доктор оставил мне запас наркотиков на несколько месяцев, хотя он и не верит.

что я протяну так долго... Впервые в этой страшной, жуткой жизни я могу разговаривать с позиции силы.

*10 апреля 1972 г.* Я довел Нимрода до грани истерики. Он угрожает разоблачить меня, что бессмысленно. Он сказал, что уничтожит весь Карлайлский университет, но если он это сделает, то уничтожит и себя. Ходят слухи, что он созывает какое-то совещание. Важную встречу крупных тузов... За моим домом, как и обещал Нимрод, теперь наблюдают круглые сутки. Наблюдает, конечно, полиция Карлайла. Личная армия Нимрода!

*22 апреля 1972 г.* Нимрод победил! Это ужасно, но он победил! Он послал мне две газетные вырезки с сообщениями о смерти студентов, погибших от большой дозы наркотиков. Первая заметка — о девушке из Кембриджа, вторая — о парне из колледжа святой Троицы. Нимрод объявил, что будет пополнять этот список, пока я не передам ему свои записи... Убивать заложников! Его необходимо остановить! Но как?.. У меня есть план, но не знаю, смогу ли его осуществить. Я изготовлю поддельные записи. А настоящие сохраню. Будет трудно: у меня иногда так дрожат руки! Но я обязан это сделать. Я сказал, что буду давать записи небольшими порциями. В интересах собственной безопасности. Согласится ли он?

*24 апреля 1972 г.* Нимрод невероятно злокознен, но он реалист. Он понимает, что ничего не может поделать! Мы оба сейчас играем наперегонки с моей смертью. Я пишу то на машинке, то разными чернилами на разной бумаге. Убийства прекратились, но мне сказано, что они возобновятся, если я хотя бы раз не отдам очередную порцию. Жизнь заложников Нимрода в моих руках! Спасти их могу только я!

*27 апреля 1972 г.* Происходит что-то странное. Нашему человеку в приемной комиссии звонил Бисон. К нему заходил Джим Мэтлок и вызвал у Бисона подозрения. Он расспрашивал, вел себя по-идиотски с женой Бисона... Но Мэтлока нет ни в одном из списков! Он не имеет отношения к Нимроду — ни с какой стороны. Он никогда ничего не покупал и не продавал... По городу непрерывно ездят машины карлайлской полиции. Армия Нимрода поднята по тревоге. Что это означает?

*27 апреля 1972 г., после обеда.* Пришли посыльные. Двое. Они мне сказали нечто настолько невероятное, что я не в силах это написать... Я никогда не спрашивал, кто такой Нимрод, никогда не жаждал это узнать. Но кругом паника, и над происходящим даже Нимрод не властен. Посыльные сказали мне, кто такой Нимрод... Они лгут! Я не могу, не хочу этому верить! Но если это правда — в каком же мы живем аду!

Мэтлок понуро смотрел на последнюю запись. Почерк неразборчивый; между словами почти нет пробелов, будто писавший не в силах был угнаться за собственным карандашом.

*28 апреля.* Приходил Мэтлок. Он знает! Другие тоже знают! Он говорит, что этим занимаются правительственные чиновники. Все кончено! Но они не могут понять, что произойдет: будет такая кровавая баня, столько убийств, расправ! На меньшее Нимрод не способен. Будет столько боли. Будут массовые убийства, и все из-за какого-то преподавателишки литературы елизаветинской эпохи... Приходил посыльный. Прибудет сам Нимрод! Встреча лицом к лицу. Теперь-то я узнаю правду — узнаю, кто он на самом деле... И если он тот, кого мне назвали, я уж как-нибудь обнародую эту запись — не знаю как, но обнародую. Ничего другого не остается. Настала моя очередь угрожать... Теперь все кончено. Скоро кончится и боль... А было столько боли... Я сделаю последнюю запись, когда удостоверюсь, что...

Мэтлок закрыл дневник. Как это сказала Джинни? «У них суды, полиция, врачи». А Алан Пэйс добавил, что и руководство большинства северо-восточных университетов тоже у них в руках.

А у Мэтлока в руках обвинение.

Этого достаточно. Достаточно, чтобы остановить Нимрода, кто бы он ни был. Достаточно, чтобы остановить кровопролитие и расправы.

Теперь ему нужен Джейсон Гринберг.
Только он.

## 31

Взяв с собой клеенчатый пакет, Мэтлок пешком вернулся в Карлайл. Ехать на машине было слишком опасно. Тот человек в поле, возможно, уже пришел в себя и добрался до кого-то — до самого Нимрода. Значит, объявлена тревога и его ищут. Невидимые армии уже бросились в погоню. Его единственный шанс — связаться с Гринбергом. Джейсон Гринберг скажет ему, что делать.

Рубашка его была в крови, на брюках и на пиджаке засохла грязь. Не отличишь от какого-нибудь бродяги из «Гриль-бара Билла». Сейчас около половины третьего ночи, но такие заведения обычно открыты почти круглые сутки. Мэтлок дошел до Колледж-парк-куэй и спустился с холма к складу.

Кое-как приведя себя в порядок, он вошел в грязный бар. Здесь было шумно и дымно. Играл музыкальный автомат. Лохматые посетители курили дешевые сигареты и громко разговаривали, перекрикивая друг друга. Мэтлок понимал, что он в этой обстановке ничуть не выделяется. Наконец-то можно хоть немного передохнуть.

Он сел за столик в дальней кабинке.

— Что это с вами стряслось, а?

Это был тот самый подозрительный бармен, с которым он в конце концов нашел общий язык несколько дней тому назад. Несколько лет... несколько веков тому назад.

— Да вот попал в грозу... Поскользнулся, упал... У вас найдется что-нибудь поесть?

— Сандвичи с сыром. С мясом не предлагаю. Да и хлеб не первой свежести.

— Неважно. Принесите мне пару сандвичей и кружку пива, хорошо?

— Конечно. Конечно, мистер... Только надо ли вам именно тут... Я хочу сказать, не для вас это место — вы меня понимаете?

Опять этот вечный, никчемушный вопрос. А сейчас он особенно ни к чему.

— Я вас понимаю, но меня это не волнует.

— Я же о вашем желудке забочусь.— И бармен потрусил за стойку.

Мэтлок нашел номер Гринберга и направился к вонючему телефону-автомату на стене. Он опустил монету и набрал номер.

— Извините, сэр,— сказала телефонистка,— номер выключен. У вас есть какой-нибудь другой?

— Попробуйте, пожалуйста, еще раз! Я уверен, что вы ошибаетесь.

Но она не ошибалась. Старшая по смене в Уилинге наконец сообщила телефонистке в Карлайле, что звонить мистеру Гринбергу следует в Вашингтон. Предполагалось, что тот, кто звонит в Уилинг, знает и вашингтонский номер.

— Но по вашингтонскому номеру мистер Гринберг будет только рано утром,— сказала она.— Пожалуйста, сообщите об этом абоненту.

Мэтлок напряженно думал, стоит ли звонить в Вашингтон, в отдел по борьбе с наркотиками министерства юстиции. При данных обстоятельствах Вашингтон — для быстроты — вполне может поднять по тревоге кого-то в районе Хартфорда и бросить ему на помощь. А Гринберг ясно дал понять, что он не доверяет хартфордскому отделению, хартфордским агентам.

Сейчас Мэтлок намного лучше понимал озабоченность Гринберга. Достаточно ему было вспомнить о карлайлской полиции, этой личной армии Нимрода.

Нет, он не будет звонить в Вашингтон. Он позвонит Силфонту. Ректор университета — его последняя надежда. Он набрал номер Силфонта.

— Джеймс! О боже, Джеймс! Вы живы, здоровы?! Где вы пропадали?

— В таких местах — я и не знал, что такие есть!

— Но вы целы? Это главное. Вы целы?

— Да, сэр. И я все добыл. Все. Херрон ведь оставил записи. Дневник, который он вел в течение двадцати трех лет.

— Значит, он все-таки участвовал в этом?

— Еще бы!

— Несчастный больной старик... Как хотите, я не понимаю... Однако сейчас это уже не важно! Пусть разбираются власти. Где вы находитесь? Я вышлю за вами машину... Нет, я сам приеду. Мы все так волновались. Я поддерживал постоянную связь с министерством юстиции.

— Не надо, не приезжайте,— быстро сказал Мэтлок.— Я сам приеду к вам, а то вашу машину все знают. Так будет безопаснее. Меня, конечно, уже ищут. Я попрошу здесь кого-нибудь вызвать мне такси. Я просто хотел убедиться, что вы дома.

— Как вам угодно. Честно говоря, наконец-то я вздохнул с облегчением. Сейчас позову Крессела. Он тоже должен обо всем знать. Так надо.

— Хорошо, сэр. До скорой встречи.

Мэтлок вернулся в кабинку и принялся есть неаппетитные сандвичи. Он уже выпил полкружки пива, как вдруг во внутреннем кармане его мокрого пиджака раздались короткие истерические сигналы телектроника. Он вытащил машинку из кармана, нажал кнопку и кинулся к телефону. Рука его дрожала; он с трудом опустил монету и набрал номер 555-68-68.

Слова, записанные на магнитофонную ленту, произвели на него впечатление удара хлыстом по лицу: «Абонент три-ноль отключен».

Как и предупреждал Блэкстоун — лишь одна-единственная фраза, произнесенная один раз. Говорить было не с кем, апеллировать не к кому.

Но кто-то должен же быть! Он не допустит — не может допустить,— чтобы его вот так отрезали. Если Блэкстоун прекратил его обслуживать, то он, Мэтлок, имеет право знать почему! Имеет право знать, что с Пэт!

Потратив несколько монет и прибегнув к помощи угроз, он дозвонился до самого Блэкстоуна.

— Я не обязан говорить с вами.— Сонный голос звучал агрессивно.— Но я не возражаю против этого разговора, потому что я сейчас попрошу выяснить, откуда вы звоните, и как только вы повесите трубку, сообщу, где вас найти.

— Не угрожайте мне! Вы получили от меня слишком много денег, чтобы мне угрожать... Почему меня отключили? Я имею право знать!

— Потому что от вас смердит! Смердит, как от помойной ямы!

— Это не объяснение!

— В таком случае я вам все перечислю. Выдан ордер на ваш арест.

— В чем меня обвиняют, черт побери? Или это ради моей же безопасности? Или превентивное содержание под стражей?

— Вас обвиняют в убийстве, Мэтлок! В заговоре с целью распространения наркотиков! В пособничестве и укрывательстве известных поставщиков наркотиков!.. Вы продались им! Я же сказал, что вы смердите. Я ненавижу то, чем вы занимаетесь.

Мэтлок был оглушен. Убийство? Заговор? О чем он говорит?

— Я не знаю, что вам сказали, но это ложь. Все — ложь! Я рисковал жизнью, слышите? Рисковал жизнью, чтобы добыть то, что у меня сейчас есть...

— Красиво говорите,— прервал его Блэкстоун.— Но неумело действуете. В поле, недалеко от Карлайла, лежит человек с перерезанным горлом. Правительственным агентам и десяти минут не понадобилось, чтобы установить, кто владелец белого «форда».

— Я не убивал этого человека! Клянусь богом, не убивал!

— Нет, конечно! И вы в глаза не видели того человека, которому снесли выстрелом голову на восточном склоне ущелья! Вот только вас там и видел сторож с автомобильной стоянки и еще пара свидетелей!.. Да, забыл. К тому же вы еще и глупы. Вы оставили талончик об уплате за стоянку под «дворником» на ветровом стекле.

— Подождите! Подождите! Это безумие какое-то! Тот человек сам предложил мне встретиться на восточном склоне ущелья. Он пытался убить меня!

— Расскажите это своему адвокату. Мы все узнали доподлинно от людей из министерства юстиции! Я дорожу своей репутацией... И вот еще что. Продались вы за хорошую цену! У вас больше шестидесяти тысяч долларов на текущем счете. Я же вам сказал, Мэтлок, вы смердите!

Мэтлок ошеломленно молчал. Наконец он еле слышно произнес:

— Выслушайте меня. Вы обязаны меня выслушать. Все, что вы говорите... всему есть объяснение. Кроме того человека в поле. Этого я понять не могу. Но мне наплевать, верите вы мне или нет. Это неважно. Мое оправдание у меня в руках... Но мне важно, чтобы вы охраняли девушку. Ни в коем случае не отключайте мой номер. Охраняйте ее!

— Очевидно, вы плохо понимаете по-английски. Ваш номер отключен! Абонент три-ноль отключен!

— А девушка?

— Мы люди не безответственные,— ехидно сказал Блэкстоун.— Она в полной безопасности. Она под защитой карлайлской полиции.

В баре начался шум и суета. Бармен закрывал заведение, несмотря на протесты посетителей. Над грязной, мокрой от пива стойкой висела рутань, а люди более спокойные или больше выпившие, покачиваясь, медленно направлялись к выходу.

Мэтлок стоял у телефона как громом пораженный. Крики в баре становились все громче, но он их не слышал; перед глазами все расплывалось. Его мутило. Он прижал к животу клеенчатый пакет с дневником Лукаса Херрона и подумал, что сейчас его вырвет, как возле трупа на восточном склоне ущелья.

Но... у него нет времени. Пэт в руках личной армии Нимрода. Действовать надо немедленно.

Весь ужас был в том, что он не знал, с чего начать.

— В чем дело, мистер? Это что — от сандвичей?

— Что?

— Похоже, что вас сейчас вырвет.

— А?.. Нет.— Только тут Мэтлок увидел, что бар уже почти пуст.

Дневник! Он откупится с помощью дневника! Нимрод получит дневник! Получит обвинительный акт!

А потом что? Оставит Нимрод ее в живых? Оставит его в живых?.. Как там написал Лукас Херрон: «Новый Нимрод — самый суровый... Он беспощаден. Он отдает приказы о ликвидации».

Нимрод убивал людей за куда меньшие проступки, а ведь он, Мэтлок, знает о существовании дневников Лукаса Херрона.

— Извините, мистер, мне надо закрываться.

— Вызовите мне, пожалуйста, такси.

— Такси? В четвертом часу ночи? Даже если и нашлось бы свободное такси, никто сюда в три часа ночи не поедет.

— А у вас есть машина?

— Послушайте, мистер. Мне нужно здесь убрать и подсчитать выручку. У меня сегодня был хороший день. Так что подсчет займет минут двадцать.

Мэтлок вытащил пачку ассигнаций. Самой маленькой была сотня.

— Мне нужна машина, немедленно. Сколько вы хотите? Я верну вам ее через час, может быть раньше.

Бармен взглянул на деньги Мэтлока. Такое он не часто видел.

— Но это же старая развалина. Как бы она не забарахлила.

— Я могу ехать на чем угодно. Вот! Берите сотню! Если я разобью вашу машину, то отдам вам всю пачку. Вот! Берите же, ну!

— Конечно, конечно, мистер,— бармен запустил руку под передник и вытащил ключи.— Квадратный — это зажигание. Машина во дворе. «Шевроле» шестьдесят второго года. Можете выйти через заднюю дверь.

— Спасибо.— Мэтлок направился к двери, на которую указал бармен.

— Эй, мистер!

— Что?

— Забыл вашу фамилию... Что-то на «рок»? Даю человеку машину и даже фамилию не знаю.

Мэтлок подумал секунду:

— «Род». Нимрод. Моя фамилия Нимрод.

— Но это же не фамилия, мистер.— Он шагнул к Мэтлоку.— Это блесна для спиннинга на форель. Как ваша фамилия? Вы получаете машину, а я должен знать вашу фамилию.

Мэтлок отсчитал еще три сотни и бросил их на пол. Теперь вроде бы все по справедливости. Он дал Креймеру четыре сотни за его «форд-универсал». Должна же быть какая-то симметрия. Или, по крайней мере, ничего не значащая логика.

— Вот вам четыреста долларов. Вы никогда не получите четыреста долларов за «шевроле» шестьдесят второго года.— Он бросился к двери и еще услышал, как благодарный, но сбитый с толку хозяин «Гриль-бара Билла» проворчал:

— Нимрод! Ну и шутник!

Машина действительно оказалась развалиной — владелец сказал правду. Но она была на ходу, а ничего больше и не требовалось. Силфонт поможет ему проанализиро-

вать факты, возможности. Одна голова хорошо, а две лучше; Мэтлок боялся взять на себя всю ответственность. А у Силфонта в высших сферах есть люди, с которыми он сможет связаться. Сэм Кресселл выслушает его, начнет возражать, испугается за свои владения. Неважно; главное — безопасность Пэт. Силфонт поймет это.

Возможно, настало время прибегнуть к угрозам — как прибег к ним под конец Херрон. У Нимрода — Пэт, а у него — составленный Херроном обвинительный акт. Одна человеческая жизнь — за сохранение сотен, возможно тысяч, жизней. Даже Нимрод должен понять, что выгода в этой сделке на их стороне.

Подъезжая к складу, он вдруг понял, что при таком подходе Пэт становится всего лишь величиной X, дневник Херрона — величиной Y; затем можно составить уравнение, и математики на основании имеющихся данных решат его и сообщат результат. Начинает действовать ледяная логика выживания; эмоциональные факторы отбрасываются, сознательно отметаются.

Страшно!

Мэтлок повернул направо и поехал по Колледж-паркуэй. В конце улицы стоял особняк Силфонта. Мэтлок ехал с максимальной скоростью, какую мог развить на подъеме «шевроле» шестьдесят второго года, то есть немногим более тридцати миль в час. Улицы были пустые и очень чистые после грозы; фасады домов, магазины и даже университетский городок погружены во тьму и тишину.

Мэтлок вспомнил, что Кресселл живет на Хай-стрит, всего в полуквартале от Колледж-паркуэй. Такой крюк отнимет не больше минуты. Если Кресселл еще не отправился к Силфонту, он захватит его, и они поговорят по пути в машине. Мэтлоку необходимо было с кем-то поговорить, необходимо было начать действовать.

Он повернул налево, на Хай-стрит. Дом Кресселла — большой, серый, в колониальном стиле — стоял в глубине; от улицы его отделяла лужайка, обсаженная рододендронами. Внизу горел свет. Наверное, Кресселл еще не ушел. Около дома Мэтлок увидел две машины. Мэтлок притормозил.

В конце подъездной аллеи что-то тускло поблескивало. Вглядевшись, он увидел третью машину — а у Кресселов их было только две.

Он снова взглянул на машины перед домом. Машина карлайлской полиции. Карлайлская полиция в доме Кресселла!

Личная армия Нимрода у Кресселла!

А может быть, личная армия Нимрода — у Нимрода?

Он резко повернул налево, едва не задев полицейскую машину, и понесся по улице. На перекрестке повернул направо и вжал акселератор в пол. Он был сбит с толку, испуган, растерян. Если Силфонт позвонил Кресселу — что, очевидно, он сделал — и если Кресселл связан с Нимродом или он сам Нимрод, тогда будут и другие полицейские машины и другие солдаты армии Нимрода будут поджидать его.

Мэтлок мысленно перенесся в полицейский участок Карлайла, в ту ночь, когда убили Лоринга. Это было чуть больше недели назад, но ему казалось, что прошло целое столетие. Кресселл уже тогда его тревожил. Враждебное отношение Кресселла к федеральным агентам не укладывалось в рамки разумного.

О боже! Теперь все ясно. Инстинкты его не подвели. Инстинкты, которые верно служили ему и тогда, когда он сам был преследователем, и тогда, когда другие преследовали его. Слишком тщательно за ним следили, предвидя каждый его шаг. Значит, Кресселл-связной на самом деле был Кресселом-охотником, Кресселом — верховным убийцей.

Внешность обманчива — верно лишь то, что чувствуешь сквозь внешнюю оболочку. Доверяй чувствам.

Надо добраться до Силфонта. Предупредить Силфонта, что Кресселл — предатель. Они оба должны принять меры предосторожности и нанести ответный удар.

Иначе погибнет девушка, которую он любит.

Нельзя терять ни секунды. Силфонт наверняка сказал Кресселу, что у него, у Мэтлока, находятся дневники Лукаса Херрона, а это все, что нужно знать Кресселу. Все, что нужно знать Нимроду.

Нимроду необходима корсиканская бумага и дневники. А теперь он знает, где они. Его личной армии будет сказано, что наступил решающий момент — либо победа, либо поражение. Они будут ждать его у Силфонта; особняк Силфонта — это западня, в которую, как они надеются, он попадет.

На следующем перекрестке Мэтлок резко повернул на запад. В кармане брюк у

него лежали ключи и среди них — ключ от квартиры Пэт. Насколько ему известно, никто не знает, что у него есть этот ключ, и, уж конечно, никто не ожидает, что он туда поедет. Стоит рискнуть, а вот позвонить из телефона-автомата, чтобы его увидели при свете уличного фонаря,— на такой риск он пойти не мог. Сейчас полицейские машины будут рыскать повсюду.

Он услышал позади рев мотора и почувствовал острую боль под ложечкой. За ним ехала машина — она быстро нагоняла его. На «шевроле» шестьдесят второго года от нее не уйдешь.

Правая нога Мэтлока с силой жала на педаль акселератора. Руки его вцепились в рулевое колесо; круто сворачивая в какую-то боковую улицу, он почувствовал, как до боли напряжены у него мышцы. Еще поворот. Он резко взял влево и выехал на середину проезжей части. Другая машина шла ровно, сохраняя дистанцию не больше десяти футов. Фары били прямо в зеркало.

Преследователь намеренно не догонял его! Не сейчас. Не в эту минуту. А ведь он мог сделать это сто — двести ярдов назад. Он выжидал. Что-то выжидал. Но что?

Во всем этом так много непонятного! Он столько раз ошибался, одно неправильно рассчитал, другое неверно истолковал. Его обходили на каждом важном этапе. Конечно, он дилетант! С самого начала все это было ему не по силам. И вот теперь его последняя атака захлебывается в засаде. Его убьют, отберут корсиканскую бумагу, дневник Херрона. Убьют девушку, которую он любит, это невинное дитя, чьей жизнью он так жестоко распорядился. Силфонта тоже прикончат — он теперь слишком много знает! И одному богу известно, сколько еще уничтожат людей.

Будь что будет.

Если так суждено, если у него действительно больше нет надежды, он по крайней мере сделает под конец красивый жест. Он достал из-за пояса пистолет.

Они мчались по окраине университетского городка, мимо учебных корпусов, лабораторий и больших автомобильных стоянок. Жилых домов здесь почти не было.

Мэтлок подал «шевроле» вправо, к самой обочине, прижал правую руку к груди и, высунув из окна дуло пистолета, нацелил его на преследователя.

Он выстрелил дважды. Другая машина прибавила скорость. Он почувствовал, как она бьет его, с лязганьем ударяя в левое заднее шасси «шевроле». Он еще раз нажал на курок, но вместо выстрела услышал лишь щелчок бойка о пустую обойму.

Значит, даже последний жест не удался.

Преследователь снова ударил в его машину. Мэтлок потерял управление; рулевое колесо чуть не вывернуло ему руку, и «шевроле» стал съезжать с дороги. В отчаянии Мэтлок схватился за ручку дверцы, одновременно пытаясь выровнять машину, готовясь, если будет необходимо, выпрыгнуть из нее.

Он перестал думать. Все его инстинкты выживания отключились. В эти доли секунды время остановилось. Другая машина поравнялась с ним, и Мэтлок увидел лицо своего преследователя. Вокруг глаз под очками у него все было заклеено марлей и пластырем, но не узнать этого лица Мэтлок не мог. Перед ним был Джулиан Дюнуа.

Это было последнее, что он помнил. Потом «шевроле» рванулся вправо и заскользил вниз по придорожному откосу.

Чернота.

## 32

Он пришел в сознание от боли. Болела вся левая сторона тела. Он покрутил головой и почувствовал, что лежит на подушке. Он передвинул голову и попытался приподняться на правой руке. Уперся локтем в матрас, и левая рука повернулась вместе с телом, словно мертвый балласт.

Тут он замер.

В другом конце комнаты, напротив изножья кровати, в кресле сидел человек. Сначала Мэтлок плохо видел — свет был очень слабый, а глаза болели от усталости.

Наконец ему удалось разглядеть лицо человека. Чернокожий, темные глаза смотрели на Мэтлока из-под подстриженных аккуратным полукругом курчавых волос. Адам Уильямс, смутьян из черных левых Карлайлского университета.

Уильямс заговорил мягко, тихо, и, если Мэтлоку не почудилось, в голосе его звучало сострадание.

— Я скажу брату Джулиану, что вы очнулись. Он придет навестить вас.— Уильямс

встал с кресла и направился к двери.— Вы повредили левое плечо. Не вставайте. Окон здесь нет. Коридор охраняется. Расслабьтесь. Вам необходимо отдохнуть.

— Некогда мне отдыхать, идиот! — Мэтлок попытался подняться, но боль была слишком сильной. Он еще не привык к ней.

— У вас нет выбора.— Уильямс открыл дверь и быстро вышел, решительно захлопнув ее за собой.

Мэтлок откинулся на подушку... Брат Джулиан... Он все вспомнил: забинтованное лицо Джулиана Дюнуа в окне машины, которая мчалась совсем рядом,— казалось, на расстоянии всего нескольких дюймов. И то, что Дюнуа кричал водителю на своем карибском диалекте: «Бей его, малый! Ну, еще разок! Сгоняй с дороги!»

Потом все погрузилось во мрак, который наполнился грохотом, скрежетом металла, и Мэтлок почувствовал, как тело его крутится, крутится штопором, ввинчиваясь в черную пустоту.

О боже! Сколько же времени с тех пор прошло? Он хотел было поднять левую руку, чтобы посмотреть на часы, но рука почти не сдвинулась с места — острая боль не отпускала ни на минуту. Он потянулся правой рукой, чтобы снять с левой часы-браслет, но часов не было.

Он попытался подняться и наконец сумел спустить ноги на пол и сесть на краю кровати. Вжав ноги в деревянный пол, он возблагодарил небо за то, что может хотя бы сидеть... Нужно собраться с мыслями, вспомнить, что случилось, куда он ехал.

Он ехал к Пэт, чтобы без помех позвонить Адриану Силфонту. Предупредить его, что Крессел — враг, что Крессел — Нимрод. Он решил тогда, что дневник Херрона будет выкупом за жизнь Пэт. Затем началось преследование, хотя преследованием это не назовешь. Шла жестокая игра. Так горная кошка играет с раненой козой. Наконец Дюнуа перешел в наступление — сталь против стали,— и он, Мэтлок, погрузился в темноту.

Мэтлок знал, что должен бежать. Но откуда и к кому?

Дверь комнаты без окон отворилась. Вошел Дюнуа в сопровождении Уильямса.

— Доброе утро,— сказал адвокат.— Я вижу, вы сумели даже сесть. Это хорошо. Недурной признак для столько вынесшего тела.

— Который час? Где я?

— Около половины пятого. Вы в Лумумба-Холле. Видите, я ничего от вас не скрываю... Ответьте и вы тем же. Ничего от меня не скрывайте.

— Послушайте!— Мэтлок старался не повышать тона.— Я ничего против вас не имею, ни против кого из вас... Я должен...

— О, вот тут я с вами не согласен,— улыбнулся Дюнуа.— Посмотрите на мое лицо. Только благодаря счастливой случайности я не остался без глаз. Вы же пытались раздавить на мне очки. Представляете себе, как пострадала бы моя работа, если бы я ослеп?

— Черт побери, вы же сами накачали меня ЛСД!

— А вы меня спровоцировали. Вы активно занимались делами, враждебными нашим братьям! Делами, которыми не имели права заниматься... Но это беспредметный спор. Он никуда нас не приведет... Мы очень благодарны вам за то, что вы нам принесли. Это превосходит наши самые смелые надежды.

— Значит, дневник — у вас...

— И корсиканский документ. О существовании итальянского приглашения мы знали. А о записной книжке ходили только слухи. Слухи, которые довольно быстро сочли выдумкой — и считали до сегодняшней ночи, вернее, до сегодняшнего утра. Вы должны гордиться собой. Вы сделали то, что не удалось десяткам более опытных людей. Вы нашли сокровище. Настоящее сокровище.

— Этот дневник мне необходим!

— Так ли уж? — иронически спросил Уильямс.

— Если я не получу его, погибнет одна девушка! Можете делать со мной что хотите, но дайте мне возможность использовать дневник, чтобы вызволить ее. О боже! Прошу вас, прошу!

— Вы глубоко взволнованы... У вас на глазах слезы...

— О господи! Вы же просвещенный человек! Вы этого не сделаете!.. Послушайте! Возьмите оттуда любую информацию! Затем отдайте мне дневник и отпустите меня!.. Честное слово, я вернусь. Но помогите мне спасти ее!

Дюнуа медленно подошел к креслу у стены, в котором сидел Адам Уильямс, когда Мэтлок проснулся. Он придвинул кресло ближе к кровати и сел, изящно положив ногу на ногу.

— Вы чувствуете полную беспомощность. Пожалуй... вы потеряли надежду... И вы взываете к моему разуму... просвещенного человека. Вы понимаете, что в моих силах помочь вам и потому я стою выше вас. Вы бы не взывали ко мне, если бы это было не так.

— О господи, да хватит же!

— Теперь вы знаете, каково быть беспомощным. Потерять надежду. И вы сейчас думаете, не останусь ли я глух к вашим мольбам... Неужели вы хоть на секунду можете предположить, что для меня имеет какое-то значение жизнь мисс Бэллентайн? Неужели вы действительно считаете, что она для меня важнее всего остального? Так же как жизнь наших детей, наших любимых — разве это имеет какое-то значение для вас?

Мэтлок понимал, что он должен ответить Дюнуа. Черный ничего не предложит, если он попытается уйти от ответа. Еще одна игра — и нужно играть, хотя бы недолго.

— Я не заслуживаю таких слов, и вы это знаете. Я не люблю людей, которые ничего не хотят делать для ваших детей и ваших любимых. Вы же знаете меня — вы сами сказали. Значит, вы должны знать и это.

— Ну, положим, этого я не знаю! Ведь вы сами сделали выбор, решив работать на большое начальство! На Вашингтон! Десятки лет, целых два столетия мой народ взывал к главному вашингтонскому боссу. «Помогите нам! — молили люди.— Не лишайте нас надежды!» Но никто не внимал им. А теперь вы хотите, чтобы я вам внял?

— Да, хочу! Потому что я вам не враг. Возможно, я не такой, как вам хотелось бы, но я вам не враг. Если вы сделаете меня и подобных мне объектом вашей ненависти, вы люди конченые. Ведь нас больше, не забывайте этого, Дюнуа. Мы не будем бросаться на баррикады всякий раз, как вы закричите «все прогнило», но мы слышим вас. И мы готовы помочь — мы хотим помочь.

— Докажите это.— Дюнуа холодно посмотрел на Мэтлока.

Мэтлок ответил ему таким же взглядом.

— Можете использовать меня как наживку, как заложника. Можете убить меня, если надо. Но вызволите девушку.

— Мы можем все это сделать — держать вас в качестве заложника, убить — без вашего на то согласия. Ваша храбрость еще не доказательство.

— Я сделаю вам заявление,— тихо сказал Мэтлок, не давая Дюнуа отвести взгляд.— Письменное, устное — на пленке. Сделаю по собственной воле, без принуждения. Я все вам расскажу. Как меня использовали, что я делал. Все. И о людях из Вашингтона, и о Нимроде.

Дюнуа скрестил руки на груди и так же тихо произнес:

— А вы понимаете, что этим вы положите конец вашей профессиональной карьере, той жизни, которую вы так любите? Ни одно университетское начальство, имеющее хоть какую-то репутацию, не предложит вам работы. Вам никто никогда больше не будет доверять. Вы станете парией.

— Вы просили доказательств. Это все, что я могу вам предложить.

Дюнуа сидел неподвижно. Уильямс выпрямился. Все трое какое-то время молчали. Наконец Дюнуа мягко улыбнулся. В его глазах появилось сострадание.

— Вы хороший человек. Пожалуй, не слишком умелый, но упорный. Мы поможем вам. Мы не отнимем у вас надежду. Ты согласен, Адам?

— Согласен.

Дюнуа встал с кресла и подошел к Мэтлоку.

— Вы наверняка знаете избитую поговорку, что политика укладывает странных партнеров в одну постель. Иными словами, во имя практических целей можно порой пойти на странный политический альянс. В истории немало тому примеров... Нам нужен этот Нимрод так же, как и вам. Равно как и мафиози, с которыми он пытается установить мир. Это они, как хищники, набрасываются на молодежь. Необходимо преподать урок. Урок, который внушит ужас другим нимродам, другим мафиози... Мы поможем вам, но при одном условии.

— А именно?

— Ликвидацию Нимрода и остальных осуществим мы. Мы не верим вашим судьям и присяжным. Ваши суды продажны, ваши законы сводятся к финансовым махинациям..

Наркоманов бросают в тюрьму, а богатые гангстеры подают апелляции... Нет, ликвидацию должны осуществить мы.

— Мне на это наплевать. Делайте что хотите.

— То, что вам наплевать,— этого недостаточно. Мы требуем большего. Нам нужна гарантия.

— Что же я могу вам гарантировать?

— Ваше молчание. Вы ничего о нас не знаете. Мы возьмем корсиканскую бумагу, найдем место встречи и будем в ней участвовать. Мы выберем из дневников то, что нам необходимо,— это, кстати, уже делается... Но ваше молчание чрезвычайно важно. Мы вам поможем сейчас — то есть сделаем все возможное,— но вы не должны упоминать о нашем вмешательстве. Что бы ни случилось, вы никогда, прямо или косвенно, не должны даже намекать на наше участие. Если вы это сделаете, мы убьем вас и вашу девушку. Понятно?

— Да.

— Значит, мы достигли соглашения?

— Достигли.

— Благодарю вас,— улыбнулся Дюнуа.

## 33

Постепенно Мэтлоку становилось все яснее, почему черные так упорно охотились за ним и почему Дюнуа готов ему помочь. Ведь он, Мэтлок, располагает информацией, которая им так нужна. С кем он имеет дело внутри и вне университета? Имена правительственных агентов и где они действуют? Как осуществляется связь?

Другими словами, кого Джулиану Дюнуа следует избегать при наступлении на Нимрода?

— Должен сказать, вы были на редкость плохо подготовлены ко всякого рода неожиданностям,— заметил Дюнуа.

— Мне это тоже приходило в голову. Но думаю, сам я виноват лишь отчасти.

— Вы правы! — засмеялся Дюнуа, а вслед за ним и Уильямс.

Никто из них не покидал комнаты. Им принесли складной карточный столик и несколько желтых блокнотов. Дюнуа подробнейшим образом записывал все, что сообщал ему Мэтлок. Он перепроверял написание имен, адреса — видно было, что работает профессионал.

Дюнуа скрепил несколько страниц вместе и принялся писать в новом блокноте.

— Зачем? — спросил Мэтлок.

— Сейчас внизу снимут копии с этих записей. Информацию передадут в мою нью-йоркскую контору... Как и копии всех до единой страниц дневника профессора Херрона.

— Вы времени не теряете!

— Нет, не теряем.

— Это все, что я могу вам сообщить. Что мы теперь будем делать? Что я должен делать? Не скрою — мне страшно. Я боюсь даже подумать, что может с ней произойти.

— С ней ничего не произойдет. Можете мне поверить. В данный момент ваша мисс Бэллентайн в такой же безопасности, как в объятиях своей матушки. Или в ваших. Приманка ведь она, а не вы. И приманку эту будут держать свежей и неподпорченной. Ибо у вас в руках то, что им нужно. Без этого им не жить.

— Тогда давайте сделаем им предложение. И чем быстрее, тем лучше.

— Не волнуйтесь. Это будет сделано. Но мы должны сначала решить, учитывая все обстоятельства, как это сделать. Пока что у нас есть две возможности. Первая — это сам Крессел. Встретиться с ним лично. Вторая — использовать полицейское управление, чтобы они передали Нимроду то, что вы хотите ему сказать.

— Зачем это делать — использовать полицию?

— Я лишь перечисляю возможности... Почему полицию? Сам не знаю. Разве что из-за одного обстоятельства: в дневниках Херрона сказано, что Нимрода не раз меняли.

— К чему вы клоните?

— Я просто размышляю. Человек, находящийся на месте Нимрода, обладает авторитарной властью. Следовательно, важен пост, а не человек. Человек же может использовать свой пост как хочет.

— Но пост,— вмешался Уильямс,— можно дать и отобрать. Нимрод — не последняя инстанция.

— Вот именно. Поэтому, возможно, Мэтлоку выгоднее распустить слух, что у него в руках оружие. Что Кресселу — Нимроду надо быть поосторожнее. Ради общего блага.

— А не приведет ли это к тому, что за мной начнет охотиться еще больше народу?

— Возможно. С другой стороны, это может привести к тому, что целый легион напуганных преступников бросится защищать вас. Пока угроза не будет ликвидирована. Никто не станет действовать опрометчиво, пока эта угроза не устранена. И Нимроду тоже не позволят действовать опрометчиво.

— Насколько я понимаю, вы пытаетесь в какой-то мере оторвать Нимрода от его организации.

Дюнуа щелкнул пальцами обеих рук, словно кастаньетами, и улыбнулся.

— Вы быстро схватываете. Это первая заповедь повстанцев. Одна из главных целей проникновения в ряды противника. Разделять! Разделять!

Дверь открылась; вошел встревоженный черный и молча передал Дюнуа записку. Дюнуа прочитал ее и закрыл глаза. Это означало, что он сильно встревожен. Затем он спокойно поблагодарил черного посыльного и вежливо отпустил его. Взглянул на Мэтлока, но записку передал Уильямсу.

— Наша стратегия, конечно, имеет исторические прецеденты, но сейчас они для нас — пустой звук. Крессел и его жена мертвы. Доктора Силфонта увезли из дома под конвоем в карлайлской полицейской машине.

— Что? Крессел? Не верю! Неправда!

— К сожалению, правда. Пятнадцать минут назад из дома вынесли два тела. Сообщается, что это убийство и самоубийство. Естественно. Подходит как нельзя лучше.

— О боже! Это моя вина. Я вынудил их на это пойти! Силфонт! Куда его увезли?

— Мы не знаем. Наши братья, которые вели наблюдение, не посмели поехать за полицейской машиной.

Мэтлок лишился дара речи. Страх снова парализовал его. Он рухнул на кровать и уставился в пустоту. Столько боли, столько смертей — и причина всему он.

— Это серьезное осложнение,— сказал Дюнуа, опершись локтями на карточный столик.— Нимрод уничтожил все ваши связи. Тем самым он дал ответ на важнейший вопрос и уберег нас от страшной ошибки: я имею в виду, конечно, Крессела. Однако, если посмотреть на дело с другой стороны, Нимрод оставил нам теперь лишь одну возможность. У вас нет больше выбора. Теперь вы должны действовать через армию Нимрода, через карлайлскую полицию.

Мэтлок ошеломленно глядел на Джулиана Дюнуа.

— И это все, на что вы способны? Сидеть здесь и спокойно обсуждать следующий шаг?.. Крессел мертв. Его жена мертва. Возможно, уже убили и Адриана Силфонта. Это же были мои друзья.

— Я вам сочувствую, но буду с вами честен: я вовсе не жалею об этих троих. Откровенно говоря, Адриан Силфонт — единственная настоящая потеря: с ним можно было бы работать, это блестящий ум, и тем не менее я не собираюсь его оплакивать. Мы теряем в гетто тысячи людей каждый месяц. Вот о них я готов скорбеть... Однако продолжим. У вас действительно нет выбора. Придется вам вступать в контакт через полицию.

— Вы ошибаетесь.— Мэтлок вдруг почувствовал, что силы возвращаются к нему.— У меня есть выбор... Гринберг рано утром уехал из Западной Виргинии. Сейчас он уже в Вашингтоне. У меня есть нью-йоркский номер, по которому я могу связаться с ним. Я доберусь до Гринберга.— Достаточно он всего натворил, достаточно причинил страданий. Не может он рисковать жизнью Пэт. Больше не может. Не способен.

Дюнуа снял руки со столика, откинулся в кресле и в упор посмотрел на Мэтлока.

— Некоторое время назад я сказал, что вы быстро схватываете. Я должен внести поправку. Вы быстро схватываете, но вы легкомысленны... Вы не доберетесь до Гринберга. Это не входит в наше соглашение, а вы его не нарушите. Либо вы его выполните так, как мы договорились, либо вас ждет кара, о которой я сказал.

— Не смейте угрожать мне! Мне надоели угрозы!

Мэтлок встал. Дюнуа сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил пистолет. Это был тот самый черный автоматический пистолет, который Мэтлок снял с мертвеца на восточном склоне ущелья. Дюнуа тоже встал.

— В медицинском заключении будет, несомненно, сказано, что смерть наступила на рассвете.

— Прошу вас! Ведь девушка в руках убийц!

— И вы тоже,— спокойно сказал Дюнуа.— Разве вы этого не понимаете? У нас и у них разные мотивы, но это именно так: нас вынуждают быть убийцами.

— Вы не зайдете так далеко!

— Ну что вы, зайдем. И пойдем гораздо дальше. Мы бросим ваш не имеющий никакой цены труп перед полицейским участком, приколов к вашей окровавленной рубашке записку. Мы потребуем смерти девушки до начала переговоров. Они охотно согласятся, ибо ни та, ни другая сторона не может рисковать, оставив ее в живых. А когда и она будет мертва, гиганты начнут свою битву.

— Вы чудовище!

— Я такой, каким вынужден быть.

Воцарилось молчание. Мэтлок закрыл глаза и шепотом спросил:

— Что я должен делать?

— Вот это уже лучше.— Дюнуа сел, бросив взгляд на Адама Уильямса,— тот явно нервничал. На какое-то мгновение Мэтлок почувствовал сродство с этим университетским радикалом. Уильямс тоже был испуган, тоже не уверен в себе. Как и Мэтлок, он был плохо подготовлен к тому, чтобы иметь дело с миром Джулиана Дюнуа или Нимрода. Гаитянец словно прочитал мысли Мэтлока.

— Вы должны верить в себя. Помните: вы добились куда большего, чем другие, располагая куда меньшими возможностями. И вы необычайно храбрый человек.

— Я не считаю себя таким уж храбрецом.

— Храбрый человек редко считает себя таковым. Удивительно, правда? Идите сюда. Садитесь.— Мэтлок повиновался.— Знаете, мы — вы и я — не настолько уж отличаемся друг от друга. В другие времена мы бы даже могли быть союзниками. Правда, как заметили многие мои братья, я ищу святых.

— Их нет,— сказал Мэтлок.

— Возможно. А впрочем — кто знает... Но мы обсудим это в следующий раз. А сейчас надо составить план. Нимрод ждет вас. Не будем его разочаровывать. Однако мы должны обеспечить себе прикрытие со всех флангов.— Он пригнулся к столу, глаза его сверкнули, на губах заиграло что-то похожее на улыбку.

Хитроумный план Дюнуа предусматривал целый ряд шагов, которые должны были обеспечить безопасность Мэтлока и девушки.

— У меня есть две побудительные причины,— пояснил Дюнуа.— И вторая, откровенно говоря, для меня важнее. Нимрод явится лично лишь в том случае, если у него не будет иного выхода. А мне нужен Нимрод. Я не желаю иметь дело с подставным лицом.

В основе плана лежал дневник Херрона, особенно последние записи, касающиеся личности Нимрода.

— Херрон ясно заявляет, что не хочет называть имени. Именно не хочет. Он явно считал, что не имеет права бросать тень на этого человека — вдруг информация ошибочна. Он решительно против обвинения на основе слухов. Совсем как вы, Мэтлок,— вы же отказались принести Херрона в жертву на основании одного лишь истерического телефонного звонка. А Херрон знал, что может в любую минуту умереть; физически он очень страдал... И он хотел быть абсолютно уверен.— Дюнуа начал чертить какие-то геометрические фигуры на чистом листе желтой бумаги.

— И тогда его убили,— сказал Мэтлок.— Причем так, чтоб это выглядело как самоубийство.

— Да. Дневники это подтверждают. Как только Херрон точно узнал, кто такой Нимрод, он готов был перевернуть небо и землю, чтобы записать это в свой дневник. Наши враги не знают, что он этого не сделал. Это и есть наш дамоклов меч.

В качестве своего первого защитного шага Мэтлок должен позвонить шефу карлайлской полиции и сказать, что он знает, кто такой Нимрод. И договариваться он будет только с самим Нимродом. Это — меньшее из двух зол. За ним охотятся. Выдан ордер на его арест, о чем, конечно, карлайлской полиции известно. Если даже с него снимут другие, менее серьезные обвинения, ему не уйти от обвинения в убийстве. Или даже в двух убийствах. Ибо он убил двух человек — улик предостаточно, а надежного алиби у него нет. Он не знает этих людей, которых он убил. У него нет свидетелей, которые могли бы подтвердить, что это была самозащита; убиты же оба столь страшно, что это

дает достаточно оснований изолировать убийцу от общества. В лучшем случае его ждет несколько лет тюрьмы.

Затем он выдвинет свои условия сделки с Нимродом: дневники Лукаса Херрона в обмен на свою жизнь и жизнь девушки. Естественно, за эти дневники можно запросить такую сумму, которая позволит им обоим уехать далеко отсюда и начать новую жизнь.

Нимрод может это сделать. Должен это сделать.

— Успех первой фазы зависит от того, насколько вы будете убедительны.— Дюнуа тщательно выбирал слова.— Помните, вы — в панике. Вы убили, отняли у людей жизнь. Вы человек, не склонный к насилию, но обстоятельства вас заставили, вынудили пойти на страшные преступления.

— Это так и есть. Вы даже не представляете себе, насколько вы правы.

— Хорошо. Вот это чувство вы и должны выразить. Человек, охваченный паникой, стремится как можно скорее покинуть место происшествия, вызвавшего у него панику. Нимрод должен этому поверить. Это — гарантия вашей безопасности на данный момент.

Потом Мэтлок позвонит вторично, чтобы получить согласие Нимрода на встречу. На данном этапе место встречи может быть выбрано Нимродом. Позже Мэтлок снова позвонит, чтобы узнать, где они встретятся. Но встреча должна произойти до десяти часов утра.

— Тут вы, беглец, уже завидевший свободу, неожиданно начинаете сомневаться,— сказал Дюнуа.— Вы на грани истерики, и вам нужна гарантия.

— Какая же это?

— Третье лицо; мифическое третье лицо...

Мэтлок должен поставить в известность человека из карлайлской полиции, что он подробно описал деятельность Нимрода, рассказал о дневнике Херрона, назвал все имена и так далее. Эти показания в запечатанном конверте переданы другу. В десять утра письмо будет отправлено в министерство юстиции, если от Мэтлока не поступит иных указаний.

— Здесь, во второй фазе, многое также будет зависеть от вашей убедительности, но убедительности уже другого рода. Посмотрите, как ведет себя животное, когда неожиданно открывают клетку. Оно недоверчиво, подозрительно; оно осторожно приближается к выходу на волю. Точно так же должен вести себя и наш беглец. Они ждут этого. За последнюю неделю вы проявили много находчивости. По логике вещей вы уже давно должны быть трупом, но вы живы. Надо и дальше проявлять такую же изворотливость.

— Я понимаю.

Последняя фаза была разработана Джулианом Дюнуа, чтобы гарантировать — насколько это возможно в данной ситуации — вызволение девушки и безопасность Мэтлока. Для этого Мэтлоку придется в третий и последний раз позвонить связному Нимрода. Цель звонка — договориться о месте встречи и точном времени.

Когда Мэтлоку скажут и то и другое, он должен немедленно согласиться.

Сначала.

А затем, несколькими секундами спустя — как будто без всякой причины, разве что в припадке подозрительности,— он должен отвергнуть выбор Нимрода.

Не время, но место встречи.

Он должен заколебаться, начать заикаться и вообще вести себя как можно неразумнее, а затем неожиданно назвать другое место встречи, по своему выбору, но так, словно ему это только что пришло в голову. Дальше он должен снова напомнить о своих несуществующих показаниях, которые его мифический друг якобы отправит в Вашингтон в десять утра. После чего, уже не слушая, он должен повесить трубку.

— Главное в этой третьей фазе, чтобы чувствовалось, что вы по-прежнему в панике. Нимрод должен понять, что теперь вами движут примитивные инстинкты. Вот-вот уже должна состояться ваша встреча. Вы вдруг взбрыкнули, затем отступаете, создаете барьеры, чтобы не попасться ему в сети, если он их расставляет. В таком состоянии вы для него не менее опасны, чем раненая кобра — для тигра. Ибо здравого смысла больше нет, есть лишь инстинкт выживания. Тут уж он понимает, что должен встретиться с вами сам и привести с собой девушку. Естественно, он прибудет со своей дворцовой стражей. Намерения его не изменятся. Он заберет дневники, возможно, обсудит во всех деталях план вашего дальнейшего устройства, а когда выяснит, что нет ни письма, ни друга, который должен его отправить, он попытается убить вас обоих... Однако он ничего не сможет сделать. Ибо его буду

ждать я со своей дворцовой стражей... А сейчас мы с вами определим место встречи, которое вы назовете в припадке истерики. Оно должно быть в таком районе, который вы хорошо знаете, где вы часто бывали. Не слишком далеко, так как у вас ведь нет автомобиля. Место достаточно уединенное, поскольку за вами охотятся блюстители закона. И тем не менее легко доступное, чтобы вы могли добраться туда быстро и незаметно.

— Вы просто описали «Гнездо Херрона», его дом.

— Допускаю, но мы не можем им воспользоваться. Психологически это не годится. Не соответствует рисунку поведения нашего беглеца. Ведь «Гнездо Херрона» — источник его страха. Он туда не вернется... Нужно другое место.

Заговорил Уильямс. Неуверенно, все еще побаиваясь окончательно связать себя с миром Дюнуа:

— Я вот подумал, а что, если...

— Что, брат Уильямс? О чем ты подумал?

— Профессор Мэтлок часто обедает в ресторане «Чеширский кот».

Мэтлок резко поднял голову и посмотрел на черного радикала.

— Как? И вы тоже? Вы следили за мной?

— Очень часто. Сами мы в такие места не ходим. Мы бы там слишком выделялись.

— Дальше, брат,— прервал его Дюнуа.

— «Чеширский кот» находится примерно в четырех милях от Карлайла и примерно в полумиле от шоссе, по которому туда обычно ездят, но есть и более короткая дорога. Позади ресторана и по обе его стороны — внутренние дворики и сады, где обедают летом. А за ними лес.

— Кто там сейчас?

— По-моему, никого, кроме ночного сторожа. Ресторан открывается только в час дня. Не думаю, чтобы повара и уборщицы приезжали туда раньше половины десятого или десяти.

— Отлично! — Дюнуа взглянул на часы.— Сейчас десять минут шестого. Допустим, мы будем осуществлять нашу операцию по фазам с интервалами в пятнадцать минут и еще добавим двадцать минут на дорогу — это будет шесть пятнадцать. С учетом всяких случайностей, скажем — шесть тридцать. Встречу мы назначим на семь часов за «Чеширским котом». Пора поднимать людей.

Уильямс встал и направился к двери. На пороге он обернулся и спросил Дюнуа:

— Вы не передумаете? Не разрешите мне пойти с вами?

— Не надоедай,— отрезал Дюнуа, даже не взглянув на него.— Мне слишком многое надо обдумать.

Уильямс быстро вышел из комнаты.

Дюнуа продолжал чертить свои бессмысленные геометрические фигурки в желтом блокноте. Только сейчас он сильнее нажимал на карандаш, и тот оставлял глубокие следы на бумаге. Ломаные линии и зигзаги сходились в одну точку.

Это были молнии.

— Послушайте,— сказал Мэтлок.— Еще не поздно. Сообщите властям. Прошу вас, ради бога! Нельзя рисковать жизнью ваших ребят!

Глаза Дюнуа впились в Мэтлока.

— Неужели вы хоть на минуту можете предположить, что я позволю этим детям бросаться в воду там, где я сам не решаюсь плавать? — не без презрения сказал он.— Мы не ваш объединенный комитет начальников штабов, Мэтлок. Мы с бо́льшим уважением, с большей любовью относимся к нашей молодежи... А теперь пойдемте.

Дюнуа вышел с Мэтлоком из маленькой комнаты без окон и по коридору вывел его к лестнице. Там околачивалось несколько студентов, но их было немного. Большинство обитателей Лумумба-Холла спало. Они спустились по лестнице на два марша и оказались перед дверью. Мэтлок вспомнил, что она ведет в погреба и в старый высокий зал для собраний, где он наблюдал страшноватый обряд африканского племени. Пока они шли, Дюнуа не произнес ни слова.

В зале было восемь человек — все черные, выше шести футов ростом, все в одинаковых комбинезонах защитного цвета с открытым воротом, в сапогах по щиколотку из черной мягкой кожи, на толстой каучуковой подошве. Несколько человек играли в карты, другие читали, третьи тихо беседовали. Они все непринужденно кивнули,

приветствуя Дюнуа и его гостя. Двое или трое улыбнулись Мэтлоку, как бы стремясь сделать атмосферу менее официальной.

— Дворцовая стража,— тихо произнес Дюнуа.

— Ну и ну!

— Отборный отряд. Каждый из них проходит тренировку в течение трех лет. Нет такого оружия, которым он не владеет или не может починить. Нет такой машины, которую он не может наладить... Или философского учения, которое не может оспорить. Каждый знаком с самыми безжалостными приемами борьбы. И каждый готов пойти на смерть ради нашего дела.

— Бригада террористов? Это ведь не ново.

— Ну, если это так назвать, то не ново. Но не забывайте, где я вырос. Тонтон-макуты Дювалье — настоящие гиены; я видел их за работой. Эти люди на них не похожи.

— Я думал не о Дювалье.

— С другой стороны, я кое-чем обязан Папе Доку. Идея тонтон-макутов очень занимала меня. Но я понимал, что в нее нужно внести некоторые изменения. Сейчас такие отряды возникают по всей стране.

— Они и раньше возникали,— сказал Мэтлок.— Их тогда тоже называли «отборными отрядами». А еще — отрядами СС.

Дюнуа взглянул на Мэтлока, и Мэтлок по глазам увидел, что больно задел его.

— Такие аналогии обидны. И неоправданны. Мы делаем то, что нас вынуждают делать. Мы боремся за справедливость.

— Ein Volk, ein Reich, ein Führer [1],— тихо произнес Мэтлок.

## 34

Все произошло очень быстро. Двое из отборного отряда Дюнуа были прикреплены к Мэтлоку, остальные отправились на встречу с Нимродом, чтобы подготовиться и достойно принять отборный отряд личной армии Нимрода, который, вне всякого сомнения, будет его сопровождать. После того как разведчики донесли, что путь свободен, Мэтлок пересек университетский городок. Его подвели к телефонной будке на нижнем этаже общежития первокурсников, откуда он и позвонил.

Он понял, что владевший им неизбывный страх помог произвести то впечатление, которое хотел создать Дюнуа. Он истерически кричал в трубку, сам не понимая, где реальность, а где фантазия. Ему хотелось быть свободным. Хотелось, чтобы Пэт была жива и свободна вместе с ним. И если Нимрод может ему это дать, почему бы по-доброму не заключить сделку с Нимродом?

Все было как в страшном сне. Он испугался на мгновение, что вот сейчас выкрикнет правду и отдаст себя на милость Нимрода. Но вид «тонтон-макутов» Дюнуа возвращал его к действительности, и он закончил свой первый телефонный разговор без срыва. «Начальник» карлайлской полиции передаст эту информацию, получит ответ и будет ждать следующего звонка Мэтлока.

Разведчики Дюнуа донесли, что неподалеку от второго телефона-автомата обнаружена полицейская машина. Но у Дюнуа на всякий случай были приготовлены для каждого звонка запасные варианты, и Мэтлока быстро доставили к запасному телефону-автомату на задней лестнице Студенческого союза.

Второй разговор прошел гораздо легче, хотя лучше это было или хуже — неясно. Мэтлок подчеркнул, что его показания будут отправлены по почте в десять утра. Нажим произвел должное впечатление, и Мэтлок возблагодарил судьбу. «Начальник» испугался и даже не пытался скрыть свой испуг.

Мэтлок побежал к ожидавшему его автомобилю. Это был старый побитый «бьюик», обшарпанный и неприметный. Однако внешний вид его не соответствовал внутреннему. Внутри все было продумано и аккуратно, как в танке. Под приборной доской находилось мощное радио; стекла были по крайней мере в полдюйма толщиной — насколько Мэтлок понимал, пуленепробиваемые. В стенках салона были укреплены короткоствольные дальнобойные ружья, в корпусе проделаны амбразуры, закрытые пока резиновыми клапанами. Звук двигателя поразил Мэтлока. Такого мощного мотора он еще никогда не слышал.

---

[1] Один народ, один рейх, один фюрер *(нем.)*.

Они следовали за автомобилем, шедшим впереди на небольшой скорости; Мэтлок понимал, что сзади тоже едет машина. Дюнуа недаром говорил, что надо обеспечить себе прикрытие со всех флангов. Дюнуа был настоящий профессионал.

И Мэтлоку стало не по себе, когда он подумал, что это за профессия.

«Я уезжаю из этой проклятой страны...» — вспомнилось ему.

Неужели дошло до этого?

И еще: «...Вы думаете, это чем-то отличается от всего остального?.. Это же мини-Америка!.. И работает так же, как большие компании!»

Страна больна. Где же лекарство?

— Ну вот мы и приехали. Третья фаза.— Черный, командовавший операцией, дотронулся до руки Мэтлока и ободряюще улыбнулся. Мэтлок вылез из машины. Они находились на шоссе к югу от Карлайла. Машина, которая шла впереди, остановилась ярдах в ста от них у обочины и выключила фары. Машина, шедшая сзади, сделала то же самое.

Перед Мэтлоком было два телефона-автомата. Один из черных подошел к правой будке, открыл дверцу — в потолке загорелся тусклый свет — и, быстро сняв плафон, вывернул лампочку. Кабина погрузилась в темноту. Мэтлока поразило и даже приятно удивило, что гигант негр выключил свет таким способом. Ведь было бы куда легче и быстрее просто разбить стекло.

Цель последнего звонка, по плану Дюнуа, заключалась в том, чтобы отклонить место встречи, выбранное Нимродом. Отклонить так, чтобы Нимрод был вынужден принять место встречи, в панике предложенное Мэтлоком. А именно — ресторан «Чеширский кот».

Голос полицейского звучал настороженно:

— Наш общий друг понимает вашу тревогу, Мэтлок. Он бы так же чувствовал себя на вашем месте. Он с девушкой будет ждать вас у южного входа на стадион. Это недалеко от спортивного корпуса и общежитий. Там есть ночные сторожа; с вами ничего не может случиться...

— Хорошо, хорошо... О'кей.— Мэтлок, готовя почву для отказа, старался, чтобы в голосе его звучало сдерживаемое волнение.— Там вокруг люди, значит, если кто-то из вас попытается что-то сделать, я могу заорать во все горло. И заору!

— Конечно. Но вам не придется орать. Никто никому не хочет причинять зло. Это просто сделка — наш друг так и просил вам передать. Он восхищен вами...

— А как я могу быть уверен, что Пэт будет с ним? Я должен быть в этом уверен!

— Это же сделка, Мэтлок.— Голос был масленый, но в нем появились нотки отчаяния. «Кобра» вела себя непредсказуемо.— Обычная сделка. Не забудьте, нашему другу нужно то, что вы нашли.

— Не забуду...— Мэтлок лихорадочно соображал. Необходимо изменить место встречи, но так, чтобы не вызвать подозрений. Если Нимрод что-то заподозрит, можно считать, что Дюнуа приговорил Пэт к смерти.— А вы скажите нашему другу, чтобы он не забыл, что в конверте, адресованном в Вашингтон, лежат мои показания!

— Он знает об этом, то есть я хочу сказать... это его беспокоит... вы меня понимаете? Значит, увидим вас у стадиона, о'кей? Через час, о'кей?

Пора. Другого такого момента может и не представиться.

— Нет! Подождите... В университетский городок я не поеду! Агенты из Вашингтона... они наблюдают за всем этим районом! Они всюду! Они меня заберут!

— Нет, не заберут...

— Вы-то откуда знаете?

— Никого тут нет. Все о'кей. Успокойтесь, пожалуйста.

— Легко вам говорить, а каково мне! Нет, я скажу вам где...— и он заговорил быстро, сбивчиво, словно отчаянно ища выход. Сначала упомянул дом Херрона и, прежде чем голос выразил согласие или несогласие, сам отверг этот вариант. Затем назвал железнодорожный склад, но тотчас по каким-то малопонятным причинам отказался от него.

— Ну-ну, не надо так волноваться,— произнес голос.— Это же простая сделка...

— Ресторан! За городом. «Чеширский кот»! За рестораном есть сад...

Человек на другом конце провода был явно сбит с толку, и Мэтлок понял, что

разыграл все как надо. Он в последний раз упомянул о дневнике, о своих письменных показаниях и с грохотом опустил трубку на рычаг.

Он стоял в кабине, совсем измочаленный. Несмотря на утреннюю прохладу, по его лицу струился пот.

— Вы лихо справились,— сказал чернокожий, командовавший операцией.— Ваш противник выбрал место на территории университета, насколько я понимаю. Очень умно с его стороны. Но вы лихо справились, сэр.

Мэтлок взглянул на негра, благодарный за похвалу и немало удивленный собственной находчивостью.

— Не знаю, смог ли бы я проделать это снова.

— Конечно, смогли бы,— ответил темнокожий, шагая с Мэтлоком к машине.— Крайнее напряжение активизирует память, которая тогда действует как ЭВМ. Ищет, отбрасывает, принимает решение... и все это мгновенно. Конечно, пока человек не запаниковал. Сейчас ведутся интересные исследования в области различных пороговых состояний.

Они подошли к автомобилю. Негр открыл дверцу, и автомобиль рванулся вперед.

— Мы подъедем с юго-запада,— сказал темнокожий водитель,— и высадим вас ярдах в ста от дорожки, по которой ходят служащие ресторана. Мы вам ее покажем. Идите прямо к большой белой беседке и пруду с золотыми рыбками. Вы знаете эту часть сада?

— Да, знаю. Непонятно только, откуда вы ее знаете.

— Я, конечно, не ясновидящий,— улыбнулся водитель.— Пока вы были в будке телефона-автомата, я связался с нашими людьми по радио. Все уже готово. Мы начеку. Запомните, белая беседка и пруд с золотыми рыбками... Вот возьмите. Это записная книжка и конверт.— Водитель сунул руку в карман на дверце машины и вытащил клеенчатый пакет, к которому толстой резинкой был прикреплен конверт.

— Мы будем там меньше чем через десять минут,— сказал главный, поудобнее устраиваясь на сиденье. Мэтлок взглянул на него. К его ноге были прикреплены, а вернее, вшиты в брюки кожаные ножны. До сих пор он их не замечал и понял почему. Они были пусты. А сейчас из ножен торчала костяная рукоятка ножа с длинным — не меньше десяти дюймов — лезвием.

Отборный отряд Дюнуа был в полной боевой готовности.

## 35

Он стоял возле высокой белой беседки. Солнце зажгло край неба на востоке, лес же был все еще погружен в густой туман, тускло отражавший свет раннего утра. Дорожки, окаймленные деревьями с молодой листвой, сходились к пруду, где плескались золотые рыбки. Громко переговаривались птицы, приветствуя солнце и готовясь к дневной охоте.

В памяти Мэтлока вновь возникло «Гнездо Херрона», неприступная зеленая стена, отделявшая старика от внешнего мира. Есть какое-то сходство, подумал он. Возможно, так и должно быть — чтобы все закончилось именно в таком месте.

Он закурил и, затянувшись всего два раза, тут же потушил сигарету. Он крепко держал записную книжку перед грудью, словно это был непробиваемый щит, и при каждом звуке резко поворачивал голову, сознавая, что на карту поставлена его жизнь.

Интересно, где сейчас люди Дюнуа? Где спряталась его отборная гвардия? Что они делают — наблюдают за ним и смеются над его нервными подергиваниями, над его очевидным страхом? Или залегли среди деревьев, готовые выскочить и убивать не задумываясь?

И кого им придется убивать? Сколько человек будет у Нимрода и как они будут вооружены? Вообще, приедет ли Нимрод? Вернет ли он девушку, которую Мэтлок так любит? И если да, не попадут ли они с ней в резню, которая непременно начнется?

Кто же все-таки Нимрод?

Он затаил дыхание. Руки и ноги свело судорогой от страха. Он крепко закрыл глаза, сам не зная зачем — чтобы лучше слышать или молиться. Вот только он не верил в существование бога. Поэтому он слушал, крепко закрыв глаза, и наконец услышал.

Два автомобиля один за другим свернули с шоссе, на большой скорости подъехали к «Чеширскому коту» и резко затормозили. Взвизгнули шины.

Затем все снова смолкло. Даже птицы перестали петь; не было слышно ни звука.

Мэтлок шагнул назад, к беседке, и прижался к ее решетчатой стенке. Он напряг слух, чтобы уловить хоть что-то.

Тишина. И в то же время — нет... Снова какой-то звук, почти не нарушавший тишины, как шелест сухого листа. Какое-то неуверенное царапанье. Оно доносилось с одной из дорожек, ведущих к тому месту, где стоял Мэтлок.

Сначала звук этот был едва различим. Затем он стал чуть отчетливее, и Мэтлок услышал тихий стон, захлебнувшийся в рыдании:

— Джеми... Джеми? Пожалуйста, Джеми...

Мэтлок швырнул на землю клеенчатый пакет. От ярости и слез он ничего не видел.

— Пэт! Пэт! — закричал он.— Где ты? Пэт, боже, где ты? Где?!

Рыдания — от облегчения и от боли — стали громче:

— Здесь... Здесь, Джеми! Я ничего не вижу.

Он бросился по дорожке на звук ее голоса. Пэт стояла на коленях, уткнувшись забинтованной головой в землю. Она упала. По шее текли струйки крови: швы на голове разошлись.

Он бросился к Пэт и осторожно приподнял ее голову.

Под бинтами было несколько слоев широкой клейкой ленты, прилепленной к вискам и безжалостно наложенной на веки. Лента плотно, как стальной панцирь, стягивала лицо.

Мэтлок осторожно поднял девушку и прижался лицом к ее лицу, снова и снова повторяя:

— Теперь все будет в порядке... Все будет в порядке...

— Отдай им! — вдруг закричала Пэт, вся напрягшись.— Ради бога, отдай то, что они хотят.

Он, спотыкаясь, пошел по дорожке назад, к пруду.

— Отдам, отдам, моя хорошая.

— Прошу тебя, Джеми, не давай им больше дотрагиваться до меня! Никогда!

— Нет, моя родная! Никогда, никогда...

Он медленно опустил девушку на мягкую землю.

— Сними с меня ленту! Пожалуйста, сними!

— Я не могу сейчас, моя хорошая. Тебе будет больно. Погоди немного...

— Пусть будет больно!.. Я больше не вынесу!

Что он может сделать? Что должен сделать? О боже! О господи! Да скажи же мне, сукин ты сын! Скажи! Скажи!

Он посмотрел в сторону беседки. Клеенчатый пакет лежал на земле — там, где он его бросил.

Выбора у него теперь не было. Ему было все равно.

— Нимрод!.. Нимрод! Выходи же, Нимрод! И веди с собой свою проклятую армию! Выходи же и получай, Нимрод! У меня все здесь, с собой!

Наступила тишина. Потом он услышал шаги.

Точные, уверенные.

На средней дорожке показался Нимрод.

Адриан Силфонт.

— Мне очень жаль, Джеймс.

Мэтлок потрясенно молчал, не в силах осмыслить страшный, невероятный факт. Он медленно поднялся.

— Давайте, Джеймс. Мы же обо всем договорились. Мы позаботимся о вас.

— Нет... Нет, я не отдам... я вам не верю! Это неправда. Этого не может быть...

— Нет, все именно так.— Силфонт щелкнул пальцами правой руки. Это был сигнал.

— Нет... Нет! Нет! Нет! — закричал Мэтлок.— Мне же сказали, что вас увезли! Я считал вас мертвым и винил себя в вашей смерти!

— Никто меня не увозил — меня эскортировали. Давайте сюда дневники.— Раздраженный Силфонт снова щелкнул пальцами.— И корсиканскую бумагу. Насколько я понимаю, и то и другое при вас.

Послышался еле уловимый шорох, сдавленный кашель, приглушенное восклицание. Силфонт быстро обернулся и резко сказал:

— Выходите!

— Но все-таки зачем?

— Мы были вынуждены. Я был вынужден. У нас не было выхода.

— Не было выхода? — Мэтлок не верил своим ушам.— Не было выхода из чего?

— Из катастрофы! Мы находились на грани финансового краха! Наши последние ресурсы были исчерпаны; больше обращаться было не к кому. Моральная коррупция достигла апогея — просьбы университетов стало невыгодно удовлетворять, они всем надоели. У нас оставался единственный выход: подняться над теми, кто погряз в коррупции. Мы так и поступили — и выжили.

Несмотря на все свое смятение, Мэтлок вдруг увидел, как из отдельных кусочков головоломки складывается картина. Скрытые колесики секретного сейфа стали на место, и тяжелая стальная дверь открылась... Неожиданный фонд Карлайла... Но дело не ограничивалось Карлайлом; Силфонт только что сказал об этом. Просьбы о финансовой помощи надоели! И вот начался сбор средств... негласный, но начался!

Повсюду!

Во всех университетах продолжали изыскивать средства, но уже спокойно, без угрозы финансового краха, которая еще недавно была темой бесконечных кампаний в десятках колледжей и университетов.

Напрашивался вывод — если бы кто-то потрудился его сделать,— что кризисы миновали. Восстановилась нормальная жизнь.

Но на самом деле это было не так. Нормой стало извращение.

— Боже милостивый! — в ужасе прошептал Мэтлок.

— Он, могу вас заверить, никак нам не помог,— ответил Силфонт.— Все наши достижения — дело рук человеческих. Посмотрите на нас теперь... Полностью независимы! Наша сила непрерывно растет. Через пять лет каждый из крупных университетов на Северо-Востоке станет частью независимой федерации!

— Вы больны... Вы — раковая опухоль!

— Мы выжили! И право же, выбор был не таким уж трудным. Никто ведь не пытался остановить ход событий. И меньше всего мы... Просто мы приняли решение заменить основных игроков.

— Но чтобы именно вы...

— Да. Меня удачно выбрали, верно? — Силфонт снова обернулся и крикнул: — Я же сказал, выходите! Беспокоиться не о чем. Нашему другу безразлично, кто вы. Скоро он уже будет в пути... Не так ли, Джеймс?

— Вы безумец. Вы...

— Ничего подобного! Нет более разумного человека, чем я. И более практичного... История повторяется — вам ли этого не знать. Расползается ткань общества, и оно делится на смертельно враждебные друг другу лагери. На первый взгляд перед вами сонное царство, но стоит только царапнуть — и кровь хлынет рекой.

— Это вы заставляете ее литься! — закричал Мэтлок — он уже не мог сдерживаться.

— Напротив! Вы — надутый, самодовольный осел! — Силфонт смотрел на Мэтлока в холодной ярости, голос его стегал как бич.— Кто дал вам право судить? Где вы были, когда такие, как я — в каждом учебном заведении,— стояли перед реальной перспективой закрытия наших университетов? Вы были в безопасности, ибо мы защищали вас... А наши просьбы оставались без ответа. До наших нужд никому не было дела...

— Вы не пытались ничего сделать! Если и пытались, то недостаточно упорно...

— Лжец! Дурак! — взревел Силфонт.— А что нам оставалось? Пожертвования? Они сокращались не по дням, а по часам! Фонды? Ими управляют мелкие тираны с куриными мозгами, которые дают еще меньше!.. Правительство? Оно слепо! Продажно! Сколько лет я просил, умолял, стоял с протянутой рукой перед невеждами и их надутыми комиссиями. Все было безнадежно; мы просто погибали. Однако никто не прислушивался к нашим мольбам. И вечно... вечно за отсрочками и благовидными предлогами скрывался издевательский намек на то, что мы люди, богом обиженные, слабые. Ведь мы же только преподаватели, а не производители материальных ценностей...— Голос Силфонта вдруг зазвучал тихо, жестко и убежденно: — Так вот, теперь мы стали производителями. Система обречена, и поделом. Лидеры никогда

ничему не учатся. А вы взгляните на молодежь. Они увидели выход. Они все поняли... И мы их мобилизовали. Наш союз не случаен.

Мэтлок молча смотрел на Силфонта. О боже! Неужели это так? Неужели действительно так?

— А теперь, Джеймс, где письмо, о котором вы говорили? У кого оно?

— Письмо? — Уже произнося это слово, Мэтлок знал, что говорит не то, но ничего не мог с собой поделать.

— Так, значит, письма нет? Нет... свидетельства обвинения, которое уже отпечатано и готово к отправке в десять часов утра! Вы лгали!

— Лгал... лгал.— У него больше не было сил. Будь что будет.

Силфонт тихо засмеялся. Мэтлок ни разу еще не слышал у него такого смеха. Сейчас в нем звучала жестокость, которой никогда раньше не было.

— Хитро придумано! Но вы человек слабый! Я с самого начала это знал. Вы, конечно, как нельзя лучше устраивали правительственных чиновников, ибо у вас нет твердых убеждений. Они назвали это «контактностью». А я знал, что это просто бесхребетность. Вы умеете только молоть языком — вот и все. А это ничего не дает... Вы, знаете ли, довольно типичное явление.— И Силфонт бросил через плечо тем, кто затаился на дорожках: — Эй, вы там, все! Доктор Мэтлок уже не сможет назвать ничьих имен. Вылезайте из своих нор, вы, кролики!

— Ох...

Короткий гортанный вскрик пронзил тишину. Силфонт резко обернулся.

Послышался судорожный вздох — такой звук издает человек, которого душат.

Затем еще один такой же звук, на сей раз сопровождавшийся коротким воплем.

— Кто это? Кто там? — Силфонт бросился в том направлении, откуда донесся последний звук, и остановился, услышав страшный, внезапно оборвавшийся крик с другой стороны. Он в панике повернул назад.— Кто там?! Где вы все?! Идите сюда немедленно!

И вновь тишина. Силфонт уперся взглядом в Мэтлока.

— Что вы наделали? Что вы наделали, никчемный человечишка?! Кого вы с собой привели? Кто там? Да отвечайте же!

Но даже если бы Мэтлок и мог, ему не пришлось бы отвечать. По дорожке из дальнего конца сада к ним шел Джулиан Дюнуа.

— Доброе утро, Нимрод.

Глаза Силфонта вылезли из орбит.

— Кто вы такой? Где мои люди?!

— Меня зовут Жак Деверо, Хейсу Домье, Джулиан Дюнуа — выбирайте любое. Мы вам оказались не по зубам. У вас было десять человек, у меня восемь. Но не по зубам. Ваши люди мертвы, а как мы распорядимся их телами — это уже вас не касается.

— Кто вы?

— Ваш враг.

Силфонт левой рукой рванул полу пальто, правую запустил внутрь. Дюнуа предостерегающе крикнул. И Мэтлок вдруг бросился на человека, которому поклонялся целых десять лет. Бросился, думая только об одном, пусть даже это будет стоить ему жизни.

Убить!

Совсем рядом он увидел искаженное страхом лицо. Мэтлок вцепился в него правой рукой и почувствовал, как брызнула кровь.

Раздался оглушительный взрыв, и левое плечо Мэтлока пронзила острая боль. Но он не мог остановиться.

— Оставьте его, Мэтлок! Оставьте же, ради бога!

Большие мускулистые черные руки оттащили его, прижали к земле. И вдруг он услышал крик, страшный, полный боли крик и свое имя, повторяемое снова и снова:

— Джеми... Джеми... Джеми...

Мэтлок собрал все силы и яростно рванулся. Мускулистые черные руки не ожидали этого, и на несколько коротких секунд ему удалось высвободиться.

Он пополз по камням, обдирая руки и колени. Он не понимал, что с ним и почему по всей левой стороне тела растекается жгучая боль,— он только понимал,

что любой ценой должен добраться до девушки, лежащей на земле и прошедшей из-за него через такие пытки.

— Пэт!

Боль стала нестерпимой, но Мэтлок успел дотянуться до руки Пэт. Они схватились за руки, успокаивая друг друга и сознавая, что эта минута может стать последней в их жизни.

Неожиданно рука Мэтлока обмякла.

Он погрузился в темноту.

Он открыл глаза и увидел чернокожего, склонившегося над ним. Его посадили, прислонив к мраморной скамейке. Рубашка с него была снята; левое плечо пульсировало.

— Боль, я уверен, куда тяжелее самой раны,— сказал негр.— Вы сильно ударились левым боком в автомобиле, а пуля прошла под левым плечом через хрящ. Из-за этого у вас такая боль.

— Мы вам сделали местное обезболивание. Должно помочь,— произнес стоявший справа Джулиан Дюнуа.— Мисс Бэллентайн отвезли к врачу. Он снимет с нее клейкую ленту. Он негр, из сочувствующих, но не настолько, чтобы можно было доверить ему человека с пулевым ранением. Мы вызвали по радио нашего собственного врача из Торрингтона. Он будет здесь минут через двадцать.

— Почему же вы отправили Пэт к другому врачу?

— Во-первых, нам надо поговорить. Коротко, но конфиденциально. Во-вторых, чем скорее снимут эти клейкие ленты, тем лучше для нее.

— А где Силфонт?

— Он исчез. Ничего больше вы не знаете — и никогда не узнаете. Очень важно, чтоб вы это поняли. Потому что, если понадобится, мы выполним нашу угрозу относительно вас и мисс Бэллентайн. Мы не хотим этого делать... Вы и я — мы же не враги.

— Вы ошибаетесь. Мы враги.

— В конечном счете — возможно. Сейчас, однако, в трудный момент, мы пригодились друг другу. Мы это признаем. Надеюсь, что и вы тоже.

— Да, признаю.

— Возможно, мы даже кое-чему научились друг у друга.

Мэтлок посмотрел прямо в глаза черному бунтарю.

— Я теперь лучше понимаю некоторые вещи. А вот чему вы могли научиться у меня — не знаю.

Черный мягко засмеялся.

— Тому, что человек своими действиями — благодаря своей храбрости, если хотите,— способен возвыситься над общепринятыми представлениями.

— Я вас не понимаю.

— А вы подумайте — и поймете.

— Что же теперь будет? С Пэт? Со мной? Меня арестуют, как только увидят.

— Я очень в этом сомневаюсь. Через час Гринберг прочтет документ, подготовленный моей организацией. Точнее, мною. Подозреваю, что этот документ будет похоронен в архивах. Слишком уж он малоприятен. С моральной, юридической и, несомненно, политической точек зрения. Слишком много сделано серьезных ошибок... Сегодня мы выступаем в качестве ваших посредников. Было бы, пожалуй, неплохо, если бы вы использовали часть денег, которыми вы так открыто швыряетесь, и отправились с мисс Бэллентайн в долгое путешествие для восстановления здоровья... Думаю, вам охотно пойдут навстречу. Даже уверен.

— А что будет с Силфонтом? Вы его убьете?

— Неужели Нимрод заслуживает просто смерти? Можете не трудиться с ответом: эту тему я обсуждать не собираюсь. Во всяком случае, он будет жив, пока некоторые вопросы остаются невыясненными.

— А вы представляете себе, что будет, когда обнаружат его исчезновение?

— Это произведет впечатление разорвавшейся бомбы, поползут слухи. Когда разбивают иконы, верующих охватывает паника. Да будет так. Придется Карлайлу это пережить... А теперь отдыхайте. Доктор скоро приедет.

Дюнуа повернулся к негру, который подошел к нему и что-то тихо сказал. Негр, перевязывавший рану Мэтлоку, поднялся с колен. А Мэтлок смотрел на высо-

кую стройную фигуру Джулиана Дюнуа, спокойно и уверенно отдававшего приказания, и чувствовал благодарность, смешанную с болью. Эта боль была особенно острой потому, что в Дюнуа вдруг появилось что-то новое.

Образ смерти.

— Дюнуа?

— Да?

— Будьте осторожны.



## Эпилог

Полуденное солнце мириадами бликов отражалось в изумрудных волнах Карибского моря. Песок был теплый и мягкий. В этом пустынном уголке острова царили покой и тишина — как будто остального мира не существовало.

Мэтлок вошел в воду по щиколотку, и мелкие волны омыли его ноги. Вода была такая же теплая, как и песок на берегу.

Мэтлок держал в руке газету, которую ему прислал Гринберг. Вернее, часть газеты.

> РЕЗНЯ В КАРЛАЙЛЕ, ШТАТ КОННЕКТИКУТ
> УБИТЫ 23 ЧЕЛОВЕКА, ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ
> ГОРОД ПОТРЯСЕН
> ИСЧЕЗ РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА
> КАРЛАЙЛ, 10 МАЯ. Вчера в пригороде этого небольшого университетского городка произошло странное массовое убийство. Погибли 23 человека; федеральные власти полагают, что это произошло в результате нападения из засады; обе стороны понесли серьезные потери...

Затем следовало бесстрастное перечисление погибших и краткие сведения о каждом, взятые из полицейских досье.

Среди них был Джулиан Дюнуа.

Предчувствие не обмануло Мэтлока. Развязанное Дюнуа насилие привело к насилию, стоившему ему жизни.

Далее автор статьи строил предположения относительно причин этой резни и ее возможной связи с исчезновением Адриана Силфонта.

Но это были лишь предположения. Ни слова о Нимроде, ни слова о самом Мэтлоке, ни слова о долгом федеральном расследовании. Правды во всем этом не было.

Мэтлок услышал, как открылась дверь его коттеджа, и обернулся. На маленькой веранде стояла улыбающаяся Пэт. Она помахала ему рукой и начала спускаться по ступенькам.

Она была в шортах и легкой шелковой блузке. Руки и ноги ее уже не были забинтованы, а кожа под карибским солнцем приобрела красивый бронзовый оттенок. Шрамы надо лбом прикрывала оранжевая чалма.

Пэт заявила, что не выйдет за него замуж. Она не желает брака из жалости или из чувства долга — подлинного или мнимого. Но Мэтлок знал, что они поженятся. Или ни один из них не вступит в брак.

— Сигареты принесла? — спросил он.

— Нет,— ответила она.— Я принесла спички.

— Зачем? — Он взял ее за руку, сунув газету под мышку.

— Предадим ее сожжению. Археологи придают большое значение погребальным кострам.

— Что?

— Ты весь день таскаешь с собой эту проклятую газету. Я хочу сжечь ее.

— Мы можем ее сжечь, но это не изменит того, что в ней написано.

— Как по-твоему, почему Джейсон послал ее тебе? — спросила Пэт, никак не реагируя на его замечание.— Мне казалось, мы сюда приехали затем, чтобы несколько недель ни о чем не думать. Ни газет, ни радио, ни людей — только теплая вода и теплый песок. Джейсон сам установил такие правила и сам же их нарушает.

— Он рекомендовал такие правила, но знал, что им трудно следовать.

— Пускай бы кто-нибудь другой нарушал их. Не такой он хороший друг, как я думала.

— Может быть, все же лучше, чем ты думаешь.

— Ну, это софистика.

— Гринберг знает, что я должен принять очень неприятное решение.

— Ты уже принял. И он это тоже знает.

Мэтлок взглянул на нее. «Конечно, Гринберг знает; да и она знает»,— подумал он.

— Будет еще много боли — ненужной, неоправданной.

— Знаешь, что они тебе скажут? Скажут, чтобы ты дал им сделать все так, как они считают нужным. Тихо, с толком и по возможности никого не ставя в затруднительное положение.

— Может быть, так оно и лучше; может быть, они правы.

— Но ты же сам в это не веришь.

— Не верю.

Они подошли к причалу. Камни, на которых он лежал, были сложены здесь десятки или даже сотни лет назад, чтобы преградить путь давно забытому потоку. Теперь же все выглядело так, словно это создала сама природа.

Вот так же и Нимрод был словно создан самой природой. Логическое продолжение чего-то уже знакомого. Явление нежелательное, но вполне предсказуемое. То, с чем надо бороться, но втайне.

Мини-Америка... почти на виду.

...И работает так же, как большие компании.

Повсюду.

Охотники, строители. Убийцы и их жертвы заключают союзы.

*Взгляните на молодежь. Они все поняли... Мы их мобилизовали.*

*Лидеры никогда ничему не учатся.*

Что это — микромир неизбежного? Который стал неизбежным потому, что слишком настоятельны нужды? И уже многие годы?

И тем не менее лидеры не желают учиться.

— Джейсон сказал однажды, что истина не бывает ни хорошей, ни плохой. Она просто истина. Вот почему он мне и послал эту газету.

Мэтлок сел на большой плоский камень; Пэт стояла рядом. Начинался прилив, вверх летели брызги. Пэт протянула руку и взяла две страницы газеты.

— Значит, это и есть истина.— Это было сказано утвердительно.

— Их истина. Их мнение. Наклей ярлыки и продолжай игру. Хорошие парни и плохие парни — и отряд полицейских вовремя доберется до перевала.

— Ну, а какова твоя истина?

— Вернуться и все рассказать. Ничего не тая.

— Они не согласятся. Они объяснят, почему ты не должен этого делать. Выдвинут сотни причин.

— Они меня не убедят.

— Тогда они ополчатся против тебя. Они ведь тебе уже угрожали; они не потерпят вмешательства. Джейсон хочет, чтобы ты это понял.

— Он хочет, чтобы я об этом подумал.

Пэт, держа перед собой страницы газеты, чиркнула спичкой по сухой поверхности камня.

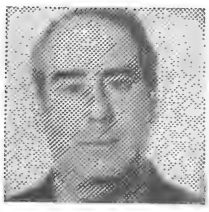
Газета загорелась не сразу — огонь то и дело гасили брызги Карибского моря. Но она все же сгорела.

— Не слишком-то впечатляющий погребальный костер,— заметил Мэтлок.

— Ничего, сойдет и такой до нашего возвращения.

◆

---



**БРУК МИХАИЛ ИЛЬИЧ** (род. в 1929 г.)

Советский переводчик и журналист. В его переводе печатались «Праздник, который всегда с тобой» и «Африканский дневник» Э. Хемингуэя, книга «Майами и осада Чикаго» Н. Мейлера, «Портрет Хемингуэя» Лилиан Росс, книга Ирвинга Стоуна «Происхождение». Автор статей по проблемам советско-американских отношений.

# РОБЕРТ ФРОСТ

*Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА*

## *Гора*

Гора держала городок в тени.
Я это понял в самый первый вечер:
На западе недоставало звезд —
Там черный силуэт скрывал полнеба.
Она стояла рядышком, стеной,
Спасающей от ветра. А наутро,
Отправясь погулять, я удивился,
Увидев меж горой и городком
Поля, речушку и опять поля.
Речушка обмелела и с ворчаньем
Бежала по камням. Кругом виднелись
Следы ее весеннего разгула:
Хребты песка, размоины в траве
И горбыли с ободранной корой.
За мостиком мне повстречался фермер —
Волы его тяжелую телегу
Тащили так медлительно, что было
Не грех его совсем остановить.
— Как город называется? — спросил я.
— Вот этот? Ланенборо.—
Значит, город
Не назывался именем горы,
А только жил в ее ночной тени.
— До вашего поселка далеко?
— Тут нет поселка. Так, десяток ферм.

**РОБЕРТ ФРОСТ — ROBERT FROST** (1874—1963). Американский поэт. Почетный доктор многих университетов США и Англии; лауреат национальных и международных литературных премий. Автор десяти сборников стихов, в том числе «Нью-Гэмпшир» («New Hampshire», 1923), «Дальний хребет» («A Further Range», 1936), «Таволга» («Steeple Bush», 1947), «На вырубке» («In the Clearing», 1962). В Советском Союзе выходили сборники Фроста «Из девяти книг» (М., 1963) и «Избранная лирика» (М., 1968). Стихотворения Фроста публиковались также в антологиях и периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

Предлагаемые стихи взяты из сборников: «Воля мальчика» («A Boy's Will»,1913), «К северу от Бостона» («North of Boston», 1914), «Между горами» («Mountain Interval», 1928), «Закатный ручей» («West-Running Brook», 1928), «Дерево-свидетель» («A Witness Tree», 1942).

На прошлых выборах на весь участок
Нашлось едва полсотни голосов.
Нам по природе некуда расти —
Все место занимает эта штука! —
Он ткнул рукою в сторону горы.
Вблизи от нас по склону шли луга,
Затем — стена деревьев со стволами,
Затем — одни зеленые вершины
И скалы, чуть прикрытые листвой.
Сухой овраг из-под камней врезался
В луга.
— Скажите, это не дорога?
Оврагом я не доберусь к вершине?
— Я не советовал бы лезть отсюда.
Которые бывали на горе,
Взбирались, надо полагать, от Ледда.
Пять миль отсюда. Вы не ошибетесь —
Там прошлою зимой рубили лес.
Я вас подвез бы, да не по пути.
— А сами вы бывали на вершине?
— Да нет. Я тут охочусь на оленей
Или ловлю форель. Мне говорили,
Что там из маковки течет ручей —
И самое чудно́е то, что он
Холодный летом, а зимою теплый.
В январский день он дышит, точно вол,
И потому кусты по берегам
На дюйм в морозных перьях и иголках.
Проглянет солнце — глаз не отвести!
— С горы, наверно, вид на целый мир:
Лес вроде не доходит до вершины.—
Меж ярусами зелени я видел
Гранитные ступени в свете солнца.
На них, взбираясь, обопрешь колено
(А за тобой обрыв в полсотни футов),
На них ты можешь сесть и оглядеться
(А рядом папоротник из расселин).
— Про вид не знаю. Я вам говорю,
Там есть источник — вроде как фонтан.
Его-то стоит посмотреть.
— А вдруг
Там ничего нет. Вы ведь не видали!
— Я не видал. И все-таки он есть.
Не спорю, может быть, не на макушке,
А чуть пониже. Если бьет фонтаном,
Не обязательно, что он внизу.
А впрочем, если долго лезешь вверх,
И длинный спуск покажется коротким.
Один тут лазил. Я его просил
Все рассмотреть и после рассказать.
— Что он вам рассказал?
— Что на вершине
Горы в Ирландии есть озерцо.
— При чем тут озерцо? Речь о фонтане!
— Он до него немного не добрался.
Вот я и не советую вам лезть
Отсюда — он как раз полез отсюда.
Я собираюсь сам туда взобраться
И посмотреть, да все не соберусь.

Как будто бы нетрудно влезть на гору,
Вблизи которой возишься всю жизнь.
Да как пойти? Как есть, в комбинезоне,
С большою палкой, будто загоняешь
Коров, не возвратившихся домой?
Или с ружьем пойти, как на медведя?
Не дело лазить, только чтобы лазить.
— Я не полез бы, если б не хотел...
Как называется гора?
— У нас
Ее обычно называют Кор.
— А можно обойти вокруг нее?
— Вы можете вокруг нее объехать,
Не покидая нашего прихода.
Он тоже Кор — по имени горы.
Кор — это Ланенборо и дома,
Разбросанные у подножья Кора,
Как глыбы, что сорвались с самой кручи
И откатились дальше остальных.
— Холодный летом, а зимою теплый?
— Наверное, вода одна и та же,
Холодная сравнительно с жарой
И теплая сравнительно с морозом.
Все дело в том, как это поднести.
— Вы здесь всю жизнь?
— Почти. Я помню, Кор
Был меньше, чем...— Чем что, я не расслышал.
Он разбудил волов, прутом легонько
Пощекотав носы, хлестнул по боку
И крикнул, и телега потащилась.

## *Закройте окна*

Закройте окна, чтобы все утихло,
Пусть молча бьются дерева за дверью.
Не слышно птиц в горах, а если слышно —
Моя потеря.

Еще не скоро вскроются болота,
Еще нам жить и жить до первой птицы.
Закройте окна и в тиши смотрите,
Как вихрь ярится.

## *Баркас с цветами*

Рыбак выдает за рассказом рассказ,
Пока стрижет его сельский маэстро.
А перед амбаром морской баркас
На клумбе нашел себе тихое место.

Он стал на якорь в волнах песка,
Груженный цветами до верхней балки:
Вот так же его наполняла треска
При возвращении с Джорджес-банки [1].

Эдемский груз — намек, что едва
Бури попутные их коснутся —
Тотчас баркас и рыбак рванутся
Искать Блаженные Острова.

[1] Известная рыболовная отмель в Атлантике.

## *Пристрелка*

Людей пока что не задевший бой
Хлестнул по паутине под кустом
И покалечил стебель над гнездом
С птенцами некой пташки луговой.
Но птица прилетела к ним с едой,
А бабочка взметнулась над цветком —
Со стебля он теперь свисал ничком —
И снова венчик обняла собой.

В предгорье на поляне за ночь средь
Высоких дягилей возникла сеть,
На ней алмазы росные горят.
Алмазы первой пулей сбило вдруг.
Навстречу мухе выбежал паук,
Но, не найдя ее, уполз назад.

## *И больше ничего*

Он со вселенной был наедине.
Лишь эхо отвечало на слова —
За озером на дальней стороне
Отвесный камень прятала листва.
Глумливым одиночеством заклят,
Он, возопив, от жизни пожелал
Не собственного чувства дубликат,
А встречную любовь, оригинал.
Из горестного вопля ничего
Не воплотилось, если не считать,
Что из листвы живое существо
Собой озерную разбило гладь.
Немного побарахтавшись в тени,
Не человек явился в ясный день,
Не кто-то, кто бы был ему сродни,
Но грандиозный яростный олень —
Он плыл и комкал воду пред собой,
Обрушился на берег, как волна,
О гравий чиркнул роговой стопой,
Взломал кусты — и снова тишина.

## *Домашние похороны*

Он снизу лестницы ее увидел —
Она из двери вышла наверху
И оглянулась, точно бы на призрак.
Спустилась на ступеньку вниз, вернулась
И оглянулась снова. Он спросил:
— На что ты там все время смотришь, а? —
Она его увидела, поникла,
И страх сменился на лице тоской.
Он двинулся наверх: — На что ты смотришь? —
Она в комок сжималась перед ним.
— Что там, родная? Дай я сам взгляну.—
Она его как будто не слыхала.

На шее жилка вздулась, и в молчанье
Она позволила ему взглянуть,
Уверенная, что слепой не может
Увидеть. Он смотрел и вдруг увидел
И выдохнул: — А! — И еще раз: — А!
— Что, что? — она спросила.
— Да увидел.
— Нет, не увидел. Что там, говори!
— И как я до сих пор не догадался!
Отсюда я ни разу не глядел.
Проходишь мимо, где-то там, в сторонке,
Родительское кладбище. Подумать —
Все уместилось целиком в окне.
Оно размером с нашу спальню, да?
Плечистые приземистые камни,
Гранитных два и мраморный один,
На солнышке стоят под косогором...
Я знаю, знаю: дело не в камнях —
Там детская могилка...
— Нет! Не смей! —
Рука его лежала на перилах —
Она под ней скользнула, вниз сбежала
И оглянулась с вызовом и злобой,
И он, себя не помня, закричал:
— Мужчина что, не смеет говорить
О собственном умершем сыне — так?
— Не ты. Куда девалась шляпа? Бог с ней!
Я ухожу. Мне надо прогуляться.
Не знаю точно, смеет ли мужчина.
— Эми! Хоть раз не уходи к чужим.
Я за тобой не побегу.— Он сел,
Уткнувшись подбородком в кулаки.—
Родная, у меня большая просьба...
— Просить ты не умеешь.
— Научи! —
В ответ она подвинула засов.
— Мои слова всегда тебя коробят.
Не знаю, как о чем заговорить,
Чтоб угодить тебе. Наверно, можно
Меня и поучить, раз не умею.
Мужчина с вами, женщинами, должен
Быть малость не мужчиной. Мы могли бы
Договориться обо всем твоем,
Чего я словом больше не задену,—
Хотя, ты знаешь, я уверен: это
Нелюбящим нельзя без договоров,
А любящим они идут во вред.—
Она еще подвинула засов.
— Не уходи. Не жалуйся чужим.
Коль человек тебе помочь способен,
Откройся мне. Не так уж непохож
Я на других людей, как там у двери
Тебе мерещится. Я постараюсь!
К тому же ты хватила через край.
Как можно материнскую утрату,
Хотя бы первенца, переживать
Так безутешно — пред лицом любви.
Слезами ты его не воскресишь...
— Ты снова издеваешься?
— Да нет же!

Я рассержусь. Нет, я иду к тебе.
Вот дожили. Ну, женщина, скажи:
Мужчина что, не смеет говорить
О собственном умершем сыне — так?
— Не ты. Ты не умеешь говорить.
Бесчувственный. Вот этими руками
Ты рыл — да как ты мог! — его могилку.
Я видела в то самое окно,
Как высоко летел с лопаты гравий,
Летел туда, сюда, небрежно падал
И скатывался с вырытой земли.
Я думала: кто этот человек?
Ты был чужой. Я уходила вниз
И поднималась снова посмотреть,
А ты по-прежнему махал лопатой.
Потом я услыхала громкий голос
На кухне и зачем, сама не знаю,
Решила рассмотреть тебя вблизи.
Ты там сидел — на башмаках сырая
Земля с могилы нашего ребенка —
И думать мог о будничных делах.
Я видела, ты прислонил лопату
К стене за дверью. Ты ее принес!
— Хоть смейся от досады и бессилья!
Проклятье! Господи, на мне проклятье!
— Я помню слово в слово. Ты сказал:
«Дождливый день и три туманных утра
Сгноят любой березовый плетень».
Такое говорить в такое время!
Как ты соединял плетень и то,
Что было в занавешенной гостиной?
Ты отгонял беду! Никто из ближних
Не в силах подойти так близко к смерти,
Чтобы помочь в несчастье: если ты
Смертельно болен, значит, ты один
И будешь умирать совсем один.
Конечно, ближние придут к могиле,
Но прежде, чем ее зароют, мысли
Уже вернулись к жизни и живым,
К обыденным делам. Как мир жесток!
Я так не убивалась бы, когда бы
Могла хоть что поправить. Если б! Если б!
— Ты выговорилась. Тебе полегче?
Ты не уйдешь. Ты плачешь. Дверь закроем.
Зачем напрасно бередить себя?
Эми! Ты слышишь? Кто-то на дороге.
— Эх ты... В словах ли дело? Я пошла —
Я не могу быть здесь. Когда б ты понял...
— Раз так — ступай! — Она открыла дверь.—
Куда ты собралась? Скажи! Постой!
Я силой возвращу тебя. Силком!

## От переводчика

Роберт Фрост — величайший американский поэт XX века, он хорошо известен у нас и не нуждается в рекомендациях.

Поговорим о стихах предлагаемой подборки.

Любимую фростовскую мысль — как можно тверже стоять на земле и как можно выше взлетать мыслью — исследует знаменитая «Гора». Фрост искренне уважает труды и дни фермера, который прожил всю жизнь у подножья горы; он мягко иронизи-

рует над тем, что старожил ни разу не побывал на вершине горы; поэт имеет право на иронию, ибо сам немало лет зарабатывал на жизнь фермерским трудом; сам он устремлен ввысь — более того, читая «Гору», мы понимаем, что к моменту рассказа он уже был на вершине.

Обратим внимание на форму стихотворения: это диалог в шекспировских белых ямбах, маленькая драма в стихах. На наш взгляд, главное в творчестве Фроста — маленькая драма или лирико-драматический монолог: именно здесь Фрост больше всего Фрост и разительней всего отличается от остальных поэтов. (А соотечественниками и современниками Роберта Фроста были блистательные поэты: Э. А. Робинсон, Карл Сэндберг, Т. С. Элиот, Э. Э. Каммингс, Робинсон Джефферс, Уоллес Стивенс — список можно продолжить.)

В двенадцатистрочном стихотворении «Баркас с цветами» именно твердое стояние на земле порождает взгляд в дальние дали. На атлантическом побережье США отслужившие рыбачьи лодки зачастую превращали в клумбы. Поразительной по широте метафорой поэт связывает будни старого рыбака и поиски Блаженных Островов.

В лирическом шедевре, стихотворении «И больше ничего», Фрост, подобно Тютчеву, изображает противостояние одинокого человека и огромной прекрасной и равнодушной природы.

На четырнадцатистрочном пространстве сонета «Пристрелка» поэт дважды показывает нам, по сути дела, одно и то же. Это напоминает двойное изображение на таблице старинного стереоскопа: сливаясь воедино, оно рождает эффект объемности. Попав внутрь стихотворения, читатель оказывается вовлеченным в происходящее. Первая пуля грядущего боя не задела человека, но внесла дисгармонию в мир природы: потревоженные силы добра продолжают обычную жизнь, пробужденные силы зла ждут своего часа.

С особой силой вовлечен читатель в действие маленьких драм. В прославленных «Домашних похоронах» читатель — третий участник душераздирающей сцены между женой и мужем. В названии предполагаются не только похороны единственного ребенка на семейном кладбище, но и похороны любви, семьи, дома. Тут поэт оставляет свою обычную классическую сдержанность — экспрессивно и беспощадно он анализирует свойства и противоречия женской и мужской психики. Душа Фроста распахнута настежь, это душа трагического поэта.

Перечитаем после «Домашних похорон» другие стихотворения Фроста — во всех проступит трагический подтекст. Многослойность сообщений — важнейшее свойство фростовской поэтики. Неискушенный читатель удовлетворяется тем богатством, которое лежит на поверхности; способный проникнуть глубже откроет новое, неожиданное и необходимое.

Давно замечено, что русская поэзия XX века усвоила уроки русской классической прозы. В Америке было наоборот: маленькие драмы Роберта Фроста, как и поэмы Э. А. Робинсона, создали традицию и атмосферу, в которой могла возникнуть американская поэтическая проза от Шервуда Андерсона до Фолкнера.

◆

**СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ** (род. в 1933 г.) Советский переводчик с английского. В его переводе выходили книги избранных стихотворений Роберта Фроста, Т. С. Элиота, Э. А. Робинсона; переводил также Э. Спенсера Дж. Донна, У. Вордсворта, У. Уитмена и др. В «Иностранной литературе» в его переводах печатались романы и повести В. Рида «Леопард», Г. Окары «Голос», Р. Харвуда «Одинаковые тени», В. Шойинки «Интерпретаторы» и «Аке, годы детства».

# Критика

Е. СТЕПАНЯН,
К. СТЕПАНЯН

# МЕЖДУ ГАМЛЕТОМ И ДОН КИХОТОМ

## Размышления над книгами Мартина Вальзера и Грэма Грина

Почти одновременно к советскому читателю пришли два сочинения крупных западноевропейских прозаиков: повесть писателя из ФРГ Мартина Вальзера «На полном скаку» [1] и роман англичанина Грэма Грина «Почетный консул» [2]. При всем различии мировосприятия авторов, сюжетной основы мы наблюдаем в этих произведениях определенные черты сходства (обусловленные сходством внутренних конфликтов окружающего общества): единство мысли и действия в жизни персонажей непоправимо нарушено.

Мысль и действие — две стороны человеческой жизнедеятельности, казалось бы долженствующие пребывать в гармонии: мысль реализуется в действии, действие оплодотворяется мыслью. Однако гармония эта обусловлена целым рядом обстоятельств; в ту или иную эпоху в антагонистическом обществе разлад мысли и действия становится определяющим для целых социальных групп и слоев.

Достаточно традиционна эта мировоззренческая тема для литературы. Не претендуя на обобщения, ограничимся лишь одним ее аспектом и отметим, что в ряде известных произведений западноевропейских писателей первой половины XX века отражено прогрессирующее исчезновение в окружающей их действительности как осмысленности действия, так и творческой, побуждающей к действию мысли.

Некоторые черты этого процесса в интеллектуальной жизни Запада уловил в свое время Ф. Кафка. В опубликованных недавно фрагментах книги Г. Яноуха «Разговоры с Кафкой» («ИЛ», 1983, № 5) есть проницательная характеристика кризиса, все сильнее разъедающего духовную атмосферу буржуазного общества: «Человек отказался от участия в созидании мира и ответственности за него», а потому: «Мы знаем слово и деяние, но мы утратили ощущение и познание».

В те же годы (20—30-е годы XX века) «человек без свойств» Р. Музиля (главы из романа «Человек без свойств»[3] опубликованы в «ИЛ», 1983, № 9) приходит к следующему выводу: в мире, населенном суетящимися обывателями, «можно делать что угодно — в такой сумятице сил это не имеет ни малейшего значения!» «Глубочайшее недоверие» и враждебность человека человеку приводят к тому, что воля опускается с метафизических небес на землю и становится просто тягой к обладанию и подчинению, а мысль, не направленная на благо других, вырождается в разрушительную рефлексию. Понимая это, герой Музиля вообще отказывается от воли (не от конкретного действия, а именно от широко понимаемой воли), предпочитая возможность как единственное прибежище свободы духа. Он потому и оказывается «человеком без свойств», что не подчиняет свое существование ни одной ведущей идее (и это, с точки зрения Музиля, является единственным шансом спасти, сохранить свою личность, свое человеческое достоинство).

Иначе обстоит дело с другими героями романа. Каждый из них внутренне занят только самим собой (а чаще — какой-нибудь отдельной стороной собственного «я»). Роман-исповедь с тонкой и чуждой морализаторства иронией показывает, как человек

[1] «ИЛ», 1983, № 8. Перевод с немецкого А. Карельского. *(Здесь и далее прим. авт. статьи.)*

[2] «Новый мир», 1983, № 6, 7. Перевод с английского Ю. Голышева.

[3] Теперь советский читатель знаком и с книжным изданием романа.

становится агрессивным, ибо стремится подчинить жизнь ближних собственной эгоистической «идее-фикс». Патриархально-добропорядочно агрессивен отец Ульриха; агрессивна Бонадея в стремлении прослыть не распутной, а кроткой, обиженной обстоятельствами и опять-таки добропорядочной; и трижды агрессивны в отношении друг друга Вальтер и Кларисса, торжественно, вакхически, порой комично, с оттенком ницшеанства поклоняющиеся музыке и приносящие друг друга ей в жертву. Особенно хорошо видно на примере этой пары, как у сосредоточенного только на самом себе героя происходит перекос мировоззрения в сторону доминирующей идеи; этот-то перекос и провоцирует агрессию — направленную вовне, ложную и вредную действенность, стремление поработить своей идеей другого [4].

Можно сказать, что в романе «Человек без свойств» (как и в лучших произведениях Т. Манна, Г. Гессе, написанных в те же годы) предугаданы некоторые пути духовного развития буржуазного мира. Ведь и после разгрома фашизма оказалось, что с основными болезнями этого мира не покончено. Так и не наступило ожидаемое всеобщее благоденствие, гармония, и было немало писателей на Западе, которым показалось: «что-то невесомое» (Р. Музиль), утраченное навек человечеством, есть ни много ни мало — смысл жизни, смысл существования. Об этом свидетельствовали книги Сартра и Камю. Оставаясь в пределах буржуазного мировоззрения, они видят в окружающем мире лишь нарастающий абсурд, истощение идей; соответственно в их произведениях мир предстает все более грубо-овеществленным. Чудовищными предметами становятся в этом герметизированном мире люди, а их отношения — не более чем механическими столкновениями предметов. Мысль человека не находит контактов с действительностью, потому герои Камю и Сартра отравлены рефлексией и порой действуют какими-то судорожными порывами, словно из последних сил сопротивляясь самим себе.

В «новом романе» (наследующем Камю и Сартру) какое бы то ни было действие исчезло вообще, будучи заменено «незначительными движениями» (Н. Саррот) персонажей либо же нарочито бытовыми, бессодержательными диалогами, автоматически бесстрастной фиксацией окружающих человека объектов.

Но и это и другие авангардные направления в литературе вскоре стали отходить в тень. Жизнь настойчиво выдвигала перед серьезными западными литераторами проблему восстановления межчеловеческих связей. Поэтому обращение к реализму — от модернизма, авангардизма, «шозизма» и прочего,— которое отмечается ныне в творчестве многих писателей США, Англии, ФРГ, Франции и других стран, не случайно. Реализм предполагает изучение всех возможностей человеческого характера, противоречивых, «взвешенных» состояний, в которых пребывает личность. Ведь только поняв человека, можно найти пути объединения людей и в конечном итоге покончить с тем, что разъединяет их в обществе. Такую задачу ставят перед собой прогрессивные писатели, создавая образы активных борцов за социальное переустройство, в чьем поведении мысль и воля существуют в единстве. Но это особая тема. Нас сейчас интересует отражение духовного кризиса современного западного мира в творчестве тех писателей, чье миропонимание в основном не выходит за рамки господствующих принципов, догм и даже предрассудков этого мира.

Центральную идею повести М. Вальзера «На полном скаку» хорошо выражает уже ее эпиграф (из Кьеркегора), подчеркивающий замкнутость, глухоту всякого отдельного существования как естественную и неизбежную.

Каждый из героев повести Вальзера обращен к миру неким тщательно сконструированным обликом, за которым пытается скрыть свою сущность. Облик этот должен быть непроницаем для любого взгляда извне, створки раковины должны быть — в идеале — захлопнуты герметично. И вот вялый и робкий Хельмут Хальм, ушедший в себя книжник, носит маску неприступности, внутренней силы и абсолютной духовной независимости; его бывший однокашник Клаус Бух, живущий в постоянном страхе перед своей интеллектуальной несостоятельностью, ни на миг не расстается с маской полнейшего биологического совершенства, ненарушимой радости бытия. Их жены демонстрируют на людях образцы единения с мужьями. (Маскировка в своей тщательности становится смехотворной: даже собака Хельмута и Сабины по кличке Отто — на первой же странице повести сказано: «Отто уже сидел» — в конце концов оказывается сукой.) В этом мире маски нужны всем. Почему?

Потому, что маска — защитное снаряжение человека рефлектирующего. Там, где есть рефлексия (то есть мысль, замкнутая на самой себе, постоянно сомневающаяся, анализирующая и оценивающая самое себя и поэтому не находящая выхода в действии), обязательно есть и душевная боль, ибо рефлексия предполагает осознание несовершенства и собственной личности, и мира в целом. Но если рефлексия эта не направлена на устранение дисгармонии мира, она в свою очередь порождает, если можно так выразиться, эгоистическую боль — боль за себя, а не за другого.

Герои Вальзера живут в такой среде, где не производить впечатление полностью преуспевающего — и материально и духовно — просто нельзя. Поэтому каждый стремится создать «для внешнего потребления» тот образ, который позволил бы относительно безболезненно предстать перед миром, не оказаться «у позорного столба» («Тот, кто не удовлетворял соответствующим заповедям этого века и этого общества, практически пожизненно находился у позорного столба»,— констатирует Хельмут). В результате возникает состояние, самим Хельмутом охарактеризованное как «кровавая апа-

[4] Примером полнейшей подчиненности безумной идее и вследствие этого агрессивности является маньяк-убийца Моосбругер (в читательском сознании может возникнуть сопоставление с патологической фигурой Шикльгрубера — Гитлера).

тия». Это состояние, преобладающим компонентом которого является отвращение к себе самому, к своему жизненному окружению, к своему месту в мире. Всеразъедающее отвращение подрывает изнутри каждое действие, каждое желание Хельмута. Он принимается за чтение Кьеркегора — но лишь для того, «чтобы иметь возможность разочароваться» в личности философа; его душит чувственность — но отвращение к социальным и бытовым миражам и стереотипам, боязнь несоответствия собственной выдуманной роли диктуют отказ от интимной жизни (в основе — опять-таки нежелание хоть на миг разомкнуться вовне). Объедающийся, опивающийся, обрюзгший, сиднем сидящий над книгами (которые втайне ненавидит), культивирующий свои несовершенства (физические и духовные) интеллигент. Любой намек на энтузиазм, раскрытие своей потаенной жизни он считает необходимым строжайше ликвидировать: даже щелочка между створками раковины была бы губительна (однаединственная искренняя фраза в письме Клаусу делает отправку письма невозможной).

Человеку такого типа очень хочется остаться одному — другие мешают ему и пугают. «Худо быть человеку едину» — гласит древняя мудрость. Перевернув ее — «О, если б я был один...»,— с тоской мечтает Раскольников после убийства старухи-процентщицы. А «теплый» Хельмут Хальм уже гораздо спокойнее: «Как все становится легко, когда ты один».

Но одиночество Хальма постоянно нарушает его антипод — Клаус Бух.

Антипод — потому что в отличие от существующего в «футляре» Хельмута Клаус живет подчеркнуто внешней жизнью: спорт, диета, готовность прилюдно демонстрировать свою превосходную физическую форму... Он так активен, что даже глухая замкнутость Хельмута не может воспрепятствовать их общению. на котором настаивает Клаус. Но антипод он кажущийся, потому что подобное поведение тоже лишь маскирует подлинную жизнь. А жизнь эта — сущий ад: стремление писать, сочинять — при полной мозговой сухотке иссушающие попытки заниматься не дающейся ему умственной деятельностью.

Если Хельмут стремится глубже и глубже уйти в свою «кровавую апатию», то Клаусу необходимо получить какое-то «восполнение» извне. Он хочет поэтому вовлечь в свою жизнь Хельмута, поселить его рядом с собой — с целью «позаимствовать» у него столь необходимое внутреннее содержание (хоть какое-нибудь). Но подобное покушение на единственное имеющееся у него достояние вызывает у Хельмута неприкрытую и яростную агрессию: во время шторма он сбрасывает Клауса с яхты.

Гибель Клауса (как выясняется позже, мнимая) раскрепощает его жену Элену. Она исповедуется перед Хальмами: выясняется, что и она — жертва. Ей пришлось стать тенью Клауса, жить его интересами, забыть музыку, которой занималась в юности. Смерть Клауса — для нее в известном смысле освобождение.

Жертва нравственного насилия — и верная, неразлучная с Хельмутом Сабина. Вынужденная создавать условия для «кровавой апатии» Хельмута, она скрывает в себе нереализованную тягу к «внешней», «спортивной», чувственной жизни, рекламируемой Клаусом Бухом.

Где же пределы этому порабощению, этому несению невесть кем возложенного ига? Конца этой муке не видно: Клаус, оказывается, не погиб — ему удалось выплыть, он уводит Элену, Хальмы спешат уехать. Все возвращается на круги своя: пытаясь объяснить Сабине происшедшее, Хельмут начинает свой рассказ той же самой фразой, которой открывается повесть. Бессмысленное бытие самовоспроизводится и длится до бесконечности — вернее, до смерти, с которой кончается все.

А начинается такое саморазрушающее существование с рефлексии. Господствующие в современном западном мире модели поведения, основывающиеся на всеобщем обособлении, открывают перед среднеобеспеченной, среднеблагополучной личностью в общем-то всего два пути: либо погоня за еще большим материальным благополучием — при все более полном отключении разума, либо уход в свой внутренний мир. Но внутренний мир человека, лишенного цели существования, опустошается с нарастающей скоростью. Выхода нет и здесь, а «возврат» к людям принимает уже форму агрессии. В результате человек не только сам тащит ярмо выдуманной, порожней роли, но и впрягает в это ярмо других людей. Типичный для тупикового развития сознания (лишенного нравственных ориентиров) парадокс: герои Вальзера живут «для других», с постоянной ориентацией на «других» (не для себя — в сущности, их жизнь представляет собой мучительное «переламывание» себя, постоянную неудовлетворенность), но «для других» — в смысле непроницаемого притворства, агрессивно-оборонительного обособления.

Психологизм Вальзера заключается не только в умении безжалостно и исчерпывающе анализировать характеры и ситуации, не только в выявлении духовной узости и связанной с ней агрессивности персонажей. Психологизм этого прозаика сказался еще и в стремлении найти гармонию в действительности. В книгах Вальзера прослеживается глубоко скрытая убежденность, что мир должен быть цельным и одухотворенным, и если он не таков, то это болезнь его. В повести Вальзера как бы проведен большой замкнутый контур, внутри которого — пустота, но автор дает понять, что прежде внутри было нечто важное, составлявшее основу и опору человеческого существования. Что именно? На этот вопрос вряд ли точно ответил бы сам писатель. Близость Вальзера к кафкианской традиции в литературе довольно явственна [5], а традиция эта в числе прочего утверждает бессмысленность такого рода вопросов. Но тем не менее повесть Вальзера «усеяна» обломками бывшей, распавшейся, смутно вспоминаемой цельности человеческого существования: и у Хельмута, и у Клауса есть минуты подлинного, а не

[5] На этот счет существуют и признания самого Вальзера: его магистерская диссертация была посвящена творчеству Кафки.

мнимого самовыражения (Клаус, укрощающий коня, Хельмут, слушающий лес). Да и сам характер противоположности героев говорит о том, что если бы мир упорядочился, они должны были бы нуждаться друг в друге, восстановилось бы естественное взаимодействие людей. Рефлексия не влекла бы за собой апатию, а действие было бы одухотворено.

В сущности, и у Хельмута и у Клауса маска — это гипертрофированная, вывернутая наизнанку (именно из желания отгородиться от мира) проекция лучших качеств их натур. Но для них, боящихся хоть на мгновение высунуться из своей раковины, неприемлема даже мысль о попытках какого-либо единения, взаимопомощи, о том, чтобы отдавать себя другому (Клаус ведь хочет именно «заполучить» Хельмута, «использовать» его). Никто из них не видит истинного существования другого, не чувствует его боли, его исчерпанности.

В результате человек несет чудовищный груз... пустоты, надрываясь и иссыхая под его тяжестью. Может быть, выход — просто в движении, в действии, куда бы и на что бы они ни были направлены? Полуиронический намек на подобный вывод возникает в конце повести: Хальмы садятся в поезд, влекомый ярко раскрашенным локомотивом. Он напоминает «монаха какого-то ордена», и, обращаясь к нему, Хельмут произносит литургическую фразу: «Qui tollis peccata mundi» («Ты, что искупаешь грехи мира») Но это — «пустая», тупиковая ирония, отрицающая поиски какой-либо истины вообще...

В отличие от персонажей М. Вальзера, все герои романа «Почетный консул» действуют, и весьма активно; но разлад между мыслью и действием приводит к тому, что каждый поступок их отравлен рефлексией и разрешается нулевым результатом. Здесь мы сталкиваемся с новым поворотом нашей темы.

События в романе Грина происходят в Аргентине, на границе с Парагваем. Доктор Пларр и по роду деятельности (он врач, широко практикующий в кварталах бедняков), и по образу жизни решительно отличается от вялого и малоподвижного Хальма.

Но у него есть нечто общее с этими и другими героями Вальзера — он также поражен неспособностью к любви, неспособностью «выйти на связь» с окружающими людьми. Он лечит бедняков, но не столько из сострадания к ним, сколько честно выполняя профессиональный долг. При этом Пларр не просто отвергает всевозможные высокие слова и формулировки, иронизирует над сентиментально-романтическим «культом мужской силы и гордости» — machismo, которым руководствуются окружающие его латиноамериканцы (сам Пларр—смешанных кровей: его мать — парагвайка, а отец — англичанин). Он вообще отрицает существование высоких чувств и душевных движений («В жизни нет ни благородства, ни достоинства»), не верит в значимость и ценность каких бы то ни было идей, придающих смысл действию.

Но его строго контролируемая холодность и бегство от чувствительности любого рода оборачиваются тем же machismo — догматическим кодексом поведения, заменяющим живую жизнь. Постоянно присутствующая мысль об обособлении своей личности от могущих возникнуть эмоциональных уз, от возможных посягательств внешнего мира отбрасывает тень на любое действие, делая его половинчатым, двойственным.

Полная противоположность Плларру — Чарли Фортнум, исполняющий обязанности опереточного «почетного консула» Великобритании в городке. Это сентиментальный болтун-пьянчужка, преисполненный, на взгляд Плларра, романтических иллюзий. Влюбившись в Клару, девушку из дома терпимости, он женится на ней.

Но Клара нравится и Плларру, он вскоре делает ее своей любовницей. Однако, не желая связывать себя любовью, относится к Кларе подчеркнуто безэмоционально, физиологически.

В конечном счете именно крайняя противоречивость существования и поведения Плларра становится причиной трагедии. Сознавая безуспешность террора, он тем не менее (в память об арестованном в Парагвае отце, или школьной дружбе с двумя из террористов, или просто так? — вряд ли он и сам понимает) помогает террористам, служит «наводчиком», снабжает их снотворным для «операции». А после похищения ими Фортнума предпринимает активные действия для его спасения, в то же время искренне презирая и его и всех, с кем приходится сотрудничать в этом деле.

Крестьянская лачуга, где скрываются террористы, обнаружена и окружена войсками, их требования (сопровождаемые угрозой убить консула) отклоняются. Во исполнение своего ультиматума террористы должны «ликвидировать» доброго, безвредного Фортнума, а потом сами принять смерть. В этих экстремальных условиях проходят проверку жизненные ценности всех участников драмы [6].

То же, что и у Плларра, несоответствие мысли и дела, разлад между идеей и физическим действием характерны для большинства других героев романа. Но больше всех — для Леона Риваса, бывшего священника, а ныне террориста.

Он искренне веровал в молодости. Годы учебы в семинарии, когда сомнения не грызли его, называет своим «медовым месяцем» с церковью. Но конфликт с официальным католицизмом неминуем: слишком уж запятнала себя церковь сотрудничеством с диктатурой Стресснера, властолюбием, сребролюбием. Леон становится террористом, мечтая в то же время о единой вселенской церкви. Свой внутренний разлад он проецирует не только на весь остальной мир, но и на бога-творца, в которого верует, видя в нем наряду с доб-

---

[6] Тема «пограничной ситуации» составляет основу этого и многих других романов Грина, как и ряд других тем, объединяющих его с экзистенциализмом (что неоднократно отмечалось и в нашей, ив зарубежной критике). Но различие здесь в главном: выход из «экзистенциальных тупиков» Грин ищет на путях восстановления связей личности с миром.

рой и темную, злую сторону[7]. Он глава боевой группы, совершающей «теракции», но ни одна из них, в том числе и эта, ставшая последней, не удается (намереваясь похитить американского посла и обменять его на арестованных в Парагвае соратников, группа Риваса по ошибке похищает никому не нужного Фортнума). Отойдя от церкви так далеко, как только возможно, Ривас перед смертью служит мессу. Ненавидя насилие, он отпускает голодному мальчику грех убийства сестренки и готов взять на себя смерть Фортнума, а умирая, радуется, что никого уже не сможет убить. Сомнение, таким образом, не останавливает Риваса перед свершением действия, но полностью выхолащивает смысл этого действия.

Расхождение между мыслью и делом существует и у остальных членов группы. Мария, жена Леона, не знает толком, как к нему относиться: как к мужу или как к священнику. Поэт Акуино, ближе всех в отряде видевший смерть и возненавидевший ее, в то же время рвется казнить Фортнума, но это ему так и не удается.

Действие, которое может совершить раздвоенный человек,— это действие неизбежно противоречивое, отрицающее самое себя. Таковы акции группы Риваса: террор в целях грядущего избавления от насилия, террор, оборачивающийся не только убийством невинных во имя установления будущей благодати («Наше дело спасать человеческие жизни»,— говорит Леон), но и смертью тех самых бедняков, ради которых террористы, собственно, и ведут борьбу.

Из череды расколотых и «раздерганных» персонажей выделяется Чарли Фортнум. Фигура это центральная и в сюжетном плане (вокруг нее строятся события романа), но главное — в плане содержательном. Все остальные действующие лица приведены автором в сопоставление с Фортнумом — единственно цельным героем. Этот персонаж неказист, Пларр гораздо мужественнее, хладнокровнее, привлекательнее, то есть, казалось бы, он герой. И все же в финале Пларр завидует Фортнуму — завидует его любви к Кларе, его способности любить. Перед лицом смерти это становится решающим, подвигая Пларра на действие, приносящее результат: жертвуя собой, он хоть и не спасает террористов, но сохраняет жизнь Фортнуму.

Из всех героев романа лишь Фортнум верит, что один человек способен сделать другого хоть «чуточку счастливее» (характерно, что, услышав от Фортнума эти слова, Пларр даже не находит что сказать и, извинившись, уезжает). Фортнум любит Клару. Он не знает противоречия между мыслью и реальностью. Все его мысли и поступки продиктованы одной целью — дать счастье и спокойствие Кларе, уберечь ее от страданий.

Характерно и то, что физиология, столь важная для Пларра, отступает у Фортнума перед задушевностью любви («Знаете, я ведь несколько месяцев даже не притрагивался к Кларе. Пока не убедился, что она меня хоть немножко любит»). Но это-то задушевность разлучает его со всеми, в том числе и с Кларой. Его плохо понимают, его неказистость и комичность — первое, что бросается в глаза всем. Однако финал романа становится торжеством Фортнума. Убедившись в неверности Клары, Фортнум не упрекает ее — для него главным становится другое: любила ли она сама Пларра, не бесчувственна ли она. Убедившись, что любила, он с облегчением ощущает какое-то человеческое тепло, передающееся и Кларе. Трагедия просветляется. Единство мира, единство мысли, слова и дела восстановлено — пусть частично — любовью, соединяющей живых и мертвых, прошлое, настоящее и будущее (ребенок Клары, которого Фортнум принимает как своего).

Таким образом разрешается в финале тема любви, даже более конкретно — любви покровительственной, опекающей, отцовской (всегда очень значимой в романах Грина). Отцовская любовь в широком смысле — это надежная защита от опасностей извне, кроме того, это свидетельство прочности положения человека в цепи поколений. Такова в своей основе позитивная программа самого Грина.

Но так «в теории». Реальная же действительность, изображенная в романе Грина, усеяна лишь обломками подобных связей и отношений. Почти все герои такой любви лишены, однако все они мечтают (во всяком случае постоянно размышляют) о ней: и Пларр, не видевший отца с детских лет, и Фортнум, и Клара, и Леон Ривас, и Акуино. Но при этом они сомневаются в существовании подобной любви в принципе (Клара «не считала любовь, даже любовь между отцом и сыном, чем-то само собой разумеющимся»; Пларр, думающий: «Хорошо, если бы можно было менять отцов», вообще «не очень точно себе представляет, что означает слово любовь»). Возможно, потому никому из них и не удается дать любовь кому бы то ни было. Хотя священника Леона Риваса и называют «отцом» все остальные персонажи романа, он ничего позитивного им предложить не в состоянии (даже слепому старику, пришедшему к нему со словами: «Я ищу отца»), более того, само обращение «отец» для него мучительно. Пларр отнюдь не рад будущему отцовству; никакой веры или идеи он, по собственному признанию, не может оставить в наследство своему потомку. А перед самой смертью Пларр думает, что Фортнум будет лучшим отцом ребенку Клары, чем он, ибо ребенку «нужна любовь»!

Даровать любовь окружающим его людям способен только неказистый Чарли Фортнум. Это победа негероя, «маленького человека», который даже в самой крайней

[7] Этот аспект очень характерен для той прямой перспективы, в которой рассматривает мир современное эгоцентрическое сознание — исходной точкой является оно само, отсчет идет от него. Отсюда и знаменитая формула «бог умер», выдвинутая западной философией в конце минувшего века и ставшая в середине века нынешнего расхожим клише, употребляемым для самых разных целей, от проповеди вседозволенности до призыва к самоубийству. Формула эта характеризует кризис буржуазного сознания, неумолимым ходом истории лишающегося опор внутри и вне себя и с ужасом обнаруживающего полную опустошенность внутреннего мира личности.

ситуации, под дулами направленных на него террористами автоматов, продолжает — возможно бессознательно — выстраивать связи с миром; его отношение к своим потенциальным убийцам — Ривасу и Акуино — примечательно тем, что он их жалеет. Такое разрешение конфликта, конечно, в духе лучших классических традиций. Однако же нельзя преуменьшать и бессознательность доброты Чарли Фортнума. Это слабый человек, способный на «страдательную» любовь только потому, что не способен более ни на что. Любовь его как бы «не самостоятельна»; она существует только как противовес агрессивности остальных персонажей.

Видимо, определенная недостаточность личности Фортнума осознавалась и самим Грином: отсюда тот явно ощущаемый нажим, с которым в последней главе нагнетается «благость» этого персонажа.

Проблема действия, но на этот раз уж совсем порочного, противоположного добру, развита Грином в повести «Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой» [8], написанной позже «Почетного консула». Главный герой чрезвычайно активен: он составил себе очень большое состояние, он погубил жену, он содержит при себе штат знакомых-шутов, которых заставляет демонстрировать собственную низость. В конце концов, истощив свою направленную вовне экспансию, он обращает ее вовнутрь, на себя самого: кончает самоубийством. Грин мастерски разрабатывает проблему разрушительности действия, основанного на презрении к людям и подавлении их с помощью власти денег; вскрывает за маской демонического величия ограниченность субъекта такого действия. Но противопоставить что-либо фишеровской злобно-маниакальной агрессии в пределах этого произведения писателю не удается. Как противовес мыслилась идеальная любовь дочери Фишера Анны-Луизы и скромного, немолодого клерка Джонса (любовь, в которой, как подчеркивает Грин, опять-таки преобладает отеческий, бескорыстный, оберегающий оттенок). Но равноценного контраргумента Фишеру не получилось: слишком безлична эта пара идеальных влюбленных, слишком бескрасочна и невыразительна.

Видимо чувствуя неудовлетворенность этим решением, находясь в поисках настоящего героя, Грин в одном из последних романов предпринимает новую попытку, создавая образ... рефлектирующего Дон Кихота.

Роман так и называется «Монсеньор Кихот» [9] и является современной версией романа Сервантеса. Прямой потомок «рыцаря печального образа», священник Кихот из Эль Тобосо, вынужден волею обстоятельств пуститься в путешествие по Испании вместе со своим другом, коммунистом, бывшим мэром Эль Тобосо, которого он в шутку называет Санчо.

Большое место в романе занимают идейные споры — ведущиеся обычно за бутылкой вина — между Кихотом и Санчо, каждый из которых пытается доказать правоту своего мировоззрения и ущербность воззрений другого. Но ценность этих споров весьма невысока: судя по всему, представления самого Грина о коммунизме мало отличаются от расхожих клише западной пропаганды, этими представлениями, естественно, ограничены и его герои, в результате тот же Санчо, не знающий, по воле автора, очевидных истин представляемого им учения, выглядит порой просто комично.

Значимость нового произведения Грина в другом.

Эпиграфом к роману о современном Дон Кихоте служат строки из «Гамлета»: «...Нет ничего — ни хорошего, ни плохого; это размышление делает все таковым» [10] (перевод М. Лозинского).

Основная черта, характеризующая внутренний мир монсеньора Кихота, — сомнение. Он сомневается в себе, в вере самого папы, в догматах веры, которую проповедует, сомневается в правильности своих поступков. Но, сомневаясь, тем не менее продолжает действовать, посильно помогать людям.

Монсеньор Кихот произносит речь во славу сомнения. По его словам, сомнение может объединить людей прочнее, чем вера: адепт одной веры непримирим к приверженцам любой другой, а «сомневающийся» сражается лишь с самим собой. Но ведь и сомневающиеся герои Вальзера сражаются с самими собой — да еще как, до полного истощения «противника»! Однако сражаются они в конечном итоге — в результате чудовищного смещения понятий — ради собственного эгоистического, пусть и превратно понятого, благополучия. А Кихот Грина сомневается, так как ищет наиболее правильный путь служения людям. Служения, далекого от церковных обязанностей (за что его даже лишают сана), но каждодневного и результативного. Он нередко склонен согласиться с рассуждениями своего Санчо, если отстаиваемые тем истины жизненны и полезны для людей; с другой стороны, даже в канонических евангелиях он не может принять наиболее суровые порицания и угрозы грешникам, призванные, как он считает, нагнать страх на простого человека [11].

Поэтому сомнение не становится у Кихота преградой для действия. Когда требуется его вмешательство — отцы города, куда их с Санчо забросила судьба, превращают религиозную процессию в демонстрацию своего богатства (допуская к статуе богоматери лишь тех, кто прикрепляет к ней «увесистую» ассигнацию) и от-

[8] «ИЛ», 1982, № 6. Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова.

[9] Graham Greene. Monsignor Quixote. Laurence Pollinger. Ltd. The Bodley Head. London. Sydney, 1982.

[10] Ср. с эпиграфом к «Почетному консулу»: «Все слито воедино: добро и зло, великодушие и правосудие, религия и политика...» (Томас Харди).

[11] Многие романы Грина, которого порой называют «католическим писателем», были преданы проклятию «Священной канцелярией» Ватикана и включены в список запрещенных церковью книг (см.: В. П. Колесниченко. Грэм Грин и католицизм. Автореферат кандидатской диссертации. Киев, 1975). Сам Грин всегда возражал против того, чтобы его считали «автором католических романов».

лучают бедняков от праздника,— он вмешивается не колеблясь и срывает недостойную церемонию.

Итак, если человеком движет искренняя любовь к людям, сомнение и рефлексия ему не страшны. Можно сомневаться и рефлектировать, нельзя только быть нейтральным, «когда приходит час выбора между добром и злом»,— говорит монсеньор Кихот.

Но может ли сам Грин всегда четко представить, что есть добро и что зло в современном мире? Видимо, нет, и сказывается это не только в уходе от основных политических и социальных проблем современности, отчетливо заметном в этом его произведении. В обстановке прогрессирующего нравственного упадка западному писателю трудно не разувериться в гуманистических ценностях вообще. Вот почему рефлексия, гораздо более сильная, чем у его героев, не оставляет Грина [12]. Вот почему заражает он скепсисом и Кихота и Санчо, больше всего опасающихся окончательной победы своих доктрин, ибо тогда исчезнет всякая неопределенность, людям не в чем будет сомневаться, а следовательно... не на что надеяться и не во что верить. Вот почему не хватает уверенности руке мастера, когда он создает образ монсеньора Кихота, и выходит этот образ порой просто резонерским. Да и весь роман в целом по своим художественным достоинствам уступает тому же «Почетному консулу»: искусственность сюжета и схематизм идейного содержания проступают достаточно явственно. Видно, что автор боится раскрыться до конца, со всей силой страсти и мастерства отдаться созданию образа «положительно прекрасного человека» [13], предпочитая сохранить некоторую ироническую дистанцию (порой едва заметную, но не исчезающую никогда).

Спасая баска-террориста, а затем прерывая крестный ход, монсеньор Кихот навлекает на себя преследование полиции. Раненный полицейским, он вместе с Санчо находит убежище в монастыре. Ночью, впав в сомнамбулическое состояние, нечто среднее между бредом и летаргическим сном, Кихот пытается служить мессу, но когда по ходу мессы надо причастить Санчо, Кихот, прикоснувшись к нему и столкнувшись, таким образом, с действительностью, пробуждается и умирает от разрыва сердца (смерть, обычная в случаях летаргического сна, но тем не менее весьма символичная). Уезжая из монастыря после смерти друга, Санчо думает: ненависть умирает вместе с человеком, которым она была порождена (как это было с Франко, например), а любовь остается в мире и после смерти человека.

Трудно, конечно, делать какие-то принципиальные выводы на основании нескольких произведений, однако с известной определенностью можно сказать, что многие крупные писатели Запада, и в частности М. Вальзер и Г. Грин, далекие от идей социального переустройства действительности, тем не менее глубоко сознают и достаточно четко отображают распад духовной сущности человека в антигуманной реальности окружающего их общества. Общества, построенного на частной собственности и частном интересе, когда понятия «я» и «другие» разгорожены непроходимой стеной. Превращение мысли в бесплодную рефлексию, действия в агрессию — вот некоторые из результатов распада, зафиксированные в последних книгах этих писателей. Где же выход? Каковы пути психологического синтеза, которые поведут к гармонии индивидуального и — шире — общественного существования? Вальзер подчеркнуто иронически отстраняется от решения вопроса, Грин, как ему представляется, открывает путь — это путь бескорыстной любви, благоволения людей друг к другу.

Безусловно, ценность такой позиции трудно оспаривать. Ведь любовь есть узнавание себя в других, постижение своего родства с другими, единства человечества. Посредством любви личность узнает в себе человека и узнает себя в человечестве.

Но даже призыв к действию, оплодотворенному мыслью, к деятельной любви — без уточнения направленности этого действия, без учета политических и социальных реалий сегодняшней действительности — становится отвлеченно-абстрактным и потому не есть панацея от бед современного мира. Призыв к установлению межчеловеческих связей — а на какой основе могли бы соединиться, скажем, члены группы Риваса и преследующие их полицейские либо Кихот, Санчо и недобитые франкисты? — может превратиться в наивный и прекраснодушный лозунг. И все-таки само стремление это, явственно прослеживаемое в произведениях двух видных европейских прозаиков (ибо есть оно не только у Грина, но в более скрытой форме и у Вальзера), чрезвычайно важно. Перед лицом угрозы самому существованию человечества многие писатели Запада все яснее осознают, что одна из основных задач литературы — помочь людям найти социальные и психологические формы общежития на земном шаре.

---

[12] Это проявляется хотя бы в выборе эпиграфов для обоих романов. «Не думаю, что в его (*писателя. — Е. С., К. С.*) силах заметно повлиять на дела в мире... Разве что в самой малой степени»,— говорит Грин («После ужина с бомбой». «ИЛ», 1982, № 9, с. 235).

[13] Так писал Ф. М. Достоевский о своем князе Мышкине, соотнося его с Дон Кихотом Сервантеса.

◆

КАРЕЛ СЫС

# ПОЭТ и К°

**Главы из книги**

*Перевод с чешского и вступление С. ШЕРЛАИМОВОЙ*

## Карел Сыс размышляет о поэзии

В традиции чешской литературы — обращение поэтов к читателю не только в стихах, но также в статьях, эссе. Можно вспомнить замечательного чешского сатирика эпохи национального возрождения К. Гавличека-Боровского, классика чешского критического реализма Я. Неруду, революционного поэта С. К. Неймана, можно вспомнить блестящие эссе о поэзии В. Незвала и публиковавшиеся в «Иностранной литературе» статьи и выступления известных современных поэтов В. Завады и И. Тауфера. Эту традицию восприняли и более молодые авторы, творчество которых получило признание в последнее десятилетие. Одному из них сегодня предоставляется слово.

Карел Сыс родился в 1946 году, начал печататься в конце 60-х («Ньютон во время неурожая яблок»), большой интерес вызвали его поэтические сборники «Долгое прощай», «Американский счет» и другие. Он часто выступает со статьями и эссе о литературе, с рецензиями на новые чешские книги стихов. В 1981 году вышел в свет сборник его избранных эссе и рецензий, объединенных проблемой назначения поэзии в современном мире,— «Поэт и К°». С некоторыми из вошедших в книгу эссе мы хотели бы познакомить читателей нашего журнала.

Каждое новое поэтическое поколение заново решает для себя вопрос о смысле поэзии, который относится не только к сфере эстетики: по сути дела это вопрос и об отношении к жизни. К. Сыс задумывается над тем, какой должна быть поэзия, чтобы затронуть сердца современников, что она может дать им.

Карел Сыс пишет образно и темпераментно, подчас задиристо. Поэт зло издевается над мещанскими представлениями о литературе, над «мещанином в социализме» и его «уик-эндовой философией», ратует за полную самоотдачу в жизни и в творчестве. Он решительно против поэзии пресной, «несоленой-немасленой», против поэзии, лишь иллюстрирующей общеизвестные истины. Ему равно ненавистны «башни из слоновой кости» и написанные без внутреннего горения шаблонные «ангажированные» стихи. Сыс противопоставляет им большую политическую поэзию, яркое и смелое творчество по «социальному заказу» эпохи.

У каждого поэта есть свое представление о наиболее плодотворных традициях классики, которое в чем-то может быть и субъективным, спорным. Есть такое свое представление и у Сыса. Бодлер, Рембо, К. Г. Маха кажутся ему живыми и сегодня, а к Малларме или известному чешскому поэту XIX века Ф. Л. Челаковскому, считавшему романтизм Махи недопустимо дерзким, он относится с иронией. Но главные авторитеты для Сыса, с чьими мыслями он сверяет свою позицию,— это В. Незвал и В. Маяковский.

**Пусть поэзия задевает за живое, поднимает людей, помогает им лучше видеть большой мир и то, что происходит рядом с ними. И пусть у каждого поэта будет свое лицо: «Это монеты в денежном обращении должны быть равной величины, веса и чеканки. В поэзии все наоборот». Стихотворения — «кристаллы, возникающие из раствора обыденности», но они «многим, если вообще не всем», обязаны фантазии. Как в своих стихах, так и в эссе Сыс отстаивает поэзию, охватывающую жизнь в ее полноте, не признает запретных тем, утверждает, что «поэт может употреблять все». Разумеется, некоторые суждения Сыса, как и отдельные его стихи, могут вызывать полемическую реакцию. Но и не соглашаясь в чем-то с Карелом Сысом, мы отдаем должное его стремлению к поэзии, тесно связанной с реальностью, к поэзии действенной, активно помогающей осуществлению высоких общественных целей.**

## Поэт и К°

Три вещи ценятся от века как самые знаменитые плоды земли чешской: пиво, огурцы и поэзия.

Когда один из персонажей «Тома Сойера» спрашивает другого: «Где вы берете эти необыкновенные маринованные огурчики?» — ответ должен быть: «Разумеется, их прислала нам тетушка из Зноймо».

О пиве сказал еще Гашек, что падет каждое правительство, которое покусится на его цену.

А если кого-нибудь оскорбляет соединение телесных удовольствий с поэзией, пусть он прочтет следующий отрывок из газеты «Народни листы» от 25 июня 1875 года:

«Кроме того, публика была неприятно поражена не очень хорошим пивом, которое было теплым и к тому же непомерно дорогим. Маленький стаканчик летнего деревенского пива отпускался за 10 крейцеров, что пражанам, привыкшим за те же деньги выпивать почти вдвое большую порцию пльзеньского, неизбежно должно было испортить настроение. И пану Аверино мы можем сказать со всей прямотой, что при таком теплом и дорогом пиве его театр быстро опустеет, даже если он пригласит в семь раз лучшую труппу и программа будет в три раза интереснее, чем на первом представлении».

Если вы думаете, что речь здесь идет о дебюте ресторана, то вы глубоко ошибаетесь. 24 июня 1875 года пан Аверино открыл «Театро салоне италиано у Конских и Житных ворот», намереваясь предложить (не бескорыстно) отчаянно провинциальной Праге некий суррогат столичного варьете.

Я понимаю, шансонетки, танцовщицы и гимнасты довольно далеки от поэзии, но, по-видимому, и ее нельзя полностью отделить от качества пива и торговли им (справедливости ради добавим, что репортер «Народни листов» признает: «Представлению вредил также град, который очень громко барабанил по крыше театра»).

Как не вспомнить здесь о чешском самолете Вацлава Кадержавека, которому все время недоставало «второго крыла»! Воистину трудно стартовать, когда перья намочены в солоде.

Но на мир нельзя смотреть только через пивную пену. Случай с театром Аверино, сам по себе незначительный, я привел ради более серьезных вещей. Процитируем «Народни листы» в третий раз: «То, что мы увидели, не было удивительным, необычным или же — замечу это для спокойствия пражских барышень — соблазнительным и опасным для морали». Огурцам подобает быть кисло-сладкими, пиву — горько-сладким, но напрашивается мысль, что поэзия вроде бы должна быть несоленой-немасленой. Такой, чтобы на нее можно было поставить вердикт церковных цензоров: Nihil obstat [1], что означает: ни черта не содержит.

...Чтобы подтвердилось правило: чем меньше скажешь, тем больше преуспеешь.

Слова, приведенные выше, удачно дополняет цитата из письма Франтишека Ладислава Челаковского критику поэмы Карела Гинека Махи «Май» Хмеленскому (от 13 мая 1936 года), затрагивающая проблему романтизма и огурцов: «Мне все время кажется, что нынешний май мстит нам за то, что его воспевали таким слогом висельника. Несчастный поэт вместе со всей его романтикой! На что она нам, когда, как говорят, всюду повымерзли фруктовые деревья и виноград — благодать поэтов. И огурцы тоже все пропали!

С той гибели возникает голод, с голода — чума,
И всех, кто еще жив, погубит здесь она.

Таковы плоды ужасного байронизма».

Нелегко привить поэтам здоровые принципы. Это странные натуры, они хотят, чтобы их читали больше других, потому-де, что они умеют играть на золотых струнах.

Вот читатели легче поддаются обработке. Посмотрите, как с самого момента рождения новой поэзии современная ей теория и практика пытаются отделить поэта от читателя. Все исключительное, крайнее поселяют в «башню из слоновой кости», все живое выгоняют за границы Искусства.

Это начинается с личности поэта. Даже в самых лучших операх (не говоря уже об оперетках) поэты присаживаются к столику с чернильницей (подогнув одну ногу), мечутся в переживаниях, скребут голову и рвут волосы, словно страдают неизлечимой кожной болезнью. Так ведут себя Каварадосси у Пуччини, Ленский у Чайковского и все их гораздо более слабые копии. (Спору нет, поэт — муж и отец — порой рвет на себе волосы, но по куда более прозаическим причинам, чем забастовка муз. А

[1] Nihil obstat *(лат.)* — ничему не противоречит, то есть не содержит ничего недозволенного. *(Здесь и далее прим. ред.)*

писать он садится глубокой ночью, когда подобные жесты совершенно излишни.)

Об изображении поэта как жертвы сговора муз весьма язвительно пишет Маяковский, высмеивая биографический фильм о Пушкине «Поэт и царь»: «Выводится образ наиболее замечательнейшего за все время существования России поэта, и поэта с замечательной биографией. то есть человека очень сложного. Я спрашивал у людей, которые пишут стихи,— как они это делают... По-различному... Но во всяком случае — дурацкие взъерошенные волосы, отводя левую ножку в сторону, сесть к столику и сразу написать блестящее стихотворение:

Я памятник воздвиг себе нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа... —

это есть потрафление самому пошлому представлению о поэте, которое может быть у самых пошлых людей...».

Примеры не обязательно искать за границей. Еще в 1907 году издатель сочинений К. Г. Махи Ярослав Влчек утверждал, что в письме поэта к его возлюбленной Лори (от 21 октября 1936 года) в списке предметов, которые она должна была привезти в Литомержице, вычеркнут 20-й пункт. Из более поздних изданий, когда поэты уже получили право на естественные отправления, мы узнали, что он просил у Лори «ночной горшок (оловянный)»...

Американский писатель-реалист Дешиел Хэммет описывает поэта следующим образом: «...тощий человек лет двадцати пяти, с бледным лицом... длинные каштановые волосы растрепаны. На шелковую пижаму бордового цвета надет лиловый халат, усеянный большими зелеными попугаями... Мне приходилось наблюдать, как даже вполне нормальные люди в состоянии стресса или возбуждения вели себя еще более странно, чем этот молодой человек с диким взором, но его одежда — халат с попугаями и эта пижама — придавала ему излишнюю театральность... я подумал, что на халате уместнее попугаев выглядели бы олени».

Рассказ «Девушка с серебряными глазами» Хэммет написал в тридцатые годы. Но вот в 1979 году мы читаем фельетон в одной нашей газете: «За мраморным столиком сидит Он. Благородный нос, глаза как артезианские колодцы и кудри не только на ушах, но и на плечах. Мечтательный взгляд. Нервно покусывает ручку, часто наклоняется, чтобы записать внезапно пришедшую мысль. «Видишь, словно инопланетянин»,— у Божки дрогнул голос». (В конце концов Божка поймет, что это не поэт: «Ха, это идиот, который заполняет карточки спортлото!»)

Одна моя дальняя родственница рассказывала о своем бывшем поклоннике: «Он писал стихи, а в остальном был вполне нормальным»...

Я сам могу вспомнить, как приятели удивлялись моему уменью держаться на велосипеде, проплыть десять метров, играть в бадминтон, находить грибы... Многие друзья (и подруги) считают, что мы, поэты, любим только на словах, забывая, как уже давно «слово стало телом». Горе поэту, если он перешагнет частокол сложившихся представлений. «Я мог вызвать в памяти ночной облик карлинского костела, возле которого шатался однажды до полуночи, когда был изгнан направленным на меня дулом ружья из жилища одного очень ревнивого мужа...» — свидетельствует Незвал в «Пражском пешеходе».

Грустно, конечно, быть выставленным из комнаты возлюбленной. Однако самое большое оскорбление нанес поэтам американский генерал Фаррел, один из тех, кто позаботился, чтобы не угас огонь милитаризма. Вот как он рассказывал о первом испытании атомной бомбы в местечке с поэтическим названием Jornada de Muerte (день смерти!) недалеко от деревни Oscuro (темный!): «Это была красота, о которой мечтают великие поэты, но изобразить которую они в состоянии лишь бледно и неубедительно». Он оскорбил поэтов не тем, что поставил под сомнение их творческие возможности, а тем, что приписал им стремление описывать подобную гнусность.

По сравнению с этим оскорблением упрек журнальчика «Железнични ревю» (в 1939 году) по адресу рифмоплетствующих проводников выглядит как поглаживание по головке. (Речь шла о том, что некоторые проводники скрашивали поездку для себя и пассажиров стишками собственного сочинения в таком роде: «По билету, пани, видно,/что вы едете до Брно,/с вами выйти б поспешил, если б старший разрешил./Но должен дальше я катить,/не могу вас проводить./Разрешите же мне здесь/ хоть чемоданчик вам поднесть».) «Ревю» писал: «Публика буквально рвется в вагоны, которые обслуживает такой поэт, заранее радуется и с нетерпением ждет, когда он войдет в купе... Большинство железнодорожников относятся к подобной деятельности неодобрительно, принимают ее лишь с оговорками. Сложилось единое мнение, что проводники-рифмоплеты, выступая в унизительной роли клоунов из цирка или варьете, может быть и неосознанно, помимо воли, подрывают в глазах общественности уважение к нашей профессии, к серьезности нашей утомительной и опасной работы. Мы не можем не заметить по адресу стихоплетов: пусть они помнят, где находятся, и, желая направить свои способности на пользу железной дороги... всегда точно рассчитывают собственные возможности и не переступают допустимых границ. Ибо и здесь действует старый принцип: лучше меньше, да лучше!..»

Ну ладно, это мнение «непосвященных». Глубже всаживают нож в сердце поэзии именно «посвященные». Послушаем, что пишет Бернард Фай в «Панораме современной французской литературы», которая вышла во Франции в 1925 году (!). Виктор Гюго выступает там как основатель школы, недостижимый и бессмертный; возле него — Бодлер, которому «недоставало смелости, и поэтому он не создал школы». Не говоря о том, что поэтам здесь приписывается роль неких организаторов школ, поэзия Гюго уже давно покоится в тиши хотя и пышных, но заброшенных оранже-

рей, тогда как призрак Бодлера все еще бродит среди нас. Посмотрим также, что в 1925 году французский эссеист написал о Рембо. Сплошной энтузиазм и восторг, «апостол» и «дитя пусть и некрасивое, но крепкое и удивительное». Когда же Фай пытается хотя бы приблизительно обрисовать ту мастерскую, ту кузницу и тот горн, откуда выплыл «Пьяный корабль» и вылетела «...птиц вереница, Золотая денница, Грядущая Мощь?» [1], он оказывается, как и каждый эстет, на обломках собственных заблуждений.

Приписав поэзии вроде бы и много — создание школ, эпох, легенд века и прочих химер, автор мешает читателю понять истинные чудеса, невидимые глазу, но вполне ощутимые.

Зато мастерскую Малларме он описывает в подробностях, говоря о поэте, который передвигался «среди не слишком многочисленной старой и милой мебели с листом бумаги, зачастую белым». Принимал визиты (по вторникам вечерами), «входила мадемуазель Малларме и подавала пунш. Его тихо выпивали перед прощанием». Поистине великолепные дни, отменная питательная среда для вдохновения!

Я не хочу сказать ничего плохого. Спору нет, Верлен и Рембо тоже мучились над листом бумаги, по преимуществу белым, тоже покуривали и тому подобное, но их передвижения от камина к дивану наш эссеист не сохранил для потомков. Не поняв их зажигательной поэзии, дымящейся, как бомбы карбонариев с подожженным запалом, Фай искал объяснение этой зажигательности во внешних признаках. И конечно нашел — в возбуждении чувств средствами, бесконечно далекими от спокойного попивания пунша по вторникам.

Но ведь поэзия возникает и на более простой основе, чем хождение по комнате, ее можно создавать и стоя. Трудность в том, что каждый, кто хоть однажды вдохнул аромат поэзии, хочет написать своих «Проклятых поэтов» [2], свои «Современные поэтические направления» [3]. Не пройдя по их дорогам, не имея того стержня, которым обладали «проклятые» и «современные», рядясь в те же костюмы, но не имея их кровяных телец, эти авторы пытаются вложить поэтам если не в уста, то хотя бы в их беззащитные произведения свои неуклюжие конструкции.

Ведь даже Клод Руа, без сомнения более сведущий исследователь, чем его старший французский коллега, видит в Аполлинере лишь «мифомана и улыбающегося великана», который «по веселой причуде выбрасывает из своих стихотворений знаки препинания, а Малларме с ним соглашается» (!), «разыгрывает фарс с таможенником Руссо, а Лувр это подтверждает». Опять те же нахальные пухлые и волосатые пальцы, которые лезут в нутро поэзии. Опять непонимание того, например, что открытие Аполлинером Анри Руссо было осознанным поэтическим и интеллектуальным действием, а не случайным поступком, созданием мифа, требующим еще подтверждения со стороны Лувра.

Это «обгладыватели чужих костей» нуждаются в подтверждении своего вздора — вот они и выставляют куски поэтического мяса в кафельных витринах своих лавчонок.

Ах, как прекрасен рассказанный Ренчином анекдот, в котором книготорговец берет у покупателя из рук книгу со словами: «Не прикасайтесь к поэзии. У вас руки в прозе».

Но самый большой удар наносит поэзии она сама. Это скука, родная сестра равнодушия. Читатель ведь не Магомет, который пойдет к горе равнодушия и скуки. Некоторые стихотворения, некоторые сборники, некоторые поэтические школы подобны макаронам с копченостями. Ради одного-двух кусочков ветчины ты вынужден пережевывать целую тарелку макарон. К тому же все макаронины одинаковы. Это монеты в денежном обращении должны быть равной величины, веса и чеканки. В поэзии все наоборот.

(Правда и то, что качество рождается на базе количества, серой посредственности, как шампиньоны на конском навозе. Ведь и суперзвезды не сияли бы так ярко, если бы им не создавали фон более скромные светила.)

Всем нам надо над письменным столом повесить в рамочке слова, которые Рольф Хохгут в драме «Смерть охотника» вложил в уста Хемингуэя: «Под Килиманджаро я понял неизбежность, которая однажды должна дойти до каждого эпика: в материал надо проникать до третьего, до четвертого измерения, ибо нет ничего более нудного, чем факты, которые не являются ключом к просторам духа за их оболочкой». Для изучения оболочки уже сделано много, теперь пришло время пробиваться к ядру.

Алоис Беер, художник-примитивист и писатель, «изготовитель разного рода токарных поделок, резчик и позолотчик с 1889 года», очаровал еще межвоенных авангардистов. Незвал в 1937 году сказал о нем: «Не приходится удивляться, что порой мы находим поэзию как раз за общепринятой границей искусства». То есть за ее оболочкой, как о том говорил Хемингуэй. К стыду для так называемой признанной поэзии.

Сюрреалисты были теми, кто распознал смертоносные бациллы скуки. Однако имеющий хождение не только в сюрреализме принцип соединения отдаленных явлений нельзя без потерь понимать как произвольное сожительство — от спаривания обезьяны с человеком ничто не родится. «Актеры», участвующие в таком соединении, должны иметь — пусть это и не заметно на первый взгляд — общие гены.

Впрочем, действительность давно превзошла все встречи зонтов со швейными машинками на операционных столах. Г. Бим-Пайпер пишет в научно-фантастическом рассказе «Ребус»: «Губерт Пенрозе склонился над чем-то, что выглядело как сюрреалистический пулемет, но в действительности было отбойным молотком, приводимым в движение атомной батареей». В самом деле, атомный отбойный молоток,

[1] Перевод с французского П. Антокольского.
[2] Книга Поля Верлена.
[3] Антология, составленная В. Незвалом.

между прочим на Марсе,— это большее чудо, Освенцим — больший ад, чем все искусственные ужасы, чем любой ад и рай сюрреализма.

Мифы растворяются, как камни, извлеченные из желчного пузыря и положенные в банку, испаряются, как эфир, и остается только бумага. А поэзия должна неустанно освобождаться от бумаги. Ее шелест мешает так же, как возня с кульком конфет на концерте. Обратите внимание, что для истинной поэзии она уже и не нужна. Читателям Швейка не требуется перелистывать книгу, достаточно намека: «Трудно ли фотографировать вокзал?» — и мешок смеха прорвется.

Когда говорят о «башнях из слоновой кости», подразумевают, что эти пристанища отведены исключительно для поэтов. Но из слоновой кости можно возвести и читательские панельные дома.

Чешский читатель уже отвык от гражданской поэзии, какую писали Нейман, Незвал, Галас. Настоящих политических поэтов сегодня можно пересчитать на пальцах одной руки. Чешский читатель обмещанился, а мещанин, как известно, при словах «гражданский долг» покрывается гусиной кожей, ибо он боится, что его пришли звать на субботник. Мещанин старается переложить тяжелый крест на других и даже при наводнении хочет выйти сухим из воды.

Вина здесь лежит и на критике, которая очень нечетко определяет ценности и вместо того, чтобы отделить зерна от плевел, отделяет одно поколение от другого. Но нам нужна не карта поверхности, а карта глубин, карта геологическая.

Между тем читатели испытывают поэтический голод. Чем иначе можно объяснить популярность милой болтовни Ивана Младека, у которого в «Иожине и К°» — в отличие от обычных подтекстовок и стихотворной серятины — есть по крайней мере несколько ярких рифм? Читателя нельзя кормить протертой диетической кашей, какую только и можно сварить из поэзии, процеженной сквозь сито разного рода табу. Такая поэзия — как алфавит без нескольких букв. Употреблять-то ее можно, но она искажает суть, а то и просто непонятна.

До сих пор мы говорили больше о том, что не является поэзией, и приводили почти исключительно «салонные» мнения. Говорить на тему о том, что же такое поэзия, интереснее.

Лично я впервые почувствовал ее мощь при чтении романа Вальтера Скотта «Квентин Дорвард». Там эпиграфами к главам служат стихи Шекспира и других авторов, в нескольких словах передающие последующее содержание. Возможность вместить содержание целой главы в две строчки меня так поразила, что я и сам попробовал сделать нечто в этом роде. Поскольку в то время моей музой была химия, я сочинил несколько высокопарных стихотворных описаний любимых опытов, то есть получения горючего, взрывчатых и ароматических веществ; поцелуи этой музы, к сожалению, имели привкус серы и кислоты, опыты прекратились, а истинная муза из мяса и молока только еще должна была появиться.

Однажды я разговаривал на улице с художником, в таланте которого весьма сомневаюсь. Мимо нас проехал автомобиль, на крыше которого стоял поднос с сосисками, горчицей и булкой. Художник ничего не заметил. Он попросту не умел стучаться к людям и слушать стены, как рекомендует Кайнар. Это не так уж и сложно, но ведь и поэты просты. Стихотворцы демонического облика и манеры поведения бывают самыми верными кандидатами на забвение. Хорошие стихи не должны слишком бросаться в глаза. Как белые грибы: самые лучшие найдешь под листьями.

Поэт может употреблять все. «Пищеварительный» аппарат у него лучше тех, что существуют в природе.

Раньше я представлял себе поэта камерой внутреннего сгорания. Теперь же скорее чемоданом с потайным дном, но гигантским чемоданом! Хранятся в нем вещи нужные, которые лежат без употребления, и всякий хлам, из которого он, как фокусник, извлекает живых кроликов.

И жизнь поэта — по сути дела простая дуга. Начинается она, как правило, любовью, продолжается семьей, детьми, работой, старанием подчинить движение мира своей мысли, как говорит Аполлинер,— вплоть до старости и смерти. Нельзя спешить, нельзя перепрыгивать. (Впрыпрыжку можно разве что пококетничать, а кокетство не принадлежит к достоинствам поэзии.) В месте замыкания дуги свечение всего сильнее — это знал еще Леон Фуко, изобретатель дуговой лампы.

Чтобы родилось стихотворение, поэту нет нужды скрести голову. Если он сохранил в памяти тот поднос с сосисками на крыше едущего автомобиля, он дождется своей точки росы. «Ясной звездной ночью воздух охлаждается настолько, что содержащийся в нем пар начинает конденсироваться и выпадает в виде росы. Температура, при которой происходит это явление, называется точкой росы».

Все это очень просто, только вот гири, при помощи которых можно взвесить труд поэта, не везде можно купить, и изготовляют их из особых сплавов.

А что же поэзия на этой звездами к вселенной прибитой земле, где каждая проведенная борозда и любая неверность видна со спутника?

Мне пришла еретическая мысль, что чешский Рембо лучше, чем Рембо французский. Волны Средиземного моря, стиснутые близкими берегами, невысоки. Волны, бегущие по чешской котловине, также вроде бы не должны слишком вздыматься. Но чешские поэты, на манер жителей Манхэттена принужденные к тому теснотой, гнали свои творения вверх. Их поэзия переживет пиво и огурцы.

Начали мы с юмором и с наскока, а кончаем почти что сентиментально. Так это и бывает в нашем деле, о котором сказал Витезслав Незвал:

Я не могу просто так умереть
насладившись сполна и людьми и
страстями

выше цель у меня — точным словом
назвать
все что здесь лишено языка и фанфар...

## Что такое ангажированная поэзия?

На одном из бесчисленных фестивалей я услышал из уст организатора жуткую фразу: «Сегодня вечером будет читаться ангажпоэзия». Итак, у нас уже есть музыка «поп», живопись «оп», макаронные изделия, замешанные на пяти яйцах, а теперь к этому прибавилась «ангажпоэзия». Было бы еще не так страшно, если бы автор этого высказывания не хотел тем самым дать понять, что ангажированная поэзия будет читаться только сегодня вечером, тогда как вчера и завтра отведено поэзии любовной, студенческой, юмористической, серьезной, камерной, наивной, гражданской, поднимающей проблемы цивилизации, «по случаю», поздравительной и т. п. Но в этот вечер звучала поэзия особого назначения, которая должна была хорошо смазанным ключом отомкнуть сердца жюри.

Недавно один молодой автор принес к нам в редакцию небольшую подборку стихов. Сверху лежало плохое стихотворение о Чили, под ним — несколько плохих любовных. Стихотворение о Чили ограничивалось восклицаниями в том смысле, что чилийский народ в конце концов победит, восклицаниями, от которых не было вреда ни хунте, ни автору. Любовные стихи ограничивались призывами к возлюбленной, чтобы она не упиралась и согласилась. Но ни в политике, ни в любви нельзя бороться негодным оружием.

Я разговорился с автором, и он рассказал мне о своей работе на заводе, какие там проблемы с текучестью кадров, дисциплиной, низким качеством изделий и тому подобное, о чем в стихах даже и не упоминалось.

Я вовсе не агитирую за «производственную поэзию», но если уж автор хочет пойти по поэтическому пути, то, может быть, на «производственной» ниве он собрал бы больший урожай?

Включите радио — и вы услышите множество потуг на патриотические песни. Жемчужинами посыплются вам в уши стихи типа «родной наш край — для нас здесь рай». В том смысле, что нам здесь нравится. Нет ничего удивительного и патриотичного в том, что мне у нас нравится. Точно так же у нас нравилось нашим отцам и дедам. Да, в Чехии прекрасно, так же как в Италии, Югославии, Норвегии, Болгарии, и естественно, что тамошним молодым людям дома тоже нравится. В свое время и молодым генлейновцам [1] (Oh, du schönes Vaterland...) [2] нравилось в Судетах.

Я выхожу на бой, ангажируюсь, только в том случае, когда говорю о том, что мне не нравится и почему. Нравы «общества потребления», карикатурно перенесенные в наши условия, роскошные дачи, уик-энды на трабанте, уик-эндовская философия, помойные ведра, наполненные хорошей едой, потребительское отношение к любви, бюрократизм в сфере обслуживания, «комфорт» чехословацкой железной дороги, мещанин в социализме. Но о подобных явлениях я уже давно ничего в молодой поэзии не читал.

И это еще не все. Простой констатацией фактов мы не продвинемся дальше эстетизированной коммунальной сатиры.

Надо поставить на карту свою репутацию, приобрести друзей на минуту и врагов до самой смерти, лишиться заработка, судить и хвалить без белых перчаток, не бояться перегнуть, поскользнуться, сносить нарекания за то, что ты эксгибиционист, конъюнктурщик, пресмыкаешься перед своим временем, сбиваешь людей с толку, поверхностен, ушел в стилизацию, плохо выбрит, что ты меланхолик, пишешь безнравственно, пишешь диетически, много зарабатываешь, сидишь без денег, что у тебя нет влияния и веса, что тебе кто-то покровительствует, что у тебя странная фамилия, что ты держишь нос по ветру, а также плывешь против течения, что ты слишком молод и бесцеремонно ввязываешься в дела, которых не разумеешь, претендуешь на слишком большие куски, что ты уже достаточно взрослый и должен сидеть тихо, ожидая, когда тебя вызовут, что ты должен писать о том-то и том-то, отстаивать то или другое, что тебя никто об этом не просит, что ты мешаешь и не позже как через десять дней должен дать сатисфакцию...

И лишь выполнив все это, я смогу считать себя ангажированным поэтом, а не вышивальщиком, который шьет цветными нитками по контуру, начертанному чужой рукой. Только когда поле боя будет не в безопасном отдалении от меня, а во мне самом. Ибо выстоять в такой ситуации, выстоять и не согнуться — достойно мужчины!

## Служить своему времени

Не только Ньютон, но мы все стоим на плечах у гениев. И читатель простит мне, если я пять раз сошлюсь на такого классика общественного заказа, каким был Владимир Маяковский, который говорил о себе: «Я не поэт, а прежде всего поставивший свое перо в услужение, заметьте, в услужение, сегодняшнему часу...» В известной статье «Как делать стихи?» он называет социальный заказ первым, что необходимо для начала творческой работы, и определяет его так: «Наличие задачи в обществе, разрешение которой мыслимо только поэтическим произведением».

Имел ли Маяковский в виду только политические задачи? В сборнике Йозефа Рыбака «Идти на красный свет» есть мудрое, совсем не веселое и, на первый взгляд, интимное стихотворение «Дожди в ноябре». Выполняет ли это стихотворение социальный заказ? Безусловно, покуда существует задача увести лирику с лужаек, на кото-

[1] Члены судето-немецкой фашистской партии в буржуазной Чехословакии. Ее основатель и лидер — Конрад Генлейн (1898—1945).

[2] «О ты, прекрасное отечество» *(нем.)* — слова из песни генлейновцев.

рых «растет прелестная травка чувств» (прелестная, но сугубо частная), покуда существует задача познать тайный шифр природы и сделать его доступным всем. (Ибо известно, что на частные газоны вход строго запрещен.)

Впрочем, кто бы согласился дирижировать оркестром, состоящим из одних труб и медных тарелок?

Недавно я перечитал груду поэтических сборников начала пятидесятых годов. Это было поучительное чтение. Сколько там искреннего энтузиазма, переплетения современности с прекрасным будущим. Но также и конъюнктурщины, тезисности, зарифмованных передовиц.

Один поэт представляет себя «гидроцентралью», у другого ни одно душевное и физическое движение не может обойтись без заклинаний постановлениями и резолюциями. И показательно, что значительная часть этих авторов диаметрально изменила свои политические взгляды и поэтический метод при первом же дуновении ветра. Пожалуй, они бы сменили их еще раз, ведь перья — как подсказывает само это слово — гибки.

Кроме всего прочего сказывалась и преувеличенная вера во всемогущество темы. Маяковский пишет: «Для лучшего выполнения социального заказа надо быть передовым своего класса, надо вместе с классом вести борьбу на всех фронтах». Вести борьбу на всех фронтах не значит *описывать* внешние признаки жизни своего класса, например, производственные операции при выплавке стали (как часто вместо описания хватило бы «подходящего» названия).

Прошу
писателей,
с перепугу бледных,
бросить
высюсюкивать
стихи для бедных.
Понимает
ведущий класс
и искусство
не хуже вас.

Прежде чем употребить в стихотворении слово «завод», я четырежды перевернусь, а при слове «любовь» — только дважды. И вовсе не оттого, что мне слово «завод» не нравится, просто я знаю, что такое рано вставать и работать своими руками. Все лирические прелести здесь кончаются. И поэт не имеет права произвольно и безответственно манипулировать рабочими, крестьянами и трудовой интеллигенцией, как фигурками на шахматной доске в клубе, не должен он и с помощью взятого у кого-нибудь ротатора размножать политические речи в десятках экземпляров.

Одного боюсь
за вас и сам,—
чтоб не обмелели
наши души,
чтобы мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и ерунду частушек.

Опыт нас учит, что поэты, которые порой выглядели аполитичными, сегодня принадлежат к самым светлым явлениям истории не только литературы, но и социального прогресса. Одно из лучших стихотворений о Парижской коммуне — «Париж заселяется вновь» Рембо — в момент своего возникновения, наверное, вообще не произвело большого впечатления. Но можно ли представить себе более сильное обличение буржуазии?

Конъюнктурщик подобен барометру. Он отражает — и не бескорыстно — три основных метеорологических уровня: дождливо, переменно, ясно. Но ведь если мы хотим знать, какова погода, в конце концов можно просто посмотреть в окно.

Поэт, выполняющий социальный заказ, не обещает, что ему подвластны ветер и дождь. И тем не менее он, видя капризы погоды, всем своим существом стремится повлиять на нее, чтобы установились солнечные дни.

Этим и отличается общественный заказ от простого заказа, от банального гешефта.

## Литература и фантазия

Я не собираюсь рассуждать о том, чем литература обязана фантазии. Вероятно, многим, если вообще не всем. Тот, кто, глядя на белую бумагу, не может представить себе готовую строчку, не напишет и письма. Для подобных людей еще в пору, когда свободное время не считалось роскошью, были изобретены листки для переписки с напечатанным текстом: «Все в порядке. Мне плохо. Люблю тебя. Что не подходит — зачеркните».

Я хотел бы поразмышлять над тем, насколько справедливы слова Франи Шрамека о его романе «Серебряный ветер», когда он сказал, имея в виду жителей города Писек: «Не показывайте мне пальцем ни на кого и ни на что, по улице и в книге не ходят на одних и тех же ногах».

Белье стирают дома. Но трудность в том, что поэт зовет читателя к себе домой. Конечно же, не туда, где стирка. Гость читает в гостиной, но двери закрываются неплотно, поэтому перед ним мелькает порой нечто белое, а то и розовое. Мудрый гость, может, что и подглядит, но не оторвется от книги.

Говорю это потому, что среди читателей много охотничьих собак, которые принюхиваются к стихотворениям и поэтам и желают знать, откуда возникла та или иная строка, строфа, образ или судьба. Увидеть что-нибудь розовенькое!

Не хочу сказать ничего плохого. Я и сам точно такой же охотничий пес. В октябре 1969 года я обнюхал весь Шарлевиль и его окрестности — от волос Рембо, запечатанных в целлофан, и эфиопских носилок до засыпанной опавшими листьями маленькой крепости на горе Олимп над городом.

Ты сходишь с поезда, и напротив вокзала стоит музыкальная раковина, хорошо знакомая тебе по стихотворению «На музыке». Все оказалось на тех самых местах, которые поэт определил с точностью фанатичного топографа.

Я считаю, что географическая экскурсия в поэзию имеет свой смысл. Конкретность

стихотворения — это придающая ему вкус пряность. Как возбуждающе действует имя, дата, местное название — дорожные знаки, которые говорят тебе: идешь правильно!

Маяковский был в состоянии точно назвать даже место и время, когда ему пришла на ум та или иная метафора: «Угрюмый дождь скосил глаза — А за... (Страстной монастырь. 12 г.)».

Но мгновения, когда фантазия спит и мы протаскиваем в стихи еще не осмысленную конкретность, не могут быть ни длительными, ни определяющими, факт, просто вырванный из хода событий вместе со всей его шелухой, так и останется единичным фактом, на какой бы изысканный постамент его ни устанавливали. Я имею в виду, например, «Вршовицкого Эзопа» Коларжа, где в стихи вкраплены обрывки писем, сообщений и прошений и где интересны не оригинальный цементирующий их материал, а лишь эти письма, сообщения, прошения.

«В искусстве каждый шаг делаешь по ковру из своей крови, и обман невозможен»,— говорит Владимир Голан. Но, к счастью, «обман» — это не синоним слова «вымысел», а тем более «творчество».

Есть открытия, которых мы не сделаем, и переживания, которые не ждут нас.

Сколько девушек мимо пройдет
чтоб хоть одна из них стала твоей
тебе придется много побегать
и быть речистым
А через площадь шнурок стиха
не перетянешь

Потому-то мы их и выдумываем. Не все, что есть в стихотворении, взято из биографии поэта, и наоборот. Вот наш поэт Отокар Бржезина не был дальше Словакии, но написал о космосе лучше, чем Нил Армстронг. Поэты наделены способностью из малого выводить большое.

Каждое стихотворение идеально — в том смысле, в каком это понятие употребляется в живописи: идеальный вид Праги, то есть избавленный от второстепенного, результат строгого отбора. Здесь надо быть решительнее, чем при отборе вещей, когда переезжаешь из пятикомнатной квартиры в гарсоньерку. Но, несмотря на «идеализацию» (кавычки здесь на месте), стихотворение ничего не замалчивает. Все меньше остается сфер человеческой деятельности, где обходятся без лжи, где правдивость не излишество. Но в поэзии правдивость является условием обязательным.

Однако выдумываем ли мы или извлекаем нечто прямо из глубины кармана действительности, необходимо заботиться, чтобы стихи — эти кристаллы, возникающие из раствора обыденности,— были как можно чище.

◆

# Трибуна переводчика

Ю. ЛЕВИН

## ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И ЖИЗНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

В первые же годы советской власти переводное дело в нашей стране приобрело, как известно, не только широкий размах, но и новое общественно-культурное значение. Еще в 1918 году при издательстве «Всемирная литература», организованном М. Горьким, была создана студия для подготовки новых переводческих кадров и повышения квалификации уже работающих переводчиков. К. И. Чуковский, руководивший одним из семинаров студии, подвел итоги своей деятельности в брошюре «Принципы художественного перевода» (1919, 2-е изд. 1920), положив тем самым начало научно-теоретическому осмыслению этой области литературного творчества у нас в стране. Спустя десятилетие вышла в свет книга «Искусство перевода» (1930), объединившая две части. Первой были «Принципы художественного перевода»— переработанный и расширенный вариант прежней статьи Чуковского. В предисловии он разъяснял задачи издания, а также представлял читателям автора второй части «Приемы и задачи художественного перевода». «Другая статья этой книжки,— писал Чуковский,— написана молодым историком литературы А. В. Федоровым, автором нескольких научных статей по истории и теории перевода. В этой статье устанавливается: 1) Какие существуют в мировой литературе формы и приемы перевода. 2) Каково отношение перевода к оригинальному тексту. 3) От каких особенностей оригинала и родного языка зависит техника перевода».

С тех пор прошло более полувека. «Молодой историк литературы» давно уже стал маститым ученым, автором доброго десятка книг и более сотни статей, литературоведческих и лингвистических, получивших международное признание и неоднократно переводившихся на иностранные языки. Он изучал творчество Лермонтова, Баратынского, Плещеева, Случевского, Анненского, Блока, Горького, Маяковского, Гёте, Гейне, Мюссе и многих других русских и зарубежных писателей. И тем не менее в центре внимания ученого всегда находился перевод. Более того, творчество писателя, а также вопросы языка и стиля во многих случаях рассматривались им в связи с проблемами перевода (например: «Лермонтов и Гейне», «Маяковский в переводах», «Перевод как отражение стиля языка писателя», «Еще раз о русском Рильке»).

Отечественная теория перевода, только намечавшаяся в работах 20-х годов, превратилась за истекшие полвека в самостоятельную полноправную филологическую дисциплину. И справедливости ради следу-

---

**ЛЕВИН ЮРИЙ ДАВИДОВИЧ** (род. в 1920 г.)

Советский филолог, доктор филологических наук, переводчик. Автор книг: «Шекспир и русская культура» (в соавторстве, 1965), «Оссиан в русской литературе» (1980) и многих статей, в основном по международным связям русской литературы, истории и теории перевода. Переводил «Поэмы Оссиана» Дж. Макферсона, стихи и прозу Дж. Свифта, В. Скотта и др.

ет признать, что произошло это во многом благодаря научной деятельности А. В. Федорова. Именно ему принадлежит основополагающий труд, вобравший предшествующие достижения и наметивший дальнейшие пути развития этой дисциплины. Речь идет о «Введении в теорию перевода», вышедшем впервые в 1953 году, а затем переиздававшемся в доработанном и дополненном виде; четвертое издание под заглавием «Основы общей теории перевода» выпущено в 1983 году — активная жизнь книги продолжается и по сей день.

Следует особо подчеркнуть, что успех в разработке теоретических проблем перевода был во многом обусловлен тем, что она постоянно сочеталась с собственной практической деятельностью А. В. Федорова в этой области. Его перу принадлежат первоклассные переводы таких шедевров мировой литературы, как «Племянник Рамо» Дидро, «Родственные натуры» Гёте, «Лютеция» Гейне, «Воспитание чувств» Флобера, «Под сенью девушек в цвету» Пруста. В числе переводившихся им авторов — Гофман, Мюссе, Мопассан.

Совсем недавно А. В. Федоров выпустил новую книгу: «Искусство перевода и жизнь литературы» (Л., 1983) — сборник избранных статей (или очерков, как назвал их автор), написанных за последние четыре десятилетия. При столь обширном хронологическом диапазоне сборник, однако, соответствует сегодняшнему уровню науки (более старые работы были заново пересмотрены). Двенадцать очерков, сгруппированных по трем разделам («Настоящее и опыт прошлого», «Переклички, отражения, преломления», «Наследие мастеров. Дань памяти»), с одной стороны, отражают различные аспекты творческого труда автора, а с другой — поднимают и решают многие актуальные сегодня вопросы истории и теории перевода: перевод и взаимосвязи литератур, проблема переводимости, принципы критики перевода, историческая эволюция переводческой мысли, становление и развитие теории перевода, соотношение оригинального и переводного творчества писателя, творческая личность переводчика. В то же время, собранные вместе, очерки подводят к новому рассмотрению поднятых вопросов — в их единстве, что подчеркнуто заглавием книги, ясно и точно обозначающим общую ее тему.

Тема эта, правда, весьма широка. Да А. В. Федоров и не стремится «объять необъятное», разрешить *все* связанные с нею проблемы. Но, что весьма существенно (и в этом, быть может, заключена одна из целей автора), книга вызывает немало мыслей, побуждает искать ответ на еще нерешенные вопросы. И я позволю себе поделиться некоторыми соображениями, сопровождавшими ее чтение.

*Искусство перевода и жизнь литературы.* Эти два явления, несомненно, тесно взаимосвязаны. Но тогда следует согласиться и с тем, что переводная литература имеет важное значение для развития национальной литературы. Впрочем, мысль эта далеко не нова. Еще Н. Г. Чернышевский, откликаясь на выход сборника «Лирические стихотворения Шиллера в переводах русских поэтов» (1857), писал: «Переводная литература у каждого из новых европейских народов имела очень важное участие в развитии народного самосознания или... в развитии просвещения и эстетического вкуса. Потому историко-литературные сочинения только тогда не будут страдать очень невыгодной односторонностью, когда станут на переводную литературу обращать гораздо больше внимания, нежели как это обыкновенно делается теперь».

Со времени опубликования этих слов прошло почти сто тридцать лет. Их неоднократно цитировали (А. В. Федоров приводит их на страницах своей книги). Нельзя сказать, что все наши историко-литературные сочинения страдают недостатком, на который указывал Чернышевский. Сам А. В. Федоров, исследуя тех или иных писателей — Лермонтова, Блока, Анненского,— уделял, как мы уже отмечали, особое внимание значению перевода в их творчестве. Но это частные исследования. Если же мы обратимся к обобщающим трудам, то в них «невыгодная односторонность» проявляется в полной мере.

Представим себе, например, историю русской советской литературы. Традиционно она излагается (как, впрочем, и другие периоды отечественной литературы) так. Анализируется творческая деятельность русских советских писателей, их произведения (содержание и форма), отклики на них. И это правильно, если смотреть на дело с точки зрения «производителей». А если встать на позицию «потребителей»? Ведь русский советский читатель *на своем родном языке* одновременно воспринимал и Роллана, и Барбюса, и Маннов, Томаса и Генриха, и Хемингуэя, и Фейхтвангера, и Ремарка, и Чапека, и Пристли, и Фолкнера, и Тагора, и Сент-Экзюпери, и Фриша (называю первых, пришедших в голову, но, конечно, этот перечень можно легко продолжить). И наряду с писателями, нашими соотечественниками, все эти иноземные авторы *через перевод* принимали и принимают «важное участие в развитии народного самосознания», «в развитии просвещения и эстетического вкуса». С этим, надеюсь, все согласятся, и особенно — читатели «Иностранной литературы». Нельзя отрицать, что такие гиганты, как, скажем, Роллан, или Брехт, или Хемингуэй, играли в этом процессе, пожалуй, даже большую роль, чем иной отечественный писатель. Совсем недавно, в канун матча на первенство мира по шахматам, претендент на звание чемпиона Гарри Каспаров, говоря в интервью о том, какую роль в его жизни играло чтение книг, признался: «Были периоды только Хемингуэя, только Горького, только Фейхтвангера» («Литературная газета», 1984, № 37, с. 13). А в XIX веке, например, шекспировский «Гамлет» в переводах имел для русской литературы в некоторых отношениях не меньшее значение, чем «Евгений Онегин» или «Герой нашего времени», и проблема «гамлетизма» в русском общественном сознании была столь же остра, как и проблема «лишнего человека». Но как отразить это взаимодействие оригинальной и переводной литературы — в широкой историчес-

кой перспективе, а не в творчестве отдельного писателя,— мы еще четко себе не представляем. Нет даже, сколько известно, попыток создать последовательную историю переводной литературы, хотя в необходимости такого труда едва ли усомнится любой культурный человек. До сих пор работы по истории перевода в нашей стране рассматривали в основном развитие переводческой мысли или эволюцию переводческого мастерства. Этому посвящены, например, статья А. В. Федорова «Русские писатели и проблемы перевода», вошедшая в его книгу «Искусство перевода и жизнь литературы», и глава «Из истории перевода и переводческой мысли» в его «Основах общей теории перевода». Писали об этом и Г. Р. Гачечиладзе, и П. И. Копанев, и автор этих строк. Но история переводной литературы выяснением подобных вопросов отнюдь не ограничивается.

С другой стороны, исследовалось восприятие в нашей стране Гомера, Шекспира, Байрона, Гёте, Шиллера, Гофмана, Гейне, Диккенса, Ибсена и других иноземных писателей; при этом, конечно, рассматривались и переводы их творений. Однако в истории переводной литературы должно быть осмыслено *комплексное взаимосвязное восприятие* через перевод всемирной литературы *в целом*.

В сущности, нет еще полного представления, как такая история должна строиться.

Неясности подстерегают на каждом шагу. Самый первый вопрос: где проходит граница между переводной литературой и оригинальной? Казалось бы, это понятно. Однако это понятно нам сейчас, в XX веке. А вот в XVIII веке такой ясности отнюдь не было. У нас любят цитировать суждение замечательного русского писателя-просветителя того времени Василия Кирилловича Тредиаковского, который сказал, что «переводчик от творца только что именем рознится». Теперь эти слова толкуются как утверждение творческого характера переводческой деятельности [1]. Между тем Тредиаковский имел в виду нечто совсем иное: он приравнивал переводчика к оригинальному творцу, настаивал на его свободе при воссоздании или, точнее, пересоздании иноязычного произведения. Так он и поступал, когда, опираясь на прозаический французский роман Ф. Фенелона «Приключения Тилемака» работал над эпической поэмой «Телемахида». А другой русский писатель XVIII века, поэт и драматург А. П. Сумароков, автор трагедии «Гамлет» (1748), даже оскорбился, когда Тредиаковский указал ему на Шекспира как на источник трагедии. «Гамлет мой,— отвечал Сумароков,— кроме монолога в окончании третьего действия и Клавдиева на колени падения, на Шекеспирову трагедию едва, едва походит». И это была правда.

В переводческой практике XVIII века существовал еще своеобразный прием, впоследствии решительно отвергнутый, который назывался «склонением на наши нравы»; особенно часто этот прием применялся в драматургии. Используя сюжет иноязычного произведения, переводчик наделял героев русскими именами и переносил действие на родную почву, мало сообразуясь с тем, насколько сюжетные ситуации соответствуют отечественным нравам. Достаточно сказать, что сама императрица Екатерина II, занимавшаяся «сочинительством», превратила шекспировских «Виндзорских насмешниц» в пьесу «Вот каково иметь корзину и белье», где действие происходит «во граде св. Петра», то есть в Петербурге, а главный герой — Фальстаф — зовется Яковом Власьевичем Полкадовым...

Подобные «склонения на наши нравы» отнюдь не были проявлением переводческого своеволия как такового, но во многом обусловливались потребностями и возможностями воспринимающей публики. «И переводчику, чтобы создать свое окно в другой мир, и читателю, чтобы глядеть в это окно,— указывает А. В. Федоров,— нужны некоторые знания об открывающейся перед ним действительности — фоновые знания, как их принято называть в страноведении и в теории перевода. От самого их наличия и от степени их широты во многом зависит верное восприятие встающей в переводе картины жизни». Нетрудно понять, что упомянутые «склонения на наши нравы» объяснялись в первую очередь недостатком «фоновых знаний» у публики, к которой обращался переводчик XVIII века.

Таким образом, не только характер перевода, переводческие принципы, но и сама граница между переводной и оригинальной литературой — вещь исторически переменная. И если, скажем, для прозы такая граница установилась сравнительно давно, то в поэзии она долго оставалась зыбкой.

И тут вырисовываются две стороны вопроса: объективная и субъективная. С одной стороны, мы можем объективно установить, что некое произведение прошлых лет является переводом какого-то иноязычного оригинала, что определенные компоненты этого оригинала переданы с той или иной степенью верности, а другие не переданы или заменены. Но важно еще выяснить, как воспринимали это произведение его современники и сам создатель, считали ли они его переводом. Ведь когда Жуковский писал Гоголю: «...у меня почти все или чужое, или по поводу чужого — и все, однако, мое», он отнюдь не стремился незаконно присвоить себе чужое достояние, нарушить авторское право, а выражал иное, чуждое уже нам представление о соотношении оригинальной литературы и переводной. И показательно, что в своих поэтических сборниках он помещал оригинальные стихотворения вперемежку с переводными из самых различных поэтов и подразделял их только по жанрам, но не первоисточникам. Все это была поэзия его, Жуковского. Так же поступали Батюшков, Баратынский, Козлов, да и сам Пушкин и Лермонтов. Жуковскому и в голову не приходило составить и издать, например, книгу «Шиллер в пе-

[1] Именно в таком смысле привел их С. А. Баруздин (см.: «Вопросы литературы», 1984, № 3, с. 264).

реводах Жуковского», как в наше время издаются сборники «Роберт Бёрнс в переводах С. Я. Маршака». Но вот, когда в середине XIX века переводчик и издатель переводов Н. В. Гербель выпустил упомянутый сборник «Лирические стихотворения Шиллера в переводах русских поэтов», помещенные там произведения Жуковского, оказавшись среди переводов, созданных другими авторами, приобрели иной смысл: они уже, так сказать, выражали немецкого поэта, а не русского, и соответственно воспринимались читателями и критикой.

Изучить самый процесс становления понятия переводной литературы, в частности переводной поэзии, несомненно, одна из существенных задач науки о переводе.

В нашем литературоведении уже утвердилось положение, выдвинутое в свое время академиком В. М. Жирмунским: переводная литература, какова бы она ни была, решает так или иначе задачи той литературы, на языке которой воссоздана. И главный вопрос, который возникает перед нами: какие же задачи данной национальной литературы помогала решить переводная литература на том или ином этапе, каково соотношение их идейного содержания и художественной формы? При этом сплошь и рядом обнаруживается, что на новой национальной почве, в новой среде изменяются масштабы литературных репутаций, произведения приобретают новое звучание, иное осмысление, чем на родине. Признаюсь, я был весьма удивлен и даже шокирован, узнав, что в 30—40-е годы XIX века в Финляндии славой крупнейшего русского писателя пользовался Ф. Булгарин, и он даже влиял на развитие финской реалистической литературы, а Пушкина тогда там едва знали. Или другой пример: прошедший малозаметным на родине роман англичанки Этель Войнич приобрел в России небывалую известность, стал буквально революционным евангелием для поколений молодых людей (вспомним хотя бы признания Николая Островского в романе «Как закалялась сталь»). Да не подумает читатель, что я как-то приравниваю творчество Булгарина и Войнич. Напротив, я хочу подчеркнуть, сколь различными могут быть писатели, чьи литературные репутации меняются, пересекая границы их страны.

Итак, изучая осмысление и использование переводной литературы, мы расширяем свои представления о национальной литературе, которая эти переводы усвоила.

Но то же явление можно рассматривать и с другой стороны. Интерпретируя отдельное ли произведение или творчество писателя в целом в переводах на иностранные языки, мы можем открыть некоторые их особенности — и реально существующие, и заложенные в них потенциально,— которые остались бы незамеченными при рассмотрении их судьбы только на родной почве. Так, мы вряд ли смогли бы в полной мере оценить революционный пафос «Овода», если бы учитывали только восприятие в Англии.

Мне уже приходилось цитировать, но я позволю себе повторить проницательное суждение американского романиста Синклера Льюиса, который считал, что тургеневский Базаров «навсегда останется прототипом всех молодых радикалов и новаторов всех веков», а роман «Отцы и дети» «столь же современен, как пьеса О'Нила или роман Хемингуэя». «Базаров называет себя «нигилистом»,— писал С. Льюис.— Назовите его коммунистом, или сюрреалистом, или биофизиком, дайте ему сигареты вместо сигар и автомашину вместо почтовой кареты, в которой он мчится на свидание со своей задумчивой и изящной возлюбленной Анной Сергеевной,— и вы не обнаружите ничего устаревшего или наивного в горении его сердца и бунте его ума. Его имя — одно из немногих в литературе, которые продолжают жить, как имена Дон Кихота, Микобера, Шерлока Холмса,— более бессмертные, чем, за небольшим исключением, все исторические личности». Действительно, в Базарове заложено то, что нашел в нем Льюис, но чтобы понять и почувствовать это, возможно, следовало отойти от конкретной национально-исторической почвы, увидеть роман как бы «со стороны». Добавлю, что с «Отцами и детьми» Льюис знакомился в английском переводе и приведенная цитата извлечена из его предисловия к изданию этого перевода 1943 года.

Возникает следующий вопрос — о личности переводчика. Именно он заставляет служить иноязычное произведение новой литературе. Между тем переводчиков, на мой взгляд, старательно обходят вниманием и литературоведческая наука, и литературная критика. А. В. Федоров составляет и в этом отношении полезное исключение: в его «Искусстве перевода и жизни литературы» впечатляют творческие портреты старших современников автора, замечательных переводчиков — Михаила Леонидовича Лозинского и Бориса Аполлоновича Кржевского, за которые будущий историк советской переводной литературы его, конечно же, поблагодарит. Несомненную ценность имеют в этой связи признания покойного Льва Гинзбурга в книге «Разбилось лишь сердце мое...» или ныне здравствующего Николая Любимова в сборнике «Несгораемые слова». Но это исключения. Большинство же переводчиков уходят, не оставляя следа своей личности. Что мы знаем о переводчиках прошлого столетия: об офицере-геодезисте Михаиле Вронченко, который первый представил русским читателям «Гамлета» и «Макбета» в их истинном виде, или Эдуарде Губере, первом переводчике «Фауста» Гёте, или о враче Дмитрии Мине, создателе полного стихотворного перевода «Божественной комедии» Данте, или упоминавшемся уже Николае Гербеле, чьими трудами были подготовлены переводные собрания сочинений Шиллера, Гёте, Шекспира, Байрона, и о многих, многих других? Если не совсем ничего, то, во всяком случае, очень мало. А между тем русское общество читало мировую литературу их глазами. И надо иметь точное понятие об их творческой личности, чтобы уяснить, в каком виде эта мировая литература представала на русской почве.

Мне довелось заниматься жизнью и творчеством Иринарха Введенского, пере-

водчика английских романистов середины XIX века. С современной точки зрения его переводы слишком вольные, он даже позволял себе, как сам признавался, дополнять роман Теккерея «пером, настроенным под теккереевский образ выражения мыслей». В нашей критике, с легкой руки Чуковского, к нему установилось пренебрежительное отношение. Утверждалось, будто у него «и Диккенс, и Теккерей, и Шарлотта Бронте сделались российскими гражданами, жителями Песков или Охты» (Чуковский), будто бы он хотел перенести «Лавку Древностей в Зарядье или английскую таверну на ямской двор» (Кашкин). Исследование показало несправедливость подобных мнений. Разночинец-демократ, неутомимый просветитель, в чьем кружке складывалось мировоззрение молодого Чернышевского, Введенский стремился воссоздать в своих переводах английский быт и нравы (он даже писал об этом самому Диккенсу), но в то же время хотел, чтобы переводные романы были доступны широкому кругу русских читателей, понятны и близки обитателям Зарядья или Охты, которым не хватало фоновых знаний, как сказали бы мы теперь. И он добился своего. Именно в переводах Введенского Диккенс и Теккерей вошли в русло развития русской литературы, стали восприниматься как писатели близкие, злободневные. Я привел лишь один пример, их нетрудно умножить: деятельность каждого значительного переводчика оставляла след в истории литературы.

Таковы некоторые вопросы, связанные с выяснением роли переводной литературы в движении и развитии национальной литературы. В действительности их много больше, и они нуждаются в разработке. Знакомство с историей переводной литературы необходимо прежде всего самим переводчикам; в этом я неоднократно убеждался на собственной, пусть довольно скромной, практике. Но не только переводчикам. В сущности, каждый культурный человек, сколько-нибудь интересующийся литературой (а читатель «Иностранной литературы», полагаю, именно такой человек), должен иметь представление о том, какое значение в жизни литературы принадлежит искусству перевода. И эта мысль постоянно возникала у меня, когда я читал книгу А. В. Федорова, названием которой счел возможным озаглавить приведенные выше рассуждения.

◆

# НА ПУТИ К ПИКАССО

Сейчас, в начале второго десятилетия, как мир живет без Пикассо, его феноменальный престиж, сравнимый только с гигантами прошлого, его концептуальные программы, хронологически наслаивающиеся на новейшие эскапады постмодернизма, его политический пафос и подкупающая своей искренностью исповедальная лирика — все это с нарастающей силой выводится из академической тиши истории искусства в центр злободневной идейно-эстетической борьбы. И в этой связи творчество именно позднего Пикассо, не столько итожащее его беспрецедентно плодотворный путь, сколько будоражащее остротой гуманистических проблем, все чаще становится предметом особых выставок, книг, критических разборов. Пикассо обретает роль надежного ориентира при определении дальнейших путей, оппонента крайностям модернизма в сонме тенденций искусства бурного XX столетия.

Сегодня о Пикассо продолжают писать не меньше, если не больше, чем при его жизни. После многолетнего запрета выходят книги о нем в его родной Испании. Но пожалуй, наиболее характерную панораму тех баталий, которые определяют новейший взгляд на наследие художника, дает американская критика, поскольку здесь несравненно шире и показательнее спектр, «разброс» полярных оценок, интенсивнее «подпор» со стороны художественной практики, а также куда сильнее, чем в привыкшей ко всему Европе, эффект многочисленных ретроспектив, становящихся нередко «гвоздями» сезона.

Весной 1984 года, например, в нью-йоркском музее Гуггенхейма состоялась экспозиция «Пикассо: последние — 1963—1973 годы». В одной из наиболее интересных рецензий на нее, появившихся сначала в «Нью-Йорк таймс», а затем в «Интернэшнл геральд трибюн», философ и эстетик Джон Рассел прежде всего обращает внимание как раз на феномен возрастающего вовлечения творчества позднего Пикассо в орбиту и широкого публичного интереса, и характерных оценок, высказанных кумирами авангардных галерей.

«Автопортрет»

*«Последующие поколения,— пишет он,— будут ошарашены тем, что так много времени ушло на постижение главного в позднем Пикассо... Историки искусства, которые на протяжении 30 лет боролись с Пикассо, стремясь толковать его позднее творчество в категориях шедевров ранних лет, очень затруднялись в приспособлении к половодью новых работ, которые появлялись год за годом и казались почти легкомысленными.*

*Впрочем, поздний Пикассо не укладывается в категорию «позднего» искусства, как его обычно понимают...*

*Вполне свободная от полновластия экономности изобразительных средств и жесткого самоконтроля раннего периода, его работа обрела подлинную законченность. Она имела свой собственный вес, свой собственный импульс и свои собственные устремления. Она обнаружила отличия, которые были просто удивительны... В 80-х эти черты его творчества обрели необычайное влияние на молодых живописцев во всем мире. Вперг-*

*вые за много лет воздействие Пикассо на тех, кто пытался найти себя в цвете, на полотне, скорее освобождало, чем стесняло...*

*В то время как шедевры его ранних лет представляются равно удаленными и укрощенными, поздний Пикассо имел для поколения, которое взрослело около 1975 года, прямую и опьяняющую привлекательность. Казалось, он выступил позавчера и стал частью сегодняшнего дня».*

Для Америки, с ее ревнивой любовью ко всему «самому-самому», Пикассо еще в довоенную пору оказался едва ли не «обреченным» на лавры художника «номер один», знамени и символа веры мирового модернизма. Выставляемый в США регулярно с 1911 года, он сразу же попал и в фокус повышенного внимания печати, начав победное шествие не только по страницам специальных, но и по обложкам массовых изданий. Так, журнал «Тайм» обратился к Пикассо в 1939 году по случаю его выставки в нью-йоркском Музее нового искусства (МОМА), вслед за тем портреты Пикассо украсили его же обложки и в 1950, 1971, 1980 годах — в последнем случае в связи с грандиозней шей «выставкой выставок» в том же МОМА. Не отстал от этого поветрия в 1980 году, сделавшемся поистине американским «годом Пикассо», и журнал «Нью-Йорк», а рассчитанный на обывателя-потребителя «Нью-Йорк таймс мэгэзин» в одном из апрельских выпусков, чуть ли не героическим усилием потеснив рекламу женского белья и диванов, а также тему «холодной войны» между двумя сортами водки, русской и китайской (с изображением двух бутылок, вмерзших в бруски льда), отвел центральное место для детального описания перипетий дележа 260-миллионного наследства Пикассо. Кульминация «конъюнктуры на Пикассо», учуянной в конечном счете даже заправилами шоу-бизнеса, пришлась на зиму 1982—1983 годов, когда на подмостках нью-йоркского Рэдио-сити был на скорую руку поставлен мюзикл «Демозели», чьим, так сказать, мотивом стали эпохальные «Авиньонские девицы» (1907—1908) раннего Пикассо. На месте задника фигурировал скопированный холст, перед микрофонами извивались полураздетые девицы — впрочем, настолько, чтобы дать понять мало-мальски искушенному зрителю, что костюмы их навеяны живописью и самого Пикассо, и Делоне, и даже нескольких американцев, включая де Кунинга (для привнесения, очевидно, звездно-полосатой ноты в это, возможно чересчур европейское, блюдо, хотя при чем тут основатель типично американского абстрактного экспрессионизма, тайна великая есть).

Надо заметить, что и профессиональным критикам пришлось специально заняться феноменом массовой идолизации Пикассо. Декабрьская книжка «Арт ин Америка» за 1980 год была целиком посвящена Пикассо. В том же 1980 году вышли два фильма: «Пикассо: дневник живописца» и «Приключения Пикассо». Примечательна, наконец, статья «Путеводитель по Пикассо» Мишеля Бренсона — о новых французских музеях Пикассо. Отметим попутно, что бум подогревался не одной только ретроспективой МОМА, которую превзошла по посещаемости лишь гробница Тутанхамона, но и полутора десятками других галерейных выставок, включая керамику и фотодокументы...

«Мушкетер»

Что касается самой экспозиции МОМА, то, как верно заметил Рассел,

*«большинство посетителей настолько пресыщалось периодами, которые они просмотрели в самых важных комнатах, что потом они не давали себе труда узнать, был ли вообще поздний Пикассо или нет».*

У ряда американских авангардистов возникла даже своеобразная «антимузейная» реакция — своего рода отрыжка старого футуризма, протестовавшего против «омузеивания» любого ищущего модерниста: то, что Пикассо продолжает таковым оставаться, для многих сохраняет непреложность аксиомы. Так, один из критиков пишет на страницах упомянутого спецвыпуска «Арт ин Америка»:

*«Пикассо стал более холодным, он стал своего рода модернистским супергероем. Многими моя критика по адресу Пикассо будет расценена как святотатство... Отсутствие же критики по адресу Пикассо предполагает, что нет конфронтации с его идеями и опытом, которая продуктивно возбуждает мысль и новое искусство, фактически противостоящее авторитету... Важно понять, как бюрократическая система использует смерть художника, чтобы держать других в узде».*

И коль скоро, настаивает автор, Пикассо занял в европейском искусстве место царствующего папы, его музейные выставки — часть общей бюрократизации культуры, казенного возвеличивания, затмевающего истинный новаторский пафос автора.

Но вот на фоне этого позднеавангардистского брюзжания (не без здравого ядра, впрочем, в части протеста против официальных

апофеозов) встает «вопрос вопросов», обращенный несколькими страницами ниже к читателям художником Ларри Риверсом:

*«Как долго может модернистский художник оставаться модернистом?»*

Чуть раньше, в мартовской книжке «Арт ин Америка», рецензируя предшествующую грандиозную выставку Пикассо осенью 1979 года в парижском Гран Пале, Брукс Адамс в статье «Пикассо во времена постмодернизма» писал:

*«Мифы о Пикассо продолжают жить сами по себе и оставляют его попеременно забытым и преданным идее авангардной веры в прогресс, вынесенной им из предшествующего века».*

Итак, оказывается, Пикассо даже в своем авангардизме уже не только и не столько нынешний век, сколько прошлый! Это постулируется с очевидной целью преодолеть прежнюю однобокую узость взгляда на Пикассо, особенно позднего, как продолжателя бунтов и отрицаний эры открытия авангардных систем. Теперь его отлучают от оголтелого нигилизма авангарда, утверждая, что он имел отправную точку в действительности, а не в абстракции «искусства для искусства».

Словом, как справедливо заметила в ходе «симпозиума» художница Элизабет Мюррей, в первом десятилетии нашего века Пикассо показал, как разрушать правила; теперь, на примере его позднего периода, их так же интересно восстановить.

«Атака вируса ревизионизма» развивалась по нескольким направлениям. К уже упомянутому сцеплению Пикассо с разнообразными классиками стоит добавить еще

Фрагмент картины «Похищение сабинянок»

и стремление обнаружить истоки его творческих импульсов в текущей политической жизни и атмосфере эпохи и под конец «погружение» Пикассо как личности в реальную конкретику его бытового существования, хотя последний, с позволения сказать, метод нередко бывал чреват легковесной журналистской болтовней «по поводу». Характерно, что проблема политических взглядов Пикассо и воздействия исторических катаклизмов XX столетия на его искусство рассматривается сегодня с корректностью и серьезностью, столь отличными от былого дешевого ёрничанья по адресу его коммунистических идеалов.

*«Людская бесчеловечность... — пишет Рассел,— мучила его, нарастая со времен кубинского ракетного кризиса, как это происходило и во времена «Герники»... В мгновение ока, по сравнению с любым другим живописцем, он создал свое «Похищение сабинянок»... оно предстает перед нами в тесной связи с деспотизмом войн. Люди свирепо попирают себе подобных мечом и копьем. Лошади топчут женщин и детей с непостижимой силой. Над пышным пасторальным ландшафтом светит солнце. Греческий храм, как символ гармонии, стоит высоко над рукопашной схваткой...*

*Убедительность рисунка, великолепие материальности напряженных фигур и слепое неистовство лошадей создают вкупе потрясающее впечатление».*

В центре внимания искусствоведов-политологов оказалась непревзойденная «Герника» 1937 года. Хотя события, вызвавшие к жизни ее появление, отделены от нас почти полувеком, острота пережитых художником гнева и отчаяния, ненависти и протеста продолжает действовать и поныне. Широкую огласку (вплоть до обложки одного из номеров «Арт ин Америка») получил «хэппенинг» молодых ньюйоркцев, приложивших к картине в бытность ее в МОМА фотографии резни в Сонгми в самый разгар войны во Вьетнаме. Связь истории пребывания и торжественного отъезда в Испанию этой картины с бурной политической жизнью западного мира специально прослеживается в статье профессора истории искусств Хершель Чипп «Герника»: «...когда-то документ грубого насилия, а теперь символ примирения в новой демократической Испании» («Арт ньюс», май 1980). Продолжает эту линию и сугубо, казалось бы, академическая по духу публикация Сидры Стич «Искусство Пикассо и политика в 1936 году», где впервые приводятся уникальные факты «полевения» Пикассо еще до «Герники», вплоть до создания им во времена Народного фронта рисунка с эмблемой серпа и молота. Подытоживает изучение «Герники» фундаментальный 334-страничный труд Фрэнка Рассела (напечатан в США в 1980 году издательством «Темз энд Хадсон»), где суммированы все возможные и невозможные первоисточники вдохновения мастера. Одним словом, интерес к этой области, где модернизму делать нечего, возрастает день ото дня.

Характерно стремление выявить гуманистическую направленность творчества Пикассо, обнаружить его связь с реалистической традицией.

Да, действительно, Пикассо всех периодов, и позднего особенно, пронизан реминисценциями множества прославленных полотен. Реинтерпретирующие реплики Пуссена и Веласкеса, Мане и Ренуара, а в особенности позднего же Рембрандта составляли важнейшую часть его языка последнего двадцатилетия. Оказалось крайне важным понять, как Пикассо, не впадая в пустой формализм, умел говорить свое чужими на первый взгляд словами.

*«В поздних эстампах,— заканчивает Рассел,— мы ощущаем, что он пытался найти возможность вместить целый мир в одну доску, точно так же как Рембрандт стремился сделать это в своем «Листе в сто гульденов». Пикассо никогда не уступал, не срезал углы, никогда не говорил: «Этого хватит».*

Но разве в этих исканиях весь мир Пикассо? Разве Пикассо — гражданин, борец за мир, поэт и философ, критик и коммунист — меньше сказался в поздних откровениях?!

Как видим, и этот, краткий по необходимости, обзор наиболее характерных замечаний, высказанных на страницах американской периодики, свидетельствует о том, что первые шаги к подлинному пониманию истинной содержательности искусства Пикассо уже сделаны, хотя и робкие, не всегда последовательные, с многочисленными оглядками на предшественников.

Хочется верить, что сама жизнь подскажет будущим критикам и биографам Пикассо, как избегнуть прежних тупиков.

**А. КОРЗУХИН**

# БИОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА

Что делает человека мыслящим существом и определяет его сложное социальное поведение — врожденные особенности мозга или влияние воспитания и культурной среды? Это один из «вечных» вопросов — он всегда интересовал философов и ученых, неоднократно вызывал острые дискуссии в научных кругах, а в последнее время все чаще выносится на рассмотрение широкой общественности.

Оказывает ли влияние культура на нашу биологическую природу или сама является лишь следствием определенного уровня развития мозга и так же передается по наследству от поколения к поколению, как способность к прямохождению? Могут ли в обозримом будущем произойти существенные изменения в нашем генетическом фонде и культурных традициях? Что сулит развитие науки человечеству как виду? При ответе на эти вопросы некоторые ученые порой, кажется, готовы перещеголять фантастов своими сенсационными заявлениями.

*«Основанная на биологии человеческая наука обещает принести новые методы, с помощью которых человеческое общество может сознательно изменить человеческую природу... Результатом науки может быть создание утонченной социальной инженерии, которая затронет глубочайшие уровни человеческой мотивации и морали»,*— утверждает профессор энтомологии Эдвард Уилсон, автор очень популярной в настоящее время на Западе концепции социобиологии. Ее обсуждению посвящен ряд статей в широкой прессе США, и эта дискуссия получила достаточно полное отражение на страницах ежеквартального журнала «Диалог», где наряду со взглядами Уилсона на проблему отношения биологии и культуры приводятся мнения таких всемирно известных антропологов, как Ф. Бос, М. Мид и Д. Фримен, культуролога М. Харриса, а также науковеда Х. Ф. Джадсона об инженерной генетике. Необходимо подчеркнуть, что в центре дискуссии находится современная и наиболее четко сформулированная концепция Уилсона. Харрис и Джадсон по существу только оппонируют ему, мнение же Боса, Мид и Фримена «Диалог» приводит лишь для ознакомления читателя с историей вопроса.

Как справедливо напоминает журнал, еще в 20-е годы нашего столетия многие последователи Грегора Менделя были склонны считать, что даже весьма сложные формы социального поведения подчинены преимущественно законам биологического наследования и генетически предопределены. Однако столь крайняя точка зрения и тогда вызывала резкие возражения. Спор о примате природы или обучения принял особенно острый характер, когда некоторые генетики обратились к евгенике[1] и стали искать возможность «улучшить» человеческую природу с помощью искусственного отбора и поощрения к размножению наиболее «достойных». (Не будет лишним напомнить, что отзвуком этого направления в наше время явились малообоснованные надежды некоторых околонаучных журналистов на то, что с помощью генной инженерии можно коренным образом улучшить человеческую природу, в том числе и в сфере высших психических функций и социальных отношений). Но для того чтобы убедительно возражать сторонникам этого направления, нужно было иметь достаточно сильные аргументы. В частности, было необходимо показать, что различие культур оказывает серьезное влияние на такие формы поведения или этапы индивидуального развития, которые считаются исключительной принадлежностью человека.

В 1925 году Маргарет Мид, двадцатитрехлетняя ученица известного антрополога Франца Боса, отправилась на острова Самоа. Ее книга «Взросление на Самоа», казалось, определила окончательную победу сторонников ведущей роли культуры в становлении человеческой личности.

Однако спустя 55 лет ее выводы подверглись аргументированной критике со стороны антрополога Д. Фримена, который впервые посетил Самоа через 15 лет после

[1] Теория о наследственном здоровье человека и путях его улучшения.

Мид и затем на протяжении 40 лет изучал жизнь местного населения.

*«В то время как Мид видела спокойных и уравновешенных подростков,— пишет «Диалог»,— Фримен увидел их столь же мятущимися и озабоченными, как и в индустриальном обществе. В то время как Мид наблюдала раскованность и непринужденность, Фримен обнаружил пуританские установки».*

Фримен пришел к выводу, что Мид приняла желаемое за действительное и сделалась жертвой своих же априорных установок. Журнал цитирует Фримена:

*«Наступило время отбросить оба крайних подхода в дебатах относительно роли природы и воспитания и работать в направлении синтеза антропологии и биологии».*

Такой синтез наметился в работах американского энтомолога Эдварда Уилсона, создавшего концепцию социобиологии, которая в последние годы привлекает пристальное внимание культурологов, этологов и антропологов. Представляя его позицию читателям, журнал пишет:

*«Уилсон полагает, что широкие категории человеческого поведения — такие как мужское доминирование, запрет инцеста (половой связи с ближайшими родственниками) и другие модели, увековеченные (закрепленные) традицией и культурной практикой,— не являются только изобретением культуры. Социальное поведение такого типа находится под генетическим контролем и организуется особым типом эволюции, при котором гены и культура — силы природы и воспитания — функционируют в содружестве».*

Если бы имело значение только воспитание, люди рождались бы с мозгом, представляющим воистину «чистую доску». Все их поведение определялось бы воспитывающей их культурой, и они могли бы обучиться любой форме поведения. Улыбка не была бы универсальным языком общения и т. д.

*«По мнению Уилсона, этого не происходит потому, что гены так определяют организацию мозга, что он охотнее перерабатывает определенный тип информации одним образом нежели другим. Когда индивид стоит перед выбором (и готов осуществить произвольный поведенческий акт), биологические свойства мозга делают его более склонным к предпочтению одной альтернативы, хотя это предпочтение и не абсолютно».*

Остановимся на некоторых аргументах, которые приводит Уилсон в обоснование своей концепции. Один из таких аргументов — это одинаковое восприятие представителями различных культур выражений человеческих лиц. «Диалог» так излагает его точку зрения:

*«Фотографии американцев, выражающих ярость, удивление, отвращение, радость и страх, правильно описывались аборигенами Новой Гвинеи. Фотографии аборигенов, выражающих те же эмоции на свой лад, сразу же правильно распознавались американцами...»*

Этот аргумент нуждается в некоторых комментариях. Действительно, представители различных культур обнаруживают большое сходство в экспрессии и распознавании эмоций. Есть убедительные доказательства того, что сходство в выражении эмоций не является результатом раннего обучения,— в целом такие же проявления эмоций наблюдаются у слепо-и глухорожденных детей и даже у детей с серьезными врожденными повреждениями мозга, резко затрудняющими всякое обучение. Доказано, что человеческая «широкая улыбка» и «смех во все горло» обнаруживают формальное и функциональное сходство соответственно с «тихим оскалом зубов» и «расслабленным открытым ртом» других приматов. Есть, таким образом, действительно много оснований считать, что выражение в мимике некоторых основных эмоций врожденное и подчинено генетическому контролю. Но допустимо ли делать из этого вывод, что и другие, более сложные формы социального поведения в такой же степени генетически обусловлены? Ведь если выражение лица действительно расшифровывается однозначно, то уже даже в простейших формах невербального поведения нередко обнаруживаются существенные культурные отличия. Так, у ланкайцев эмоциональное подчеркивание согласия проявляется не кивком, а медленным движением головы в сторону, весьма, впрочем, отличным от европейского выражения несогласия. У греков отрицание проявляется откидыванием головы назад, сопровождаемым прикрытием век. В этом проявляются, по-видимому, культурой обусловленные ритуалы. Число примеров может быть расширено.

Нет, конечно, сомнения в том, что и социальные, культурные влияния в конечном счете реализуются через мозг, и при отсутствии некоторых биологических предпосылок эти влияния окажутся неосуществимыми. Вопрос, однако, заключается в соотношении этих предпосылок и социально-культурных влияний, в их удельном весе. Есть все основания полагать, что чем выше уровень психической функции, чем сложнее и дифференцированнее поведение, тем меньше влияние собственно биологических факторов и больше выражено влияние культурной среды. Рассмотрим в качестве примера такую функцию, как речь. Разумеется, у человека существуют биологические, генетические предпосылки к развитию речи, имеются определенные зоны мозга, ответственные за эту функцию. Однако мозг ребенка чрезвычайно пластичен: если в раннем детстве или при рождении повреждаются зоны левого полушария мозга, которые у абсолютного большинства взрослых отвечают за функцию речи (и, следовательно, предуготовлены к этой функции генетически), способность к речи не утрачивается — правое полушарие берет эту задачу на себя. Но если ребенок с совершенно сохранным мозгом в критический для развития речи период — от 1,5 до 3—4 лет — оказывается лишенным речевого общения со взрослыми, его способность к овладению речью страдает катастрофически и необратимо. Получается, что социальные, культурные влияния играют в данном случае относительно более важную роль, чем биологические факторы.

Более того. В исследованиях на животных установлено, что если они в раннем онтогенезе (на ранних этапах развития) подвергаются воздействию обогащенной информацией среды, то в дальнейшем не только лучше справляются со сложными задачами, но у них происходят даже морфологические изменения мозга — увеличивается масса коры больших полушарий. Получается, что влияние внешней среды может даже изменить биологию. Между тем именно психическая жизнь человека во многом формируется под воздействием социального общения и культурных традиций общества еще в доречевой период. На мировосприятие ребенка уже в первые годы жизни оказывают огромное и плохо поддающееся учету влияние его общение с матерью и другими взрослыми в семье, которые являются носителями соответствующей культуры. Отделить то, что заложено в результате этого общения в первые полтора-два года от собственно генетических закладок — задача чрезвычайно трудная. При этом ранний опыт во многом определяет дальнейшее развитие не только характера и типа поведения, но и стиля мышления, в частности способности к образному мышлению. Складывается впечатление, что столь важный этап индивидуального развития недостаточно учитывается в концепции социобиологии.

В статье Х. Ф. Джадсона «Генетическая инженерия: современные точки зрения» показано, что серьезные исследователи в области генной инженерии в настоящее время полностью отказались от попыток воздействовать своими методами на сложные формы социального поведения человека:

*«Такие общие черты человека, как доброта или агрессивность, результат комплексного взаимодействия полигенетических и средовых факторов. Поэтому невероятно, чтобы в обозримом будущем определенные изменения таких черт могли быть достигнуты с помощью генетических изменений... Изменения в основных человеческих характеристиках не могут быть сведены к проблеме наследственности».*

Этому имеется достаточно доказательств. Так, установлено, что для социального поведения и самовосприятия японцев характерны некоторые черты, оказывающие воздействие на функциональные биологические процессы,— в частности, предохраняющие их от стенокардии. Можно было бы предположить, что в этом проявляются их генетические особенности. Однако у японцев, родившихся в США от родителей, перенявших американский стиль жизни и местную культуру поведения, эти черты характера и поведения оказываются утраченными, и они страдают стенокардией не менее часто, чем американцы.

Трудно не заметить во многих положениях и примерах Уилсона крайне биологизирующий подход к поведению человека.

Но в то же время, как пишет журнал,

*«Уилсон не утверждает, что мозговые механизмы, продуцирующие эти правила, порождают данное поведение... всегда и у всех индивидов. Не утверждает он и того, что эти механизмы запрещают развитие культуры, которая по своей направленности противоположна генетическим влияниям; он говорит только, что такое развитие должно быть редким исключением. Некоторые формы поведения действительно жестко запрограммированы и неизбежны. Чаще гены определяют выбор индивидом того или иного из альтернативных типов поведения. Поведение, подверженное генетическому влиянию, не обязано быть универсальным».*

Эта последняя оговорка очень существенна и, на наш взгляд, ставит под сомнение многие предыдущие утверждения самого Уилсона. Исключения из постулируемых Уилсоном правил как раз и должны стать объектом пристального внимания, ибо в этих исключениях и проявляется принципиальное различие между социальным поведением животных и человека. Их сопоставление совершенно неправомерно. Врожденные социальные инстинкты, которым подчинено поведение высших животных, коренным образом отличаются от приобретенных социальных мотивов, характерных для человека. Человек освобожден от непререкаемых требований инстинктов, действительно имеющих исключительно биологическую природу и автоматически регулирующих поведение. Даже инстинкт самосохранения не становится у человека абсолютно доминирующим — самоосуждение может привести человека к самоубийству, что не имеет аналогии у животных и связано с высоким уровнем социальных мотивов.

Благодаря выделению себя из окружающей среды, способности к противопоставлению себя этой среде и к самооценке у человека место инстинктов занимают социальные мотивы. Но в отличие от инстинктов, с которыми животное рождается, социальные мотивы в зависимости от воспитания и степени культурных влияний могут либо развиться до высочайшего этического уровня, либо остаться в зачаточном состоянии.

Именно инстинкты ограничивают поведение животных. Если же у человека в процессе воспитания не удалось развить социальные мотивы, если он не усвоил культурных традиций общества и в результате у него сформировались неправильные установки поведения, то нет никаких границ для его антисоциальных поступков, и он становится значительно опаснее любого животного. Такова диалектика человеческой эволюции.

Именно в связи с этим социальное поведение человека отличается таким разнообразием и диапазоном. Примеры полного самоотречения во имя высших целей и альтруизма, несвойственные животным, с одной стороны, и величайшей низости и преступлений, немыслимых для животных, с другой,— вот цена, которую человечество заплатило за освобождение от инстинктов.

Кризис подросткового возраста, вокруг которого было сломано столько копий (после работ Мид и Фримена). вероятно, действительно биологически предопределен и

связан с бурной эндокринной перестройкой. Но формы, которые он принимает в поведении, уже во многом зависят от особенностей воспитания и степени культурных влияний на подростка, а потому и могут быть очень разнообразны. Другой пример. В условиях стресса реакция человека также может быть полярной — от самопожертвования до истребления себе подобных. Поэтому трудно согласиться с выводом Уилсона о прямом проявлении в поведении человека «эпигенетических» законов.

Разумеется, биологические аспекты регуляции поведения полностью игнорировать нельзя. Предпосылки к некоторым типам поведения могут быть генетически обусловлены, но реализуются они только при соответствующих условиях индивидуального развития.

Уилсон предпринял попытку снять противоречие между влиянием на поведение человека генетики и культуры, предложив идею о содружественной генетико-культурной эволюции.

*«В книге «Гены, психика и культура» (1981),— пишет «Диалог»,— Уилсон утверждает, что человеческое социальное поведение возникает как результат особого эволюционного процесса, при котором генетическая эволюция — особенно та, которая влияет на мозг,— вступает в систему положительной обратной связи с культурной эволюцией. Такая содружественная эволюция обусловлена тем, что человеческие гены и человеческая культура были связаны в течение тысячелетий».*

Из этой концепции Уилсон делает весьма далеко идущие выводы, с цитирования которых мы начали эту статью:

*«Основанная на биологии человеческая наука обещает принести новые методы, с помощью которых человеческое общество может сознательно изменить человеческую природу. Например, общество может однажды решить, что люди слишком агрессивны и последующие поколения должны быть менее агрессивны. Этого можно достичь, по мнению Уилсона, изменением факторов окружающей среды, с которой взаимодействуют гены ребенка, чтобы сформировать взрослого с полностью развитой человеческой природой.*

*Результатом науки может быть создание утонченной социальной инженерии, которая затронет глубочайшие уровни человеческой мотивации и морали».*

Открывается, как видим, захватывающая перспектива коренного изменения рода человеческого. Правда, обращает на себя внимание несколько неожиданный поворот в рассуждениях — от утверждения примата генетико-биологических факторов в регуляции социального поведения Уилсон переходит к утверждению формирующего влияния культурной среды не только на само поведение, но даже на генетический аппарат.

В этом отличие концепции социобиологии в ее модернизированном варианте от представлений о практической возможности направленного изменения человеческого поведения и манипулирования сознанием с помощью социально-психологических или даже физиологических методов воздействия. Этот вопрос уже обсуждался на страницах «Иностранной литературы» (1981, № 12)— см. фрагменты из книги американского социолога Вэнса Паккарда и комментирующую их статью В. Молчанова. Мы не останавливаемся на этой проблеме как имеющей сугубо прикладной характер, в данной же статье обсуждается дискуссия по теоретическим, фундаментальным вопросам взаимовлияния биологических и культурных факторов. Отдельные подтверждения возможности влияния существенных для индивида событий на наследование как будто действительно имеют место. Однако в целом эта смелая концепция вызвала серьезную критику. «Диалог» опирается на точку зрения М. Харриса:

*«Мэрвин Харрис считает, что основные вехи человеческой культурной эволюции, такие как возникновение сельского хозяйства, городов и современной индустриальной системы, относятся к сравнительно недавнему времени и сменялись слишком быстро, чтобы генетическая эволюция могла играть в этом какую-либо роль. Социобиология бессильна объяснить революционные культурные изменения последних 10 000 лет... Нас окружают культурные силы, которые привели к таким большим изменениям, и их не может объяснить генокультурная содружественная эволюция».*

Есть основания предполагать, что темпы человеческой эволюции, о которых пишет Харрис, действительно обязаны положительной обратной связи, но скорее не между культурой и генами, а между культурой и психикой. Появление сознания, связанное с выделением человека из среды; дифференциация и высокое развитие двух типов мышления — логического и образного,— высвобождение поисковой активности от узких прагматических задач поддержания физического существования и ее направленность на творчество — все это стимулировало культурный процесс и в свою очередь стимулировалось им. Именно на этом пути видятся наибольшие перспективы изучения соотношения природы человека и культуры.

**В. С. РОТЕНБЕРГ**

◆

# Публицистика

## ВЛАДИМИР ПОЗНЕР

# НИСХОЖДЕНИЕ В АД

### Фрагменты книги

**Известный французский писатель Владимир Познер написал книгу «Нисхождение в ад». Он составил ее из рассказов узников концлагеря Аушвица (Освенцима). Он добавил туда свидетельства эсэсовцев, работавших в этом лагере, выдержки из личного дневника врача гестапо. Он начинает свою книгу без всяких предисловий с рассказа Сюзанны Фальк, шестнадцатилетней девочки, которую арестовали в 1942 году, и далее следует рассказ за рассказом — Мари-Клод Вайян-Кутюрье, Жорж Веллерс... Десятки, сотни рассказов. День за днем, смерть за смертью. Бесстрастно, с пытливостью историка восстанавливает Познер жизнь и гибель десятков тысяч узников этого лагеря истребления. Как работали фабрики смерти. Как заключенные — будущие трупы — обслуживали эти фабрики. Таскали трупы к печам, вывозили пепел. Что за жизнь в это время шла в бараках. Люди болели, чинили одежду, искали, где бы помыться. Быт тысяч людей, стоящих на очереди к печам, к газовым камерам, был ни с чем не сравним. Но сколько человечности умудрялись сохранять эти женщины, дети, мужчины, согнанные сюда со всех стран Европы: венгры, итальянцы, французы, русские, немцы, евреи, голландцы... Подробности про еду, про обувь, про работы, про то, как спали, про самоубийства. Единственный, кто сопровождает Познера в этих страшных воспоминаниях,— Данте, идущий сквозь ад. Они как бы вместе нисходят круг за кругом в глубины ада, и фантазия великого Данте отступает перед коллективным творением фашизма.**

*Смесь всех наречий, говор многогласный,*
*Слова, в которых боль, и гнев, и страх,*
*Плесканье рук, и вопль, и хрип неясный*

*Сливались в гул, без времени, в века...*[1]

**Недавно я прочел в западногерманском журнале, что многие молодые немцы в ФРГ доказывают — не считают, не полагают, а д о к а з ы в а ю т (!),— что никаких концлагерей не было, фабрик уничтожения не было, все это пропагандистские трюки. Не могло такого быть в Германии. Не могли такое делать немцы. И не только молодые не верят — и те, кто старше, те тоже вторят этим голосам все охотнее и дружнее. Многие вполне искренне отвергают все свидетельства, все фотографии, кинокадры, доку-**

[1] Д а н т е. Божественная комедия. Ад. Песнь III, ст. 25—28. Перевод М. Лозинского.

**ВЛАДИМИР ПОЗНЕР — VLADIMIR POZNER** (род. в 1905 г.)

Французский писатель, публицист; в годы войны с фашизмом был участником Сопротивления. Автор многих книг художественной и документальной прозы. На русский язык переведены: сборник рассказов об освободительной борьбе алжирского народа «Место казни», романы «До свидания, Париж» и «Испания — первая любовь» («ИЛ», 1967, № 6), публицистическая книга «Кто убил Барреля?». В «Иностранной литературе» опубликовано интервью с В. Познером «Не подлежит забвению», в котором писатель рассказывает о себе и своем творчестве (1982, № 10).

Книга «Нисхождение в ад», фрагменты которой предлагаются вниманию читателей, вышла в Париже в 1980 г. («Descente aux enfers». Paris, Julliard, 1980).

менты. Слишком чудовищна правда, та, что творилась и на самой немецкой земле, и в Освенциме, и в других концлагерях. По мере того как проходит время, признавать за правду эти свидетельства становится все труднее.

«По всей Европе шли облавы, и женщин и мужчин ссылали в Аушвиц. В живых оставляли лишь тех, кто был достаточно силен, чтобы работать все лето. За это время люди умирали во множестве. Самые крепкие, выдерживающие по шесть месяцев, к этому времени были уже так истощены, что попадали в ревир[1]. В это-то время, к осени, и производились массовые селекции, дабы избавиться от бесполезных ртов во время зимы. Всех сильно исхудавших женщин, так же как и всех тех, у которых болезнь затягивалась, беспощадно отсылали в газовые камеры. Евреев же отправляли туда почти ни за что, отправляли даже тех, у кого была чесотка...»

Доктор Владислав Фейкель свидетельствует:

«Людей убивали уколами, поначалу пробовали бензин, но выяснилось, что это непрактично. Знаю случаи, когда после укола смерть наступала лишь через три четверти часа из-за отека легких. Стали подыскивать более быстрый метод — применили перекись водорода, затем фенол».

Владимир Познер разыскивал по всей Европе уцелевших узников Освенцима и записывал их свидетельства. Казалось бы, за почти полвека об Освенциме собрано и написано куда как много. Нет и еще раз нет. Еще больше свидетельств невысказанных, непрозвучавших хранится в памяти людей. Они так и уходят с ними в Лету, не сохраненные бумагой, записью, пленкой... У каждого заключенного был свой рассказ — ни на что не похожий, отдельный. Рассказы не повторяются. Я убедился в этом, когда мы с Алесем Адамовичем собирали свидетельства ленинградцев для «Блокадной книги». Нам поначалу казалось, что достаточно выслушать сорок — пятьдесят блокадников, и материал будет исчерпан. Но вот мы прослушали пятьдесят — шестьдесят человек, и стало ясно, что повторов нет, открывались все новые и новые повороты блокадного бытия, неведомые нам. Сто, сто пятьдесят рассказов мы записали, и все равно каждый был отдельным, каждая судьба имела свою трагедию, свои подробности жизни: драгоценные, неизвестные. Двести рассказов... мы остановились только потому, что поняли: захлебнемся, не справимся с обилием материала.

Я позволил себе привести здесь личный пример лишь для понимания этого метода сбора материала в документальной литературе. Личные свидетельства участников даже спустя десятилетия сохраняют ценность первоисточника. Они, конечно, нуждаются как бы в сепарации, в просеивании, ибо память с годами вбирает в себя, присваивает виденное в кино, вычитанное в книгах. Но все равно есть в любом воспоминании крупица незабываемого. Она сверкает нестерпимым светом подлинности и небывалости.

У каждого свое, потому что каждая жизнь неповторима, как неповторимы судьбы, характеры... И после освобождения все происходило по-разному. Сюзанна показывает автору синие цифры на левой руке: «А5654». Другие сводят свои лагерные номера, а она не собирается сводить. Она оставила клеймо. Считает это своим долгом перед теми, кто не вернулся.

Документальная проза типа книги «Нисхождение в ад» — это искусство и отбора и монтажа материала. Я не случайно говорю «проза». Это не репортаж, не сборник свидетельств. Это именно проза. Писатель соединяет голоса в хор, создает ораторию. В ней звучат и арии, и речитативы, и хоры, все соединено оркестром, авторской речью, интонацией, его, писателя, замыслом...

В этой книге участие автора минимально. Он почти незаметен, он дает выговориться своим героям, время от времени звучит его вопрос, скупые пояснения о рассказчике, и опять он умолкает, но он здесь. Молчание его ощущается, оно слышимо. Его молчание — это застрявшие в горле слова, которые сейчас слабы и беспомощны. Литература рядом с этими рассказами становится литературщиной, писательское вмешательство может обернуться фальшью. Владимир Познер очень точно чувствует это. Единственный мотив, литературный мотив, который звучит в книге,— это строфы из Данте.

Читать книгу подряд невыносимо тяжело. Время от времени утешаешь себя тем, что все эти ужасы — история. Прошло сорок лет. Но представляется, что миновали столетия, читаешь нечто средневековое. Однако что это — Менгеле! Имя это только что я слышал, оно напечатано было в сегодняшней газете, 1984 года! Здесь, в книге, Менгеле на перроне Аушвица отделяет близнецов и карликов среди прибывших. Он отправляет их в специальный барак. Близнецов умерщвляют одновременно, их можно подвергнуть одновременному вскрытию.

«Приподняв крышку, вижу двухлетних близнецов. Их несут в зал и кладут на стол для препарирования. Открываю досье. Читаю подробные клинические исследования, сопровождаемые рентгеновскими снимками, рисунками... Смертью своей они должны разрешить загадку размножения расы, что даст возможность продвинуться в исследовании законов сохранения высшей расы, избранной для подавления других. Реализация этих экспериментов поручена доктору Менгеле. Главному медицинскому шефу концлагеря Освенцима. Его цель — воспроизведение чистокровных арийцев в количестве, достаточном для замены народов Чехии, Венгрии, Польши, обреченных на уничтожение на территориях, объявленных жизненным пространством третьего рейха».

Менгеле устроил парад-шествие цирковой группы лилипутов: все были в сверкающих блестками костюмах; ничего не подозревая, они проделывали свои трюки на площади лагеря, танцевали.

[1] Лагерный лазарет.

«Смех, музыка, эти карлики, этот маскарад,— вспоминает одна из уцелевших узниц,— все это превратилось в такой ужасающий спектакль, что все дрожат от страха. «Шлюсс!» — внезапно раздается голос Менгеле — и все разом смолкает. Некоторое время еще видна фигура красавца доктора, пересекающего лагерштрассе в сопровождении маленьких, пищащих, жизнерадостных существ. Кто мог думать об уничтожении этого маленького народа? Менгеле смеется вместе с ними, а затем самолично отводит эту веселую, доверчивую группу в газовую камеру».

Менгеле... сегодняшние газеты сообщают, что он, оказывается, жив, здоров. Проживает где-то в Перу, наезжает время от времени в Штаты, в Вашингтон. Его давно выследили, и тем не менее он остается на свободе. Милый старичок, хорошо обеспеченный, чем-то занятый, какими-то, наверное, безобидными делами. И неуловимый. Проворный. Все это нисхождение в ад, значит, было недавно, в нашем веке, еще не конченном, не сданном в историю. Более того — оно еще пребывает в человечьем обличии, существует, тлеет, раз живы, не судимы, расхаживают по земле кем-то охраняемые эти менгеле. Не он один.

Вдруг, неожиданно, книга Познера становится не историей — она повисает, как мост, над пропастью, отделяющей нас от минувшего, казалось канувшего навеки.

В книге нет предостережений. Она просто повествует о том, как это происходило, эпически спокойно, без гнева и печали, как бы свидетельствуя перед Высшим судом. Не только интонация, многое другое в этих рассказах напоминает замечательную книгу «Я из огненной деревни», созданную белорусскими писателями Алесем Адамовичем, Янкой Брылем и Владимиром Колесником. Правда, они не пользовались печатными свидетельствами — их не было. Книга составлена только из записанных авторами рассказов. Но тем более поражает сходство того, что творилось в Белоруссии и в Освенциме, сходство бесчеловечного духа фашизма, абсолютной недоступности никакому состраданию, никакому движению души. Фашисты сжигали людей в белорусских деревнях точно так же, как в Освенциме. Фашизм был одинаков — что в Польше, что в Белоруссии, что в Бухенвальде,— фашизм повсюду один и тот же, в любой стране.

Прежде чем втолкнуть людей в газовую камеру или выстрелить им в затылок, убивали в них дух к сопротивлению, превращали их в униженных, покорных тварей. Механизм этот был разработан, а может, постепенно развивался во всех деталях, начиная с того, как не давали мыться, как люди погружались в грязь, в безразличие, как они подбирали с земли картофельную шелуху, объедки...

«У нас была одна миска на пятерых и ни одной ложки. Как же делить? Например, суп? Наливают пять черпаков супа, разбирайтесь как хотите! Другого решения не было — по глоткам. Говорили: «Каждому по три глотка!» Лакаешь три глотка и наполняешь рот еще немного, но не проглатываешь сразу, чтобы другие не видели. Передавали миску дальше, а те проделывали то же самое».

Вся, вся лагерная жизнь состояла из этих подробностей унижения, несправедливостей, в которых и нужды-то особой не было, логики не было, потому что заключенных можно было уничтожить и без того. Но фашизм — это человеконенавистническая идеология, им надо было ежедневно утверждать презрение и ненависть к людям.

Книга Познера вскрывает эту ненасытную ненависть, повседневную суть фашизма. Лагерь давал возможность для этого, ничем не сдерживаемого разгула фашистских идей.

Мы встретились с Владимиром Познером в Берлине, и я сказал ему, что читаю его книгу. Мы говорили о фашизме. Я — о том фашизме, который был виден нам из окопов под Ленинградом, в танковом триплексе, по дорогам Прибалтики, у стен Кёнигсберга, он, Познер,— о фашизме концлагерей. Мы сидели с ним до поздней ночи. Он рассказывал о своих последних поездках в Южную Америку. Несмотря на возраст, он непрерывно ездит, он все время в дороге. Рассказывал о своих приключениях, об экзотике Перу, о своем детстве, но всякий раз мы возвращались к фашизму, к войне. Мы не хотели говорить об этом, и все равно нас «сносило». Наверное, потому, что это неотделимо от насущности, от борьбы за мир, связано с угрозой новой войны. На этот раз война, третья мировая, направлена уже против всего человечества, ее адрес прост — Земля, люди.

В последней, заключительной главе «Нисхождения в ад» рассказано о приходе советских войск, освободивших заключенных лагеря. Война все время ощущается в книге: война, которую вела наша армия с немецким фашизмом, приближалась к Освенциму. Читая книгу, я вдруг почувствовал, как наша Великая Отечественная война из войны самозащиты, отпора оккупантам превращалась в войну освободительную для народов Европы. Мы, солдаты, тогда в сорок третьем — сорок четвертом годах мало знали об ужасах фашистских концлагерей. И только по мере наступления по Европе начинала проступать для каждого великая миссия нашей армии.

Читая книгу Познера, видишь, как ждали во всех бараках русских, прихода русских, значит, освобождения; видишь, чего стоил каждый час в этот последний период войны. «Нисхождение в ад» напоминает всем людям о подвиге советских солдат, о тех, кто освобождал европейцев от фашизма.

Книга Познера предстает перед нами как экстракт, эссенция, отжатая художником. В ней, может быть, впервые сконцентрированы до жгучести сущность фашизма и, с другой стороны, возможности человеческого духа, находившего в себе силы для сопротивления. Даже когда оно не было активным сопротивлением, люди отстаивали в себе человечность, они не расчеловечивались — каким-то чудом они сохраняли в себе чувство дружбы, любви к этому миру, к его красоте, к его краскам и запахам.

**Победа над фашизмом, сорокалетие которой мы празднуем,— это не только майские дни сорок пятого года. Победа складывалась из многих малых побед по дороге к Берлину. В конце января исполнилось сорок лет со дня освобождения советскими войсками узников Освенцима. Освенцим давно стал символом фашистского зла — зла гитлеровского нацизма,— и хотя не было боев за Освенцим, но освобождение концлагеря Аушвиц, его ликвидация стали тоже одним из символов Победы.**

**Наши войска шли дальше — на Германию, впереди было несколько месяцев ожесточенных сражений, и то, что предстало тогда в этих страшных бараках Освенцима, в раскрытых воротах складов, забитых человеческими волосами, в этих печах и газовых камерах, открыло перед всем миром участь Европы,— уготованную ей фашизмом угрозу уничтожения народов, от которой избавлял их советский солдат.**

**ДАНИИЛ ГРАНИН**

Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу туда, где вечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям.

*Таковы начальные строфы надписи, которую прочел Данте и списал до последней строки:*

Входящие, оставьте упованья...[1]

***Данте был первым человеком, увидевшим бездну ада, и единственным, покинувшим ее по собственной воле.***
***Через шесть с лишним столетий множество людей пережили реальность, далеко превосходившую плод воображения Данте. Настало время распахнуть врата этого ада, чтобы узнать, что творилось за ними.***

*Что такое «специальная акция», пусть поясни врач Поль Бендель 167460*[2].

Однажды, в июне 1944 года, я с дневной бригадой (150 человек) отправился к четвертому крематорию. Стояла прекрасная погода. Окружающие исподтишка следили за моей реакцией. Изо всех сил пытался я скрыть овладевшее мной волнение: сейчас я увижу воочию то, о чем новички из зондеркоманды твердили мне вот уже несколько дней.

Нас ждут часовые. Идем.

В сотне метров от крематория виден белый дым. Люди молчат. Расспрашивать не смею.

Наконец пришли. Каждому указаны его обязанности.

Я — только зритель. Хочу понять, что это за дым. И вот позади крематория вижу рвы, где догорают останки ночного транспорта заключенных.

В нескольких метрах от меня люди хлопочут над кучками пепла, рассеивая их в тончайшую пыль. Это все, что осталось от трех тысяч человек, прибывших сюда вчера.

В одиннадцать часов один из начальников политического отдела гестапо подкатывает на мотоцикле, сообщая, что новый транспорт уже в пути. Появляется шеф крематория. Отдает приказы. Рвы должны быть очищены, поленья уложены и политы бензином.

В полдень длинная вереница женщин, детей и стариков уже тянется во двор крематория. Это обитатели гетто из Лодзи.

Они измучены, устали, встревожены.

Начальник крематория, гауптшарфюрер Молль, огромный рыжий детина с лицом младенца, поднимается на скамью, чтобы сообщить прибывшим: их ожидает баня, а потом горячий кофе. Бедняги немного успокаиваются. Кое-кто из детей просит пить. Великодушные эсэсовцы приказывают принести им воды. Обман должен длиться до самого конца. Соблюдается порядок.

Все раздеваются во дворе. Двери крематория распахиваются, и толпа вступает в большой зал, который зимой служит раздевалкой.

Набившись в помещение как сельди в бочку, люди начинают понимать, что оказались в ловушке, откуда выхода нет. Все же они еще надеются: нормальный человеческий разум отказывается постичь, что их ждет страшная смерть.

Прибывает машина Красного Креста. Оберштурмфюрер д-р Клейн несет коробки со смертоносным газом: наивысшее оскорбление врачебной профессии и знака Красного Креста, которым международные организации прикрывают свое соучастие в подобных преступлениях.

Наконец все готово. Двери раздевалки открывают, и начинается невероятная толчея. Вошедшие в газовые камеры первыми невольно пятятся назад. Они чувствуют, что их ждет смерть. Ударами прикладов по головам обезумевших женщин, судорожно прижимающих к себе детей, эсэсовцы задерживают этот людской прилив и отлив. Массивные дубовые двери крематория закрываются. Две нескончаемых минуты еще слышатся дикие, нечеловеческие крики и удары об стены. Затем наступает тишина. Голова моя идет кругом. Я, кажется, схожу с ума.

Какие чудовищные преступления могли совершить эти женщины, эти дети, чтобы заслужить такую жестокую казнь?!

Проходит пять минут. Двери распахиваются. Взору предстает лавина тел, нагроможденных в кучу. Они катятся вниз. Некоторые так сплелись друг с другом, что их невозможно разъединить.

Тела окровавлены. Вид их ясно говорит об отчаянной борьбе за жизнь. Еще неостывшие трупы переходят в руки цирюльников, стригущих волосы, и дантистов, удаляющих золотые зубы.

Начинается какой-то адский кошмар. Эти люди, такие как вон тот эрудированный юрист из Салоник или инженер из Будапешта (я хорошо знаю обоих), превратились в сущих дьяволов — в них не осталось ни-

© Julliard, 1980.

[1] Ад. Песнь III, ст. 1—3, 9.
[2] Здесь и далее — лагерные номера узников.

чего человеческого. Под ударами прикладов и хлыстов эсэсовцев они переносят трупы и бегают как одержимые, стараясь скорей освободиться от мертвого груза в руках.

Из рвов валит густой, черный дым. Все происходит настолько быстро, настолько невероятно, что кажется мне кошмарным сном.

Дантовский ад по сравнению с этим напоминает лишь устаревшую примитивную аллегорию.

Часом позже все уже в полном порядке: заключенные очищают рвы от скопившегося в них пепла. Еще один состав прошел через четвертый крематорий.

*Эсэсовский врач Кремер заболел. Уж не оттого ли, что присутствовал на «специальной акции»? Что же записал он на следующий день в своем дневнике?*

3.9.42. Я заболел. Впервые в жизни у меня приступ диареи, кровавого поноса, поражающего всех в этом лагере. Признаки диареи — рвота и сильные желудочные боли типа колик. Так как я не пил ни капли сырой воды, причина в чем-то другом. Хлеб также не мог бы вызвать такие боли.

Причиной всему, вероятно, здешний нездоровый климат — одновременно и резко континентальный, и вроде как тропический. Кроме того, полно пыли и мух.

4.9.42. Против поноса: в течение дня принимаю настой из отвара мяты, всю неделю на диете. Время от времени — уголь и танальбин. Заметное улучшение.

5.9.42. Сегодня в полдень присутствовал на «специальной акции» в женском лагере — газировали так называемых «мусульманок»[1]. Сплошной кошмар! Гауптшарфюрер Тило (военный врач) был совершенно прав, когда сказал мне сегодня, что это «светопреставление». Около восьми часов вечера снова участвовал в «специальной акции» на заключенных из Голландии. Так как в этих случаях дают дополнительный паек — двести граммов спирта, по 100 граммов колбасы, хлеба и 5 сигарет,— то здесь постоянная толкотня и давка: много желающих участвовать в этих операциях. Я дежурю сегодня и завтра (в воскресенье).

6.9.42. По случаю воскресенья — роскошный завтрак: консоме из помидоров, половины цыпленка с картофелем и красной капустой (20 граммов жиров). Затем десерт и великолепное ванильное мороженое. После завтрака поздравляли с прибытием нового гарнизонного врача, оберштурмфюрера Виртса. Родом он из Вальдбрёля, раньше работал под началом штурмбанфюрера Фитша, полкового врача.

Вот уже целую неделю я в лагере, но все еще не могу избавиться от блох в номере, несмотря на принятые меры.

23.9.42. Участвовал в шестой и седьмой «специальных акциях». Утром в гарнизон СС прибыл со своим штабом обергруппенфюрер Поль.

[1] Лагерный термин, обозначавший критическое состояние человеческого организма: от заключенного в буквальном смысле слова оставался только скелет, обтянутый кожей.

Вечером у начальства прием в связи с прибытием генерала Поля. Настоящий банкет! Подавали яблочный торт — вволю. Превосходный кофе, великолепное пиво и пирожные.

7.10.42. Участвовал в девятой «специальной акции». Иностранцы и женщины.

11.10.42. Сегодня воскресенье. На завтрак чудесная зайчатина с красной капустой и пудинг. Все это за 1,25 марки.

12.10.42. Прививка против тифа, отчего к вечеру — лихорадочное состояние. Невзирая на это, ночью присутствовал на «специальной акции»: 1600 человек из Голландии. Ужасные сцены у входа в последний бункер. Это уже десятая акция.

18.10.42. Сегодня в воскресенье утром, в холод и дождь, присутствовал на одиннадцатой акции. Жуткие сцены — три женщины умоляли сохранить им жизнь.

*Действительно ли у д-ра Кремера такой чувствительный желудок? Попробуем справиться у другого врача. Миклоша Нисли А8450:*

Предъявив пропуск эсэсовскому охраннику, проходим через колючие заграждения и выходим на открытую дорогу. Пейзаж кажется таким мирным, опушка заросла молодой зеленой травой. Вскоре, однако, в ста метрах отсюда обнаруживаю вторую цепь часовых, стоящих или лежащих в траве рядом с пулеметами, в сопровождении полицейских собак. Пройдя опушку, подходим к небольшому еловому лесочку. Перед нами вновь — заграждение из колючей проволоки. На воротах такое же объявление, как на крематориях: «Посторонним вход строго воспрещен, включая персонал СС и других служб». Мы, персонал зондеркоманды, все же входим. У нас даже не спрашивают пропусков. Здесь работают эсэсовцы из крематориев, а также 60 человек из зондеркоманды 2-го крематория. Это — дневная смена. Работает она с семи утра до семи вечера. Затем заступает ночная смена, состоящая тоже из 60 человек, но уже из 4-го крематория.

Войдя в ворота, оказываемся на небольшой площадке, напоминающей обыкновенный двор, посреди которого стоит длинное ветхое строение с соломенной крышей, с крохотными оконцами, заколоченными досками, которое смахивает на немецкий крестьянский дом. Судя по всему, строение это и было крестьянским домом по крайней мере лет полтораста. Это видно как по соломенной, давно почерневшей кровле, так и по многочисленным слоям штукатурки, покрывающим облупившиеся там и сям места.

Третий рейх захватил деревню Биркенау рядом с Аушвицем, чтобы создать здесь концентрационный лагерь. Все дома кроме этого были разрушены, а жителей выселили.

Каково было раньше назначение этого дома? Служил ли он жилым помещением? Сейчас тут раздевалка для тех, кто осужден на сожжение на костре; здесь они оставляют свое жалкое тряпье, очки, обувь.

Сюда направляют тех, для кого не хватило места в четырех крематориях.

Здесь ждет их самая страшная смерть. Здесь нет кранов с водой, чтобы утолить жажду после длительного путешествия. Нет лживых объявлений, дабы рассеять дурные предчувствия, нет газовых камер, которые узники считают дезинфекционными. Один лишь деревенский дом, окрашенный некогда в желтый цвет, с истлевшей соломенной крышей, с окнами без стекол, заколоченными досками. За домом — огромные столбы дыма, вздымающиеся высоко в небо и распространяющие чад горелого мяса и жженых волос.

Во дворе — пятитысячная толпа перепуганных, охваченных ужасом людей. Их окружает густая цепь эсэсовцев-охранников с собаками на поводках. Вводят в раздевалку по 300—400 человек сразу. Здесь, подгоняемые ударами дубинок, они снимают одежду и выходят через дверь на противоположной стороне дома, освобождая место следующим.

Переступив порог, они не успевают даже оглянуться и осознать ужас своего положения, как тотчас же люди из зондеркоманды хватают их и тащат вперед, меж двух рядов эсэсовцев, вдоль извилистой тропинки длиной метров в полтораста, окаймленной лесной порослью, к самому костру, скрытому до тех пор за деревьями.

Костер — это ров длиной в 50 метров, шириной в 6 и глубиной в 3 метра, заполненный сотнями горящих трупов. У кромки рва и по сторонам его, выходящим на дорогу, через каждые 5 метров выстроены солдаты, которые поджидают своих жертв. В руках у каждого мелкокалиберный пистолет (6 мм). В лагере его употребляют для выстрела в затылок осужденного.

В конце аллеи — двое из зондеркоманды. Они хватают обреченных за руки и 5—20 метров тащат к стрелкам. Крики ужаса заглушают звуки выстрелов. Тотчас же несчастных еще живыми бросают в пламя костра.

В полусотне метров отсюда — такой же костер. Работа идет полным ходом. У костров командует обершарфюрер Молль.

Как врач и очевидец, я утверждаю, что это самый гнусный, самый одержимый и бесстрастный убийца третьего рейха!

Даже доктор Менгеле время от времени проявлял чувство человечности. Во время отбора на перроне по прибытии состава, заметив молодую, здоровую женщину, стремящуюся во что бы то ни стало отойти к матери направо, он, грубо ругая ее, заставлял становиться в левый ряд. Даже самый меткий стрелок 1-го крематория, обершарфюрер Мусфельд, промахнувшись, сразу пускал в смертника вторую пулю, чтобы прикончить его. Обершарфюрер Молль не тратил времени на подобные нежности. Здесь большинство жертв бросали в огонь еще живьем. Горе тому человеку из зондеркоманды, по вине которого равномерное движение шеренги осужденных нарушалось, что заставляло одного из стрелков, стоявших на краю рва, несколько мгновений ждать очередную жертву.

Обершарфюрер Молль вездесущ. Без устали снует он от одного костра к другому, к раздевалке и обратно.

Большей частью обреченные на смерть безропотно идут от раздевалки до самого костра. Они настолько парализованы ужасом, что не отдают себе отчета в том, что их ждет. Так ведет себя большинство стариков и детей. Между тем здесь попадаются и подростки. Эти пытаются отчаянно сопротивляться, движимые инстинктом самосохранения. Заметив такое, Молль тут же выхватывает пистолет из раскрытой кобуры. Выстрел! Хотя пуля пущена с расстояния в 20 — 30 метров, сопротивляющийся падает замертво на руки узника из зондеркоманды, подтаскивающего его к костру. Молль не знает промаха. Когда он недоволен работой зондеркоманды, то простреливает руку провинившегося. Всегда руку. Только так проявляет он свое недовольство, не затрудняясь предварительным требованием.

На двух кострах сжигали по пятьшесть тысяч трупов в день. Немногим больше, чем в крематории. Но здесь смерть была в тысячу раз страшнее, так как здесь умирали дважды — сначала от пули в затылок, потом в огне.

Я узнал и об этом четвертом, «комбинированном» методе уничтожения помимо умерщвления газом, уколами хлороформа и пулей в затылок.

Подбираю разбросанные вокруг медикаменты, очки погибших. Потрясенный, растерянный, еле держась на ногах, дрожа от волнения, возвращаюсь «домой», то есть во 2-й крематорий. Вспоминаю слова Менгеле: «Это, конечно, не санаторий, но жизнь здесь почти сносная». Повидав костры, нахожу, что он прав.

Вернувшись «домой», не раскладываю ни медикаменты, ни очки. Принимаю гарденал и ложусь. Сегодня я принял дозу в 30 сантиграммов: может быть, это подействует и поможет забыть тот ужас, что я видел у костров.

*В конце концов не такой уж чувствительный желудок у доктора Кремера. Стоит продолжить чтение его дневника.*

8.11.42. Сегодня после полудня — еще одна «специальная акция», уже четырнадцатая. Прекрасная вечеринка в офицерском клубе, пили красное болгарское вино и хорватскую сливовицу.

*Спрашиваю Сюзанну:*[1]

— Что тебе сейчас снится?

— Вообще мне редко что снится, но когда болею гриппом или начинаю заболевать, снится лагерь. Это признак слабой сопротивляемости. Когда я просыпаюсь и вспоминаю, что видела лагерь, то почти всегда потом заболеваю.

— Ты заболеваешь потому, что видела во сне лагерь, или наоборот?

Не уточняя, она подтверждает и продолжает:

— Если ночью меня внезапно будят, мне становится страшно, и я долго плачу. Я могу говорить о заключении просто так, без особого волнения, но если неожиданно услышу позади громкую немецкую речь или если смотрю в театре пьесу и на сцене внезапно появляются немцы с автоматами, я начинаю неудержимо рыдать. Никак не могу отделаться от этого страха.

[1] Вопрос В. Познера.

*И тридцать лет спустя неожиданный звук шагов, ночной шепот вызывают панический страх! Доктор Кремер, эсэсовский врач, проигравший войну, сохранил ли он память о том, что было, и хладнокровие, когда предстал перед польским трибуналом в Кракове вместе с другими эсэсовцами? Его дневник был найден, и во время допросов он дает разъяснения по поводу записей:*

2 сентября 1942 года я участвовал в «специальной акции» по умерщвлению людей газом. Все эсэсовские врачи лагеря обязаны были по очереди присутствовать при этой операции. Мое участие в умерщвлении людей газом («специальной акции») в качестве врача состояло в том, что я обязан был находиться близ бункера. Привозили меня туда на машине. Я сидел рядом с шофером, а на заднем сиденье — санитар с кислородной маской для приведения в чувство эсэсовцев в случае отравления. В момент прибытия на лагерную ветку железной дороги состава с людьми, обреченными на газацию, офицер СС отбирал из прибывших пригодных к работе мужчин и женщин, а остальных — среди них стариков, детей и женщин с детьми на руках, так же как и других, неспособных к труду,— сажали на грузовики и увозили в газовые камеры. Когда они входили в камеры, двери закрывались, и эсэсовец в маске бросал содержимое коробки с газом «циклон» через отверстие в стене. Через это отверстие доносились крики жертв, боровшихся за свою жизнь. Крики слышались недолго. Вероятно, всего несколько минут, но точно сказать не могу.

*Человеческое тело состоит из углерода, извести, калия и в основном воды, но сам человек жив только надеждой и хотя бы малой долей мужества. Если бы это было не так, фашисты победили бы. Но это так. Жар печей, превращающий эти соединения в пепел, а воду — в облачко пара, не в состоянии уничтожить ни мужества, ни надежды. Испытывая страх, человек все еще не теряет надежды, а утратив ее, все же находит в глубине души хоть малую толику мужества.*

ФАНЯ ФЕНЕЛОН 74862 пишет:

Музыка всегда с нами, постоянно... Для нас, музыкантов, она превратилась в некую адскую пытку. И все же я благодарна музыке, даровавшей мне отсрочку каторги, предоставившей возможность во время работы над партитурой (я компоную те куски, что удалось вспомнить) забыться, словно бы вдохнуть живительный воздух горных высот, и даже позабавиться, как это было с аранжировкой из «Сельской чести»[1], первые такты которой напоминают нашу любимую песню «Буду ждать».

Написанная для тех, кто ушел в 1939 — 1940 годах, она символизирует для нас надежду на возвращение — их и наше. Всякий раз, исполняя эту аранжировку, мы внутренне торжествуем. Как это приятно — под самым носом у немцев исполнять песню надежды! Обман — это месть слабых. Приберегала я и другие радости. Я сделала аранжировку в темпе марша — «Йозеф, Йозеф!». Этот знаменитый фокстрот — произведение американского еврея. Благодаря моей выдумке под ритм этой музыки шли на работу отряды женщин, и многие узнавали знакомый мотив. Ни один эсэсовец не узнал этой музыки. С явным удовольствием слушали они этот марш, отбивая такт. Еще приятнее было видеть, с каким безграничным удовольствием наслаждаются они первой частью ми минорного Концерта для скрипки с оркестром Мендельсона — композитора, запрещенного в Германии и оккупированных странах. В тот день, когда я по памяти восстановила и переписала концерт, Альма, обнаружив ноты у себя на пюпитре, глянула на меня вопросительно:

— Думаешь, это возможно?

Я ответила ей:

— Конечно! Никто и не догадается...

— Яволь! На программе напишем просто: «Концерт для скрипки с оркестром».

И всякий раз, как она дирижирует и исполняет эту вещь, мы обмениваемся улыбкой как заговорщики.

Хотя риск весьма реален, с какой живейшей радостью наблюдаем мы блаженно расцветшие физиономии эсэсовцев, внимающих звукам запретной музыки! Чудесные минуты! Но краткие, до чего краткие!

— Даешь музыку! — зубоскалит по любому случаю Женни.

Этот возглас постоянно звучит у нас в ушах. В самом деле музыка в Биркенау — это и лучшее, и самое худшее. Лучшее — потому что поглощает время, дает забвение, словно наркотик, притупляет и гасит боль. Худшее — потому что публика, для которой мы играем,— это и убийцы, и их жертвы; не становимся ли мы, музыканты, орудием в руках палачей?

*Умереть в Аушвице проще всего! Вот жить — гораздо сложней! Жюльен Унгер 164652, в свою очередь, пишет:*

Приближался Новый год. Надо было прежде всего позаботиться о елке. Пойти в лес и срубить хорошую елку легче было полякам: ведь повсюду были их соотечественники. Но рубить деревья было запрещено. Убить человека было проще, чем срубить дерево. И поляки вернулись с пустыми руками.

Тогда в лес отправились французы и принесли еловые ветви: придраться было невозможно! Поляки сначала смеялись, но удивленно смолкли, поняв, что обыкновенная доска может стать стволом — достаточно прибить к ней ветви, начиная с самых маленьких у верхушки.

В руках людей дерево все росло и росло — и наконец стало выше, чем в лесу, а пышные ветви постепенно укрыли голый ствол. Теперь нужно было подумать об украшениях. Тонкая алюминиевая проволока изображала иней. Вата из рваных одеял превратилась в снежные хлопья. Смесь соли с толченым стеклом послужила инеем. Искусно обточенные деревянные палочки заменили свечи.

[1] Популярнейшая опера итальянского композитора и дирижера Пьетро Масканьи (1863—1945).

Малейшая деталь требовала долгих размышлений и еще больших поисков материала — ведь в лагере ничего не было. Всем этим инженерам, химикам, докторам, архитекторам хватало талантов и выдумки, чего не было, это «сырья». Все, как муравьи, приносили то, что удалось разыскать. Поляки и особенно местный ксёндз снабжали нас картоном и бумагой. С некоторых пор поляки получали посылки и могли уступить нам хотя бы упаковку. Француз, которого прислали белить эсэсовский блок, дал нам красок в порошке. Schreibstube[1] выдала несколько перьев и чернила. Один рисовал, другой вырезал. Из-под их рук как по волшебству выходили фигурки волхвов, ангелов, Богоматери, младенца Иисуса, а также ягнят, быков и ослов — ими украсили хлев, разрисованный яркими красками[2].

Но лучше всего удались творения Роже и Жоржа. Один соорудил большой крест из колючей проволоки и распятого на нем Христа, другой смастерил яркие тюльпаны и другие цветы — расцветки французского флага. В работе Роже вырисовывались два силуэта, один над другим: крест и Спаситель, прикрепленные друг к другу тонкой проволокой. Крест казался массивным, а прозрачный силуэт Христа как бы представлял один лишь дух. Сооруженное из колючей проволоки и укрепленное на потолочной балке, это изображение мученика как бы парило в воздухе, вызывая всеобщее восхищение.

Большой Жорж сделал два горшка с цветами. Из обрывков разноцветных тканей, компрессной бумаги, железной проволоки и тончайших стружек он соорудил три больших темно-красных тюльпана. Все были поражены: как могли появиться здесь, в лагере смерти, такие большие, свежие, красивые цветы?

На долю Франции тоже выпало чудо: синие гвоздики, белые лилии и красные розы. Три этих цвета сияли, словно бессмертные источники жизни и славы французского народа. Цветы эти заняли главное место в блоке, как раз у входа.

Победители отняли у них весь мир, но побежденные своими собственными руками цветок за цветком, ангел за ангелом воссоздали утраченный мир. Победители лишили их всякого человеческого чувства, а они с помощью красок воссоздали гордость, ветвей — веру, с помощью куска колючей проволоки — братство.

Так побежденные торжествовали над победителями.

*Что может быть опасней, чем мужество слабых? Комендант лагеря Гесс признается:*

— Глядя, как играют мои дети, а жена с сияющим от счастья лицом держит младшего на руках, я часто спрашивал себя, как долго продлится это счастье.

Жена никак не могла понять причину моего уныния и приписывала его служебным трудностям.

*Вот как объясняет эти трудности профессор Роберт Вайц 157251:*

В основном в силезских лагерях среди французов дольше всего держались:

1. Активные участники Сопротивления (заключенные, сражавшиеся в Сопротивлении еще во Франции).
2. Члены коммунистической партии.
3. Некоторые молодые люди, бывшие в составе скаутских отрядов.
4. Некоторые работники умственного труда, сильные духом.
5. Некоторые рабочие.

Вне всякого сомнения те, кто исповедовал определенные идеалы, был приучен жизнью к борьбе, кто сумел внушить себе необходимость строгой дисциплины и товарищества, не дошли до той степени падения, какая пришлась на долю большей части заключенных. Именно среди этих категорий узников минимальная взаимопомощь давала наибольшие результаты.

Не приходится, конечно, отрицать, что нужно было обладать большой силой воли, чтобы не проглотить целиком случайно добытую порцию супа, а оставить половину товарищу.

Одним словом, чтобы держаться и выжить, требовалась большая удача, а также сильная воля.

*Удача или воля? Что думает об этом Пелагия Левинска 32292?*

Я думала, что концлагерь — это мера наказания изоляцией, лишением свободы, тяжелой работой, убогим бытом. Разве я не знала, что такое тюрьма?

Однако нацистский концлагерь—это нечто иное, это место, где узники умирают медленной, неотвратимой смертью.

Все то, что сначала показалось мне просто неорганизованностью, было на самом деле изощренной жестокостью. Все, что казалось беспорядком, было задумано сознательно. В организации лагерей воплотилась великая немецкая аккуратность, вся вырождающаяся культура германского духа, вся дикость и уродство гитлеризма. Ничего случайного в этой системе не было, все заранее преследовало определенную цель. Наконец-то я уразумела, осмыслила, поняла! Поняла подлинную суть концлагерей. Их назначением было систематическое истребление людей.

До сих пор постоянные трудности, утрата товарищей мешали нам понять смысл нашей борьбы. Стало все труднее и труднее держаться, не пасть духом, не склонить головы. Но, поняв главную мысль гитлеровских орд, я как бы очнулась от забытья. Значит, погибнуть—это способствовать воплощению замыслов врага? Нет! Только не это!

И, словно получив молчаливый приказ, я приняла решение: надо жить. Это наш долг перед погибшими и еще живыми, перед теми, кто ждет нас в стране Свободы.

Великий и священный долг! Я обязана выполнить заветы дорогих друзей и наставников. Надо жить, надо собрать все силы, чтобы выстоять и не околеть, несмотря ни на что! И даже если не выдержу, то умру

[1] Канцелярия.
[2] Христос, по евангелию, родился в хлеву, куда и пришли поклониться ему волхвы.

как человек, не утратив достоинства, не околею, как презренная скотина: я не стану животным, как этого хочет враг.

И началась страшная, упорная борьба, не прекращавшаяся ни днем ни ночью, ни при каких обстоятельствах. Началась с той минуты, когда я, призвав на помощь всю силу воли, решилась держаться до последнего. Отказаться от борьбы значило проиграть ее и погибнуть.

Враг задался целью удушить нас грязью: значит, надо мыться.

*Мыться здесь, на безводной равнине, захлебываться грязью и глиной, постоянно быть начеку, а ослабишь сопротивление — погубишь и себя и других.*
*Вот что рассказывает об этом Маша Равин 35332:*

— Однажды утром врачи начинают перешептываться с начальником блока, и мы узнаем, что «главная комиссия по селекции» уже в ограде ревира и направляется к передней двери блока. Тогда заднюю дверь запирают, чтобы не допустить бегства больных.

Когда эсэсовский врач, страшный Менгеле, сопровождаемый нацистскими офицерами, а также главным врачом гражданского санитарного пункта, и заключенной Энной, словацкой еврейкой, и немкой-узницей Орли, нашей Lagerälteste[1], входят в блок, блоковая кричит: «Ахтунг!» И мы застываем навытяжку.

Больным приказано встать с постелей и пройти по кругу перед Менгеле через весь блок нагишом. Да они и спали без рубашек, на соломенных тюфячках под одним одеялом.

Жуткое зрелище! Чесоточные женщины, похожие на скелеты, или отечные, шатающиеся от слабости, проходят, цепляясь за стены, нары и печи, падают, вновь поднимаются. Некоторые охвачены тифозной горячкой и почти бегут, силясь выказать бодрость, но за кривой улыбкой не скрыть обуявшего их страха. Они протягивают левую руку с номером, а секретарь его проверяет.

«Смотр» окончен. Менгеле приказывает сдать больничные карты тех, кто пойдет в камеры. Их больше 900.

Эсэсовцы ушли. Больные молчат, углубившись в свои страдания. Многим уже пришлось пережить не одну «селекцию». Они видели, как уходили на смерть их товарки, и полностью отдают себе отчет в том, что им предстоит. Другие, измученные этим испытанием, погрузились в полубессознательное состояние.

От осуждения до самой казни проходит несколько дней. На это время начальница блока и секретарь, по приказу Менгеле отвечающие за численность осужденных, устанавливают охрану у обеих дверей. Никто, кроме персонала, не имеет права ни входить, ни выходить. Ежедневно больных пересчитывают. Приказано не лечить их и даже не умывать. Зато блоковая требует от санитарок навести безукоризненную чистоту в блоке, так как немцы любят порядок и чистоту и не прощают ни соломинки на полу.

Санитарки тайком ухаживают за несчастными, оказывая им все мыслимые услуги.

Со своей стороны, лагерная подпольная организация Сопротивления пустила в ход все имеющиеся ресурсы для спасения хотя бы нескольких человеческих жизней. В своей ярости геноцида эсэсовцы, как ни парадоксально это звучит, способны были в отдельных случаях расчувствоваться и отложить исполнение приговора. Чтобы использовать этот последний шанс, мы, как и раньше в аналогичных случаях, прибегали к авторитету Орли.

При исполнении своих административных функций она часто работает в тесном контакте с Энной, на которую имеет значительное влияние. Энна входит в ближайшее окружение Менгеле, и ее тем легче привлечь на нашу сторону, что среди осужденных есть и ее землячки (словацкие узницы), которых она сама стремится спасти от газовой камеры. Обе они пытаются убедить Менгеле, часто наведывающегося в лагерь для проверки, в необходимости пересмотра некоторых случаев. Снова показывая эсэсовцу больных, которых можно спасти, они уверяют его, что те еще крепки и способны работать. Ценой бесчисленных осмотров, невероятных торгов и ухищрений удалось добиться от Менгеле спасения 140 женщин из числа почти 4750 смертниц в пяти блоках: их имена вычеркивают из списка осужденных.

В день казни Менгеле приходит в блок для последнего осмотра, который проводит с видом благодушного папаши, прекрасно зная, что через несколько часов за обреченными приедут грузовики. Останавливаясь у каждых нар, он выражает удивление тем, что больные ютятся по двое, по трое на одной постели, едят из одной миски. Обещает после выздоровления предоставить им более легкую работу. Присутствуя при этой комедии, мы готовы плюнуть ему в лицо и умереть. Но по неписаному закону лагеря — мы это давно поняли — нужно молчать, чтобы жить и когда-нибудь рассказать обо всем этом.

Через несколько часов после ухода Менгеле и его свиты прибывают грузовики. По всему ревиру объявлено чрезвычайное положение — Blocksperre: блоки закрыты, вход и выход воспрещен. Воцаряется жуткая тишина. Прислушиваемся. Внезапно женские крики, заглушаемые трескотней моторов, разрывают тишину, и грузовики отъезжают.

С точностью часового механизма машины возвращаются обратно, чтобы очистить остальные блоки, и вновь отъезжают, сопровождаемые невыносимыми воплями. Вот они проезжают мимо 5-го, 6-го, затем 11-го и 12-го блока, расположенного напротив нашего. Мы знаем, что сейчас — наша очередь. На сей раз они останавливаются перед нашими дверьми. Нервы у нас напряжены до предела. Двери распахиваются настежь. С грохотом врывается банда эсэсовцев.

Чтобы помочь тяжелобольным сойти с постелей, блоковая расставила у нар свой персонал. Некоторые выходят послушно, с отсутствующим видом; другие лежат неподвижно, завернувшись в одеяло с головой

[1] Здесь: старшина лагеря *(нем.)*.

или зарывшись в тюфяк. Есть и такие, что бегают по углам в поисках убежища, как затравленные звери. Эсэсовцы грубо понукают нас, но им приходится самим браться за дело и тащить обреченных к секретарю блока. Та держит в руках список и тщательно сверяет номера, одновременно пересчитывая смертниц. Рядом с ней стоит эсэсовец с копией этого списка и тоже считает.

Так как одна дверь сейчас заперта, женщин грубо подталкивают в направлении единственного выхода. Там эсэсовцы с помощниками грузят женщин в машины, как грязное белье.

Некоторые сопротивляются из последних сил. Их бьют нещадно. Среди криков боли слышны прощальные слова смертниц, обращенные к санитаркам,— просьбы передать весть родным и друзьям.

Блок пустеет. Эсэсовцы тащат к двери последних женщин, валяющихся в проходах между нарами и печью. Но счет не сходится: не хватает четырех номеров. Эсэсовцы подгоняют нас: «Los! Los! Шнеллер!» Сперва нам угрожают, что если их не обнаружат, то возьмут четырех из нас. Потом, собрав нас, эсэсовец Таубер сообщает, что нашедшей беглянок выдадут Zulage (дополнительный паек — хлеб и кружок колбасы). Но вновь им самим приходится лезть на верхние нары, где прячутся три женщины, зарывшись в солому матрацев. Осыпая ударами, их сгоняют оттуда. Несчастные падают почти замертво. Их относят к грузовикам. Одной все же не хватает. Эсэсовцы теряют терпение:

— Если завтра твое Schmuckstück (сокровище) не найдется,— угрожают они секретарше блока,— возьмем тебя взамен.

Та бледна как полотно.

Эсэсовцы уходят, и наши нервы сдают. Одной медсестре дурно, с другой нервный припадок. Некоторые санитарки бегут из блока сломя голову. Что мы сейчас пережили? Это было на самом деле или нам привиделся адский кошмар?

Внезапно невесть откуда появляется исчезнувшая беглянка. Секретарша и блоковая набрасываются на нее. Секретарша бросает ей в лицо:

— Как ты посмела рисковать моей жизнью?

Бедняжка—ей не больше двадцати лет— дрожит всем телом и горько рыдает. Ее все еще бьет дрожь, мы укладываем ее на нары и укрываем кучей одеял, принадлежавших тем, кому они больше не понадобятся. Наутро мы находим ее мертвой от страха и изнеможения.

В гробовом молчании возвращаемся в блок персонала. Молча, без единого слова влезаем на нары и погружаемся в тяжелое, животное забытье.

На следующий день возвращаемся в 18-й блок. Постели разворошены, матрацы вспороты, пол усеян соломой, экскрементами вперемешку с кусками черствого хлеба. Все надо начинать сначала, навести порядок.

Блоковая нас подгоняет. К 9 часам эсэсовцы возвращаются с грузом новых больных — евреек из Голландии. Нас заверяют, что это Sonderhäftlinge — «особые заключенные», так сказать привилегированные. У себя на родине они работали для армии «Великого Рейха» — это их заслуга.

Проходит несколько недель, и эсэсовцы забывают о заслугах голландок. Многие из больных умирают естественной смертью. Оставшихся в живых отправляют в газовые камеры, как и всех.

*Знали ли Маша Равин и Мира Онель друг друга раньше, в Париже, или им довелось встретиться лишь здесь, в болотах Биркенау? Обращаются они к нам или беседуют меж собой? А за ними — столько других людей, мужчин и женщин, чьи голоса доносятся из бездны страданий... Стоит только прислушаться.*

МИРА ОНЕЛЬ 52323. Январь 1945 года. В газетах нужды нет: пушечные залпы все ближе и ближе, значит, наступление русских развивается успешно. Ночью 17 января нас грубо будят. Подъехали грузовики. В каждый блок врываются эсэсовцы, забирают все документы, вплоть до температурных листов больных, и грузят на машины. В эту ночь мы не сомкнули глаз. Свобода совсем близко, но мы все еще в их руках.

МАША РАВИН 35332. В ночь с 17 на 18 января в ревир за полночь явился Менгеле со своей свитой, взял истории болезней и ушел, объявив, что с утра начнется эвакуация лагеря. «Все, кто в состоянии ходить, должны уйти!» — сказал он.

МИРА 52323. 18 января утром нам объявили о немедленной эвакуации. Ревир уходит в последнюю очередь. В бараках все вверх дном. Всех охватил повальный психоз. На дворе двадцатиградусный мороз. Каждая женщина пытается смастерить из обрывков одеял что-нибудь для защиты от холода. Всем, кто может ходить, приказано отправляться. А как же больные — ведь они подняться не в состоянии? Значит, их уничтожат. Эсэсовский офицер начинает «селекцию» и отсылает обратно в барак самых слабых, а также детей и старух.

МАША 35332. Утром в четверг (18 января) появились эсэсовцы, и к полудню началась эвакуация. В соседних лагерях — в левом, где мужской ревир, и в правом, где две женские рабочие команды, все та же предотъездная лихорадка.

Женский лагерь пустеет быстро, большая часть заключенных уже ушла, но в ревире сборы подвигаются медленно: больные еле держатся на ногах. Глубокий снег, холод парализует их. А ведь предстоит страшный и долгий путь под эсэсовским конвоем к другим лагерям.

Женщины закутаны только в обрывки одеял. Ноги у них обернуты теми же лохмотьями, редко у кого есть деревянные сабо. Далеко ли уйдут эти узницы?

МОРИС КЛИНГ А5151. Несколько слов об эвакуации лагеря 18 января 1945 года. Глубокой ночью шагаем без остановки по снегу. Время от времени раздаются выстрелы конвоиров, которые добивают отстающих. Измученный долгой дорогой, обессиленный, отдаю свой хлеб и одеяло идущим рядом — прежде чем упасть у обочины. И вдруг кто-то из колонны подхва-

тывает меня под руки, ободряет. С закрытыми глазами, в каком-то лихорадочном оцепенении шагаю вперед: я снова в пути, в который раз спасенный дружеской солидарностью.

МИРА 52323. Что делать? Мы здоровы, можем идти. Но мы не хотим уходить — хотим дождаться русских. Уходить с немцами, бежать от русских? Да это безумие! И потом, как бросить тяжелобольных одних, без помощи? «Вы с ума сошли! — говорят нам.— Какие больные? Вас уничтожат всех вместе. Идем с нами — по дороге можно будет устроить побег». Сомнения раздирают нас: надо решать, последние узницы покидают ревир, а мы все еще спорим. Наконец, все же колеблясь, выходим из блока. Ура! Ворота на запоре, мы остаемся! Плача и смеясь одновременно, бросаемся друг другу в объятия.

МАША 35332. Наша группа разделилась: часть ее, став жертвой коллективного психоза, поспешила уйти. Другие (среди них и я), выйдя из блока, чтобы проститься с уходящими, охвачены нерешительностью, в конце концов они понимают: надо оттягивать уход до последнего. Возможностей медлить было сколько угодно: многие больные падали, не достигнув и лагерных ворот, поэтому приходилось вести их обратно в бараки.

МАРК КЛЕЙН А11953. Образовалась колонна почти в шесть тысяч человек. Было очень холодно, снег шел уже несколько дней подряд. Шагаем по пятеро в ряд, на каждый десяток — по охраннику. Километров через десять мы стали спотыкаться, наталкиваясь на трупы, лежавшие поперек дороги. Особенно много было женщин — они отправились в путь незадолго до нас.

МИКЛОШ НИСЛИ А8450. Светало. За ночь мы прошли около пятнадцати километров и теперь двигались по утоптанному снегу. Вдоль дороги валяются миски, одеяла, а также сабо, брошенные узницами из женского концлагеря, которые вышли раньше нас. Еще через несколько километров нашим глазам представилось совсем жуткое зрелище: каждые сорок — пятьдесят метров в придорожных канавах попадались трупы с окровавленными лицами. И так на протяжении многих километров—повсюду трупы. Те, кто не мог больше идти, выходили из рядов, и эсэсовцы приканчивали их выстрелом в голову.

МИРА 52323. Думаю о больных, ушедших с немцами. В одних рубашках, закутанные только в одеяла, в невообразимой «обуви», почти босиком — сколько же километров смогут они пройти? Пять, десять? Все они погибнут в пути.

МИКЛОШ НИСЛИ А8450. Уже прозвучали первые выстрелы и в наших рядах.

МАРК КЛЕЙН А11953. Раздался первый выстрел. Внезапно мы ясно представили себе, что нас ждет в ближайшие часы: каждый, кто отстанет, замедлит шаг и упадет, будет немедленно добит выстрелом в затылок. Не все охранники, однако, выполняли свой зловещий долг: некоторые пытались поднять упавших, предоставляя другим, подлинно профессиональным убийцам приканчивать тех, кто валялся на земле.

МАША 35332. На другой же день все бараки оказались в ужасающем состоянии. Трупы — ежедневная продукция Биркенау — так и валяются на своих местах в течение суток, скапливаются у дверей блоков. Зондеркоманда, переносившая трупы в морг (хибару на краю лагеря), ушла... Свет отключили. Никто не распределяет больше пищу, со вчерашней утренней раздачи хлеба никто ничего не ел. Мы пересчитали оставшихся больных. Их оказалось около трех тысяч...

МИРА 52323. Утром 19 января мы обошли все блоки, чтобы узнать, кто остался. Половина оставшихся, если не больше, больные, а санитарок около сотни.

МАРК А11953. Так прошагали мы без остановок всю ночь напролет, озаряемые вспышками артиллерийского огня. Над нами то и дело пролетали русские самолеты. Еще до рассвета мы пересекли мирно спавший городок Плесс с великолепными зданиями XVIII века. Это были первые городские дома, которые мы увидели за долгое время. Здесь же мы обогнали колонны женщин из Биркенау: им разрешили небольшую передышку.

МАША 35332. К полудню мы узнали, что кухни частично работают, но некому разнести суп. Немедля кинулись мы туда, принесли несколько котлов сероватой жидкости и кое-как распределили ее — невероятная была толчея.

МАРК А11953. Ночь была светлая, и по расположению звезд я заметил, что мы уже неоднократно меняли направление. Сияющий рассвет нас немного приободрил. Но отстающих становилось все больше, так как мы шли по довольно крутым холмам. Добравшись до самого верха, мы увидели спереди и сзади нескончаемую вереницу людей в полосатой одежде, которые спотыкались и шли все медленнее и медленнее.

ОДЕТТА ЭЛИНА-ГРЮФФИ 80580. Среди 30 — 40 детей, за которыми я ухаживала, было много тяжелобольных, нуждающихся в самом тщательном уходе.

Эти маленькие скелетики лежали на грязных подстилках, укрывались дурно пахнущими одеялами.

Большинство детей страдали дизентерией. Их надо было мыть и переодевать по несколько раз в день, но не было ни воды, ни белья. Ничего, кроме растопленного снега и изношенной взрослой одежды.

Некоторые сильно кашляли. Маленькие грустные мордашки их были постоянно в соплях.

Но среди умирающих попадались и более или менее здоровые.

Эта скученность сама по себе была ужасной.

МАША 35332. Вечером сильные взрывы внезапно потрясли лагерь. В двух километрах от нас загорелись крематории и склады Бжезинки. Зарево чудовищного пожара освещало разделявшее нас пространство. Казалось, что ветер дует в нашу сторону. Искры могут воспламенить наши деревянные бараки с тяжелобольными. Вооружившись чем попало — кто лопатой, кто

топором, кто киркой,— мы бежим к ограде из колючей проволоки (тока в лагере уже нет, электростанция взорвана). По ту сторону ограды находится мужской санитарный блок, откуда выбегают несколько сильных узников с такими же «орудиями» в руках. Общими усилиями яростно ломаем разделяющую нас преграду, чтобы в случае опасности вместе помочь больным покинуть барак. Мы не спим до поздней ночи. Пожар утих только на следующее утро. Наш лагерь не пострадал.

МАРК А11953. В какой-то деревушке женщины предложили нам молока. Есть, стало быть, еще сострадание на свете. Несколько минут отдыха — и снова в путь по заснеженным холмам. Лишь к полудню нам разрешили сделать привал на небольшом хуторке, чтобы перекусить на скорую руку и немного отдохнуть. Несмотря на запрет конвоира-эсэсовца, крестьянка предложила нам горячего чая. Затем я уснул прямо на снегу и проспал четыре часа. К ночи нас погнали дальше. Мы шли, поддерживая друг друга, сменяясь время от времени, чтобы не заснуть.

ОДЕТТА 80580. Этот малыш был таким тощим, что и дотронуться до него было страшно: казалось, его тельце вот-вот сломается у меня в руках.

Он был так слаб, что и повернуться сам в постели не мог, и всякий раз, как я помогала ему, он извинялся.

Во время долгих ночных дежурств я искренне желала ему скорейшей смерти, но несчастный страдалец упорно не хотел умирать.

МИРА 52323. 20 января неизвестно откуда в лагере вдруг появились эсэсовцы. Обходя все бараки, они требовали, чтобы еврейки вышли и последовали за ними. С несколькими подругами мы спрятались, улегшись на нары вместе с больными. И вот в барак входят два эсэсовца с револьверами в руках. Стоя у дверей, они орут:

— Если найдем хоть одну еврейку, подожжем барак!

Гробовое молчание. По крайней мере пять минут. Мы ни живы ни мертвы. Что, если кто-нибудь выдаст? Но никто ничего не сказал. Не решившись обыскивать постели заразных больных, немцы ушли. Все же в этот день им удалось увести за собой 800 женщин, человек десять застрелили и бросили прямо на дороге между Биркенау и Аушвицем.

МАША 35332. Этот субботний день 20 января был отмечен самым страшным несчастьем — прекратилась подача воды. Кухни не могут работать. Врачи, санитарки и весь персонал собрались и решили взять на себя временное управление лагерем.

МАРК А11953. Вторая ночь была еще страшнее первой, мы шли как во сне. Вероятно, мы двигались очень медленно. Шли по бесконечным дорогам и вдоль железнодорожных путей, по которым следовали на фронт военные эшелоны, выкрашенные для маскировки в белый цвет. Вспышки артиллерийского огня отдалялись все больше и больше. Грандиозным зрелищем казались отблески огня во время бомбежки ближайших городов.

МИРА 52323. В нашем распоряжении был некоторый запас угля. К счастью, можно было поддерживать огонь в печи, и большую часть дня мы готовили суп для 250 женщин нашего блока. Хлеба, конечно, недоставало. Пришлось осматривать все постели и собирать все, что прятали. При этом мы столкнулись с самым свирепым сопротивлением. Собранный таким образом хлеб роздали больным. Я забыла сказать, что суп за неимением воды варили из растопленного снега.

МАША 35332. Чтобы отмыть больных кровавым поносом, самых грязных, приходилось растапливать снег, благо мы располагали некоторым количеством угля для печи нашего блока. Из растопленного же снега готовили и теплое питье. В покинутых немцами кухнях мы обнаружили некоторые запасы продуктов. На тех же тележках, которые служили для перевозки трупов, мы привезли хлеб и муку.

ОДЕТТА 80580. Маленькая семилетняя крошка умерла. Девочка была похожа на старушку. С каждым днем она все больше худела, раны все больше гноились, все чаще ее мучили приступы диареи.

Малышка становилась все требовательнее, злее, все несчастнее, все слабее.

Она умерла.

Никто не хотел помочь мне унести ее тельце. Умершая семи лет, она была для меня тяжела. И судьба ее была тяжелой. Я отвезла ее на санках и оставила на снегу, на куче сваленных трупов.

МАРК А11953. Все чаще слышатся выстрелы, добивающие тех, кто не в силах идти дальше. Внезапно прямо у нас на пути завязался настоящий бой. Впоследствии мы узнали, что отряды польских патриотов безуспешно пытались преградить дорогу и освободить нас. После оживленной перестрелки все снова стихло, и наше зловещее шествие возобновилось.

МАША 35332. Мы установили ночную охрану, чтобы можно было сразу в случае нового пожара или попытки эсэсовского арьергарда взорвать лагерь поднять тревогу... Во время одного из таких обходов (дежурили по двое) мы заметили группу немцев, мерно вышагивающих вдоль лагерной ограды: мы стерегли друг друга.

МАРК А11953. Одиночные выстрелы участились. Каждый из них означает смерть изнемогшего товарища.

МИРА 52323. А трупы? Гора обледенелых трупов! Они валялись тут не менее двух недель. Малейшая возможность оттепели повергала нас в ужас. Если начнется оттепель, не избежать эпидемии! К счастью, этого не случилось.

ОДЕТТА 80580. Однажды мне привели мальчугана лет шести, маленького югослава по имени Олек.

Казалось, он ничем не болен, его не лихорадило.

Он не был ни слишком тощим, ни слишком грязным, ни озлобленным.

Болит ли у него что-нибудь, я не знала, и он не мог мне ничего сказать: у нас не было общего языка.

Я раздела его, уложила — он подчинился с поразительным послушанием.

На следующий день постель его оставалась чистой. Я принесла ему суп — он добросовестно вылизал его. Потом, когда я снова подошла к мальчику, чтобы переодеть его, он, став на коленки на соломенном тюфячке, обнял меня за шею и поцеловал.

Это тронуло меня до глубины души. За целый год я позабыла о том, что такое нежность. В один миг отплатил мне за все мои заботы.

МАРК А11953. Выстрел, раздавшийся в двух шагах от меня, прервал мою дремоту. Нет, это не по товарищам из моей группы, останавливаться нельзя, надо идти вперед. Потом начались галлюцинации, знакомые всем, кто засыпал в снегу, свалившись в изнеможении. Мы произносили самые бессвязные речи, и я до сих пор очень ясно помню все свои видения и те невероятные образы, о которых говорили мне ближайшие соседи.

МАША 35332. Немцы появились в лагере на следующий день и приказали всем женщинам «арийского происхождения» следовать за ними, так как не сегодня завтра нагрянут русские. Никто не пошел за ними. Они ушли, оставив лагерные ворота раскрытыми настежь. Все, кто мог ходить, бросились туда. Как загипнотизированные приблизились мы к воротам и вышли из них. Мы ощупывали друг другу спины, руки, чтобы удостовериться, что это не сон. Мы свободны.

МАРК А11953. К утру мы спустились к подножию нескончаемого холма. Вся колонна измученных узников почти скатилась вниз. Мне казалось, что я в стаде обезумевших овец, которых перегоняют на летние пастбища.

МИРА 52323. Гром пушечных залпов все слышнее... Но русских все еще нет. Сколько же мы еще здесь продержимся? Продуктов почти нет. Нет и воды — грязь несусветная. Боимся завшиветь. В ночь на 26 января канонада усиливается.

МАША 35332. Совсем рядом с нами идет настоящий бой. Вспышки то и дело озаряют горизонт. Над лагерем со свистом рвутся снаряды.

МИРА 52323. Полное впечатление, что мы находимся на передовой. Однако ни один снаряд, ни одна пуля не попали в лагерь.

МАША 35332. Чудо еще, что ни один снаряд не попал внутрь ограды. В пятницу ночью канонада усилилась, загрохотала совсем близко. А в субботу утром внезапно воцарилась странная тишина. Прошел слух, что русские отступили на четыре километра.

Мрачные и разочарованные, сидели мы на нарах.

ОДЕТТА 80580. Когда я пошла проведать больную девочку из 22 блока, послышался крик: «Русские! Это русские!» Не успели мы обрадоваться, как другой голос крикнул, что это ложь, провокация. Я вернулась в свой блок.

МИРА 52323. Наконец днем 27 января послышался чей-то крик: «Вот они, русские!» Мы посмотрели в ту сторону.

ОДЕТТА 80580. Через несколько часов я вместе с венгерками пошла за водой.

МАША 35332. В эту минуту прибежал Адольф Шиллинг и сообщил, что видел у ворот русских солдат.

ОДЕТТА 80580. Выйдя на улицу, мы увидели на дороге, отделявшей наш лагерь от соседнего, силуэты первых русских солдат.

МИРА 52323. Меж рядов проволочных заграждений шли солдаты, но они были слишком далеко, и нам не верилось, что это красноармейцы.

ОДЕТТА 80580. По снегу, вдоль колючей проволоки, шли один за другим русские солдаты в длинных шинелях, в меховых ушанках, с автоматами за спиной. Они шли медленно, с трудом.

МАША 35332. Мы выскочили на улицу. Это правда!

ОДЕТТА 80580. Мне хотелось бежать им навстречу, но не было сил.

МИРА 52323. Это и вправду были они.

МАША 35332. Перед нами стояли двое солдат — бородатые, в грязи. Рыдая, мы бросились их обнимать.

МИРА 52323. У нас, наверное, был просто страшный вид. Они испугались, когда мы так внезапно бросились к ним.

ОДЕТТА 80580. Вечером русские солдаты навестили нас. Они входили в барак по нескольку человек. Больные приподнялись на нарах, дети стояли на тюфячках, крича: «Руски, руски!» С русскими в лагерь пришла жизнь. Мы были не одни.

МИРА 52323. Первые русские солдаты только проходили мимо. «Идем на Берлин!» — говорили они, прекрасно понимая, что мы нуждаемся в помощи,— но что они могли поделать? И вот вечером в дверь постучали. Вошли двое русских солдат с мешком.

— Больные в этом бараке? — спросили они.

— Да,— ответили мы.

— Проводите нас к ним.

Входим в барак. И при свете свечи они начали раздавать сухари из мешка. Это продолжалось долго, потому что каждой больной они говорили несколько слов утешения, улыбаясь и ласково похлопывая по плечу:

— Ничего, ничего, матушка! Скоро вернешься домой, только поправляйся поскорей.

Когда мешок опустел, мы пригласили их в нашу комнату. Там они рассказали нам, что эти сухари со склада их части. Они были страшно довольны, что мысль добыть их пришла им в голову.

*Предстояло по всей Европе разыскать уцелевших узников Аушвица. Луиза Алькан 75125 поведала нам об одном из них:*

Никто не знает ни его имени, ни возраста. Родители его были цыганами. Они попали в ад Аушвица.

Поначалу к ним отнеслись довольно милостиво: освободили от работы, разрешили оставить детей при себе, сохранить свою одежду, украшения. Мы встречали их каждое утро. И вот всех их отправили в газовые камеры.

Как же уцелел этот ребенок? Очень просто. Эсэсовцы любили производить опыты на людях. Они отослали ребенка в блок для опытов, где его подвергли ужасным пыткам, следы которых сохранились и поныне. Это и спасло мальчика. Его не было в «цыганском лагере» Биркенау[1], когда цыган отправляли в газовые камеры.

Когда пришло освобождение, он испугался и убежал куда глаза глядят. Много километров прошел он пешком, пока его не подобрали французские заключенные и не привезли во Францию. Это совершенно неуравновешенное, дикое и напуганное маленькое существо. Приемным родителям с трудом удалось вернуть его к нормальной жизни. Сейчас он мало говорит, но начинает понемногу читать и писать, иногда улыбается. У него теперь есть имя, семья, друзья, он играет со сверстниками. Но никогда уже он не будет таким, как другие дети.

Ребенок этот, загубленный и спасенный, быть может, так никогда и не узнает, что такое детство. И это — тоже преступление нацистов.

*Возвращаюсь к Сюзанне, моей маленькой француженке:*

— И ты выжила.

Она задумывается, вспоминает, потом отвечает:

— Да, но я тяжело болела.

Взгляд ее становится отсутствующим, слабая улыбка трогает углы губ:

— Как раз в это время пришли русские. Первым делом они отделили тифозных от здоровых.

— У тебя был тиф?

Сюзанна молча кивает и продолжает:

— Русские стали раздавать продукты, посылки. Не помню сейчас, кто дал мне тот пакет. В нем были две банки консервов, которые я привезла во Францию. Я уже не была голодна, но не расставалась с ними ни на минуту — все боялась, что их украдут или отберут.

— Как сокровище.

— Конечно, ведь все это казалось нам совершенно невероятным.

— И ты вернулась?

— Да, меня привезли в Лион, прямо в больницу. Я лежала в большой общей палате, кровати были составлены в кружок... Вошла женщина. Я узнала ее, это была моя мать, она не была в заключении. Она не узнала меня и прошла мимо. Я окликнула ее. Она обернулась на мой голос и потеряла сознание. Ее привели в чувство, и она подошла ко мне. У нее с собой был чемоданчик, а в нем — плиссированная юбочка, красные туфельки на толстой подошве, как тогда носили, и красная сумочка на длинном ремешке. Она никак не ожидала, что ей придется забирать меня из больницы в машине «скорой помощи», на носилках.

— А чем ты болела, когда вернулась?

— У меня было что-то с легкими.

— И ты вспоминаешь о плиссированной юбочке?

— И особенно о сумочке на длинном ремешке. Так хотелось поскорей повесить ее на плечо, поносить!

*Просматриваю свои записи и спрашиваю:*

— А что стало с остальными твоими соученицами по лицею?

— Первой погибла Гертруда, вожатая нашего скаутского отряда. Она уже не училась с нами: закончив лицей, поступила на химический факультет. Мари-Элиза и другие девушки работали в Райско. Им удалось перевести Гертруду в свою зондеркоманду. Мы четверо передали ей вести для наших родных, сказав: «Раз ты будешь работать в Райско, у тебя есть шанс вернуться во Францию. Сообщи нашим родным, что мы умерли. Расскажи им все». Так и не знаю, что случилось, но Гертруда вернулась в Аушвиц на два дня и попала в крематорий. Нас осталось четверо. То же самое произошло и с четвертой — Маню́. А третья из нас — Мадо́ — умерла через два дня после освобождения. Так ужасно! Лучше бы она умерла в первый же день заключения! Остается Жанина.

— И Сюзанна,— говорю я и умолкаю. Она вскрикивает:

— Мы всегда делились даже самым маленьким кусочком хлеба!

Я решаюсь попросить ее, как хотел это сделать еще при нашей первой встрече:

— Покажи мне руку.

Не спрашивая ни какую руку, ни зачем, она закатывает рукав и протягивает мне левую. Вижу букву и четыре цифры, четко выделяющиеся на белой коже.

— A5654,— произносит Сюзанна.

Я говорю:

— И татуировка все так же ярко синеет?

Сюзанна кивает и продолжает:

— Знаешь, это так неприятно, иногда очень неприятно... Все любопытствуют: мало кто знает, что это такое. Некоторые сводят ее.

Не отводя глаз от этой магической формулы, она подыскивает слова:

— А я... наверное, не буду... потому что...

И наконец решается:

— Я ее оставлю. Это мой долг перед теми, кто не вернулся.

*Слушаю Машу Равин, завершающую свое повествование:*

— 28 апреля вместе со многими французскими военнопленными мы покинули

[1] «Цыганский лагерь» (Zigeunerlager) составлял часть лагеря Биркенау. Был создан в феврале 1943 года. Сюда шли транспорты из стран Европы — Польши, Чехословакии, Австрии, Венгрии и Румынии.

Катовицы. 30-го мы уже были в Одессе, где участвовали в торжествах по случаю 1 Мая, а вечером танцевали на улицах с советскими людьми. 3 мая нас посадили на норвежский пароход, обслуживаемый экипажем английских моряков. Он шел в Марсель.

8 мая, находясь в Неаполитанском заливе, мы узнали о капитуляции, а 11 мая испытали незабываемое чувство радости, ступив на французскую землю.

*Теперь очередь Луизы Алькан:*

— В Париж мы вернулись 21 мая, и нас поселили в гостинице «Лютеция».

Не успели мы выйти из автобуса, как нас буквально осадила толпа людей, протягивавших нам фотографии детей, женщин, мужчин, семейные и свадебные снимки. Руки тянутся к нам, голоса тревожные, на глазах слезы:

— Поглядите! Может, вы его знали? Он был крепким, казался моложе своих лет.

— Откуда вы?

— Из Аушвица.

Многие из присутствующих умолкают. Что знают они?

А мы-то знаем, что эти трое детей никогда уже не вернутся, что эти пожилые люди — один военный, полковник, другой — врач в белом халате — тоже не вернутся. Знаем, что эта старушка, на фотографии стоящая у берега моря, никогда не увидит вот этого малыша — видимо, своего внука, которого держит за руку взволнованная молодая женщина.

В холле гостиницы развешаны на стендах сотни фотоснимков тех, кто сошел с поезда за оградой из колючей проволоки в Биркенау и исчез в дыму крематория.

*Данте оглядывается вокруг и свидетельствует:*

И мы, спускаясь побережьем мук,
Объемлющим всю скверну мирозданья[1].

[1] Ад, Песнь VII, ст. 16—17.

*Близок конец нашего нисхождения в глубь черной ночи. Оборачиваясь назад, мы уже с трудом различаем на горизонте памяти очертания бараков, затерянных на снежной равнине. Жизнь как будто возрождается, оскудев на несколько миллионов убитых. В повседневной сутолоке и гаме и даже в ночной тиши нужно чутко прислушиваться, чтобы различить голоса узников, как бы говорящих устами Бенжамена Фондана. Его арестовали 7 марта 1944 года, заключили в Дранси, отправили в Аушвиц, бросили в газовую камеру и 30 мая сожгли в Биркенау. Он обратился в горсть пепла, носящуюся по волнам французской поэзии. Эти стихи он написал для нас, живущих сегодня:*

...И на обочине, примяв крапивы куст,
что мною был давно, в другую эру,
во тьме истории, от вас такой далекой,—
вы вспомните, что я был невиновен,
и на лице моем, как и у вас,
о смертные грядущих дней, сменялись
простые чувства — жалость, гнев
и радость,
и я был человеком, как и вы[1].

*Мы обошли все круги ада и вернулись туда, откуда начали свой путь. Бенжамен Фондан думал, что его судьба покажется нам далеким прошлым, но мы живем все в ту же эру. И все же ребенок, родившийся в день освобождения Аушвица, окончил школу, изучил ремесло, полюбил — и у него в свой черед родились дети. И дерево, посаженное в день освобождения Аушвица, уже раскинуло густую тень, даруя людям свежесть и прохладу.*

*Так будем же бдительны, люди, если хотим, чтобы наши леса зеленели, а дети были счастливы!*

*Перевод с французского* В. РОВИНСКОЙ

[1] Перевод И. Истратовой.

◆

МАКСИМИЛИАН БЕРЕЗОВСКИЙ

# НЕПРЕМЕННО СКАНДАЛ

**Главы из книги**

*Перевод с польского А. ЕРМОНСКОГО*

## Охота на пращуров

Аристократическая родословная по-прежнему в цене. Предок, если он торговец мылом, не позор, однако голубая кровь предпочтительнее.

Лорды, разумеется, не безгрешны, как, скажем, лорд Люкен, который не так давно скрылся в неизвестном направлении, ибо в потемках совершил трагическую ошибку: убил няньку собственных детей, приняв ее за свою жену (лорды почти никогда преднамеренно не лишают жизни камердинеров, лакеев, садовников, конюхов или нянек; по невыясненным пока причинам они уничтожают друг друга в собственном кругу). Весь Лондон был убежден, что Люкена спасли связи в аристократической среде. Следы его затерялись; он живет на другом континенте, скрывая свои аристократические манеры.

Из-за быстрого пополнения их рядов лорды частично деклассировались. К возмущению наследственных пэров Англии, послевоенные премьеры щедро раздавали титулы лордов. Родовитые аристократы смотрят на выскочек свысока, но и их позиции так же высоки. Чуть ли не каждый британский политик и делец мечтает увенчать свою карьеру титулом лорда или хотя бы дворянским «сэром», пока это еще возможно. Несмотря на то что пожалование дворянства превратилось в самое дешевое средство благодарности людям заслуженным, оно еще не совсем себя скомпрометировало.

Потому, пожалуй, практически нет уже государств, в которых бы, как в Англии, в конце XX столетия раздавались дворянские звания и аристократические титулы. Несмотря на нетерпение английских республиканцев, которые призывают ликвидировать палату лордов, она пока существует из-за привязанности к традициям, из-за той роли, которую играет в сохранении общественной иерархии. Названия наград могут звучать старомодно — барон, граф, маркиз,— но им отведена та же самая функция, что и другим наградам в любом обществе. Возможно ли, что вскоре, как коекто предсказывает, в Англии не будет пэров?

Ведь мир, в котором царит поп-культура, старается разукрасить свой модернизм и свою заурядность налетом старины, а вот лорды, пытаясь сохранить что только возможно, смиряются с неизбежной демократизацией. В канун стопятидесятилетнего юбилея первого выпуска сборника геральдических записей «Burk's Peerage and Landed Gentry» издатели поменяли его название на «Burk's Peerage and Family Records», то есть «Книга пэров и помещиков» превратилась в «Книгу пэров и фамильных хроник».

Альманах гербовой родословной наконец-то водворили на землю. Перемена названия стала невольным признанием того, что деньгами можно облагородить низкое происхождение, что, говоря откровенно, и избранники судьбы сильно «одворняжились»...

Прошли времена, когда по салонам возбужденно шептали о том, что кто-то опять умыкнул барышню из хорошего дома, ибо родители не хотели выдавать ее замуж,

---

Окончание. Начало см. в № 1.

когда герцог Девонширский прославился транспортером, доставлявшим в Чатсуорте суповую чашку из кухни в столовую на расстояние в 104 метра, не пролив ни капли, а герцог Портлендский в ответ приказал соорудить с тою же целью миниатюрную железную дорогу в Уэлбеке.

Гордясь традицией, надлежало проявлять скромность: несмотря на всю свою славу, «Burk's» не был чист как слеза. Каталог аристократов семейство Бёрков основало в начале XIX столетия как доходное предприятие: он приумножал славу старых кланов, а выскочкам выписывал фиктивные свидетельства их благородства. Потому-то один из профсоюзных лидеров, Джек Джонс, требуя ликвидации палаты лордов, с трибуны конгресса тред-юнионов объявил, что предками членов палаты «были жулики, воровавшие скот, кравшие чужие земли, а в некоторых случаях — даже придворные распутницы».

Слова Джека Джонса о сомнительных родословных подтвердила в 1981 году в менее обидной форме госпожа Ширли Робин Летвин, утверждавшая в научном исследовании, что никто в Англии не вправе чересчур превозносить своих предков, поскольку даже основатели знатнейших династий, вроде принцев Норфолкских, вероятнее всего, вышли из крепостных крестьян. Г-жа Летвин сослалась на приводимый Даниэлем Дефо анекдот об одном английском монархе, который любил повторять, что титул так же не делает из человека джентльмена, как львиная шкура не делает из осла льва. Но кому охота верить подобным сравнениям?

Еще в тридцатых годах XX века «Burk's» находился в руках людей, без зазрения совести спекулировавших титулами. Ибо тому, чья фамилия попадала в красно-золотой реестр, были обеспечены прочные позиции в обществе, а стало быть, и возможность породниться с известными семействами и завязать выгодные связи. Заметка в «Burk's» — вещь не пустая. Подделки уже позабыты, а титулы ценятся. («Достославный Велондек, платный геральдист, во второй половине XVIII века за деньги составлял тщеславным людям генеалогию их рода, выводя польскую шляхту от сотворения мира и подчищая подлинные документы ради создания фиктивных родословных». Зыгмунт Глогер, «Старопольская энциклопедия», т. II, с. 55).

Добрыми духами родословных книг служат мифы и легенды. Культурные и социальные перемены, происшедшие в Англии после второй мировой войны, побудили многих ее жителей отыскивать для себя твердую точку опоры из-за страха перед нестабильностью. А значит, следовало, быть может, бросить якорь в прошлое. Когда-то щит с гербом защищал множество гуляк, прощелыг и фанфаронов; теперь на поиски пращуров отправились граждане встревоженные, болезненно впечатлительные, избалованные.

По схожим причинам охота на предков стала серьезным делом также и в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Сомнение вызывало лишь одно: хватит ли для так называемой буржуазной голытьбы пращуров-аристократов и пращуров-дворян. Но поскольку спрос на генеалогию рос, его надо было как-то удовлетворять.

В первой половине семидесятых годов фирма Бёрков расширила сферу оказываемых ею услуг: она решила включить в свои реестры потомков всех американских президентов, иными словами, пожаловала им дворянство, что называется, по должности. Речь между тем шла не о пригоршне новых фамилий. У некоторых президентов потомство не было обильным, кое-кто умер бездетным, но во многих случаях генеалогические дерева были весьма ветвистыми. Потомство одного из основателей Соединенных Штатов, Томаса Джефферсона, насчитывало около 1100 человек. Известие о новом подходе к родословным в огромной мере усилило интерес американцев к гербам своих англосаксонских кузенов.

Когда Джимми Картер стал президентом Соединенных Штатов, английские специалисты по генеалогии сообщили, что им удалось проследить его родословную вплоть до 1361 года, словно намекая, что такой древний род, хоть и не дворянский, ни в чем дворянским не уступает. Картеры происходили из «живописной деревушки» в графстве Хертфорд, в Америку перебрались в 1635 году на судне «Сейфти». Сын этих эмигрантов, Роберт Картер, стал (если верить данной версии) первым американским миллионером, владеющим плантациями, тысячью рабов и — что особенно поучительно — огромной библиотекой.

Специалисты высказали также предположение, что Картеры породнились впоследствии с Джорджем Вашингтоном, а это значило бы, что они принадлежат к числу далеких свойственников королевы Елизаветы. Оговариваясь здесь, что Джимми Картер происходит не от вирджинской «аристократической», а от боковой ветви Картеров, которая осела в Джорджии, специалисты утешали американцев: «одни роды возвышаются, другие приходят в упадок...» То был тонкий намек: может быть, поздно, но джорджианский род Картеров доказал свою ценность.

Несколько лет спустя английские знатоки генеалогии признали, что президент Рейган — потомок по прямой линии национального героя Ирландии, короля Бриана Бороиме, который погиб в сражении под Клонтарфом в 1014 году. Так массовая культура породнилась с геральдикой, к пользе обеих сторон: теперь отыщут предков любого лидера, даже если от них не осталось никаких следов.

Экспансия фирмы Бёрков в Америке побудила пойти по ее пятам владельцев еще более старой хроники британских родословных, существующей с 1802 года,— «Debrett's Peerage, Baronetage, Knightage and Companionage» или «Дебреттова книга пэров, баронетов, рыцарей и кавалеров». Филиал «Дебретт» в Нью-Йорке занялся оказанием новых услуг — отыскиванием предков любого американца, чей род выводится с британских островов,— лишь бы человек уплатил часть денег вперед. Трудно побороть такое искушение: обладая предками, можно выделиться в безликой толпе.

«Американский спрос на генеалогию столь серьезно вырос, что мы не можем его игнорировать»,— заявил директор фирмы «Брукс — Бейкер». Его поставщики предупреждали, что изыскания родословных порой занимают много времени, ибо предполагают копание в церковных книгах, актах гражданского состояния, в переписях населения, в бумагах различных канцелярий и консульств, изучение надписей на могильных плитах и даже знакомство со списками заключенных.

В конце концов подобные услуги были предложены и всем британцам. «Шахтеры, фермеры и рыбаки имеют столь же старые и любопытные родословные, что и герцоги и бароны,— с демократическим запалом убеждал директор фирмы «Дебретт». — Более того, в такой маленькой стране, как Великобритания, наши предки были крепко-накрепко связаны друг с другом родственными узами».

Эта точка зрения под корень рубила еще не так давно культивировавшуюся идею избранности. При жизни одного поколения произошли радикальные перемены в сфере культуры. Одновременно выяснилось, что, становясь все более демократичной, массовая культура способна вбирать в себя элементы консерватизма. Так в королевском «List of Honors» — «Списке награжденных и отмеченных» — стало появляться все больше «поп-звезд»: певцов, гитаристов, артистов кабаре. А ведь еще совсем недавно там резервировались места для фигур такого масштаба, как Лоуренс Оливье, Майкл Редгрейв, Сибил Торндайк. Так что не случайно на рубеже 1978—1979 годов «Гардиан» назвала перечень награжденных орденами и пожалованных дворянским титулом «поп-списком». В него попала тогда, к примеру, Оливия Ньютон-Джон, английская актриса, сыгравшая в посредственном, но пользовавшемся успехом американском фильме «Смазка».

Таким образом, генеалогия укрепила привязанность поклонников поп-культуры не только к трону, но и к существующей системе. Надо полагать, что награды представителям эстрады преследовали двойную цель: чтобы они не чувствовали себя на обочине и чтобы по той или иной причине не занимались чересчур острой социальной критикой. На языке западной социологии это называется кооптацией, привлечением в круг избранных.

До последнего времени помимо родословных книг фирма «Дебретт» выпускала также предназначенные для салонов учебники, разъясняющие, как в различных случаях следует обращаться к графине и как рассаживать гостей за столом. Сейчас фирма решила расширить тематику своих изданий: она, например, выпустила книги «Английский джентльмен» и «Супруга английского джентльмена», где в юмористическом тоне описываются признаки и манера поведения джентльмена и его жены; «Дебретт» по-своему использовала возможности, созданные культурой, поставленной на коммерческую основу.

«Джентльмен, как правило, не живет в городе (только в загородных усадьбах),— с таких слов начиналась книга, посвященная английскому джентльмену.— Джентльмены неизменно носят до блеска начищенные ботинки и располагают большим количеством пиджаков, но лишь двумя костюмами: один для присутствия на похоронах, другой для визитов в Лондон. Ездят они на «ролле-ройсах» исключительно в тех случаях, когда модель очень древняя, поскольку этими некогда аристократическими автомобилями стали теперь пользоваться звезды поп-культуры. Джентльмены состоят членами клубов не из снобизма, а потому, что туда закрыт доступ торговцам с просроченными счетами. Разводы в кругу джентльменов не одобряются, но уж если дело доходит до этого, то все осуждают жену, а мужу сочувствуют, кроме тех случаев, когда жена очень богата,— тут уж разводящийся во мнении света становится идиотом...»

С одной стороны, джентльмен выглядит забавно. Как заметила госпожа Летвин, его рисуют благообразной личностью с безукоризненными манерами, владельцем загородной усадьбы, увешанной портретами предков, который иногда проводит время и в Лондоне, человеком, никогда всерьез не прикасавшимся к какому-либо труду и бросающим полный ужаса взор на тех, кто живет своим трудом,— короче говоря, бездельником, преисполненным чувства собственного достоинства, напыщенным и самодовольным. Однако, с другой стороны, тот же самый джентльмен считается обладателем самых возвышенных черт — приписываемые ему положительные качества позволяют признать его едва ли не святым.

Мода на аристократию держится не только в Англии, хотя Лига монархистов находится, естественно, в Лондоне. В архиреспубликанской Франции во время весеннего «Grand Saison de Paris» собираются конклавы бурбонских, наполеоновских и более позднего происхождения принцев, герцогов, маркиз и баронесс. Спустя 200 лет после Великой французской революции «хорошее происхождение» уже не позорит (ореол аристократизма нужен и для того, чтобы рассеять впечатление, будто массовая культура XX столетия — незаконное дитя, а спешащая цивилизация отстает в нравственном отношении). С каким энтузиазмом парижская пресса сообщала о помолвке принцессы Екатерины, дочери Луи Жерома Виктора-Эммануэля Леопольда Марии Наполеона (семь имен!). Королевств становится все меньше, но аристократов прибывает; они дают желающим на прокат свой престиж точно так же, как сдают внаем кареты.

К немецким принцессам, итальянским графиням, испанским грандам и французским графам с почтением не относятся, да и зачем? Их, однако, охотно принимают в хорошем обществе, украшая ими гостиные по обеим сторонам Атлантики; если же они опускаются, то постепенно и без шума, под звуки камерной музыки, при серебряных подсвечниках и благодаря своим разбогатевшим друзьям.

Спрос на аристократов диктовался также проникновением в гостиные хамства. Может, вид отменно воспитанных персон благородного происхождения должен был

сдержать процесс упадка нравов? Вульгарное поведение начинало докучать и даже шокировать. Младшее поколение, понукаемое поп-культурой, демонстрировало свое пренебрежение к устаревшим нормам. Спустя несколько лет после войны английский писатель Кингсли Эмис обеспокоился исчезновением хороших манер. Что бы он сказал, зная, что со временем хорошие манеры станут считать проявлением ханжества? Бунтарский запал поп-культуры быстро угас, зато осталось презрение к правилам хорошего тона, которые частично превращались в анахронизм, но только частично, ибо в то же самое время они преграждали путь варварству. Несмотря на это, старшее поколение, подражая молодым, нередко копировало и это презрение.

Так что же, надежда, кое-где еще возлагаемая на светских особ (они, мол, спасут гостиные),— это еще один мираж? По крайней мере с середины XX столетия аристократия уже не обладает способностью создавать культуру, она сдала свои позиции, перестав быть элементом современной цивилизации. Она не несет никаких особых ценностей, кроме тех, которые в ходу в буржуазных кругах. Она, конечно, может приукрасить поп-культуру. И разумеется, может сожалеть, что аристократ, кокетничая, пользуется языком улицы. Но брюзжание уже вышло из моды.

## Непременно скандал

В тюрьме на Терминал-Айленд инструктор Роберт Деллинджер обучал литературному ремеслу Сару Джейн Мур, не сумевшую убить президента. Помогут ли эти уроки родиться новому бестселлеру? С уверенностью можно сказать лишь одно: воспоминания Сары Джейн Мур, которая пыталась лишить жизни Дж. Форда, заткнут за пояс мемуары, написанные самим бывшим президентом, или же заметки, составленные его супругой Бетти,— ибо таковы законы рекламной популярности.

Роберту Деллинджеру принадлежит афоризм: «Тюрьма — это идеальное место для рождения писателя». Правоту его подтверждает пример бывших сотрудников экспрезидента Никсона, осужденных за участие в уотергейтской афере и получивших большие гонорары за ее описание:

Чарльз Колсон из штата сотрудников Белого дома — семь месяцев тюрьмы и 400 тысяч долларов за книгу плюс права на кино- и телефильмы;

Джон Дин, юридический советник президента,— четыре месяца за решеткой и более полумиллиона долларов за книгу;

Джон Эрлихман, главный советник Никсона по внутриполитическим вопросам,— 18 месяцев отсидки и 500 тысяч долларов за повествование о Белом доме;

Г. Р. Холдеман, руководитель аппарата сотрудников президента, его доверенное лицо,— год лишения свободы и почти полмиллиона за мемуары;

Говард Хант, главарь шайки взломщиков, пробравшихся в гостиницу «Уотергейт»,— 32 месяца тюрьмы и 600 тысяч долларов за цикл воспоминаний;

Джеб Магрудер, близкий сотрудник Никсона,— шесть месяцев изоляции от общества и несколько сот тысяч долларов;

Ричард Никсон, которого Форд, воспользовавшись своим правом помилования, спас от судебного приговора,— по меньшей мере три миллиона долларов за воспоминания и телевизионные интервью.

Парижские издатели гонялись за автобиографией известного, но заурядного бандита Жака Месрина, рассчитывая, что увлеченные его приключениями французы расхватают книгу. Американских кино- и телепродюсеров так ошеломило прошлое Оскара Кендалла, который сидел в тюрьме за обман и изнасилование, что они купили у заключенного за 100 тысяч долларов права на его рассказы, дабы напечатать их и экранизировать.

Издатели руководствуются предполагаемым спросом, ибо от размеров тиража книги зависит, окажется она прибыльным делом или нет; а спрос можно в значительной мере запрограммировать. Реклама, которая, как известно, обращается скорее к легко возбудимым чувствам, чем к рассудку, в еще большей степени способствовала росту спроса на без труда проглатываемое увлекательное чтиво, вызывающее примитивные чувства страха, мстительности, гнева, похоти. Разумеется, в образованных обществах число читателей столь велико, что одновременно тут существует массовый спрос на популярно-познавательную литературу, не говоря уже о подлинно художественных произведениях, высоко котирующихся в международном масштабе.

Значительная часть массовой аудитории, однако, еще не приобрела навыков к глубокому размышлению, да к тому же и не все к этому способны. Количество свободного времени увеличилось, но оно проживается более интенсивно. Отсюда и предпочтение событиям, разыгрывающимся стремительно, бурно, драматично. Литература поэтому приспосабливается к привычкам, вырабатываемым «самой жизнью», поскольку в прессе, на радио и телевидении факты подаются с таким расчетом, чтобы «дух захватывало»,— важно приковать внимание и интерес потребителя. Ведь откладывая в сторону вызывающую скуку газету или в раздражении выключая приемник, он в этот самый миг перестает быть потенциальным читателем, зрителем, слушателем рекламных объявлений. Книга (пьеса, фильм), которая не принимает этого во внимание, обречена на неуспех.

К подобного рода законам приходится приспосабливаться и серьезному, смелому, настоящему искусству, платя тем самым за возможность воспользоваться благорасположением рекламы и книжного рынка, за привилегию завоевать массового читателя. Особенно трудно игнорировать такой порядок вещей в больших странах: в Америке ежегодно появляется свыше 40 тысяч названий книг (сходное положение в Англии), в том числе немало и весьма достойных, классических и новаторских, прокладывающих путь массовой литературе такого уровня, которого нечего стыдиться. В списках бестселлеров рядом со слезливыми мелодрамами и детективами фигурируют и подлинно художественные произведения.

Они стоят бок о бок друг с другом, коечто друг у друга заимствуя, и трудно сказать, кто у кого больше. Ежегодно продается почти миллиард книг. Магазин фирмы «Далтон» на Пятой авеню Манхэттена предлагает 100 тысяч названий, пользуясь при этом переведенным на компьютер каталогом.

Мне, однако, хотелось бы обратить внимание не на бесспорные, высокого класса книги, а на массовую продукцию особого рода, ту, которая попахивает скандалом и загромождает полки магазинов, киосков, придорожных лавочек. Речь идет и о литературе факта, и о беллетристике. Пожалуй, Олдос Хаксли был неправ, утверждая, будто написание плохой книги требует не меньше труда, чем написание хорошей, а вся разница в том, что труд, приложенный автором плохой книги,— напрасная трата сил. На самом же деле определяющий критерий массовой развлекательной литературы — успех. Именно она чаще всего обращается к сенсации — причем настолько часто, что добиться «скандального успеха» становится все труднее [1].

Тем больше денег (и хлопот) выпало на долю жителя Нью-Йорка Клиффорда Ирвинга, который такого успеха добился.

В начале семидесятых годов литературный и издательский мир Запада, а также политические, журналистские и финансовые круги — словом, все, с кем считаются на ярмарке тщеславия,— были сражены сенсационной вестью. Влиятельная нью-йоркская издательская фирма «Макгроу-Хилл» сообщила, что вот-вот выйдет в свет автобиография самого таинственного американца — Говарда Хьюза. Этот мультимиллионер, промышленник, авантюрист и повеса в молодости вел жизнь бонвивана, снимал кинофильмы и волочился за самыми популярными актрисами; он водил самолеты собственного производства и якшался с Центральным разведывательным управлением. Но в пятидесятые годы, впав в мизантропию и почувствовав отвращение ко всему миру, он исчез с горизонта и зажил отшельником, окружив себя гвардией сиделок-мормонов и преданных ему (в большинстве своем) бухгалтеров.

Американцев в течение многих лет раздирало любопытство — что же такое этот первый анахорет рекламной эры; они выискивали случай хоть что-нибудь разузнать о Хьюзе. Он был живой легендой, ибо, запершись на все замки, не отказался от управления своей промышленной империей, от подкупов политических деятелей и связей с ЦРУ.

Вот это-то всеобщее любопытство и должен был удовлетворить Клиффорд Ирвинг. Он обратился к издателям «Макгроу-Хилл» с предложением продать им автобиографию мультимиллионера-отшельника, которой он якобы располагал. Президенты компании и редакторы были в полнейшем восторге; у них в руках «scoop», величайшая сенсация, славная добыча. Уже давно всякая сплетня, а тем паче информация о жизни Хьюза были чуть ли не на вес золота, а тут предложение Ирвинга! Реноме и миллионы! Всем известная скрытность Хьюза исключала возможность проверить подлинность текста, впрочем, счастье было столь велико, что на сей счет никто не рискнул даже заикнуться. К удовлетворению обеих сторон, гонорар Ирвингу был определен в миллион долларов. Когда он принес материал, то есть записи якобы состоявшихся бесед с Хьюзом, ему выплатили аванс — несколько сотен тысяч.

И тут-то бомба взорвалась. Ирвинг просчитался, полагая, что одичавший отшельник махнет рукой на обман, что он только презрительно пожмет плечами. Через своих адвокатов Хьюз выдвинул обвинение в диффамации, утверждая, что его автобиография сфабрикована. Он никогда не давал Ирвингу никаких интервью, не был с ним знаком и даже не догадывался о его существовании. Все написанное Ирвингом — рассказы о путешествиях Хьюза, о его интимных похождениях, о дружбе с Хемингуэем, все от «а» до «я» было выдумкой. «Успех века» оказался мошенничеством. Легенда породила мистификацию.

Клиффорд Ирвинг и его сотрудник Ричард Саскинд оказались в тюрьме. Но скандал разросся до таких размеров, что дело для них обернулось отнюдь не самым худшим образом. Ибо интерес вызвал не только сам по себе этот обман, но и условия, которые его породили, а значит, функционирование механизмов спроса, продвижения и издания, законы, царящие в сфере культуры и бизнеса. Появились книги о несостоявшейся книге Ирвинга. Сначала вышла в свет одна — «Обман», за ней следующая — «Кулисы аферы Хьюз — Ирвинг». Сам Орсон Уэллс снял фильм «Ф — это фальсификация» на основе давней книги Ирвинга о его приятеле, фальсификаторе картин де Хори, на которую до того не обращали внимания. Словом, история эта обросла тем, что ученые называют литературой предмета.

Реклама и шумиха привели к тому, что обман, на который решился предприимчивый житель Нью-Йорка, стал жить своей собственной жизнью, он как бы отделился от породивших его сил. Хьюзом заниматься не перестали, хотя он вскоре после описанных событий и умер; американское телевидение даже посвятило ему специальный сериал. Но в центре внимания оказался Ирвинг; человек ниоткуда, который решил помериться силами с Хьюзом, человек, о котором говорили все. Вот почему таким большим успехом пользовалась книга, которую он выпустил по выходе из тюрьмы. Если читателя убедить, что это «превосходно», он считает своим долгом купить и прочесть захваливаемую книгу. Подобное мнение сложилось еще до того, как книга Ирвинга вышла из печати.

В «Проекте Октавио» он снова рассказал о важнейшем периоде своей жизни — о том, как он готовился к афере. И если «успех столетия» оказался жульничеством, то, однако, и само жульничество стало «успехом столетия».

В политических кругах Америки много шуму наделала книга Элизабет Рей «Вашингтонская прибавка к жалованью». Речь

[1] «Только немногие пьесы на серьезные темы попадают на Бродвей, — утверждает американский историк и драматург Мартин Дуберман,— да и то лишь тогда, когда они в достаточной мере нашпигованы сенсацией...» *(Прим. автора.)*

в ней шла совсем об иных, нежели в книге Ирвинга, делах, но, как и в том случае, в основе ее лежал скандал, связанный с известными людьми.

Когда он разгорелся вовсю, 33-летняя Элизабет Рей была, как писали в газетах, «чуть выцветшей красавицей блондинкой» со все еще соблазнительными формами и очень большой кокеткой. В Вашингтон она приехала из Северной Каролины после поражений в конкурсах красоты, полная решимости больше не проигрывать. Она переменила несколько мест — кассирша, манекенщица, администратор в гостинице, поработала в конторе конгрессмена Дэвиса, а затем устроилась в аппарат конгрессмена Грея в Капитолии. Когда Грей отошел от политики, он рекомендовал ее своему коллеге Уэйну Хейсу. Этот конгрессмен шестидесяти с лишним лет слыл одной из самых влиятельных фигур на капитолийском холме. В палате представителей его считали безжалостным цербером, следящим за тем, чтобы правительство не затратило и цента сверх того, что Хейсу казалось необходимым.

Знакомство переросло в приятельские отношения и вдохновило мисс Рей написать (опираясь на профессиональную помощь издательства «Делл букс») книгу, моментально ставшую бестселлером. Обложку ее украшал небольшой портрет девушки из Каролины, а подле него — краткая аннотация, переходящая в заглавие:

**Сногсшибательная повесть блондинки, которая была вашингтонской добавкой к жалованью.**

Первый тираж составлял 600 тысяч экземпляров.

Элизабет Рей рассказала о четырех годах своей службы в конгрессе, особенно у Хейса, не скрывая характера той работы, которую она выполняла. Поскольку она ничего не смыслила в канцелярских занятиях — она писала 12 слов в минуту, путала фамилии клиентов,— ей пришлось целиком отдаться обслуживанию своего хлебодателя в спальне; она похвалялась, что только благодаря этому ее имя оказалось в платежной ведомости конгресса, от нее лишь потребовали держать язык за зубами.

Доходы ее составляли 14 тысяч долларов в год. Однако алчность человеческая не знает границ; в одно прекрасное утро ей в голову пришла мысль, что у нее достаточно козырей на руках, дабы не играть в молчанку.

Хейс — страж государственной казны — был ужасно скомпрометирован. Он содержал наложницу за общественные деньги, за счет налогоплательщиков, чего эти последние очень не любят. ФБР, запутавшись к тому времени в собственных скандалах, не пропустило такой возможности реабилитировать себя и незамедлительно начало следствие. Это обеспечило книге еще больше читателей, а делу — шумиху.

Книга представляла собой чуть сдобренный беллетристикой перечень похождений Элизабет Рей. Чтобы избежать процессов о диффамации, десятка полтора сенаторов и конгрессменов, которые более или менее регулярно навещали ее, она вывела под вымышленными именами. Как выяснилось, к ее прелестям имели доступ также рекомендованные ей Хейсом влиятельные политики и избиратели его округа, в которых он был заинтересован. Так родилось заглавие книги — «Вашингтонская прибавка к жалованью»; речь шла о выдаче мисс Рей напрокат другим законодателям в оплату тех политических услуг, которые они оказывали ее покровителю. Для них «прибавкой к жалованью», премией и была как раз Лиз Рей. Это напоминает бульварный роман о сводничестве, но вызванный им скандал стал политическим событием: он послужил причиной падения всемогущего конгрессмена и способствовал ослаблению влияния старой гвардии в конгрессе. Он также засвидетельствовал, что́ становится предметом массовой культуры.

Соблазну успеха ценой скандала не могут противостоять и дамы более благовоспитанные. Судя по всему, именно по этой причине Маргарет Трюдо решилась описать свое замужество с премьером Канады, которое оказалось неудачным. Ее воспоминания «За пределами разума» сначала публиковались в нескольких странах отрывками, затем появилось и их отдельное издание. «Интернэшнл геральд трибюн» утверждала, что Маргарет Трюдо начала новую главу своей жизни, бросив на съедение публики собственное прошлое.

В сфере массового развлечения ценится прежде всего нетипичность, крикливость, чрезмерность. В Париже некий дебютант Ален Ариас-Миссон уговорил издателя купить рукопись, которая была озаглавлена так: «Признания убийцы, насильника, фашиста, подкладывателя бомб и вора, или Год записей в дневнике обычного американца». Рукопись состояла из газетных вырезок, которые сообщали об убийствах, насилиях, эксцессах, кражах и террористических акциях, совершенных в течение одного года; каждую документальную информацию автор дневника продолжал, совершенно произвольно дополняя ее рассказами о том, что происходило дальше, вводя и себя самого в круг героев. Так произошло сочленение реальности и вымысла — не органическое соединение, но именно механическое смешение. Свое изобретение Ариас-Миссон назвал «superfiction», поскольку словом «fiction» по-английски обозначают и беллетристику и вымысел.

Однако стиль этот успеха не имел. Правда, поговаривали о соглашении с наследниками Маргарет Митчелл относительно того, чтобы дописать счастливый конец роману «Унесенные ветром» (вместо разлуки Скарлетт О'Хара и Ретт Батлер должны были помириться), но от этого отказались, опасаясь создания прецедента и эпидемии переписывания эпилогов известных романов.

Издатели и кинопродюсеры ухватились за другую идею — использовать принцип «обратной циркуляции»: переделку в книги фильмов, которые с успехом прошли на экране, таких, например, как «Звездные войны», «Роза», «Американский альфонс». Для этого нанимают автора и поручают ему быстренько написать роман, основываясь на предоставленном сценарии,— быстренько, пока фильм еще не выветрился у людей из памяти. Несмотря на низкое ка-

чество, переделки эти пользовались успехом, подтверждая тем самым мнение многих американских интеллектуалов о том, что литература стала индустрией, а попкниги чаще всего не пишутся, а производятся.

Один из самых живучих продуктов попкультуры — бытовой роман, порой несправедливо называемый бульварным, или литературой для кухарок. В прежние времена сочинения такого типа действительно предназначались для низших слоев общества, но сейчас их читает средний класс.

Огромным успехом пользуются приключенческие романы, назойливо и вместе с тем наивно сдабриваемые сексом, однако далекие от порнографии. Действие их происходит в наши дни, а порой и в мрачные эпохи средневековья, там читатель встречается со сгорающими от страсти рыцарями и развращенными придворными дамами. Книги эти продаются, как правило, в больших продовольственных или придорожных магазинах и выходят в Америке невероятными тиражами — порой свыше трех миллионов экземпляров. Вот несколько типичных их названий: «Ласковое безумие любви», «Сладкий дикарь», «Решись полюбить» и т. п. В названии, как нетрудно заметить, должно быть слово «любовь» или иное, его заменяющее,— к примеру: дикая страсть, безумие, пылкость, огонь, пожирающий чувства, опустошение сердца. Как можно больше воодушевления и жара. На обложке обычно — полуодетая барышня, возлежащая в объятиях брюнета или уносимая на коне сгорающим от страсти наездником. Но внимание: 70 процентов покупателей такого рода книг, как уверяют издатели,— это женщины, принадлежащие к среднему классу.

Более современный вариант приключенческого романа — книги типа «Принцессы Маргаритки», написанной некой Джудит Кранц. О ней стоит сказать, так как издательство «Бэнтем букс» заплатило три миллиона долларов за право выпустить «Принцессу» карманным изданием, а стало быть, посчитало, что книжка вызовет фурор. Вынесенная на обложку Маргаритка— дочь русского князя, белогвардейца, которую соблазняет ее единокровный брат. Она так увлечена своей работой над телерекламой, что по рассеянности забывает в «роллс-ройсе» огромное наследство... Критики издеваются над подобного рода сюжетами, но они создают у читателя иллюзию пребывания в мире куда более красочном, чем тот, где русских князей не сыщешь и днем с огнем.

Большую часть такой литературы создают именно женщины. Скажем, преклонных лет американка по имени Сильвия Таунсенд Уорнер умело вводит читателей во все тонкости кровосмесительных связей, а ее английская ровесница Вера Чапмен полагает, что увлекательность романа возрастает, когда его открывает сцена насилия. Молодая жительница Лондона Розалинда Эш, едва вступив на это поприще, смущенно и не без кокетства признавалась: «Не знаю толком, гордиться ли мне такой дозой секса и преступлений. Я не отношусь всерьез к тому, о чем пишу. Но к гонорарам отношусь со всею серьезностью».

А мужчины? Американец Гарольд Роббинс, который специализируется на создании пишущихся под копирку книг, полных жестокости и эротики, побил все мировые рекорды: за тридцать с лишним лет продано 200 миллионов экземпляров его сочинений. Другой американец, Луи Ламур, работающий в той же сфере, добился тиража в 110 миллионов экземпляров.

Не ослабевает спрос и на мелодраму. Ею, в частности, занимается североамериканское издательство «Арлекин энтерпрайзиз», которое в год выпускает 100 миллионов книг карманного формата (три проданных экземпляра в секунду). Англичанка библейского возраста, но обладающая неисчерпаемым запасом энергии, некая Барбара Картленд, ежегодно поставляла издательству не менее полутора десятков рукописей. Мелодрамы тоже расходятся миллионными тиражами, разумеется, тоже под соблазнительным знаком «любви»: «Любовь — это контрабанда», «Цветы для божества любви», «Любовная рапсодия». В противовес писательницам, не признающим притворной стыдливости, Барбара Картленд описывала исключительно девиц перед замужеством (у нее на счету было около двухсот таких девиц). Их приключения завершались помолвкой или свадьбой. «Американские романы отвратительны,— содрогалась Барбара Картленд.— Женщин в них насилуют на каждой странице».

Любовники, представленные в романах Роберты Ли, Тейлор Колдуэлл и иных дам, пишущих для «Арлекин энтерпрайзиз», в отличие от циничных и дерзких гордецов «осовремененной» литературы не осмеливались на большее чем поцелуй, а к тому же, целуясь неумело, дрожали как осенний лист. Как и «приключенческие» романы, мелодрамы были магнитом, притягивающим женщин разного возраста, от подростков до почтенных матрон. («Я буквально упиваюсь каждой страницей, чтобы удовлетворить свою жажду»,— так выразилась в письме одна из читательниц.) Издатели уверяли, что женщины среди их клиентов составляют 90 процентов.

Бывает и так, что одни и те же читательницы, сегодня впивающиеся в сентиментальные повестушки, завтра набрасываются на книги прямо противоположного рода. Впрочем, не о таком разграничении идет речь. Один из результатов распространения образования — рост спроса на печатное слово, другой — состоит в том, что спрос этот не направлен исключительно или главным образом на поиски слова облагороженного. Чаще всего ищут легкого удовольствия, следуя принципу: все либо есть, либо должно быть несложным развлечением.

Райт Миллс писал, что средства массовой информации «навязали нам образцы личности, новые представления о том, какими мы хотели бы быть и кем желали бы казаться». Зритель или читатель «остается в напряжении, которое вызывается противоречием между стремлением обладать и отсутствием вещей либо женщин, слывущих достойными обладания». Поэтому с

тем большим рвением он будет искать их в искусстве и в литературе.

## Вид с Вавилонской башни

Энн Дуглас из Нью-Йорка, когда она завершила свое следствие и вынесла приговор, было 35 лет, она читала в университете курс по истории литературы. Приговор же сводился к тому, что госпожа Дуглас разоблачила главного виновника всех бед массовой культуры: им оказались женщины — и прежде всего американки.

Столь смелое признание в эпоху, когда сторонницы женского равноправия активизировались, содержалось в задиристой книге «Феминизация американской культуры», которая всю тяжесть ответственности за поощрение и распространение халтуры возлагала на дам из буржуазной среды, действовавших с помощью либеральных церковников-протестантов. Энн Дуглас сообщает нам, что они вступили в борьбу в первой половине XIX столетия; из других источников мы знаем, что акция их была успешной, а некоторые ее последствия оказали влияние и за пределами американского материка.

Женщины, принадлежащие к зажиточным средним слоям, почувствовали себя обделенными, когда завершился период освоения страны, в течение которого их матери были партнерами мужчин, захватывавших континент. Эпоха благосостояния и цивилизации отвела им место в доме, где они следили за слугами и украшали собой гостиные. Несправедливо отодвинутые в сторону, они искали путей восстановления своего влияния на ход жизни и увидели шанс в том, чтобы взять под свое покровительство искусство и литературу. Их естественным союзником оказалось духовенство — из той части протестантских течений, что отличались бóльшим либерализмом. В середине XIX века, когда позиции пуританства стали ослабевать, они пошли в гору и стремились укрепить свою роль.

Стоит также обратить внимание на мнение американского историка Гофштедтера. Он поясняет, что в тот период идеология бизнеса способствовала изоляции и феминизации культуры, поддерживая ту точку зрения, что мужчин не интересуют интеллектуальные и культурные вопросы, у них недостает времени на занятия, не дающие приращения материальных благ, так что, коли такое возможно, следует эти проблемы оставить женщинам, которые располагают свободным временем[1].

Так началось воспитание чувств Америки: «впечатлительность ценилась выше рассудительности». В атмосфере, «перенасыщенной женственностью», появилось много иллюстрированных журналов, выросли тиражи книг, но главным образом низкопробных. Утвердился спрос на аффектацию и дешевые поделки. Было ли это первым предвестием поп-культуры XX века?

[1] Во второй половине XX столетия главным обладателем свободного времени стала буржуазная молодежь, а потому массовая культура выражает прежде всего ее предпочтения. *(Прим. автора.)*

По мнению Энн Дуглас, культурная продукция прошлого столетия создавала искаженное представление о действительности. С литературных портретов смотрели в мир хрупкие, чувствительные и бескорыстные существа, сладенькие и благостные. Этот образ стал стереотипом мещанского представления об ангельской доброте. Столь же стереотипным его антиподом в искусстве были портреты злодеев и омерзительных уличных девок.

А тем временем эти мечтательные существа выказывали энергию паровых машин. Прежде всего они строчили без остановки, заполняли «бессмысленные и пропитанные ханжеством» женские журналы. Такого рода романчики населяли по преимуществу очаровательные мученицы. Унижаемые, они своих притеснителей одаривали христианским прощением. Женщины из буржуазной среды были и основными посетителями библиотек, создавая спрос на романтизированную и чувствительную литературу.

Проповедники XIX века, напомнила Энн Дуглас, охотно распространялись о «прекрасном призвании женщин». В книгах и статьях рисовались картины новой цивилизации, в которой мужчины будут почти как женщины, а женщины — почти как херувимы. Кстати, на обложках охотно изображали девицу в ниспадающих до земли розовых или белых одеждах, которую осыпают цветами ангелочки.

Как бы то ни было — согласимся ли мы с дамской версией этой американской ренегатки своего пола или склонимся к мнению, что и мужчины принимали участие в возведении на престол банальности,— не подлежит сомнению тот факт, что, как прошедший испытание временем и ходкий образчик, аффектация из дамских журналов была затем заимствована рекламой. Ее создали прежде всего для американок, которые у себя в стране были главной покупательной силой, вот потому-то сперва рекламу щедро пропитали сентиментальностью. Упрощения и подкрашивания, тривиальность и превосходные степени времен младенчества массовой потребительской культуры затем были гипертрофированы в современных средствах информации.

Разумеется, у колыбели массовой культуры стоят не только американки и американцы. Европа тоже склонялась над этой колыбелью. И Европа того времени также отдавала предпочтение чувствительности и мелодраме. Но, пожалуй, правда заключается в том, что приданию поп-культуре гигантского размаха, агрессивного и универсального характера способствовала прежде всего Америка. Можно представить себе поп-культуру без вклада итальянцев, французов или скандинавов, но вряд ли от нее что-нибудь осталось бы, если отжать из нее все американское. Отечество поп-культуры — в первую голову именно Соединенные Штаты.

В Америке издавна ведущее место занимала антиэлитарная культура. На это обращал внимание и академик Юзеф Халасинский[1]. Огромные «перерабатывающие» возможности индустрии культуры способство-

[1] Известный польский ученый-социолог. *(Прим. перев.)*

вали демократизации развлечений (так легче было организовать их массовую распродажу), а увеличение свободного времени и рост денежных средств, которыми располагал средний потребитель, превращали это — то есть демократизацию развлечений и их массовую распродажу — в реальность. Профессор Кристол заметил по этому поводу, что «общество, основанное на коммерции, общество, цивилизацию которого формирует рынок, как правило, выражает интересы и предпочтение рядовых мужчин и женщин. Каждый из них по отдельности может и не располагать большими средствами, но в своей совокупности эти мужчины и женщины представляют собой такую массу, что ее вкусы приобретают определяющий характер». Это — односторонняя картина (тут игнорируется тот факт, что «стремления и предпочтения рядовых мужчин и женщин» тоже появляются не сами собой, стихийно, но под воздействием «рынка»); тем не менее данные соображения в известной мере отражают реальное положение вещей.

Как известно, вместе с американскими солдатами, американской технологией, американскими капиталовложениями,— словом, вместе со всем тем, что лежало в основе роста влияния США после второй мировой войны,— в Западную Европу, а в меньшей степени в Азию и на другие континенты вторглась американская массовая культура. Она притягивала к себе богатством вещей — новых, ярких, неведомых до того, чуть ли не экзотических. Ошеломленная и очарованная Европа набросилась на музыку, фильмы, живопись, моды. Американское телевидение обошло всех своих конкурентов. Американские автомобили были больше и красивее на вид, американские упаковки пестрее, американские киноактрисы стройнее.

В умении использовать рекламу с фирмами, расположенными на Мэдисон авеню, сравниться не мог никто. Даже высмеивая американцев, европейцы продолжали перенимать их образ жизни, манеру одеваться, стиль поведения, нравы. Немного позднее, в шестидесятые годы, Западная Европа частично заимствовала у американцев культ наркотиков, хиппизм, отвращение к пуританству, некоторые приемы их массовой культуры. В семидесятые годы — моду на мистицизм, катастрофизм, эксгибиционизм. В восьмидесятые... Американское течение в поп-культуре было самым мощным.

Правда, представление об Америке как об идеальной стране — столь существенная деталь в этой панораме — несколько поблекло под воздействием политических факторов: столкновений с неграми, убийств лидеров, массовых беспорядков, а более всего в результате вьетнамской войны. Это имело особое значение потому именно, что яркая панорама «сказочной Америки» была решающей силой оказываемого ею воздействия на других. В этой сказочной, легендарной Америке не видели характерных для иных стран неполадок и болячек; она казалась огромным оазисом счастья, успеха, удачи, была богата, хорошо отлажена, ярко освещена и благоухала. Надо, однако, признать, что контркультура, проникавшая из Америки в Западную Европу, презирала эту сказочность; она предлагала новый, «альтернативный» стиль культуры. Но он тоже был американским стилем. Поскольку уже сложилась атлантическая разновидность массовой культуры, в шестидесятые и семидесятые годы она продолжала терять свои индивидуальные черты. А раз в этой модели потребительство занимает ведущее место, потребитель № 1, то есть Соединенные Штаты, продолжает играть заглавную роль.

Тем временем модель эту начали ставить под сомнение в самой Америке. В июне 1978 года «Нью-Йорк таймс» опубликовала большое письмо Артура Гетиса, профессора университета штата Иллинойс. То, что письмо его появилось на страницах влиятельной американской газеты, служило признаком тревоги, которую в стране стало вызывать воздействие поп-культуры на некоторые сферы общественной жизни. Гетис пришел к выводу, что поп-культура поощряет вульгарное мышление и упрощенный подход к проблемам, насквозь пропитанный духом наживы, весьма плоский в интеллектуальном отношении. Особенно беспокоило его проникновение массовой культуры в школы и даже высшие учебные заведения, что подтверждало давнее наблюдение Миллса: в школах сильна тенденция к подражанию массовой культуре, а это приводит к выхолащиванию содержания программ обучения.

«Чтобы понравиться (большинству) и удовлетворить его спрос,— говорилось в письме Гетиса,— школы склонны поглощать поп-культуру. Они делают это, организуя в рамках процесса обучения соревнования на лучшее рекламное объявление и бесконечные конкурсы на всевозможные титулы, а также транслируя по школьным радиоузлам низкопробные мелодии и разучивая их на уроках музыки... Многие университеты (тоже) уступают необходимости готовить молодых людей к встрече с поп-миром. Искусство, гуманитарные и общественные науки пропитаны поп-культурой, а на некоторых отделениях студентов обучают связанным с нею техническим приемам».

Профессор из Иллинойса обратил внимание на то, что безвкусица распространяется по всей стране, а стало быть, и в больших городах, но болезненнее всего это дает о себе знать там, где нет творческих центров — литературных, театральных, музыкальных, а соломинкой, за которую можно ухватиться, служат программы единственного некоммерческого телевизионного канала Пи-Би-Эс.

«Паблик бродкастинг сервис», существующая на дотации, выпускает программы очень хорошего уровня и пропагандирует подлинные культурные ценности. Ей, однако, приходится бороться за внимание зрителей с пятью-шестью коммерческими каналами, которые располагают куда более значительными средствами, а тем самым и возможностями для показа ярких зрелищ, спортивных соревнований, известных звезд и т. д. Кроме того, приученный к легкому и пассивному развлечению зритель не переключается на посвященную художественной культуре программу, которая предполагает его соучастие в ней. Шекспириана, дискуссии писателей, ученых, деятелей ис-

кусств привлекают к себе относительно немногочисленную аудиторию.

По случайному стечению обстоятельств вскоре после публикации письма Гетиса в техасском городке Пасадена на большой эстраде в присутствии многотысячной толпы 13 женщин приняли участие в конкурсе на двойника (речь шла только о внешности) известной певицы Долли Партон. Подобного рода предприятия весьма распространены.

Выходящий массовым тиражом американский еженедельник «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт» с горечью писал в 1979 году, что поп-культура, которую рынок приспособил ко вкусам любящих развлекаться подростков, принята и взрослым обществом. По мнению еженедельника, вред ее заключается в том, что она предлагает полуфабрикаты, уже готовые к употреблению, а это почти не требует никаких умственных усилий и особой сосредоточенности, отучает от самостоятельного мышления, прививает наивный взгляд на жизнь.

Росту мощи поп-культуры в Америке сопутствует, однако, также и развитие некоммерческой культуры. Гарольд Макмиллан до того еще, как он стал премьер-министром Великобритании, говорил, что Западная Европа должна играть по отношению к США такую же роль, какую играла в Римской империи Греция,— комплиментом в адрес Америки это по крайней мере не было. Макмиллану казалось, что миссией Западной Европы и компенсацией за утерю ее державных позиций будет освещение американских варваров факелом цивилизации и культуры.

Несмотря на перегрузку американской культуры дешевым популизмом и попкультурой, никто не станет утверждать, будто за океаном царит варварство. Великие столицы Западной Европы продолжают оставаться культурными центрами, но в глазах американских интеллектуалов они уже не Мекка. В США возникли, окрепли и оказывают влияние на Европу многочисленные творческие сообщества — литературы, живописи, фильма, театрального искусства, музыки. Соединенные Штаты превратились в культурную державу. Они располагают прекрасными библиотеками и крупными издательствами, ставят десятки новых опер и балетов. В Париже, Риме и Лондоне обосновалось некоторое число американских деятелей искусства, но там тем не менее нет такой и столь влиятельной художественной колонии, как во времена Хемингуэя, Скотта Фицджеральда и Гертруды Стайн.

Американцам уже нет нужды, как прежде, добиваться признания Европы, дабы заслужить аплодисменты в собственной стране. Им уже незачем совершать культурные паломничества, чтобы возвратиться в зеленой чалме хаджи, который добрался до источника святости. Американские деятели искусства нередко испытывают потребности в контактах с Европой, но и европейцы все больше заинтересованы в том, чтобы держать руку на пульсе американской культуры. И в том, чтобы заслужить признание американцев — с финансовой и престижной точек зрения.

Известный англо-американский театральный критик Клайв Барнес задавался вопросом: какая столица в культурном отношении впереди — Лондон, Нью-Йорк, Париж? Какое-то время после второй мировой войны Нью-Йорк считался «первым среди равных». Барнес колебался, может ли он сейчас согласиться с этим мнением. Он полагал, что Нью-Йорк выказывает большие способности к новаторству, но вот зато в Париже и Лондоне он заметил бóльшую активность художественной жизни. Так он и не смог решить эту дилемму и присудил в конце концов пальму первенства всем трем столицам сразу.

Ни одна из них не избавилась от комплексов по отношению к двум остальным. У американцев сильно сознание того, что их культура корнями своими уходит в европейскую почву, однако вместе с тем различие опыта и традиций также является ее питательной средой. Встречаясь с европейцами, они нередко подчеркивают, как коротка их история. Они пытаются компенсировать это динамичностью своей культуры, экспериментаторством, размахом.

Когда англичане решили разобрать Лондонский мост, его купил штат Аризона, перевез его на свою территорию и поставил у себя это подлинное произведение девятнадцатого столетия. Лондонский мост в пустыне? Видно, даже без реки мост этот утоляет жажду Аризоны обрасти традициями, культурным слоем, с которым она чувствует себя связанной. Те, кто купил мост, просто-напросто придали торговле искусством гигантские масштабы — приобретение музеем полотна Веласкеса или этрусской вазы считается делом нормальным.

Европа манит к себе американцев еще и потому, что она обладает особенно богатым и более близким им интеллектуальным наследием, что тут сосредоточены в огромных масштабах сокровища, созданные рукой человека. В Европе великолепно сохранились произведения искусств в виде целых городов или по крайней мере кварталов и архитектурных ансамблей вместе с интерьером. Путешествуя по другим континентам, нередко можно увидеть пейзаж, на первый взгляд напоминающий европейский,— но иллюзия исчезает, как только на горизонте появляются постройки. Так, стало быть, это старые здания придают Европе неповторимый характер. Мировая культура не пострадает, если когда-нибудь тот или иной небоскреб пойдет на слом, но она стала бы куда беднее без памятников Возрождения, готики, барокко. Она не была бы сама собой без Акрополя, руин Колизея, замков Луары, без Вавеля, Загорска, Кентерберийского собора.

Присматриваясь к Европе, американец обращает внимание на неделимость европейской культуры (чего нет на других континентах) и вместе с тем на отчетливые ее национальные отличия. Если он верит в достоинства всеобщего подобия (впрочем, в полной мере его нет и в самих США), то эти контрасты поражают его. С. Сульцбергер, знающий Западную Европу как свои пять пальцев, внушал

своим соотечественникам, что, несмотря на взаимовлияние и родственные узы, несмотря на сходство обычаев и многих привычек, существуют серьезные различия в стиле жизни и моделях культуры США, с одной стороны, Англии, Франции, Италии, ФРГ — с другой.

По мнению Сульцбергера, достаточно регулярно следить за списками европейских литературных бестселлеров: самые популярные названия не повторяются даже в двух западноевропейских странах. Он заметил также, что есть разница в произношении и лексике, а также в стиле жизни в пределах отдельных европейских государств — между Ломбардией и Сицилией в Италии, Рейнской областью и Баварией в ФРГ, между Йоркширом и Сассексом в Англии, Бретанью и Эльзасом во Франции. Они куда резче региональных различий в Америке, включая и самое бросающееся тут в глаза,— между Севером и Югом. Так что тем более Европа, если речь идет о культуре, не может быть копией Америки.

Однако американцам удалось вскарабкаться на европейскую Вавилонскую башню. Английский язык стал необычайно эффективным средством взаимопонимания; в то же самое время он стал разговорным языком всей поп-культуры. И при том, что самой Вавилонской башне удалось воспротивиться попыткам перенести ее в Аризону, она, однако, оказалась окруженной морем американизма.

Во Франции забили тревогу. Писали, что наблюдается «отступление, упадок, регресс и даже бегство» французского языка из Европы и других мест. Языком этим в мире пользовались в 1979 году около 90 миллионов человек, испанским — 200 миллионов, а английским — 350 миллионов. С этой точки зрения будущее виделось в еще более черном свете. В Италии 56% детей учили английский язык, в ФРГ и Голландии — по 98%, в Дании он был единственным обязательным иностранным языком. Даже во французских школах свыше 80% учеников избрали его как наиболее употребительный.

Но, может, стоит подойти к этой проблеме с другого конца? Ведь испанский язык, несмотря на свою популярность, не стал мотором иберийского культурного наступления. Как некогда торговля опережала флаг, так теперь американская технология и экспансия, начиная с политической и кончая культурной, прокладывали дорогу языку. Американская поп-культура захватила весь Запад — комиксы, телевизионные сериалы, песенки, мюзиклы, кинофильмы. Несколько поколений западноевропейцев всосали ее чуть ли не вместе с материнским молоком; молодежь учила английский язык, чтобы легче было поглощать поп-культуру в оригинале.

Телевизионный сериал «Даллас», который посмотрели четверть миллиарда людей на нескольких континентах, сделался новым рекордом американской поп-культуры. Когда в предпоследнюю пятницу ноября 1980 года очередная серия должна была дать ответ на вопрос, кто же стрелял в зловещего Дж. Р. Эвинга, денежные ставки принимались в городах за тысячи миль от настоящего Далласа. Ранчо Саутфорк в Техасе, где снимался сериал, стало местом паломничества туристов, причем не только американских.

Если даже в отдельных западноевропейских странах и не копировали списки самых модных американских книг, тем не менее у американских бестселлеров были лучшие шансы преодолеть языковой барьер. Американские фильмы пользовались в Европе большим успехом, чем европейские в Америке. К радости европейской публики, герои этих фильмов играли роли кумиров американской поп-культуры — это был шоу-бизнес в квадрате.

По мнению американского художника Джона Ф. Кёнига, который многие годы провел во Франции, в Западной Европе происходит американизация искусства, что связано с динамизмом американской поп-культуры. Даже в выпячивании чувствительности, чем отличалось европейское кино, американцы вырвались вперед: «История любви» («Love story») вышла на экраны почти десятью годами раньше, нежели появилась очередная волна французских сентиментальных фильмов. В любой западноевропейской столице американское культурное присутствие велико, его замечаешь невооруженным глазом, тогда как в США европейское кажется утонченным и элитарным. В этом противоборстве побеждает поп-культура. Некий француз восхищенно назвал Соединенные Штаты «настоящим локомотивом».

Во второй половине семидесятых годов французы подсчитали, что они ежегодно экспортируют книги, фильмы, картины и музыкальные произведения на сумму, не превышающую 300 миллионов долларов. Тогда это составляло полпроцента всего французского вывоза — скромный показатель, не соответствующий той роли, которую Франция играла и стремилась играть в международном культурном обмене. На внешнем литературном рынке ее заметно потеснили англоязычные произведения. На одну проданную в мире французскую книгу приходилось 10 англоязычных (в шестидесятые годы только шесть,— стало быть, положение резко ухудшилось). Более того, три четверти французского экспорта культуры направлялось в страны французского языка, в которых часть населения или по крайней мере элита пользовалась в обиходе французским языком (Бельгия, Швейцария, канадская провинция Квебек, бывшие французские колонии и т. д.). А значит, лишь немногие книги преодолевали языковой барьер; это предвещало дальнейшее сокращение французского культурного влияния в иноязычных сферах — в сравнении с американским (и частично английским) влиянием.

Общественное мнение Франции отдает себе в этом отчет. В ходе проведенного в 1979 году по поручению журнала «Экспресс» опроса только 22% французов согласились с тем, что с точки зрения культурного воздействия «Франция занимает одно из первых мест в мире», а 65% считало, что она находится «где-то в середине» списка.

По экспорту фильмов Франция пропустила вперед США и Италию, однако га-

зета «Франс-суар» заметила по этому поводу, что из без малого 120 французских фильмов, которые ежегодно демонстрируются за рубежом, подавляющее большинство не пользуется успехом — ни художественным, ни кассовым. Кроме того, ввоз во Францию иностранных фильмов и записей, главным образом американских и английских, значительно превосходит то, что Франция посылает за рубеж. Что же говорить о других странах Западной Европы?

С Вавилонской башни лучше всего видна Америка.

## Под маской идола

Американский политик, добивающийся президентского кресла, хочет он того или нет, непременно должен быть звездой массовой культуры, а по существу, самой крупной звездой Америки и всего Запада. Люди, обладающие особым даром и актерскими способностями, на то или иное время становятся идолами; лишенных такого дара или бесцветных гримируют, после чего они и исполняют с переменным успе́хом свои роли.

Как главный американец, президент олицетворяет собой определенную модель культуры, а демократические и популистские традиции требуют от него быть также символом и высших духовных ценностей, и ходячих верований и пристрастий. Есть в этом нечто общее со звездами кино, телевидения, танца и песни? Конечно же есть: он играет на сцене, на которой свет никогда не гаснет, на сцене, где занавес никогда не опускается.

Превратив президента в одного из самых притягательных своих героев, телевидение подчинило его законам индустрии развлечений: как и всякую звезду, оно в состоянии его превозносить или смешивать с грязью. Социолог Эдмунд Карпентер, разделяя общее мнение, заявил: «То, что происходит в Белом доме, в сущности говоря, напоминает телевизионный спектакль». Да, напоминает спектакль, ибо чуть ли не все делается с оглядкой на то, как к этому отнесется публика.

Президентская избирательная кампания, продолжающаяся самое меньшее девять месяцев и повторяющаяся каждые четыре года, представляет собой беспощадную борьбу за власть, но внешне она напоминает гигантские ристалища: по маленьким местечкам и большим городам тянутся и тянутся караваны украшенных зеленью машин, оркестры играют бравурные мелодии, колоннами по трое-четверо в ряд маршируют девушки в коротеньких юбочках и высоких шапках. Сверкают вспышки фотоаппаратов, стрекочут кинокамеры, хрипят мегафоны. На сцене в окружении флагов и цветов — кандидат, он говорит. Толпа аплодирует и дожидается выступления певцов; кто-то запускает змеев и воздушные шарики. То и дело ощущаешь на себе чей-то пристальный взгляд — это детективы из охраны; руки под пиджаками, подле пистолетов. И все это — в атмосфере бесконечного празднества.

Чтобы быть избранным, надо не перечить вкусам и предпочтениям, выработанным поп-культурой, вести себя в согласии с ее требованиями. Те, кто избирает президентов, с утра до ночи, с первого до последнего дня своей жизни пребывают среди реквизитов массовой культуры. Они со всех сторон окружены рекламной цивилизацией — яркой, шумной и провоцирующей. Каждый продукт материальной и духовной культуры, каждое явление и событие подают им в увеличенном виде, в более крупном масштабе, словно их пропускают через гигантские мегафоны. Публика оглушена этими звуками, ослеплена юпитерами, она не смогла бы услышать приглушенных воззваний, не обратила бы внимания на пригашенные лампы, прошла бы мимо неброско очерченных фигур. Трудно даже представить себе тихого кандидата в президенты, скромно держащегося в сторонке, стремящегося к спокойному обмену мнениями. Его посчитали бы чудаком и быстро вывели бы из гонки. Все, что он делает, должно быть ярко, отдавать драматизмом, быть пригодным к показу на телевидении, вызывать у людей желание походить на него.

Политическая трескотня — отражение той шумихи, в атмосфере которой живет попкультура. Эйзенхауэра еще изображали добрым отцом народа, эдаким американским «батюшкой», который был влюблен в свою ферму в Геттисберге и преспокойненько играл в гольф, но уже Кеннеди стал идолом новой эпохи, «вседозволяющего общества». «Битлз» в те годы в Америке встречали таким ором, что ни один их концерт нельзя было толком послушать. Тогда восторгались рассказами о том, как элегантных джентльменов сталкивали в Белом доме в бассейн, о шумных их забавах. Со временем беззаботность позабылась, а шум остался.

Необходимость быть звездой заставляет президента менять множество масок, накладывать на лицо толстым слоем грим. И в результате истинную его физиономию не разглядеть. На публику он выходит в маске идола, весь его облик рассчитан на популярность и аплодисменты. Несколько лет назад большим успехом пользовалась книга «Продажа президента», в которой молодой американец Джо Макгиннес, пробравшийся в штаб-квартиру избирательной кампании Никсона, описал, как создавался синтетический портрет кандидата, мало напоминавший оригинал. Подобным образом, когда это необходимо, поступают и с другими кандидатами, но это, однако, не значит, что камуфляж непременно приводит к желаемым результатам.

В Белом доме — по принципу, соблюдаемому во всех учреждениях,— есть отдел по связям с общественностью, или, по существу, отдел рекламы, который старается формировать мнение о президенте. Он поставляет средствам массовой информации факты, представляющие его в лестном, возвышенном, положительном свете. Поскольку реклама тенденциозна, пресса и телевидение стараются раздобывать сведения о президенте и из других источников. Принимая во внимание прерогативы президентской власти, черты ха-

рактера главы государства не могут не интересовать. Сообщения о личной жизни президента подразумеваются самими правилами индустрии развлечений. Так что на политическом рынке потребитель находит различные версии, ни одна из которых не бывает совершенно достоверной; полученные из первых рук, приправленные медом сосуществуют с нелегальными, непроверенными, не грешащими благопристойностью.

Все чаще политики стали прибегать к услугам рекламных агентств, которые представляют своих клиентов общественности (главным образом по телевидению) и изучают реакцию потребителей. «Рекламные спецы» не выступают за реформы, за перемену направления, за выбор новых путей, но горе политикам, которые вовремя не сделают выводов из данных опросов общественного мнения. «Рекламные спецы» не выставляют себя миссионерами, они дельцы. Они ломают голову над тем, как удачнее продать кандидата: что раздуть, а что приглушить, как преувеличить обещанные блага и смягчить воздействие обвинений, выдвигаемых против их клиентов. Так, скажем, Джеральд Рафшун, эксперт Картера, посоветовал своему патрону отказаться от улыбок, символизирующих искренность и оптимизм, в ходе избирательных кампаний, так как они не сочетаются с важностью президентского поста. Он также уговорил Картера не отказываться от огромных черных лимузинов и не носить самому чемоданы при посадке в самолет: американцы обожествляют демократию, но не требуют аскетизма.

Никсон очень любил помпу, фанфары, стяги, блеск. В начале пребывания на посту президента он велел обрядить полицейских, охраняющих Белый дом, в мундиры, в которых те выглядели словно статисты из опереток Легара, но, осмеянный прессой, вынужден был сразу же отказаться от этой затеи. Форд вызывал недовольство тем, что, как говорили, он в поездки по стране берет с собой матрац, к которому привык. Картер вел себя скромнее — впрочем, так того и требовала обстановка.

Процесс «идолизации» президента был прерван Уотергейтом. Эта афера надолго пригасила сияние славы, исходившее от президентского поста, развеяла окружавший его божественный ореол. Никсона возненавидели за то, что он осквернил и растоптал широко распространенное представление, не оставил камня на камне от мифа, глубоко укоренившегося в культуре Америки. Миф этот не допускает схождения с пьедестала, а тем более падения с него в грязь.

Атмосфера скандала — непременный атрибут идолов индустрии развлечений. Сенсационные, пикантные вести о них, сообщения об их проказах придают им особый шарм. Но президент должен быть примером и образцом, хранителем этических норм. Он должен быть твердым, но не жестоким, невозмутимым, но великодушным, хитрым, но благородным, смелым, но рассудительным. Это почти что портрет супермена или знаменитого «Капитана Америка», перенесенного из комиксов в политическую поп-культуру, из кино в жизнь. Где же, однако, проходит граница между реальностью и вымыслом?

После падения Никсона образовалась своеобразная пустота. Роль политического идола по должности оказалась вакантной. Претензии, предъявлявшиеся к смещенному президенту, выражали также ностальгию по идеальному президентству, по крайней мере не опозоренному. Ибо сам институт идолов не изжил себя, просто выбор пал на неподходящую персону. Тот, кого прочили в идолы, страшно всех подвел.

Преемник Никсона Форд не обладал задатками идола. И потому тоже он не смог преодолеть первый барьер выборов. Но его победитель Картер не соответствовал господствующим в массовой культуре представлениям и ожиданий не оправдал. С первых же дней своего пребывания в должности он столкнулся с вызванными этим проблемами. По своему характеру он был непригоден к роли кумира попкультуры, который ежедневно появляется на телеэкране, которого расписывают газеты и о котором может быть сложена прославляющая его легенда. Считалось, правда (сейчас мы знаем, ошибочно), что он приспособится, что рекламный аппарат в конце концов сделает из него идола.

У него ведь было два козыря. Во-первых, сильная президентская власть в американской правительственной системе — необходимость, и все политические механизмы создаются именно с этим расчетом, так что личность президента сама по себе, автоматически выдвигается на первый план. Во-вторых, Картер, морализатор по натуре, мог успокоительно подействовать на раздраженных американцев и сделаться привлекательным объектом культа восхищения.

Шансы эти использованы не были. Картеру недоставало способностей лидера, в жизни и на телевизионном экране он производил впечатление человека растерявшегося. Он не убеждал, не притягивал к себе, не возбуждал. В практических делах он проявил себя личностью неустойчивой и нерешительной. Жаловались, что из Белого дома несет скукой. Идол не родился.

Правление Картера оставило у американцев впечатление разочарования и неудачи. Джонсон и Никсон вынудили их опасаться самовольничанья лидеров, но в то же самое время они тосковали по президентству в стиле барокко. Они хотели бы иметь властного руководителя, который сплачивал бы общество. Президентский пост вот уже двести лет служит предметом приложения политики и политической культуры, средоточием всей иерархической системы, символом для масс. Американцы тосковали по личности масштабной, крупной, а не просто по шефу федеральной бюрократии.

Американский республиканизм, выросший в Новом свете на обломках европейских колоний, избежал опасности анархии, возникающей в междуцарствие. Место британского короля быстро занял американский президент, обладающий атрибутами, нередко сравниваемыми с королев-

скими, хотя в них нет и намека на тиранию. Кто не умел воспользоваться ими, тот не справлялся с ролью идола и не мог долго удержаться на своем посту.

В системе культуры, претендующей называться «демократической», кумир должен прежде всего быть популярным. Это не дается раз и навсегда, популярность надо постоянно завоевывать снова и снова. Ее неизменно подвергают проверке на прочность, испытывают. Анкеты и зондаж служат тем инструментом, который измеряет температуру общественного мнения. При слабом президенте неизбежные скачки температуры вызывают в Белом доме напряжение и нервозность. В таких условиях там нередко принимаются решения, далекие от истинных потребностей, объясняемые стремлением добиться популярности. Вот почему забота об общественном одобрении заставляет вместе с тем прибегать к лавированию, манипуляциям и использованию зрелищ.

Телевидение подобные тенденции гипертрофирует. Оно ежедневно охотится за президентом, главным идолом коммерческой поп-культуры, а президент использует его для завоевания аплодисментов и поддержки. Теле- и звукооператоры с утра до вечера толкутся в прихожих Белого дома. Ради президента телевизионные станции всегда готовы изменить свои программы. Репортеры неизменно в боевой готовности. Благодаря телевидению президент, если только он умеет, может навязывать мысли, позиции и убеждения в таких масштабах, какие не по силам ни одному другому идолу. Телевидение помогло Джону Кеннеди победить Никсона, а Никсону — Хэмфри; спустя несколько лет прямые телевизионные репортажи из сената, где в ходе разбирательства уотергейтского скандала вытащили на свет божий все вины Никсона, во многом решили его судьбу. Выступление по телевидению предопределило поражение Картера, когда бок о бок с ним оказался Рональд Рейган.

Чтобы лучше понять роль, которую играет президент в системе культурных представлений, стоит привести характерное рассуждение Джастина Дэвидсона, декана одного из факультетов известного Корнеллского университета. Дэвидсон еще в 1978 году заявил, что разочарован Картером, ибо от него нельзя ожидать в е л и ч и я. Так что же, разве, по мнению Дэвидсона, любой президент должен и может быть «великим»? Должен, так как в противном случае он не будет отвечать требованиям, выдвигаемым перед идолами, а может, поскольку в его распоряжении Белый дом. Выраженное Дэвидсоном сожаление о том, что идолов не так уж много, объясняется, по всей вероятности, неким комплексом, а именно комплексом самонадеянности, убеждением, что, учитывая роль США в мире, великие лидеры, которые в иных местах редкость, для Америки — это товар первой необходимости.

Американская поп-культура породила подсознательную веру в шерифа из вестерна, который установит законность, спокойствие и наведет порядок, посрамит авантюристов и смутьянов, восстановит справедливость там, где она была попрана. Поп-культура довлеет над всей американской политикой, приукрашивает и вульгаризирует ее. Президент должен быть Сверхшерифом, а если он не справится с такой задачей, он разрушит легенду, подрубит под корень основные культурные каноны.

Картер сделал это. Ему пришлось уступить место Рейгану, который был актером по призванию и пришел в политику из кинематографа. Его избрание президентом стало одним из самых больших триумфов американской массовой культуры. Миф стал плотью.

## Семейная комедия

Спустя неделю после того, как по телевизионному каналу Эн-Би-Си передали программу «Рожденные невинными», в которой вопреки идиллическому названию была сцена зверского изнасилования молодой актрисы, в одном маленьком американском городишке точно такая же сцена повторилась в действительности. Разгорелся скандал, а родители жертвы выдвинули против корпорации Эн-Би-Си обвинение, требуя от нее через суд выплаты штрафа за распространение образцов изнасилования.

Западное, а особенно американское телевидение вот уже много лет укоряют за порчу нравов, смакование психологии насилия, пропаганду культурного убожества. Ибо телевидение, ставшее важным средством информации позднее, чем кино, пресса, литература, обладает, по-видимому, самой большой сферой воздействия. И потому именно его считают главным виновником? А где и кто вообще виновники?

Еще в начале семидесятых годов американское телевидение остерегалось употреблять слова, оскорблявшие уши пуритан. Были под запретом даже такие слова, как «девственница», «сутенер» и «к черту». Остерегалось оно этих слов, понятно, не из эстетических или мировоззренческих соображений, но опасаясь, что сократится зрительская аудитория, а тем самым и доходы от рекламы.

«Общество вседозволенности» сняло такого рода ограничения, и даже бабушки привыкли к жестоким сценам и ядерному языку — хотя наверняка сказанное в большей степени относится к кино, нежели к телевидению. Именно радикальные послабления и сделали возможным показ программ наподобие «Рожденных невинными». Почти никого уже не шокировала передававшаяся по каналам Эй-Би-Си многосерийная комедия «Лесть», в которой зритель встречался с мужем-импотентом и мужем, которого шантажировала его любовница, с матерью и дочерью, попеременно пользующимися услугами жениха, с сыном, мечтающим переменить пол, и, наконец, с ребенком, увлекающимся порнографией. Иным стало само восприятие.

Надо тут сказать, что принципиальная модель любимого в США и экспортируе-

мого во многие страны телевизионного жанра — «семейной комедии» — сохранилась, однако ее содержание и направленность изменились. Некоторые «телесемьи» смешат до слез не только, как прежде, фарсовыми штучками, но и интимностью, выставленной напоказ, а также тем, что некогда называлось скандалезностью.

Что «макабр», а что — нет, что допустимо, а что — нет, всегда вопрос дискуссионный, а критерии тут изменчивы. Взволновавший моралиазаторов спор, стоит ли смириться с тем, что на телевидении будет больше эротики или же пусть там царят преступление и насилие, завершился в свое время прагматическим компромиссом: стали давать больше и того и другого. Однако в начале восьмидесятых годов усилилась противоположная тенденция: американские консерваторы стали бурно требовать «очищения» нравов попкультуры, особенно же в ее телевизионном издании — видимо, того ради, чтобы засорить ее чем-нибудь еще.

Заметим, что рядовой житель во многих странах только на сон отводит больше времени, чем на просиживание у телевизора. В среднестатистическом американском доме телевизор в 1978 году ежедневно работал 6 часов 17 минут, или почти 44 часа в неделю, иными словами, американец проводит у телевизора времени больше, чем на работе. Специалисты утверждают, что телевидение сильнее, нежели школа, влияет на психику детей. Таким образом, телевидение в огромной мере определяет интеллектуальный уровень человека конца XX столетия. Массовая телевизионная культура — политическая, бытовая, зрелищная — формирует национальные привычки, пристрастия, мечты. Люди, не участвующие в телевизионной жизни, выводят себя за скобки конформистского общества, напоминая тем самым пуритан XVII века, которые отказались бы прийти на церковную службу в своей конгрегации. Примером может послужить случай с деревенькой Гленфиннан в Шотландии, жители которой не дали согласия на строительство телевизионной ретрансляционной станции, стремясь избежать перемен в стиле и темпе жизни, связанных с телевидением.

Уже давно в Америке называют телевидение одним огромным электронным комиксом и тем не хотят его похвалить. Определение это становится все менее метафорой по мере того, как и телевидение посчитало, что ему следует удовлетворять спрос зрителей, перенося на экран известные комиксы. Телесеть Си-Би-Эс включила в свои программы комикс, героем которого стал «Капитан Америка», коему была поручена миссия побеждать всех врагов американского образа жизни: комикс в авангарде борьбы за умы.

Уже в «Бегстве от свободы» (1941) Эрих Фромм заметил: идеальный потребитель верит тому, что он видит и что слышит, иначе он потребителем бы не был. Позднее, в семидесятые годы, констатировали, что сериалы, эти «семейные комедии», играют существенную роль в идейном воспитании американских телезрителей. Пол Куртц пришел к выводу, что многие из них «верят во все, что видят, а стало быть, «покупают» также политические и идеологические взгляды».

По мнению Дана Ниммо и Джеймса Э. Комбса, авторов книги «Политика подсознания», соответствующее программирование в сфере культуры снимает социальную напряженность. Они приводят такой пример: в сезоне 1978/1979 годов американское телевидение выпустило передачу «Дедуся отправляется в Вашингтон», в которой пожилой человек, провинциал, олицетворение честности и справедливых суждений, оказывается избранным в сенаторы. Благодаря личным достоинствам ему удается победить бюрократию, сэкономить средства налогоплательщиков, не позволить президенту сорить деньгами.

Передача эта (впрочем, в известной мере напоминавшая классический фильм Фрэнка Капри тридцатых годов «Мистер Смит отправляется в Вашингтон») утверждала в умах зрителей традиционные ценности, давала понять, что недостатки в функционировании механизма власти можно исправить, а тем самым была направлена на укрепление социальной стабильности. Торжество честного человека, действующего в одиночку,— это, к слову, миф, проповедуемый вестернами. Другой миф — идеализация семейной жизни, протекающей в сельском раю или в забавных приключениях; этому посвящено множество сериалов. Ниммо и Комбс в свою очередь обращают внимание на то, что развлекательные передачи в жанре научной фантастики, вроде «Звездного путешествия», подчеркивают стабильность американской Судьбы и американского Успеха, утверждают незыблемость канонов американской поп-культуры, стремятся сделать их вечными, перенося их бог знает куда, в космическое пространство.

К этому относятся одобрительно, хотя в некоторых кругах подобные вещи и вызывают оговорки. На рисунке, помещенном в элитарном журнале «Нью-йоркер» и изображающем супружескую пару перед телевизором, муж говорит жене: «Знаешь что? Дело дошло уже до того, что я, пожалуй, не заметил бы хорошей передачи, даже если бы и увидел ее собственными глазами». Анекдот этот намекал на весьма типичную реакцию интеллектуалов, недовольных низким уровнем телевизионных развлечений. Нью-йоркский профессор Нил Постмен утверждал: телевидение дает симплицистическую версию жизни и поощряет веру в то, что с помощью вмешательства техники (лекарств, стиральных порошков, машин) любую проблему можно быстро и просто решить. Постмен писал об «антиинтеллектуализации» многих передач: люди, обремененные образованием и знаниями, часто выступают в роли отрицательных героев.

Интеллектуалов обвиняют в том, что они чересчур чувствительны и неприязненно относятся к «стерильной жизни среди машин», к числу которых они относят и телевидение; что они мечтают о пасторальном обществе; что хотят подчинить массовую культуру диктату элитарных эстетических критериев. Но это преувеличение. Они всего лишь выступают против

техницизма и отождествления культуры с рекламой, да и то не слишком энергично: выключая телевизор.

На коммерческих телевизионных каналах реклама не дополняет программу, а является составной ее частью. Программа часто строится вокруг рекламных вставок, передаваемых каждые десять—пятнадцать минут. Корпорации, рекламирующие свои товары (автомобили, сигареты, мороженую рыбу, белье или еще что-нибудь), устанавливают, какого рода пьесы, шоу, фильмы, мюзиклы или ревю будут смотреть зрители во время показа рекламы, иначе говоря, во время, ими закупленное. Выбирая, они заинтересованы в привлечении внимания как можно большего количества потенциальных покупателей и клиентов; платя высокие ставки, они хотят быть уверены, что затраченное даст максимальный эффект. В 1980 году самая высокая цена одноминутной рекламы на американском телевидении в часы пик, когда воздействие объявлений наибольшее, приближалась к 500 тысячам долларов. В 1979 году общие поступления на счет всех телевизионных сетей и организаций в США составляли около 9 миллиардов долларов. Это был практически единственный источник доходов телевидения [1].

Так что призывы сократить число рекламных заставок остаются пустым звуком. Точно так же нереалистично требование лишать телекомпании лицензий, если передаваемые ими рекламы непосредственно либо опосредованно влияют на содержание передач.

Анализируя эволюцию американского телевидения, профессор Эрик Барноу пришел к выводу, что коммерческое телевидение не продает своих услуг зрителям (с них оно не взимает никакой платы за просмотр передач), но, напротив, продает зрителей рекламным агентствам и фирмам, которые с их помощью рекламируют свои товары; иначе говоря, зритель — адресат программ в той степени, в какой его нужно заставить поглощать рекламу. Барноу, кроме того, утверждает, что качество телевизионных развлечений намеренно снижается, дабы они не затмили собой привлекательность рекламы, которая имеет более важное значение. Это — дьявольское обвинение, и я не уверен, основательно ли оно.

«Commercials» (рекламные телевизионные вставки) не сводятся к банальному и статичному представлению услуг и товаров. Это — миниатюрные сценки, истории, рассказики, принадлежащие к высшему классу киноремесла, нередко с остроумной развязкой и часто при участии популярных звезд («классик» американской рекламы Гопкинс любил говаривать, что «при ловле клиентов, как и при ловле окуней, не следует показывать крючок»). Вот, к примеру, известный актер Билл Косби кормит многонациональную группку детишек вкусным сладким пудингом; мораль — пудинг для белых и черных, для всего народа. Или вот славный спринтер О. Дж. Симпсон сходит с трапа самолета и мчится через зал ожидания, дабы первым оказаться у стойки фирмы Херц, которая дает напрокат автомобили. А вот бригада замызганных бурильщиков улетает на вертолете с нефтяной скважины в бар, за пивом «хай лайф» пивоваренного завода Миллера.

Демонизировать поведение телевидения не стоит. Но хотя доброкачественных развлечений больше, чем некогда, телевидению приходится, составляя свои программы, приводить их к наименьшему общему интеллектуальному знаменателю, ведь оно с финансовой точки зрения заинтересовано в том, чтобы телеспектакли посмотрела возможно более широкая зрительская аудитория (вкусы и требования которой, кстати, в течение многих лет само телевидение и формирует). Специальные фирмы проверяют, сколько телевизоров включено для приема каждой передачи, на этом основании устанавливается тариф оплаты за рекламу: чем больше зрителей, тем выше плата. Когда у председателя правительственной комиссии по связи спросили, почему в США относительно мало передач высокого качества, он признался, что телевизионные компании, стремясь привлечь всех зрителей, намеренно обращаются к произведениям посредственным; он, правда, выразил надежду, что положение изменится к лучшему, когда возникнут новые телекомпании, которые будут адресовать свои программы более узкой аудитории.

Может ли привести к такому перелому развитие кабельного телевидения? Лоуренс Гроссман, представитель некоммерческой телекомпании Пи-Би-Эс, утверждал, что, расширяя культурные программы, платное кабельное телевидение в состоянии привлечь не более 5% всех зрителей, ибо, по его мнению, существует именно столько людей, наиболее к этому подготовленных. Это слишком маленькая аудитория, чтобы реклама, покупая время в эфире, реально поддержала бы таким образом высокохудожественные передачи.

Президент Си-Би-Эс Уильям Пейли, один из тузов американского телевидения, признал, что в часы пик телевидение передает посредственные программы, и тоже оправдывал это «вкусами массовой аудитории». Как принято говорить, большинство людей включают телевизоры не затем, чтобы *что-то* увидеть, а для того, дабы *что-нибудь* посмотреть. «Почти что у 40% нашего населения невысокий образовательный ценз, и именно из этой группы рекрутируются самые горячие поклонники телевидения,— заявил американский специалист и бывший менеджер ТВ Майкл Данн.— Больше всего времени у телевизоров проводят те, у кого ниже доходы или же ниже уровень умственного развития».

Почему же, однако, на характер программ серьезно не влияет тот факт, что в

---

[1] В 1971—1976 гг. доходы трех крупнейших телекорпораций — Эн-Би-Си, Си-Би-Эс и Эй-Би-Си — возросли на 192%, то есть вдвое больше, нежели средние доходы всех американских корпораций. В 1979 году чистые доходы этих телестанций (после уплаты налогов) составили 358 млн. долларов. *(Прим. автора.)*

Соединенных Штатах число выпускников высших учебных заведений в возрастной группе старше 25 лет в 1980 году увеличилось в сравнении с 1960 годом вдвое и составляет 16%? Экономист Эли Гинзберг из Колумбийского университета подсчитал, что в результате резкого увеличения числа выпускников колледжей и университетов в США каждый четвертый занятый принадлежит к числу людей так называемых свободных профессий либо же работает менеджером. Впрочем, примерно так же выглядит ситуация и в других развитых странах Запада. В этой связи возникает вопрос: массовая ли культура не поспевает за прогрессом образования или же, напротив, система образования во многих отношениях приспособилась к стандартам поп-культуры, как считает профессор Гетис?[1] И нет ли в таком случае достаточных стимулов для пересмотра принципов составления программ?

В 1979 году было отмечено уменьшение количества телезрителей: оказалось, что 53% американцев проводит у телевизора меньше времени, чем пять лет назад (правда, выяснилось также, что 35% опрошенных чаще смотрели телевизор, чем в 1974 году). Падение интереса отмечалось прежде всего в более состоятельных и образованных слоях, или (с точки зрения рекламы) у потенциально самых ценных потребителей; и группа эта притом обосновывала свое нежелание смотреть ТВ ссылками на невысокое качество программ.

Было бы все же неверно подозревать, что здесь нет никаких перемен. Программы учитывают ту переоценку ценностей, которая происходит в американском образе мышления. По данным исследований, проведенных на рубеже 80-х годов по поручению Общества американских газетных издателей, давние пуританские идеалы — самоотречение во имя лучшего будущего, напряженный труд как добродетель, ханжество в сексуальных вопросах, приверженность к традиционным образцам — частично обесценились. Зато поднялась в цене тяга к «самоутверждению», «самовыражению». Но изменилось не все. В ноябре 1980 года самой популярной передачей был признан очень хорошо сделанный детективный сериал «Даллас»[2], второе за ним место заняла сентиментальная поделка «Любовная лодка», а за ней — «семейные комедии».

Рут Брэндон из английского телевидения, ссылаясь на мнение группы британских ученых, просматривавших передачи, писала, что западные средства массовой информации — в том, что касается программ и методов работы,— в огромной степени американизированы. «Американцы открыли или приспособили их для своих целей, а мы все по тем или иным причинам переняли американские формы, чаще же всего потому, что это окупалось с финансовой точки зрения,— утверждала миссис Брэндон.— Кое-где еще встречаются маленькие анклавы английского и французского влияния, но в целом американцы победили».

Самокритичные оценки французов не многим разнятся от американских и английских. «Монд дипломатик» назвал французское телевидение «мельничкой, которая все перемалывает в порошок». Парижский еженедельник считает, что оно навязывает «позицию бессмысленности». В сущности говоря, нарекания эти уже отдают схематизмом, и они бесплодны: диагнозов полным-полно, но вот как лечить больного?

Размышляя над отрицательными сторонами пропитанных духом наживы телевизионных развлечений, давайте не будем повторять вопроса, поставленного в 1750 году на конкурсе, объявленном Академией во французском городе Дижоне: «Способствовали ли успехи наук и искусства (сегодня мы могли бы добавить — «а также телевидения») порче или же улучшению нравов?» Тогда правильный ответ был дважды «нет», то есть ни порче, ни улучшению, поскольку считалось, что моральные ценности нерушимы. Сегодня мы сказали бы, что нравы портятся и без телевидения, но вот улучшаются ли?..

## Потерянный рай

Итак, перед нашими глазами бесконечный поток действий и процессов, в которых проступают черты поп-культуры: игра и астрология, реклама и религиозные искания, государственная власть и бизнес, мятеж и развлечения,— не поразительно ли, как верно массовая культура сопровождает события, как быстро находят они в ней свое отражение?

В сущности говоря, массовая культура стала зеркалом перемен в сфере общественной жизни. Явления поп-культуры вышли за традиционные границы литературы и искусства. Они касаются всего образа жизни, моды, верований и обрядов, рекламирования и сваливания кумиров, самоопределения личности, поисков людьми и народами своей сущности.

Связь массовой культуры с повседневным бытом мира отличается при этом всеми чертами обратной связи: она оказывает определенное влияние на смысл, ход и последствия событий. Так порой представления реальности становятся сильнее самой реальности. Можно было бы сказать, перефразируя известное выражение, что в подобных случаях сознание определяет быт. Мы были свидетелями того, как к господствующим культурным представлениям приспосабливаются политики, которые, стремясь застраховаться, прибегают к советам ворожей или же напяливают на себя в ходе избирательных кампаний маски. Мы видели, что требованиям этим подчиняются кандидаты в пророки и их последователи, руководители рекламных фирм и фабриканты белья.

Поп-культура обладает необыкновенными способностями применяться к обстоя-

[1] См. главу «Вид с Вавилонской башни». *(Прим. автора.)*

[2] Американское коммерческое телевидение может похвастать профессиональным и техническим совершенством. Сценарии бывают разные, но исполнение должно быть идеальным. Очень интересны и разнообразны также информационные программы. *(Прим. автора.)*

тельствам. Она со всеми братается, всюду пускает свои корни, даже на континентах, традиции которых против нее восстают. Она поглотила молодежную контркультуру, рожденную протестом против жизни, пропитанной духом коммерции, и превратила ее в коммерческий товар, прямо по старому американскому принципу: «Быть иным — значит быть неприличным». Грезы о величии она превратила в миф о Кинг Конге. Она взяла под свое крыло и обезвредила бунт хиппи. Она вызвала к жизни стойкие схемы и структуры, заполняя их все новыми фигурами и сюжетами. Может, потому она и стала частью официальной культуры. Она безопасна. Ее поддерживают музеи и фонды. Разве она угрожает музам? Дотации на художественное творчество, кажется, говорят о том, что они могут сосуществовать.

Массовая культура, идущая с современностью настолько в ногу, что она смеется над жизнью, не поднялась, однако, на такой уровень, который позволил бы ей смеяться над собой. Стиль массовой культуры ближе всего духу спорта, игр и забав. Но и ее также терзают сомнения относительно того, действительно ли жизнь так совершенна, как верили в это прежде; и она тоже своим манером пытается выбиться из оков конформизма и намекает на то, что жизнь в мечтах лучше реальной жизни.

Когда-то считали, что перед лицом упадка религии и релятивизма науки культура возьмет на себя задачу — ни больше ни меньше — спасения человечества. Казалось также, что в будущем культуры зашифрованы гены прогресса, а прогрессом называли обычный путь вперед по указанному уже пути.

И вот рай потеряли еще прежде того, как приблизились к нему. Опыт разбил иллюзии, а заботящаяся о прагматизме (может, оттого, что коммерческая?) массовая культура тоже не сумела полностью избежать их. Из-за этого-то она оказалась набитой многосерийным катастрофизмом и играми в смерть, показав тем самым, как рушится эсхатологическое мышление, мышление о вещах конечных: с шумом, со скандалами, в стиле оперетки. Подражая авангардному искусству или же паразитируя на традиции, поп-культура как бы по самой своей природе тянется к халтуре.

Но те, кого кормят такой пищей, начинают любить ее. Она становится для них образцом. Это замыкает круг, из которого многие ее потребители не выбираются и выбраться не хотят; это побуждает аплодировать серости и посредственности, снижает требования, предъявляемые к культуре. Не только Ортега-и-Гасет вспоминал в этой связи о «профессионале-варваре», который в своем деле отличный специалист, но в иных вопросах отличается взглядами «дикаря». Это обратило на себя внимание и Достоевского: он говорил, что знает людей, которые, будучи хорошими специалистами, остаются тем не менее необразованными. Еще раньше об этом же писал Маркс.

И возможно, это самое серьезное обвинение, предъявляемое массовой культуре,— она способствует формированию «одномерного человека».

В свою защиту она выдвигает бесспорную истину: ход событий столь стремителен, что стало просто физически невозможным заполнить всю духовную сферу культурой более высокого свойства. В свою защиту она говорит также, что удовлетворяет многие людские желания. Отрывает их от повседневных забот, утоляет информационный голод, утишает страхи и смягчает комплексы, снимает нервное напряжение. В ее объятиях находят утеху и забвение люди измученные, страдающие из-за несбывшихся надежд, нереализованных возможностей и неоправдавшихся мечтаний.

И разве это не лучшее напоминание о том, что неопределенность, противоречивость, двусмысленность тоже составляют часть реальной действительности?

◆

# Наши гости

## *Маргарет Дрэббл, Фрэнсис Кинг, Пенелопа Лайвли, Фэй Уэлдон, Майкл Холройд, Мэтью Эванс* (Великобритания)

Гости нашего журнала — члены делегации английских писателей, участвовавших в сентябре 1984 года в двусторонней встрече с советскими коллегами, в рамках которой проходила дискуссия «Литература и общество». Они приехали к нам в страну впервые; их произведения широко известны на родине и за рубежом — без них так же трудно составить себе представление об английской послевоенной культуре, как без романов Грина, Голдинга, Уэйна, пьес Осборна и Бонда, стихов Теда Хьюза, Филипа Ларкина и Дугласа Данна.

«Его проза,— писала о Фрэнсисе Кинге литературовед Изобел Мюррей,— лишена слащавости и сентиментальности. Она искрится юмором и одновременно трагична, каждое слово продуманно. По ней вы можете сверять ваши представления о том, как в литературе уживаются правда и вымысел». Мы пока знакомы с творчеством Кинга по рассказам, публиковавшимся в периодике и в антологиях; Маргарет Дрэббл знаем пока только по ее роману «Один летний сезон». Знакомство с Фэй Уэлдон, Пенелопой Лайвли и Майклом Холройдом предстоит в будущем: так, в 1985 году в издательстве «Радуга» выйдет роман Уэлдон «Подруги» и рассказы.

Мэтью Эванс, председатель правления крупнейшего издательства «Фабер энд Фабер», один из инициаторов проведения англо-советской встречи в Москве, сопредседатель дискуссии «Литература и общество», умно и тактично «дирижируя» своими коллегами вместе с сопредседателем с советской стороны — Феликсом Кузнецовым, руководил чрезвычайно открытой, содержательной, порой даже бурной беседой за «круглым столом», проходившей в Союзе писателей СССР. И вполне естественно, что, когда члены делегации перед отъездом на родину пришли к нам в редакцию, они часто затрагивали темы, обсуждавшиеся в ходе дискуссии. Но наш первый вопрос — традиционный: что больше всего запомнилось из увиденного и услышанного за истекшие десять дней?

*— Я и мои коллеги первый раз в Советском Союзе. Мелвин Брэгг, член нашей делегации, был уже в Москве — он, к сожалению, не смог прийти сегодня с нами,*— говорит Маргарет Дрэббл. *— Мы знаем куда меньше о вашей стране, вашей культуре, чем вы — о нас. Я приехала — позволю себе такой легкомысленный оборот — из любопытства. Хотелось увидеть ваши города, услышать, о чем говорят ваши писатели, понять, какими заботами живут русские. Сначала меня поразило, насколько Москва непохожа на Лондон: улицы чистые, нигде ни клочка газеты, ни окурка, ни обрывка плакатов, вечером тебя не терзает это ужасающее, кричащее мигание реклам, миллиарда неоновых глаз, а днем тебя не обступают со всех сторон плакаты, афиши, размалеванные щиты. Спокойнее чувствуешь себя — глаз отдыхает; не знаю, может это лишь поначалу так.*

*— Конечно жаль, что у нас было мало времени, правда, программа была столь насыщенной, что нам казалось — время раздвинулось,*— продолжает Фэй Уэлдон.— *Неудивительно, что Мэтью Эванс сказал своим домашним по телефону: «Я третий день в Москве, а как будто бы три месяца». Вы очень похожи на нас, попросту мы одинаковые. Мне очень интересно было беседовать с женщинами, наверно, это уже в силу моих профессиональных пристрастий, ведь я пишу книги о своих современницах, у нас это называется феминистской литературой, вы, правда, вкладываете несколько другой смысл в этот термин. Так вот, я убедилась — женские проблемы везде одни и те же, конечно, вы более контактны, более общительны, в вашей стране у женщин больше возможности проявить себя.*

*— А мне было приятно убедиться, как бережно вы относитесь к своему прошлому, и дело не только в том, что у вас прекрасные музеи, мемориальные комплексы, старинные здания, храмы, а в том, что прошлое живет в настоящем, оно неразделимо с ним,*— говорит Пенелопа Лайвли.

*— Мне кажется, по тому, как мы относимся к памятникам прошлого,* — говорит Фрэнсис Кинг,—*можно судить о степени верности нашим истокам, культуре и истории своего народа. Мы побывали в доме-музее Чехова в Ялте. Минуты, что я провел в его комнатах, смотрел его записи, сосредоточенная тишина и тиканье часов в его кабинете подействовали на меня, может быть, больше, чем услышанное и увиденное за все эти дни. Я написал пятнадцать романов и пять сборников рассказов, но тем не менее я писатель малого жанра, да и, судя по мнению критики и читателей, «мой жанр» — рассказ. Я очень люблю Антона Чехова, считаю, что есть три великих драматурга — Шекспир, Ибсен и Чехов.*

*У нас в доме-музее Киплинга в Суссексе будто поселились холод и молчание, в ялтинском домике Чехова — ощущение умиротворения, покоя, и посетители, приходящие туда, не нарушают этой атмосферы.*

*— Я согласен с Уэлдом,* — говорит Мэтью Эванс,— *в сущности, мы очень похожи: у нас одинаковые заботы и тревоги, надежды и устремления. Мы так же, как вы, принимаем близко к сердцу происходящее с другими, да и чувство юмора у нас одинаковое.*

*— Помню, Уильям Фолкнер читал както лекцию в университете в Токио,* — подхватывает Фрэнсис Кинг,— *и по ходу своего выступления он стал пересказывать какую-то довольно длинную историю, которую переводчик синхронно переводил. Фолкнер недоумевал: после каждого переведенного периода собравшиеся дружно смеялись. Лекция кончилась, и писатель спросил у переводчика, почему студенты веселились, неужели им действительно было смешно, а тот ответил, что он сразу же предупредил их, что история, которую рассказывает Фолкнер-сан,— очень смешная. Но у нас с вами, к счастью, нет такого психологического барьера, который мешал бы видеть в смешном смешное, а в горестном — горестное. Поверьте, мы смеемся вашим шуткам и соглашаемся с вами не из вежливости.*

И вот разговор по существу: рассказ о своем творчестве и творчестве своих коллег; о тех жанрах, которые давно уже обрели гражданство в большой литературе,— документальной прозе, теледраматургии, о мемуарной и биографической литературе; о ностальгии по викторианской эпохе как противовесе веку вседозволенности; о традиционном романе и «новой прозе».

«Знаете, если бы мне пришлось уехать за границу на шесть месяцев, я просто погибла бы, что называется, расползлась на куски, потому что работа за письменным столом и мои домашние дела неразрывны. Так уж сложилось, что я сажусь за стол в половине девятого, когда дом затихает, а я совершенно измотана детьми. Но так длится годами, теперь не перестроишься. Я пишу не больше двух часов в день, исключения бывают, лишь когда книга близится к концу или когда судьба посылает мне суровые испытания»,— сказала однажды в одном из своих интервью Маргарет Дрэббл. Интересно, выбила ли ее из колеи эта поездка?

*— Вернусь — пойму. Ритм — вещь необходимая, но ведь надо мир видеть, чтобы знать, о чем пишешь. Сейчас заканчиваю новую редакцию литературного справочника «Оксфорд компэнион», дополненного и переработанного: дополнила его данными о писателях последнего времени, статьями о литературных движениях, направлениях, школах. Это очень большая работа.*

Филологические штудии — будь то монографии и беллетризованные биографии Томаса Харди, Вордсворта и Арнольда Беннетта — органическая составная творчества писательницы, автора романов о судьбе женщины: «Жернов», «Золотой Иерусалим», «Водопад», «Сквозь игольное ушко» и социальных романов: «Ледяной век», «Ничья земля», рассказов, телевизионных пьес. «Не пишу экспериментальных романов, которые прочтут лет через пятьдесят и скажут: что ж, она угадала, к чему придет литература. Мне это вовсе неинтересно, по мне, лучше быть верной древней традиции которую я люблю, чем стоять у истоков чего-то нового, что мне чуждо... Я пишу о своих современниках, о своих сверстниках»,— эти слова Дрэббл предпослала сборнику ее рассказов, вышедшему несколько лет тому назад в Японии.

*— Сейчас задумала новый роман, пока не буду говорить о нем,* — сказала Дрэббл.

Фэй Уэлдон родилась и воспитывалась в семье литераторов, от войны бежала в Новую Зеландию.

*— После войны я вернулась в Англию, получила образование, изучала экономику и психологию. Писать начала несколько позднее. По призванию я драматург, точнее теледраматург. Писала пьесы; к сожалению, в нашей стране, особенно женщине, не так легко быть драматургом. У меня опубликовано несколько романов, сборников рассказов. По моему последнему роману, «Жизнь и любовь дьяволицы», сейчас на Би-Би-Си снимается телефильм.*

Рут никогда бы не поверила, что она — женщина-дьявол; жила себе тихо и терпеливо в пригороде большого города, воспитывала детей, да и на вид — тяжеловесная, с отвислым подбородком, какая уж там дьяволица! Но случайно она узнала, что у ее мужа роман с молодой богатой писательницей, которая с головокружительной легкостью выпускает на свет божий книжки-бестселлеры. И Рут «преображается»: она превращает в руины семейное гнездо. отбирает у мужа все деньги, заводит интрижку с местным пьянчужкой,— словом, пускается во все тяжкие, чтобы отомстить мужу.

«Эта книга,— писала критика,— язвительная, беспощадная комедия нравов; традиционный поединок между мужчиной и женщиной в ней показан удивительно своеобразно.. Новая книга миссис Уэлдон — новая победа одной из наших самых одаренных писательниц».

Хочется привести тут слова Фэй Уэлдон, которыми она откликнулась на проблему «Писатель в роли комментатора обществен-

ного развития. Несет ли писатель социальную ответственность?», живо дискутировавшуюся во время «круглого стола».

*«Роль писателя — не в том, чтобы охранять общество, в котором он живет, а в том, чтобы бороться и тем самым менять людей. У нас есть обязанности как перед обществом в целом, так и перед каждым его членом: мы должны говорить правду о мужчине, о женщине, писать о том, во что веришь и что видишь. Конечно, мы все жаждем мира на земле и у себя дома, это неразрывно связанные вещи.*

*Я начала писать, потому что не могла смириться с положением женщины в нашем обществе — она в два раза больше работает и вдвое меньше получает, чем мужчина. Это было двадцать лет назад — я писала пьесы, романы, телесценарии в которых призывала женщин к бунту. Тогда меня считали опасной, чуть ли не антиобщественным элементом, говорили, что я пугаю людей. Когда я приходила к кому-нибудь в дом, другие гости торопились уйти. А я ведь ничего опасного не делала: писала о том, что видела вокруг. Люди боялись перемен, в переменах им чудились катастрофа, солнечное затмение. Но я продолжала писать; перемены постепенно наступили, пусть пока не в реальности — положение женщины осталось по-прежнему ужасающим,— а в психологии людей, но и это много!*

*И солнце не исчезло с неба! Сейчас меня не только приглашают на ужин, но мужья даже разрешают своим женам беседовать со мной.*

*Мне кажется, писатели имеют одного противника — страх. Страх перед тем, что подумают другие, страх показаться глупым, страх за свою карьеру, страх, что его не поймут. Нужно быть мужественным, чтобы избавиться от этого. И второй противник — соблазн. Соблазн писать так, как принято; только чувство собственного достоинства может помочь противостоять этому соблазну».*

Что такое массовая литература на Западе? Этот вопрос годами дискутируется в прессе и на симпозиумах. Под массовой литературой чаще всего понимают книги невысокого художественного уровня, но высокого читательского спроса. Уэлдон говорит, что у нее несколько иной подход к оценке роли массовой литературы, «*может быть, потому, что мы больше верим в здоровую природу нашего читателя, и еще потому, что, когда, к примеру, мы смотрим фильм, в котором сжигают человека, мы не обращаем внимания на то, как это сделано, а думаем: почему же до сих пор в мире возможно такое?! К читателю можно относиться так, как отец относится к своему ребенку: он торопится оградить его от зла, привить свое понимание добра, и тогда, надеется он, ребенок вырастет таким же хорошим, как он сам. А можно относиться как мать: она портит свое дитя, но уверена, что он все равно хороший, хороший по своей природе...*»

Имя Фрэнсиса Кинга пока мало знакомо советскому читателю; сейчас в библиотеке журнала «Иностранная литература» готовится сборник его рассказов.

«Его книги — летопись наших потерь и разочарований, печалей и утрат»,— так отозвался о нем английский писатель Гордон Паркер. Признанием таланта Кинга-новеллиста стало присуждение ему премии Сомерсета Моэма и Кэтрин Мэнсфилд.

Прозу Кинга отличают неспешная, раздумчивая интонация, внимание к самым малым, вроде бы незначительным деталям, в ней отчетливо проступают мудрое понимание необратимости событий, стоическое отношение к утратам. Кинг может быть лиричен, может быть беспощаден. Он создает свои персонажи не для того, чтобы персонифицировать абстрактные категории Добра и Зла, а просто чтобы поведать о своих современниках. И в жизни он такой — нешумный, спокойный, внимательный человек, за плечами которого долгие годы работы в разных странах мира; этот опыт позволяет ему четко и быстро ориентироваться в ситуации, в характере собеседника.

*— После романа «Деяния тьмы» я приступил к работе над очень важной для меня книгой «Голоса в пустой комнате». Теперь пишу в основном о своих соотечественниках, хотя в последнем сборнике рассказов «Методом перевода» мои герои — итальянцы и греки, японцы и американцы, я ведь до сорока пяти лет жил за пределами Англии: родился в Швейцарии, вырос в Индии, работал в Греции, Египте, Франции и в стране, которую я больше всего люблю,— Японии.*

*Наша встреча в Москве была чрезвычайно полезной и для нас, и, полагаю, для советских участников. Многие беды в мире проистекают от нашей неспособности, а порой от нежелания разобраться, что движет другими людьми. Писатель обладает такой способностью — понять, что думают и чувствуют люди в тех или иных обстоятельствах. Толстой рассказал нам о том, что приходится пережить и перенести женщине, изменившей мужу; Достоевский в «Преступлении и наказании» показал чувства человека, совершившего преступление. Так расширяется наше представление о человеке. Если мы поймем себя, поймем другого, мы сможем разобраться в происходящем, найти путь к преобразованию общества, устранению социальных пороков.*

*В России в силу исторических и общественно-политических условий — я имею в виду отсутствие демократических свобод в царской России — писатель всегда был не просто комментатором событий, но носителем новых идей. В Англии роль писателя более скромная, хотя известно высказывание, что по книгам писателей прошлого века, к примеру Шарлотты Бронте, мы узнаем куда больше об английской семье, о роли денег, о стремлении к власти, о механизмах отношений в викторианском обществе, чем мы узнали бы из работы историка или социолога.*

*Мои современники-романисты тоже помогают нам постичь происходящее в мире, и прежде всего Грэм Грин. На мой взгляд, это выдающийся писатель, мы, литераторы, многим ему обязаны. Чрезвычайно талантливы Уильям Голдинг, Дорис Лессинг. Но*

*конечно, не только масштабное, эпическое произведение увеличивает наше знание о себе; рассказ, сколь частным и камерным ни был бы его сюжет или материал,— тоже ведь микросрез нашего мира.*

*— В этом плане показателен удивительный интерес к мемуарной литературе,*— говорит Майкл Холройд, автор книг «Литтон Стрэчи — годы достижений», «Гений Шоу».—*Оскар Уайльд сказал однажды, что нам, писателям, выпал жребий иметь своих учеников и своих иуд, которые пишут наши биографии. Я же искренне считаю, что биографии, или жизнеописания, наших великих предшественников не только плод историко-документальной работы, но и художественного творчества. Сейчас снова пишу книгу о Бернарде Шоу. Почему снова? Потому что, возвращаясь к этой выдающейся личности, всякий раз хочу дополнить, пересмотреть, уточнить написанное.*

Т. С. Элиот считал, что биография — это болезнь английской литературы; пожалуй, ни одна литература не может похвастать такой богатой, плодотворной традицией. Достаточно вспомнить «Историю Ричарда III» Томаса Мора, исторические хроники Шекспира, биографии и исторические романы, написанные Сэмюэлем Джонсоном, Вальтером Скоттом, Томасом Карлейлем, Уильямом Теккереем, Энтони Троллопом, а в наши дни — Дж. Б. Пристли, Сомерсетом Моэмом, Джоном Уэйном, Мюриэл Спарк, Энгусом Уилсоном. Простое перечисление имен служит ярким доказательством, что этот жанр литературы, к которому обращались лучшие писатели Англии, не нуждается в защите. Но понятно огорчение Майкла Холройда по поводу того, что «многие современные биографии — суть подтасовка и умалчивание фактов жизни», что «ни в одном колледже или университете, ни на филологическом, ни на историческом факультете не читают курса лекций по истории этой литературы».

*— Она как бы изымается из конкретно-исторического, ретроспективного освещения нашего прошлого, поскольку ученые считают, что книги подобного разряда ненаучны, а в летопись нашего духовного наследия они почему-то тоже не очень часто включаются. А жаль. Помните, что сказал Джонсон? Можно написать биографию даже половой щетки. Или мочалки. Потому что человеку естественно стремление познать мир, в котором он живет. Уверен, путь, по которому идет традиционный роман, путь сближения вымысла и факта, воображения и эссеистики, по-настоящему плодотворен и перспективен. И биографическому роману сегодня принадлежит в нем видное место.*

Пенелопа Лайвли в свою очередь говорит о пользе мемуарной и документальной литературы для молодежи:

*— Это чуть ли не единственный способ для молодого человека узнать о себе, своем прошлом, своих корнях. Мой последний роман — о биографе, человеке, который пытается понять, существует ли истина о жизни другого, допустимо ли тайное делать явным...*

На нашу просьбу рассказать о книгах, посвященных молодежи и подросткам, о проблемах нового поколения англичан наши гости привели в качестве симптоматичного примера книгу Джереми Сибрука, в которую вошли интервью юношей и девушек, окончивших школу, но не сумевших найти себе работу. Безработица, наркомания, преступность, девальвация духовных ценностей — таковы, к сожалению, сегодня проблемы западной молодежи. Об этом пишет, к примеру, и Бэрри Хайнс в своих книгах «Кес», «Взгляды и улыбки». Фэй Уэлдон считает, что панацея от этих бед — серьезная литература; «наша главная забота — заставить молодежь взять в руки книгу», и тогда будет легче внушить ей, что уныние и цинизм — дурные помощники в минуту испытаний, что испокон века во имя добра гибли великие цивилизации и умирали великие поэты,— ибо на этом, и только на этом, держится мир. Творчество писателей, недавно пришедших в литературу — Грэма Свифта, Уильяма Бойда, Питера Акройда, Аниты Брукнер, Джона Фуллера,— помогает завоевывать читателей среди молодежи, несмотря на конкуренцию «новой цивилизации» видеокассет, дискотек, игровых автоматов, ЛСД, ночных клубов, коммун хиппи и прочее, и прочее.

Всего три часа провели английские писатели у нас в редакции, всего десять дней — на советской земле. Конечно, очень мало, но наше знакомство не исчерпывается этими часами — они оставили свои книги, а книги участников дискуссии «Литература и общество» Владимира Солоухина, Ларисы Васильевой, Екатерины Шевелевой, Бориса Можаева, Григория Бакланова и книги своих соотечественников, изданных в СССР,— прозу Сида Чаплина и Энгуса Уилсона, Элизабет Боуэн и Сьюзен Хилл, Джеймса Джойса и Вирджинии Вулф — увезли с собой. Вероятно, в недалеком будущем выйдет совместная книга — материалы встречи английских и советских писателей в Москве. А через год-два предстоит вторая встреча в Лондоне.

**А. НИКОЛАЕВСКАЯ**

◆

# К нашим иллюстрациям

## Солнечное жизнеощущение

Искусство Вьетнама у нас знают и любят. Впервые советские люди познакомились с ним в 1958 году по обширной и представительной экспозиции на Выставке изобразительного искусства в московском Манеже. Помнится, какое впечатление произвели тогда на любителей живописи и профессиональных наших художников сверкающая насыщенная палитра вьетнамских лаков, нежная поэтическая гамма акварели на шелке, своеобразные работы маслом, графика, многое взявшая от народного лубка, а главное — органичное слияние в творчестве вьетнамских мастеров революционной, романтической окрыленности с какой-то особой простотой и человечностью, умением разглядеть истинную красоту и поэзию в, казалось бы, повседневных проявлениях людского труда и жизни, в окружающей испокон века и вроде бы такой привычной для глаза вьетнамца родной природе.

С тех пор прошло больше четверти века — немало состоялось у нас выставок вьетнамских художников, работы их появились в фондах музеев, издавались альбомы, книги об искусстве Вьетнама, были публикации в прессе. Не раз представлял своим читателям вьетнамскую живопись и традиционное искусство и журнал «Иностранная литература».

В этом номере читатели встретятся с новыми именами. Открывает наш маленький вернисаж написанная маслом картина Нгуен Чунга «Мать и сын». Работам его присущ неповторимый лиризм, раздумчивый и светлый. Кисть его как бы останавливает быстротекущее время, давая зрителю возможность подметить и оценить мимолетности и оттенки, открытые в нехитром на первый взгляд и столь часто встречающемся сюжете. Мир и покой нисходят на нас с полотна Нгуен Чунга, и мы понимаем: нет, это не просто «настроение», а многозначащий символ — ведь так недавно обрела покой многострадальная земля на Юге Вьетнама, где родился и вырос художник и где столько лет полыхала и гремела война. Нгуен Чунг был участником этой войны, вместе со многими своими собратьями боролся против американских интервентов и их сайгонских прихвостней. Художник еще молод, но он уже сложившийся, зрелый мастер. Это понимаешь сразу, познакомившись с ним и его картинами. Поражает его колористическое искусство и тонкая передача света: кажется, фигуры на его полотнах светятся изнутри. Нгуен Чунг еще и прекрасный график, особенно хороши его карикатуры, шаржи, в которых скупыми лаконичными средствами он достигает удивительного юмористического эффекта и психологической «подлинности».

Солнечным светом и теплом пронизана и написанная маслом картина Май Ван Ке «Рыбный базар». Мастерски распределенные «удары» белого цвета на приглушенном яростными лучами солнца синевато-терракотовом фоне создают чистое мажорное звучание, как бы заставляющее двигаться в едином ритме десятки людей — покупателей, носильщиков, продавцов. И чудится: звенят голоса, выкликивающие названия диковинных рыб, огромных и малых, блистающих жемчужной чешуей, видятся где-то вдали рыбачьи шаланды, рокочет прибой...

В манере деревенского лубка из Донгхо выполнен эстамп Нгуен Фана «Счастливое детство». Традиционны и штрихованный фон, и истинно вьетнамская гамма цветов — оранжево-желтый, кирпично-красный, коричневый, оливково-зеленый, и даже сам сюжет — детские игры. Но приглядимся: тут уже не «пустые забавы». Дети мал мала меньше играют в школу. А это уже деталь новой жизни, рожденной революцией, сорокалетие которой будут праздновать в нынешнем августе.

И наконец, написанный акварелью на шелке «Портрет молодой девушки» Чан Донг Лыонга. Как созвучны задумчивое, чуть печальное выражение ее лица и простая, изящная поза с прозрачным фоном картины и мягкой белизною костюма. Как гармоничны черты лица и пропорции фигуры. Конечно же, художник не стремился создать некий национальный тип красоты, но меня, человека, не раз бывавшего во Вьетнаме, не оставляет мысль, будто мастеру удалось воплотить в чертах этой девушки красоту, грацию и сердечность, отличающие ее соотечественниц...

Всем четырем картинам нашего вернисажа присуще ясное, светлое жизнеощущение, возникающее обычно с приходом весны. И сознаемся, работы эти выбраны не случайно. Ведь лунный Новый год по старинному вьетнамскому календарю уже наступил, с ним началась и весна. Пусть же дыхание ее и для нас станет предвестием наступления весенней поры.

**МАРИАН ТКАЧЕВ**

# Среди книг

## Издано в СССР

### АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ И ЕГО ПОЭЗИЯ

**Андрей Германов. Избранная лирика. Перевод с болгарского. Составление Л. Дымовой. Вступление Нила Гилевича. Москва, «Радуга», 1984.**

Есть японский фильм о человеке, который на беду узнал правду о своей роковой болезни. По суждению врачей, ему остается жить не более полугода. Как достойно и полно прожить это время? — вот вопрос вопросов.

Мой добрый знакомый (для меня было бы гордостью сказать — друг) болгарский поэт Андрей Германов остро чувствовал стесненные рамки своей жизни. Это был последний период его короткой жизни. Чувство уходящего времени усилило в нем все то, что было заложено в этом необыкновенно талантливом, щедро одаренном природой человеке — поэте, переводчике, художнике. Окружающие не чувствовали ущербности или ущемленности Андрея Германова, хотя понимали трагизм каждого его дня.

Сам же поэт оставался таким же естественным, как всегда. Иное дело — каких усилий стоило ему т а к себя вести среди людей, т а к общаться с ними. Здесь в полной мере сказался глубокий артистизм этой натуры, истинное ее благородство, подлинное жизнелюбие:

...перед тем, как в смертный хлад
шагнуть,
хочу под нежным солнцем отогреться.

*(«Я столько пережил...», перевод Ю. Мориц)*

Он прожил 49 лет. Жил напряженно, в постоянных поисках сути и способов выражения ее. Одна из последних книг лирики Андрея Германова названа беспощадно-верно — «Самоубийственно живем». Передо мной портрет поэта, вглядываюсь в него. Лицо тонкое, открытое, красивое, вдумчивые глаза под черными бровями, вьющиеся, тронутые сединой волосы. Он на минуту отвел глаза от бумажного листа, с тем чтобы честно взглянуть в глаза своему читателю. И он с любовью смотрит в них после своего ухода из жизни.

Одной из самых привлекательных черт лирики Андрея Германова, по крайней мере для меня, является ее зеркальное соответствие судьбе поэта:

И что б там обо мне ни говорили,
живя в труде, в печалях и грехах,
всю жизнь свою стихами повторил я.
судьбу свою я выдохнул в стихах.

*(«Не ведаю я, что стихи рождает...», перевод Р. Рождественского)*

От упоения жизнью до «недуга бытия» (по словам Баратынского) — все это мы найдем в стихах Андрея Германова. О простодушии и глубокомыслии, о смерти и вечности, о завтрашнем, зарождающемся сегодня. Рядом с безмерностью желаний — ограниченность возможностей, рядом с приобретениями — потери, к которым надо быть готовым в большей степени, чем к приобретениям. Поэт — мост между двумя берегами: реальностью и мечтой.

Я — мост.
Я — седеющий каменный мост.

Стар мой стройный пролет,
моя крепкая грудь истоптана
пятками и копытами...
Я — мост, живая история.

*(«Мост», перевод П. Вегина)*

Воспаленным телом живой истории чувствует себя поэт. Слово названо — история. Эпитет верен — живая.

Обычно переводчики, участвуя в той или иной книге, тем самым как бы лишают себя права судить о ней. Нарушаю этот обычай и пишу о книге Андрея Германова «Избранная лирика», участвуя в ней в качестве одного из переводчиков ее (вместе с Л. Дымовой, Р. Рождественским, О. Шестинским, Р. Казаковой, Е. Винокуровым, Ю. Мориц, П. Вегиным и др.). Все мы переводили стихи нашего болгарского собрата по долгу сердца, в силу пристрастия к его поэзии. И я взял в руки перо рецензента с тем же чувством, с каким задолго до этого — перо переводчика: стихи Андрея Германова, его жизнь, его личность, его драму, его прекрасное качество человека и художника должно узнать как можно большее число наших людей. И эти краткие заметки можно рассматривать как письмо к читателю, любящему Болгарию и ее поэзию.

Германов умел описывать — был пластичен. Он знал цену напевности — мелодика была присуща ему органически. Он не выискивал мыслей, они его одолевали, потому что он размышлял о судьбах современного мира. У него действуют все три времени: настоящее, прошедшее, будущее. Германов не уверен в своем будущем — скромен был, совестлив. Автор вступительной статьи к книге Нил Гилевич совершенно прав в своем определении главного и характерного в облике поэта: «Прежде всего это так называемая гипертрофия совестливости — черта, которую в наш трезво-практический и жестокий век многие считают чудачеством». Здесь все верно, кроме слова «гипертрофия». Можно говорить в иных случаях о недостатке совестливости, но об ее излишестве — вряд ли. На этой «гипертрофии» держится литература.

Нил Гилевич отметил и процитировал, вероятно, самое воспаленное стихотворение книги — «Надпись на камне». Я много раз перечитывал его. Оно потрясает. Оно начинается с отточия — строкой с малой буквы, словно до этого текла речь, но оборвалась. Привожу самые важные окончательные строки ее:

...была моя жизнь коротка и была
тяжела.
Хотелось мне добрыми сделать других —
но не был я добрым к себе.
Дешево продавал, дорого покупал.

Какова сила самоуничижения! Ею жива только великая поэзия.

Был я чрезмерно серьезен во всем,
игру принимать не желал. Ошибка.

Еще далее:

Правду говорил я с улыбкой,
но самым отъявленным подлецам
(прости меня, господи, за деликатность!)
сказать не посмел:
нельзя обижать человека.
Какая ошибка! Боже, какая ошибка!

Мечты не сбылись. Никого не унижал. Ненавидел унижающих. Его незаслуженно обижали. Был кротким.

Проработал я всю свою жизнь.
Труд, труд, труд. Какая ошибка!
Боже, какая ошибка!
Но птица
совести моей неусыпной
бела, как снежинка,—
я все искупил.

*(Перевод Л. Дымовой)*

Это «Надпись на камне». Почему стихи так названы? Эпитафия? Автоэпитафия? Несущественно определять жанр. Важней понять глубину этого поэтического высказывания.

В книге представлены всевозможные роды, виды лирики: от четверостиший (поэт выпустил пятьсот таких миниатюр, составивших три его книги) до элегий, баллад, притч. Поэт не обозначал эти роды и виды. Он исходил не из правил поэтики, а из своих душевных состояний, настроений, мыслей. Его мучили мысли существенные, важные для человека конца нашего века. Он не позволял себе проходить мимо всего того, что тревожило его современников. Лирика Андрея Германова даже в шепотных, тишайших стихах звучит как набат. Я слышу поэта, чувствую его боль, знаю его надежды и чаяния.

**ЛЕВ ОЗЕРОВ**

## В ЗЕРКАЛЕ ТЕАТРА

**Н. М. Вагапова. Формирование реализма в сценическом искусстве Югославии. Москва, «Наука», 1983.**

Строго говоря, книга Н. Вагаповой «Формирование реализма в сценическом искусстве Югославии» повествует о событиях довольно локальных, четко ограниченных географически, хронологически, тематически.

Место действия — Загреб, Белград, Любляна. Время действия — двадцатые — тридцатые годы нашего века. Персонажи — крупнейший югославский прозаик и драматург Мирослав Крлежа и Бранко Гавелла, реформатор югославской сцены. Стержень книги — взаимоотношения этих двух крупных личностей, осуществивших решительный поворот национального театра к реализму.

Специфические обстоятельства возникновения единой югославской культуры, происходившего в сложном и зачастую антагонистическом переплетении политических, идеологических, языковых, национальных (включая и прямо националистические) факторов и тенденций, сделали именно театральное искусство тем фокусом, который сосредоточивал в себе и укрупнял (югославская культура еще не знала ни кинематографа, ни телевидения) все наиболее яркое, значительное и перспективное в национальных культурах, только-только начинавших объединяться в нечто единое. Роль театра в этом процессе приобретала особую важность, поскольку на протяже-

нии столетий национальные культуры народов будущей Югославии находились под воздействием, с одной стороны, Австро-Венгерской империи, в состав которой входили Хорватия и Словения, а с другой — Османской империи, включавшей в себя часть Сербии, Македонию, Боснию и Герцеговину.

Вот почему предпринятое Н. Вагаповой исследование проблем, на первый взгляд сугубо театроведческих, в сущности становится анализом многосложного и многогранного процесса эстетического самопознания и самоосознания югославской культуры, который начался задолго до встречи Мирослава Крлежи и Бранко Гавеллы и продолжается и в наши дни.

Н. Вагапова внимательно рассматривает отражения этого процесса в зеркале югославского театра, предваряя повествование о двадцатых—тридцатых годах краткой, но емкой предысторией театра югославянских народов, начиная от XVI—XVIII веков и до второй половины XIX века, которая на Балканах стала эпохой национального Возрождения.

Эта предыстория развертывается на широком общественном и культурном фоне, который, собственно, и предопределял пути становления югославской сцены. Так «иллиризм», движение за национальные права хорватского народа, вдохновил борьбу за создание театра на родном языке, против засилия немецкоязычных трупп, до 60-х годов прошлого века господствовавших на хорватской и словенской сцене. Одновременно Н. Вагапова раскрывает несомненное влияние на становление югославянского театра общей атмосферы театральных исканий конца XIX — начала XX века, характеризующихся, с одной стороны, стремлением к сценическому реализму, а с другой — самым широким спектром модернистских экспериментов, и делает вывод, что «в XX в. в значительной мере под влиянием драматургии Л. Толстого и А. Чехова, Г. Ибсена и Г. Гауптмана, очень быстро входившей в репертуар хорватских и словенских театров, возникает и тенденция к углубленной психологической трактовке образов».

Рассматривая театральную жизнь Югославии первой трети нашего века, Н. Вагапова постоянно сопоставляет ее с театральной жизнью в других европейских странах, как сопредельных — Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Чехословакии, так и Советской России, контакты с которой носили не только эстетический и профессиональный, но и политический характер. Н. Вагапова подробно и тщательно анализирует немногочисленные и недолгие, но чрезвычайно плодотворные связи главных персонажей своей книги — Мирослава Крлежи и Бранко Гавеллы — с советскими театральными деятелями и писателями, их поездки в СССР, их впечатления от художественной и общественной жизни Советского Союза в те годы. Сюда же следует отнести короткие зарисовки пребывания в Югославии «качаловской группы» артистов МХТ в 1920—1921 годы, воспоминания К. С. Станиславского об этих гастролях, его оценку пьесы М. Крлежи «Голгофа», поставленной Б. Гавеллой, и, наконец, неизвестную до сих пор переписку Гавеллы со Станиславским о неосуществившейся его поездке в Москву для работы в театре. Хотя Н. Вагапова зачастую строга и академична в изложении событий, а также в реконструкции театральных представлений, использование таких личных факторов и документов подчеркивает всю драматичность биографии Бранко Гавеллы, которая прослеживается от спектакля к спектаклю, от направления к направлению. Ищущий художник, естественно, не мог избежать хотя бы кратковременного влияния многочисленных «измов», будораживших в ту пору европейскую театральную жизнь. Но, прослеживая непростой и непрямой творческий путь реформатора югославского театра, Н. Вагапова неизменно исходит из основы основ его творчества: «Гавелла тяготел к драматургии общественно значимой, активно вмешивающейся в окружающую жизнь, отражающей ее реальные, социальные и политические противоречия». Сам Гавелла никогда не был членом югославской компартии, но «взгляды и требования Гавеллы к современному репертуару сближали его с кругами прогрессивной югославской интеллигенции. Среди близких ему людей коммунисты—публицисты О. Кершовани, С. Галогажа, О. Бихали, писатели А. Цесарец, М. Крлежа, критики М. Богданович, В. Глигорич, активно помогавшие компартии Югославии».

Так в начале двадцатых годов пересекались пути двух реформаторов югославской сцены, драматурга Крлежи и режиссера Гавеллы. Но «путь революционной драматургии на официальную сцену оказался тернистым», или, как свидетельствовала статья писателя А. Цесарца, опубликованная в 1923 году в московском журнале «Зрелища»: «Его драма «Кралево» не принята дирекцией Загребского Театра, «Кроатская рапсодия» — не принята, «Христофор Колумб» — не принята, «Микеланджело» — не принята, «Галиция» — за несколько часов перед первым представлением запрещена правительством белого террора, боявшимся манифестации рабочих».

«Тернистый путь» пьес Крлежи на сцене свидетельствовал не только о поправении общественной жизни Югославии 20—30-х годов, но и о консерватизме национальной хорватской сцены, с глубочайшим недоверием отнесшейся к «несценическим драмам» крупнейшего хорватского прозаика, публициста и литературоведа первых десятилетий независимой Югославии.

И центральное место в книге занимает именно рассказ о пьесах и спектаклях Крлежи, о его эволюции от символистских умонастроений к реалистическому методу, к политической социальной драме, вносящей активный вклад в ту идеологическую, классовую, эстетическую борьбу, которая оказалась особенно острой и обнаженной в новых европейских государствах, образовавшихся после краха «исторических монархий» и победы Октябрьской революции.

Заключительные главы книги, посвященные периоду, когда Гавелла был вынужден покинуть Загреб, кажутся менее яркими, чем «загребская» часть книги. Другими словами, идейная и художественная борьба в Сербии и Словении, где затем работал Гавелла, описана автором несколько отстраненно по сравнению с хорватскими главами.

Пожалуй, это единственная серьезная претензия, которую можно предъявить к книге Н. Вагаповой. Бесспорно, хорватский театр и крупнейший его мастер Бранко Гавелла были тогда наиболее ярким и своеобразным явлением в молодом югославском сценическом искусстве, а сербская театральная традиция, и тем более словенская, значительно уступала хорватской. Однако именно поэтому им, возможно, и следовало бы уделить больше внимания. Тем более что общий путь югославянского искусства к реализму в каждом языковом и этническом регионе страны имел свои специфические формы, представляющие отнюдь не региональный интерес.

В целом же гораздо важнее отметить достоинства книги, ее научную точность и актуальность, учитывая, что автор обратился к материалу мало, а то и вовсе не исследованному.

**МИРОН ЧЕРНЕНКО**

## ЖАН-РИШАР БЛОК И ДОБРОВОЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

**Жан-Ришар Блок. Ответственность таланта. Перевод с французского. Составитель В. А. Никитин. Автор предисловия В. Н. Седых. Москва, «Прогресс», 1984.**

Имя Жан-Ришара Блока как мастера прозы стало известно у нас в 20-е годы. И. Анисимов писал о нем в старой «Литературной энциклопедии»: «Блок — реалист исключительного полнокровия и свежести»... Эта оценка относилась прежде всего к роману «... И компания» и к сборнику рассказов «Леви»— произведениям, написанным еще до первой мировой войны. Параллельно Ж.-Р. Блок работал и в области драматургии — его первая пьеса «Мятущаяся» была поставлена знаменитым режиссером Антуаном в 1911 году. В то время молодой писатель еще не мог предвидеть, что ему предстоит судьба видного общественного деятеля, революционного публициста. Но в последние десятилетия жизни Блока его многогранный литературный дар раскрылся с новых сторон.

Основные факты биографии Ж.-Р. Блока изложены в предисловии к книге «Ответственность таланта»: автор, В. Седых, во многом опирается на устные сообщения родных писателя и людей, лично знавших его. Советским читателям давно известен и большой очерк о Блоке, написанный Арагоном и опубликованный на русском языке в 10-м томе его сочинений. Сжатую характеристику жизненного и творческого пути Блока дал недавно П. Гамарра в статье, появившейся в «Иностранной литературе» (1984, № 7) по поводу столетия со дня его рождения. Мне не хочется повторять здесь то, что уже сказано другими,— но хотелось бы добавить к существующим биографическим материалам скромное личное свидетельство. Зимой 1943—1944 годов в Иностранной комиссии Союза писателей СССР собралась небольшая аудитория московских литераторов: Жан-Ришар Блок выступил с сообщением о поэзии Сопротивления во Франции, в ту пору еще оккупированной гитлеровцами. Он показал собравшимся миниатюрные книжечки в белых обложках, выпускавшиеся для нелегального распространения. А потом начал читать одно стихотворение за другим — и читал вдохновенно, артистически. Особенно взволновала присутствовавших «Баллада о том, как поют под пыткой». Она была напечатана под псевдонимом — но имя поэта не требовало расшифровки. П. Антокольский, сидевший за председательским столом, жадно слушал и говорил вполголоса: «Арагон — ну да, это он, кто же еще? Переведу, обязательно переведу!» После собрания я воспользовалась возможностью поговорить с Ж.-Р. Блоком. Я задала ему вопрос, интересовавший меня в связи с моей научной темой,— как он относится к Толстому, повлиял ли Толстой на него. Блок ответил утвердительно и сослался на свою статью «Толстой и добровольное служение» — там содержится самое существенное, что он может сказать по этому вопросу.

Статья эта, датированная 1928 годом, и в самом деле очень важна. Из нее следует, что влияние Толстого на Блока сказалось не столько в тематике или в художественной манере, сколько в понимании миссии художника. Толстой побуждал своих зарубежных почитателей отвергать буржуазно-эгоистический принцип «jouir» (наслаждаться) и следовать принципу «servir» (служить). Молодые литераторы демократической ориентации, вступившие в литературу в начале XX века, понимали это служение как «примат социального начала», как долг творческой личности по отношению к обществу, народу.

На разных этапах своего творческого развития Ж.-Р. Блок неодинаково толковал конкретный смысл этого «служения». Но существенно, что он уже в молодые годы приобрел иммунитет к соблазнам парижской литературной «ярмарки на площади». И после испытаний первой мировой войны он, как и его старший друг Ромен Роллан, пройдя нелегкий путь исканий, пошел на сближение с революционным рабочим классом.

Характерная черта творческой личности Блока — любовь к широким просторам, интерес к дальним странам. Это сказывается в его книгах путевых очерков, в частности и в опубликованных теперь фрагментах из книги «На грузовом пароходе» (1924). Здесь писатель пока еще далек от политики — он с неподдельным уважением говорит о тяжелой работе моряков, стремится преодолеть классовый барьер, отделяющий его от рядовых тружеников моря. С резкой неприязнью судит он об идеологии расизма, с удовольствием цитирует слова современного антрополога о том, что «раса, основанная на повторяющемся физическом типе, на единстве происхождения, есть понятие природное, которое не имеет ничего общего с такими понятиями, как народ, национальность, язык, нравы...».

Сборник публицистики Блока включает и его пьесу «Рождение города» — она есте-

ственно вписывается в контекст идей общественного служения, которые с годами все сильнее захватывали писателя. Эту пьесу, поставленную в 1937 году, недавно извлек из забвения французский исследователь Жан Альбертини — хорошо, что она появилась теперь и в русском переводе. «Рождение города» — экспериментальная вещь, своеобразный опыт синтетического народного зрелища, тут сказалось и воздействие фильмов Эйзенштейна, и московские беседы Блока с Мейерхольдом, и его дружба с Э. Пискатором. По содержанию это — своего рода утопия, сценическая реализация мечты о Городе свободного труда, где жизнь строится на началах социальной справедливости. В мажорном настроении, которым проникнута пьеса, отозвалась атмосфера французского Народного фронта.

Но еще задолго до того, как большой коллектив артистов, статистов, художников, музыкантов, декораторов начал репетировать эту новаторскую пьесу для постановки на Зимнем велодроме в Париже по случаю Всемирной выставки, Жан-Ришар Блок был целиком захвачен гораздо более насущной задачей. Он «заболел» Испанией. Он вылетел туда после первых же известий о франкистском мятеже. Серия его репортажей «Испания, Испания!», оперативно изданная в самый разгар национально-революционной войны испанского народа, действительно написана кровью сердца. Блок отлично понимал, что на полях сражений Пиренейского полуострова решается в конечном счете судьба его родной Франции. Прославляя мужество испанских республиканцев, трезво анализируя внутренние трудности, сразу сказавшиеся уже на ранней «романтической» стадии войны, обличая лицемерие католических священнослужителей, стрелявших в рабочих с колоколен, Блок в то же время предостерегал народы Европы и собственный народ о страшных последствиях, которые может иметь поражение республиканской Испании. «Катастрофа — это уничтожение нового народного государства, это коричневое пятно, расползающееся по всему миру...»

Памфлеты «Мюнхен, или Путь к капитуляции» и «После Мюнхена, или Истинная сущность унижения», публикуемые на русском языке впервые, по своей направленности тесно связаны с испанскими репортажами Блока. И там и здесь писатель неопровержимо доказывает: буржуазная верхушка Западной Европы жертвует насущными национальными интересами во имя своих корыстных классовых интересов,— эта политика столь же эгоистична, сколь и самоубийственна. Отказ помочь республиканской Испании, позиция «умиротворения» по отношению к фашистским государствам — все это логически привело правящие классы Англии и Франции к мюнхенскому предательству. Мюнхен — подарок буржуазных демократий Гитлеру и Муссолини, «зрелый плод, упавший с древа подлости». Стратегия правых сил Запада, показывает Блок, сводится к тому, чтобы расколоть Народный фронт, свести на нет его завоевания, изолировать коммунистов: этим целям служит и искусственно раздуваемая антисоветская истерия, и негласная поддержка фашистского милитаризма. Многие страницы этих статей Ж.-Р. Блока читаются сегодня так, словно они были бы написаны только что: достаточно заменить лишь некоторые имена и географические названия... Понятно, что в поле зрения писателя-публициста не одна лишь непосредственная сфера политики: он подробно, с гневом, с болью говорит о том, как пагубно отражается мюнхенская подлость на самочувствии среднего француза, на психологии нации. «Суть проблемы, поставленной в данный момент перед Францией и всеми нами, выходит за рамки только политики. Она стоит над политикой. Речь идет о неприкосновенности человеческой личности». (В подлиннике сказано: «l'integrité de la personne humaine»,— вероятно, точнее было бы перевести—«о человеческой личности в целом».) Фарисейская, по сути дела не только антинародная, но и антинациональная политика правых сил ведет к массовой деморализации рядовых трудящихся, рождает чувства подавленности, уныния, «подобно тому как пьянство губительно сказывается на сердце человека».

Актом высокого личного благородства Жан-Ришара Блока было его выступление в качестве свидетеля защиты на процессе депутатов-коммунистов в условиях разгула реакции и массовых репрессий против прогрессивных общественных деятелей весной 1940 года, незадолго до наступления немецко-фашистских войск. И лишь год спустя, когда Блока разыскивало гестапо и перспектива ареста стала неминуемой, писатель решился покинуть родину, оккупированную гитлеровцами, и приехал с женой в Советский Союз.

Сердечная привязанность Блока к России коренилась еще в его юношеских чтениях русских классиков, в его активном сочувствии русской революции 1905 года. После Великой Октябрьской революции эта привязанность обрела новое идейное качество. Известны слова Ромена Роллана, которыми завершается его знаменитая Декларация независимости духа: «Русская мысль— авангард мысли мировой». Эта формула как бы парафразируется в письме Блока Ромену Роллану от 16.VIII.1920 года: «Ум мира сегодня в России». За годы, которые Жан-Ришар Блок провел в Москве, Казани, Уфе, снова в Москве, его чувства дружбы с Советским Союзом, с советскими людьми во много крат укрепились, приобрели тот особый эмоциональный оттенок, который дается совместно перенесенными лишениями и тревогами. Тут уместны слова Маяковского: «Но землю, с которой вдвоем голодал, — нельзя никогда забыть!»

С августа 1941-го по ноябрь 1944-го Жан-Ришар два-три раза в неделю обращался по советскому радио к своим соотечественникам, из этих речей выросла объемистая книга «От Франции преданной к Франции, взявшейся за оружие», представленная теперь в небольших фрагментах на русском языке. Арагон писал, что эти речи Блока, взятые вместе, составляют хронику событий войны, которая по своему значению заслуживает быть поставленной рядом с трудами знаменитых французских летописцев далекого прошлого: Виллардуэна, Жуанвилля, Фруассара. Мне думается, что тут воз-

можно и другое сравнение, более близкое к современности. По силе гражданского чувства и гражданского мужества, по высоте ораторского искусства эти выступления Блока сопоставимы с прославленными антифашистскими радиоречами Томаса Манна, обращенными к слушателям третьего рейха. (См. некоторые из них в «Иностранной литературе», 1975, № 6.) Но Томас Манн восхищался героизмом советского народа издали, из-за океана, а Жан-Ришар Блок видел этот героизм в действии, вблизи.

Было бы ошибочно сводить деятельность Жан-Ришара Блока последних десятилетий его жизни к одной лишь политической публицистике. Он был и оставался тонким художником, глубоко озабоченным проблемами и будущностью современного ему искусства. Об этом свидетельствует, в частности, его роман «Сибилла», где центральный образ — танцовщица, вдохновленная революционными идеями эпохи, ищущая пути к народу,— некоторыми чертами напоминает Айседору Дункан. В романе этом, художественно не бесспорном, но своеобразном, интересном, сказался дух поиска и эксперимента, в сильной степени свойственный творческой личности Блока.

Отстаивая на протяжении долгих лет идею ответственности таланта перед народом, Ж.-Р. Блок не раз говорил и писал, что искусство, и в особенности искусство слова, не стоит на месте и не может сводиться к повторению общеизвестного. В этом духе выступил он и на I съезде писателей СССР, утверждая, что литератор не имеет права быть только «певцом завершенного труда»: он обязан искать новое и в области тематики, и в области формы. Блок уподобил работу подлинного художника слова труду летчика-испытателя, который, не боясь риска, ведет свой самолет по неизвестным трассам. Это выступление Блока было дружественно принято советской литературной общественностью. И год спустя, в 1935 году, Жан-Ришар Блок в речи на Конгрессе писателей в защиту культуры мог с искренним убеждением сказать: «...коммунистическое общество больше, чем любое другое общество... желает уважения к независимости и гордости художника.

Более остро, говорю я, ибо там это чувство не является привилегией элиты, а распространено в массах, в тех миллионах читателей и слушателей, которых новая человеческая цивилизация приглашает к участию в культурной жизни».

Во всей деятельности Жан-Ришара Блока пафос общественного служения, гражданского подвига был неотделим от чувства гордости и независимости художника. И уже в силу этого его наследие имеет право на внимание наших современников.

**Т. МОТЫЛЕВА**

# *Издано за рубежом*

## ПЕРСПЕКТИВЫ И ТУПИКИ

### Обзор венгерской поэзии последних лет

Поэзия социалистической Венгрии, как и вся венгерская литература наших дней, развивается интенсивно, но противоречиво. Ведутся трудные и напряженные поиски наиболее эффективных средств выражения, соответствующих и бурной стремительности нашей эпохи, и возросшим духовным потребностям современного человека. За этим стоит огромное желание постичь, уяснить, показать смысл, значение для человека социалистического мира тех, вовсе не всегда однозначных, событий и изменений, которыми так богата наша эпоха.

В этих поисках венгерским поэтам помогают не только реальные достижения, накопленные в процессе борьбы за преобразование общества на социалистических началах, но и великолепные традиции венгерской поэзии, демократические и революционные традиции Шандора Петёфи, Эндре Ади, многих поэтов 20—30-х годов нашего века, среди которых в первую очередь нужно упомянуть Аттилу Йожефа, чье творчество оказало и продолжает оказывать особенно большое воздействие на развитие венгерской поэзии.

Секрет неубывающего со временем влияния А. Йожефа на поэтическое и читательское сознание — в том, что, не закрывая глаза на мучительную противоречивость действительности, разделяя с венгерским народом его страдания, поэт в то же время всегда старался соотнести изображаемое с перспективами и смыслом человеческого бытия, найти, даже вопреки условиям жизни в хортистской Венгрии, силы, устремленные в будущее. Ведь истинная поэзия всегда содержит в себе элемент философии — философии истории, философии человеческого бытия; философия — неотъемлемая часть эстетического освоения искусством действительности.

Но философия, которой насыщена поэзия А. Йожефа, никогда не становится отвлеченной. Именно Йожефу принадлежит знаменитая формула, в которой он определил задачу и смысл деятельности поэта в эпоху социалистических революций: «Пережить социализм как поэзию». То есть все многообразие явлений мира он воспринимал как коммунист. Отсюда — многозначность и глубина его образов, его художественного осмысления и отражения жизни.

Вот почему творческое наследие А. Йожефа, не закрывая дорогу другим прогрессивным традициям национальной поэзии, остается для современных венгерских поэтов своего рода универсальным мерилом. В частности, именно с его влиянием можно

связать возрастание объема и роли «поэзии бытия» (употребим термин, принятый в венгерском литературоведении), то есть поэзии, которая занята проблемами личности в ее взаимоотношении с человечеством, историей, вселенной. Это в первую очередь характерно для творчества лучших, наиболее зрелых представителей современной венгерской поэзии, таких как Д. Ийеш, Л. Беньямин, Л. Надь, М. Вади, Г. Гараи и других. В их произведениях эстетические выводы и оценки, как правило, созвучны с ключевыми истинами научного социализма, относящимися к перспективам духовного развития человека, его постепенного освобождения от всех видов отчуждения и обретения свободы — той свободы, которая лежит «в основе понятия красоты» (Гегель).

Такой тип поэтической логики — от предметной, заземленной эмпирики к высокому поэтическому обобщению — мы находим, например, в стихотворении Ласло Беньямина «Потом», в котором автор пытается сформулировать сущность поэтического творчества, сущность искусства:

Сначала ночь и в ней тревоги
Сначала выйдешь из берлоги
Сначала за добычей рыщешь
Сначала строишь городище
Сначала вырубишь деревья
Сначала обежишь все двери
Сначала в слякоть ждешь трамвая
Сначала в дебри убегаешь
Сначала рубрики заполнишь
Сначала долг давнишний вспомнишь
Сначала ищешь дров посуше
Сначала ярость в сердце глушишь
Сначала кривде вызов кинешь
Сначала в кухне кран починишь
Сначала зло корчуешь в мире
Сначала скопишь на квартиру
Сначала груз перетаскаешь
Сначала тайны разгадаешь
Сначала выдержишь все это
Потом уж можешь стать поэтом[1].

Микропротиворечия, формирующие лирический конфликт, накапливаются здесь от строчки к строчке. Они — в несовместимости поставленных рядом утверждений, вынесенных в отдельные рифмующиеся строки. Предельная будничность и конкретность зримо сталкиваются с идейно-политическими обобщениями. Одни строки уводят к долгой, трудной истории человечества, начиная с самого его возникновения; другие содержат реалии конкретного времени и конкретного места. Повторенное девятнадцать раз «сначала» нагнетает напряжение, заставляя все с большим нетерпением ждать, что же «потом». И с приближением к этому «потом» из мешанины жизни, объединяющей в себе прошлое и настоящее, малое и большое, частное, случайное и общее, начинает проступать новое качество. И когда наконец следует «потом», слова «стать поэтом» (в оригинале «напишешь стихи») объединяют все сказанное в простой и емкой формуле, одновременно создавая и обратную связь: поднимая перечисленные многообразные, пестрые стороны человеческого бытия до уровня поэтического осмысления.

Беньямин — представитель старшего, все более редеющего поколения венгерских поэтов. Но творчество многих более молодых художников убеждает нас, что высокая философская поэзия не уходит в небытие вместе с этим поколением. Возьмем для примера одну из последних книг Андраша Фодора «Литография» («Könyomat», 1982). Фодор — один из тех венгерских поэтов, которые ищут наиболее эффективные способы поэтического отражения мира в русле традиций Аттилы Йожефа.

Андраш Фодор не только развивает основные принципы поэтики А. Йожефа, его способ раскрытия, построения художественного конфликта, но и суть его мироощущения: неразрывность сомнений, порой отчаяния — и веры в человека, в его будущее, способность даже через боль стремиться к гармонии, к конструктивной жизненной позиции, умение за противоречиями, нередко мучительными, видеть перспективу движения вперед.

Тональность сборнику задает стихотворение, открывающее его,— «Точка опоры». Оно не содержит ответа на основной вопрос, тревожащий поэта,— вопрос об отношении к разрываемому противоречиями бытию. Автор как бы переключает внимание с одной грани действительности на другую, «примеряя» их к себе. Вот одна грань: вечный, внушающий ощущение надежности круговорот явлений природы, смена и взаимопредопределенность бодрствования и сна, расцвета и увядания:

Уже роняет лепестки
  жасмин в тени забора,
акаций желтые цветы
  усеяли дорожку.
Пух с тополей летит, летит,
  лениво и бесцельно...

Но для поэта, живущего в обществе и обществом, идиллия природы не может уравновесить человеческих, социальных проблем. Да и гармония вечного повторения, свойственная земле, лесам и водам, то и дело нарушается вторжением неупорядоченного человеческого бытия. И вот уже вода озера видится поэту загнившей, зеленой, и, «словно пьяный, качается на глади пароход: проворный винт его наткнулся на всплывшее утопленника тело».

И опять отклонение маятника: поэт вновь пленен светлыми воплощениями торжествующей жизни:

Но звонки птичьи голоса.
У девушек, идущих за забором,
  упруго, сочно набухает радость
под тесной тканью ярко-желтых блузок.
  В саду соседнем слышен диалог
лопат, врезающихся с хрустом в землю;
  что им до мук
в стеклянной запертого клетке
  усталого сознанья...
А от калитки громко окликает
  меня сосед: широкая улыбка,
румянец, словно отраженье солнца.
  Он счастлив. Он опять с уловом.

От стихотворения к стихотворению, переходя от уныния к надежде, от отчаяния к возрождающейся вере в будущее, поэт завершает книгу циклом «Жесты», который подводит итог предыдущим циклам.

В привычных или случайных человеческих движениях, проявлениях человеческой природы, человеческого стремления к совершенству поэт находит то единство мгновенного и вечного, точки и бесконечности, поиски которого составляют сущность его

[1] Здесь и далее стихи даются в переводе автора статьи.

раздумий над миром и собой. Стрелочник переводит стрелку, двое наклоняются друг к другу перед разлукой, мальчик, прислонившись к дереву, вытрясает камешек из сандалии — во всех этих движениях поэт обнаруживает едва уловимую линию, которая в продолжении своем протягивается к созвездиям, возводя туда и нашу, полную случайностей действительность. В этих строках происходит то пересечение человеческого и космического, которое становится поэтической проекцией цельного, «равного самому себе», человека будущего.

Конечно, разные поэты подходят к философскому синтезу разными путями. Так, Ласло Надь, также во многом следуя Аттиле Йожефу, стремится охватить, выразить весь огромный диапазон переживаний и впечатлений человека в современном мире, оставляя за рамками стихотворения значительную часть того «сырья», из которого складываются ступени, уровни поднимающейся к философскому обобщению поэтической мысли. Упрощая суть поэтического метода Ласло Надя, можно сказать так: поэт стремится «втиснуть» огромное содержание в несколько строк, а то и в одну-единственную строчку с помощью метафор, зрительных, слуховых, а чаще всего поддающихся лишь умозрительному восприятию образов, которые должны будоражить воображение читателя, заставляя его восполнять то, что осталось за рамками образа.

Соснам, коням ли — бойня и сеча,
буйный век, буйных веков предтеча,

смерчей корзины выстланы пылью,
груды голов с волосами ковыльными,

груды отсеченных рук мускулистых —
пали здесь лучшие, самые чистые,—

подлая спешка, гнешь и меня ты,
душишь, уродуешь все, что свято,

грива моя в небо воплем вздымается,
пальцы воздетые дымом качаются.

*(«Гнев»)*

Ласло Надь переводит в подтекст все, с чего начал бы стихотворение поэт более традиционного склада: описание вырубленных лесов и вымирающих друзей человека, облагороженных им, но и облагораживающих его,— лошадей. Возникшие на месте лесов полупустыни обозначены в стихотворении лишь пыльными смерчами, варварские вырубки — грудами веток-рук и заросших травой пней-голов. И вот уже сам поэт видит себя в образе коня со вздыбленной гривой (образ, ассоциирующий связь с волосами, вставшими дыбом от ужаса). Его пальцы (столбы дыма от пожарищ) воздеты в клятве. В какой клятве? Это подсказывается и названием стихотворения, и всем его содержанием.

Примерно в том же направлении развивается творчество таких поэтов, как Янош Пилинский, Агнеш Немеш-Надь, Иштван Аг. Эти поэты выступают против описательности и стремятся к максимальной насыщенности метафоры, которая как бы перерастает свою роль «подсобного» поэтического материала и становится сутью поэзии. Такой путь, однако, чреват немалой опасностью, подчас уводя от конкретного жизненного материала, на котором строятся питающие поэзию лирические конфликты, и заставляя пренебрегать конфликтами реальной (социальной ли, эмоциональной ли — здесь не имеет значения) действительности, вне связи с которой поэтическое произведение становится «вещью в себе и для себя», а философичность, составляющая сильную сторону современной венгерской поэзии, превращается в сухую бесплодную абстрактность.

Подобная тенденция особенно часто встречается в творчестве молодых поэтов, которые любой ценой стремятся к новаторству и утрируют некоторые особенности современной поэзии, с пренебрежением относясь к давно протоптанным дорогам.

Ослабление связи между частным и общим в творчестве некоторых молодых венгерских писателей — между материалом «живого созерцания» и «абстрактным мышлением» (пользуясь известным ленинским выражением) нередко проявляется в том, что лирический конфликт, даже насыщенный конкретными деталями, мало или никак не перекликается с сущностными вопросами и процессами социально-исторического контекста. Поэт словно бы не видит различия между прошлым и настоящим, между миром классового угнетения и миром, где общественная динамика направлена в сторону воплощения принципов справедливости, демократии, свободы. Конфликты, в той или иной форме отражающиеся в их творчестве, словно взяты из какого-то другого времени или, лучше сказать, из безвременья, где все порывы глохнут в тупом равнодушии и пассивном страдании. Вот, например, стихотворение Имре Пентека «Археологам будущего»:

Не могу я заставить вас говорить, мои
молодые годы,
напрасно спрашиваю снова и снова:
вам нечего сказать.

Прожитая часть жизни воспринимается автором как угрюмый, недоступный монолит.

С сознанием бесполезности, ненужности всего того, что делается вокруг него сейчас, автор обращается и к далеким поколениям, которые когда-нибудь заинтересуются нынешней эпохой:

Придите, археологи будущего,
флегматичные наши потомки,
достигшие большего, чем мы,
и выставьте в ваших музеях,
заставьте звенеть ледяные горы
— если, конечно, сумеете,—
мы будем выть в них,
в глуби ледяных континентов,
мы будем маршировать в них на месте.

Конечно, можно сказать, что подобное видение мира субъективно, а поэт имеет право на субъективность. Однако художественное произведение предназначено не для автора, а для читателей, иначе его не следует публиковать, то есть предлагать для всеобщего прочтения. Поэтому подобные стихи — это не что иное, как попытка навязать другим свое искаженное мироощущение. На той же позиции стоит и Янош Олах в стихотворении «Мыльный пузырь»:

Твоя жизнь — мыльный пузырь,
как жизнь города, где ты живешь,
и народа, который тебя породил,
и всего человечества, и земли...
в любой момент
пузырь возьмет и лопнет.

Конечно, приведенные примеры представляют собой доведенные до крайней точки проявления той тенденции, которую мы обозначили как движение к абстрактности. Однако и среди молодых поэтов достаточно таких, кто, переболев детскими болезнями, приходит к осознанию ответственности художника перед народом, перед историей. Так, Эндре Рожа, один из самых талантливых представителей молодого поколения, главным принципом жизни в современную эпоху провозглашает необходимость стремиться к «сознательному видению обретенной жизни» [1]. Смысл этих слов раскрывается в его стихах, где — пусть не всегда достаточно однозначно — звучит мысль о том, что человек должен продолжать борьбу за обретение своего человеческого достоинства, за возвращение к своей человеческой сущности.

Есмь трижды триллион история людей,
что в каждой клетке вновь себя
осознает!

*(«В пору зрелости»)*

Рядом с Э. Рожей следует назвать и других. Миклош Вереш, Иштван Бака, Анна Киш, Петер Кантор и еще многие могут в не столь уж отдаленном будущем стать истинной сменой старшим поколениям, проверенным многими испытаниями.

**Ю. ГУСЕВ**

## ВПЕРВЫЕ — ТАК

**Thomas Mann. Aufsätze. Reden. Essays. Band 1. 1893—1913. Band 2. 1914—1918. Berlin, Aufbau-Verlag, 1983.**

**Томас Манн. Статьи. Речи. Очерки. Т. 1. 1893—1913, т. 2. 1914—1918. 1983.**

В ГДР выходит сейчас одно восьмитомное издание, заслуживающее того, чтобы о нем знали все заинтересованные читатели Томаса Манна. Пока увидели свет два тома, сдан в производство третий и подготовлен четвертый, но уже печать ГДР, от «Нойес Дойчланд» и популярных еженедельников до литературно-критической периодики, щедро вознаградила работу Гарри Маттера, о которой сейчас и пойдет речь, вниманием и словами признательности. И не только печать ГДР, но и цюрихская «Форвертс», и западногерманская «Швебише цайтунг», и лондонское «Модерн ленгуидж ревью».

Чтобы понять причину такого дружного одобрительного резонанса, надо хотя бы в общих чертах представлять себе, как публиковалось наследие писателя до сих пор.

С художественными произведениями дело обстояло сравнительно благополучно. Все они нашли надежное пристанище под кровом монументальных собраний сочинений — одного западногерманского, фишеровского, и двух вышедших в ГДР. А то, что называется публицистикой, эссеистикой, литературной критикой, было представлено во всех манновских многотомниках, во-первых, далеко не полностью, во-вторых, в произвольно отобранном и сгруппированном виде (по темам, жанрам или еще как-нибудь), в-третьих, без историко-литературного, текстологического и библиографического комментария. Самым большим собранием этих текстов были до сих пор X—XIII тома «Фишера», но какой там царит сумбур, как трудно разобраться в этой мешанине лет и эпох, свидетельствующей о спешке, об ориентации, боюсь, на скорейший коммерческий эффект, во всяком случае не на богатый опыт современных научных изданий.

Как бы приводя в порядок публицистическое наследие своего автора номер один, издательство «Фишер» выпустило помимо этих томов Собрания сочинений еще три убористо набранных томика в мягких обложках — «Томас Манн. Политические статьи и речи». Само заглавие говорит о некоем тематическом отборе, выводит, так сказать, на авансцену волю и вкус редакторов. Главные литературно-критические и автобиографические работы в этот трехтомник, увы, не попали, хотя у Томаса Манна и они полны, как правило, глубокого политического смысла: грань между критикой и политикой у Томаса Манна часто весьма условна. Да и настоящей новизной это издание тоже не блещет: здесь нет ни одного текста, который не включался бы прежде в тот или иной манновский сборник.

И вот на фоне такой скудости публикаций, такого издательского, позволю себе сказать, дилетантства происходит нечто отрадное и удивительное. Берлинское издательство «Ауфбау» — в дополнение к выпущенному десять лет назад десятитомнику романов и новелл Т. Манна — затевает восьмитомник «Статьи. Речи. Очерки» и за один 1983 год кладет на стол два тома. Удивляет «с ходу», конечно, невольное сопоставление цифр 10 и 8, соотношение пять к четырем, с математической убедительностью показывающее, какое и в самом деле важное место в работе Томаса Манна принадлежало публицистике, разговору с читателем напрямик, без посредничества художественного вымысла.

Но подивиться можно и еще кое-чему. Архив писателя находится в Цюрихе, право получать прибыль от его произведений принадлежит западногерманскому (Франкфурт-на-Майне) издательству «Фишер», основанному когда-то в Берлине тем самым Самуэлем Фишером, который на заре века познакомил читателей с «Будденброками». А первое научное издание публицистики Томаса Манна, содержащее около тысячи (хочется написать еще и цифрой: 1000!) текстов, выходит в ГДР, и на 100 работ, составивших первые два тома, приходится 25, которые ни в один авторский сборник Томаса Манна ни при жизни писателя, ни после его смерти не попадали. С выходом третьего тома число таких публикаций возрастет до 70. Не нужно особого воображения, чтобы представить себе, какого упорного труда — исследовательского и организационного — стоят хотя бы лишь эти двадцать пять строк в оглавлении.

«Толстой подействовал на меня так, как действует огромная пластическая мощь на всякого художника: потряс, укрепил, повысил взыскательность... После смерти Ибсе-

[1] Magyar Hirlap, 4.IV.1980.

на в Европе жив только один великий. Преклоним колено». Любопытно, не правда ли? Это написано в 1908 году, к восьмидесятилетию Льва Толстого, а достоянием читателей стало только теперь. И это всего лишь одно открытие среди десятков.

В новом издании впервые строго соблюдается хронологический принцип, с которым никакое другое распределение материала не может тягаться в научной непогрешимости. И опять-таки впервые тексты Томаса Манна издаются с добротным аппаратом (сто с лишним страниц петита в двух первых томах). Мы находим здесь данные о первой и важнейших последующих публикациях, скрупулезные текстологические замечания, сведения о поводе к написанию, об отношении к другим текстам.

И еще одна, совсем уже поразительная вещь. Всю эту гигантскую работу собирателя, текстолога, комментатора и издателя проделал и делает один человек. Не научное учреждение, не издательский сектор какого-нибудь института, а один человек— Гарри Маттер. У него нет ученых степеней и званий, он самоучка, в прошлом пастух, потом подмастерье у кузнеца и кондитера, впоследствии редактор издательства «Ауфбау». И работой этой он занимается в свободные от служебных обязанностей часы, что называется, «на общественных началах».

К этому беспримерному предприятию Маттер готовился, разумеется, много лет. Нет сомнения, что выпущенный им же в 1974—1975 годах манновский десятитомник был для него хорошей издательской школой. И его двухтомная библиография «Литература о Томасе Манне» (1972 год, 1200 страниц) тоже, думаю, была существенной ступенью на пути к восьмитомнику статей, речей и очерков. Эти вехи работы Маттера у многих на памяти, но и непосвященному ясно, что такие два тома не рождаются вдруг, как Афина из головы Зевса. И остальные шесть, последний из которых должен выйти в 1990 году, тоже, несомненно, давно собирались и каждодневно собираются по страничкам.

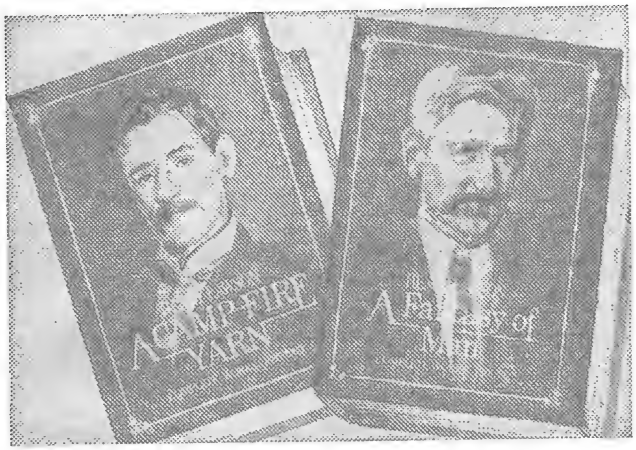
Мне очень понравились строки, написанные в ГДР об этом труде и о Гарри Маттере критиком Эддой Бауэр, и я кончу ими: «Кто берется за издание сочинений, должен ловить текст на слове, а историю литературы на дате. Литературоведческое паренье неуместно, когда в программе издательский бег с препятствиями на дистанцию в восемь томов. Барьеры надо брать каждый в отдельности и осторожно, любое упущение карается дисквалификацией. Тут ничего не получится без разгона, тут нужна тренировка и несколько серьезных добродетелей: литературное знание предмета и филологическая тщательность, немножко одержимости и невероятно много терпения».

**С. АПТ**

◆

# Из месяца в месяц

## АВСТРАЛИЯ




Издательство «Ленсдаун» (Сидней) выпустило в свет первое полное собрание сочинений Генри Лоусона (1867—1922). В его два тома, богато иллюстрированные, вошли в хронологическом порядке все произведения писателя, в том числе и те, что публиковались в периодической печати, и ранее не печатавшиеся письма, стихотворения и пьеса «Джим — сын Пинтера».

На снимке: обложка двухтомника Генри Лоусона.

*(Газета «Сатердей ревью»)*

## БЕЛЬГИЯ

### ВОЗРАСТАЮЩИЙ ИНТЕРЕС

**В связи с возрастающим в Бельгии интересом к русской классической литературе и к советской поэзии и прозе во многих бельгийских журналах появились публикации советских поэтов, рецензии на изданные в различных издательствах произведения русской классики.**

**Так, рецензент литературно-критического ежемесячника «Дитче варанде энд Белфорт» А. ван Асше рассматривает публикации ряда журналов: в журнале «Маатсхаф» С. Тиммерс исследует проблему роли денег в романе Достоевского «Идиот»; в журнале «Ревизор» помещена статья К. Ферхейлса о тех трудностях, с которыми он столкнулся при иллюстрировании поэмы Гоголя «Мертвые души», хотя, несмотря на эти трудности, отмечает он, замечательная поэма вновь и вновь привлекает к себе внимание художников; в журнале «Твейде ронде», посвященном русской и советской литературе, помещена поэма В. Маяковского «Люблю» в переводе М. Фондзе и введение переводчика, в котором он пишет, какие художественные достоинства произведений большого русского поэта его привлекли и почему. Прекрасны, пишет рецензент, воспоминания Б. Пастернака о Маяковском, большой интерес представляют приведенные в журнале отзывы о его поэзии Блока, Цветаевой, Мандельштама и других современников великого поэта.**

**Тот же рецензент сообщает о выходе в Бельгии сборника «Знаменитые юмористические рассказы», среди которых ведущее место занимают рассказы Чехова.**

## БОЛГАРИЯ

### ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ ВАПЦАРОВА

**Состоялось присуждение международной премии имени выдающегося болгарского поэта-революционера Николы Вапцарова. Присуждение проходило в особенно торжественной обстановке, поскольку совпало с празднованием 75-летия со дня рождения поэта и завершением работы Пятой международной встречи писателей, проходившей в Софии под девизом «Мир — надежда планеты».**

**Если бы пуля палача не оборвала более сорока лет тому назад его жизнь, подчеркнул на торжественном собрании по случаю юбилея Николы Вапцарова известный поэт, Герой Народной Республики Болгарии Младен Исаев, он, ставший классиком болгарской поэзии, получивший всемирное признание, был бы здесь с нами в рядах борцов за мир и социальную справедливость.**

**Лауреатами премии стали замечательный поэт, министр культуры революционной Никарагуа Эрнесто Карденаль, поэт, публицист, активный участник движения сторонников мира Стефан Хермлин из ГДР, португальский поэт и переводчик болгарской поэзии Эжиту Гонсалвиш и советский поэт, секретарь правления Союза писателей СССР, много сделавший для пропаган-**

ды болгарской литературы в нашей стране Олег Шестинский.

## ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ШОТЛАНДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

С каждым годом, отмечает рецензент «Таймс литерари сапплмент» Энн Стивенсон, творчество шотландских прозаиков, поэтов, драматургов все пристальнее приковывает внимание критиков и читателей.

О новых явлениях и новых именах, появившихся за последние годы в шотландской литературе, можно судить по выпущенной недавно издательством Абердинского университета «Антологии современной шотландской литературы». Ее составители Александр Скотт и Джеймс Айтчисон видели свою задачу в первую очередь в том, чтобы познакомить читателей с творчеством молодых шотландских литераторов. Из двадцати пяти шотландских писателей, произведения которых вошли в антологию, по крайней мере восемь, отмечает рецензент, родились после 1950 года.

По мнению составителей, особые надежды подает молодой прозаик и поэт Колин Маккей. В антологии он представлен поэтической драмой, соединяющей в себе историческое повествование, отнесенное к XVII веку, с параболой, осмысляющей проблемы насилия на разных этапах развития человеческого общества и истории. В творчестве Маккея, пишет Энн Стивенсон, своеобразно переплелись такие, казалось бы, взаимоисключающие влияния — поэтики отчуждения Брехта, символизма Йитса, романтизма Вальтера Скотта. Влияние «великого шотландского барда» особенно ощущается, по словам рецензента, в жанре баллады, которую разрабатывает автор.

Пример документальной сатирической прозы — зарисовка Карла Макдугала, глубиной психологического анализа отмечены рассказы Дэвида Стрейчена и Джексона Уэбба.

Антология, пишет в заключение статьи Энн Стивенсон, еще одно подтверждение ренессанса, переживаемого ныне шотландской культурой.

### ЗАСЛУЖЕННАЯ РЕПУТАЦИЯ

Издающийся в Великобритании на английском языке журнал африканской библиографии «Африкэн бук паблишинг рекорд» отметил свой десятилетний юбилей. Первый номер этого ежеквартальника вышел в январе 1975 года. С тех пор журнал стал авторитетным информационно-справочным пособием для всех, кто интересуется литературным процессом в странах Африки. О прогрессе в области полиграфии и книжного дела на континенте свидетельствует тот факт, что за прошедшие десять лет библиографический указатель упомянутых в журнале публикаций вырос до тринадцати тысяч названий. Журнал регулярно помещает рецензии на книги африканских авторов, посвященные разнообразным отраслям знания, литературе и искусству. Рецензируются книги не только на европейских языках, но и на африканских. В качестве рецензентов выступают специалисты из Африки, Европы и Америки. В редакционную коллегию «Африкэн бук паблишинг рекорд» входят представители издательств, культурно-просветительских и учебных заведений ряда африканских стран.

В каждом номере содержится информация не только о книжных новинках, но также о периодических изданиях, в основном научного и литературно-художественного профиля. Редколлегия уделяет большое внимание ознакомлению читателей с развитием книготорговли на континенте. Журнал часто публикует обзорные статьи и сообщения о различных аспектах деятельности национальных издательских организаций. Интересным, например, получился материал о международных книжных выставках в Зимбабве. Первая такая выставка состоялась в Хараре в августе 1983 года, вторая — ровно через год. Обе прошли с успехом. Устроители намерены проводить такие выставки ежегодно. В 1984 году в журнале подробно освещались издательское дело и книжная торговля в Гане, Танзании, Того, Судане. Обилие компетентной информации и своевременная ее подача снискали журналу заслуженную репутацию одного из самых интересных изданий в своей области.

## ВЕНГРИЯ

### ПЯТИСОТЫЙ ТОМ СЕРИИ «СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА»

В Будапеште в издательстве «Европа» вышел в свет 500-й том серии «Современная библиотека». По этому случаю газета «Непсабадшаг» опубликовала большую статью литературоведа Тамаша Тарьяна.

История создания этой серии относится к началу нашего века, пишет Тарьян, когда в 1910 году молодой в ту пору поэт, прозаик, публицист и редактор Тамаш Енё Гёмёри начал работу по ее созданию в издательстве «Атенеум». Первой книгой этой серии явился небольшой сборник новелл Томаса Манна, который перевел сам Гёмёри. Это было первое издание Томаса Манна на венгерском языке. Затем в этой серии вышли книги классиков венгерской литературы Деже Костолани и Ласло Надя.

---

Будапештский Варсинхаз («Театр в крепости»), или, как его еще называют, Народный театр, поставил спектакль «Собственный дом с мансардой», в основу которого лег одноименный роман Акоша Кертеса. Рецензия на него была опубликована в журнале «Иностранная литература», 1984, № 8. Как пишет критик журнала «Фильм, синхаз, мюжика», режиссер спектакля Миклош Сурди создал комедию, в которой подвергается осмеянию не только человеческое ханжество и безнравственность, но и разоблачается абстрактное теоретизирование.

На снимке: сцена из спектакля «Собственный дом с мансардой».

*(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)*

Планов было много. Но после падения Венгерской советской республики Тамаш Енё Гёмёри вынужден был эмигрировать.

Уже после освобождения Венгрии дело, начатое Гёмёри, было продолжено издательством «Европа», в котором с 1958 года в серии «Современная библиотека» стали выходить лучшие произведения современных зарубежных писателей.

Директор издательства «Европа» Янош Домокош с гордостью говорит о том, что за 26 лет в этой серии вышли книги более чем на 60 языках мира общим тиражом в 4 179 640 экземпляров.

К наиболее интересным изданиям, вышедшим за последние годы, автор статьи относит антологии «Современные советские поэты», «Современные поэты Чили», «Современные поэты Нигерии», «Современные поэты Перу», а также отдельные сборники, посвященные литературам Кубы, Вьетнама.

Серия «Современная библиотека», говорится в статье газеты «Непсабадшаг», ориентирует читателей Венгрии на лучшие образцы современной мировой литературы. Большая заслуга издательства в том, что наиболее ценные произведения выходили часто почти одновременно с их появлением у себя на родине.

Торжественно отметив выход 500-го тома, издательство «Европа» думает уже о 1000-м и 2000-м. И это воспринимается сегодня как надежда на доброе и мирное будущее.

## ГДР

### РОМАН ХАНСА ВЕБЕРА

Издательство «Нойес лебен» выпустило новый роман Ханса Вебера «Старый швед» (о Вебере см. «ИЛ», 1970, № 8; 1973, № 6; 1980, № 6).

Повествование в романе идет по двум линиям: это дневник тринадцатилетнего мальчика из детского дома Свена Харфланда и рассказ о журналисте и редакторе Иоганнесе Шиффхене. Свен Харфланд живет под впечатлением книги шведского писателя Йершильда «Остров детей» и отождествляет себя с юным фантазером, сиротой Райнером Ларссоном. Свен мечтает обрести отца, и встреча с Иоганнесом Шиффхеном вселяет в мальчика надежду, что он войдет в его семью.

Иоганнес Шиффхен — человек, которому за сорок. Он переживает тяжелый кризис. Шиффхен недоволен собой, он не удовлетворен работой, у него рушится семейная жизнь. Симпатия к мальчику, желание усыновить его, заботиться о нем и таким образом изменить свою жизнь дают Шиффхену новые силы. Но он не может осуществить свои намерения: он тяжело заболевает и попадает в больницу.

«Как и в прежних книгах, Ханс Вебер пишет о современной действительности. Он ставит в романе важные вопросы, на которые не дает однозначных ответов», — отмечает газета «Берлинер цайтунг».

«Это серьезный, психологический роман о воспитании человека, об участии общества в процессе воспитания, о чувстве ответственности и надежности, — пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд». — Книга читается с интересом и дает много материала для раздумий».

### НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

Состоялось присуждение Национальных премий за 1984 год. Премии удостоен один из старейших писателей Эрвин Штриттматтер — «за творчество, обогатившее национальную литературу ГДР». Премии получили также автор романов «Мораль бандитов» и «Грабители» Хорст Бастиан — «за все творчество в целом, в особенности за яркое изображение строителей социализма», прозаик, публицист, автор романа «Красный снег» Гюнтер Хофе — «за произведения, внесшие большой вклад в литературу о борьбе с фашизмом и милитаризмом», и автор фельетонов, сатирических очерков Лотар Куше — «за художественные и публицистические произведения». Премии удостоены также художники, графики, композиторы, режиссеры, ряд музыкальных коллективов.

## ЕГИПЕТ

### СНОВА НА РОДИНЕ

Десятилетнее правление президента Садата было отмечено гонениями на прогрессивных деятелей культуры и литературы, многие из которых были вынуждены покинуть Египет. Сейчас культурная жизнь страны постепенно нормализуется. Хотя многие трудности в этой области еще не преодолены, бывшие изгнанники начинают возвращаться на родину.

Так, по сообщению газеты «Аль-Ахали», в Египет вернулся известный прогрессивный критик и публицист доктор Махмуд Амин аль-Алим, покинувший страну после того, как садатовские власти запретили ему публиковать в Египте свои произведения. В течение десяти лет аль-Алим преподавал литературу в университетах различных арабских стран. За это время он написал ряд исследований, посвященных арабскому классическому наследию и современной литературе. В настоящее время аль-Алим работает над книгой о крупном современном египетском писателе-романисте Сааналле Ибрахиме.

## ИНДИЯ

### ПЬЕСА О НАБОЛЕВШЕМ

«Зритель не может оставаться равнодушным, если в пьесе поднимаются жгучие проблемы нашей жизни», — такими словами начинается рецензия на новый спектакль, поставленный в Агре по пьесе «Испытание огнем» писательницы Сантош Сахни — вдовы известного кинорежиссера и актера Балраджа Сахни.

В пьесе поднимается проблема приданого, которая не раз обсуждалась на страницах печати: из-за приданого рвутся родственные связи, рушатся семьи, разбиваются сердца, гибнут люди.

...Неторопливо разворачивается действие спектакля. Зрители увидели на сцене то, о чем им приходится читать почти в каждом номере газеты. Стремясь вырвать приданое поуевсистей, родители жениха идут на все, они не останавливаются даже перед тем, чтобы прервать свадебную церемонию и увести жениха...

На снимке: сцена из спектакля «Испытание огнем».

*(Газета «Джан юг»)*

На спектакле присутствовала автор пьесы — Сантош Сахни, специально прибывшая в Агру по этому случаю. «То обостренное внимание к социальной проблематике, которым были отмечены личность и творчество Балраджа Сахни, восприняли, кажется, и все члены его семьи», — замечает в связи с этим рецензент.

Поставил спектакль известный прогрессивный режиссер Джитендра Рагхуванши.

В рецензии дается высокая оценка зрелому мастерству драматического коллектива Агры, который, входя в Ассоциацию народного театра Индии (АНТИ), своей деятельностью претворяет в жизнь провозглашенные ею благородные принципы гуманизма и борьбы за социальную справедливость.

## ИНДОНЕЗИЯ

### НА ЭТОТ РАЗ — «МЕРТВЫЕ ДУШИ»

Впервые произведения Н. В. Гоголя — «Тарас Бульба» и «Шинель» — были переведены на индонезийский язык еще в 40-х годах нашего века. Гоголь-драматург привлек внимание индонезийцев лишь в 80-х годах.

Вначале была поставлена «Женитьба», действие которой было перенесено в Индонезию, после нее сразу в двух театрах поставили «Ревизора», действие которого тоже было перенесено в Индонезию (см. «ИЛ», 1983, № 7).

Одна же из молодежных трупп Джакарты с успехом инсценировала полюбившегося ей «Тараса Бульбу».

А сейчас в переводе Кусалаха Субагьо Тура появились «Мертвые души». Перевод, выполненный на этот раз непосредственно с русского языка, был положительно оценен местной прессой. Дж. Т. Харджатно в своей рецензии, опубликованной в журнале «Оптимис», упрекает переводчика лишь в отдельных неточностях (например, в неправильном переводе знаменитого «кувшинного рыла»). Большая часть рецензии посвящена общей характеристике поэмы-романа. «И смешное и страшное у Гоголя порождены ужасающей бездуховностью окружающего его мира,— пишет рецензент.— Не подлежит сомнению то, что поэма Гоголя заключает в себе острую социальную критику».

## ИОРДАНИЯ

### НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ

Как сообщает журнал «Аль-Катиб», издательство «Ибн Рушд» (г. Амман) выпустило книгу иорданского литературоведа и критика Ибрахима Халиля «Рассказ и роман Палестины». Книга представляет собой сборник критических статей и исследований, посвященных современной палестинской прозе. В ней рассматриваются наиболее значительные произведения палестинских писателей — новеллистов и романистов.

Тем же издательством выпущена книга литературоведа доктора Абд аль-Кадера аш-Шейхли «Женские образы в произведениях Горького». В книге рассказывается о жизненном пути А. М. Горького, о положении женщин в дореволюционной России, отображенном в произведениях великого русского писателя, чье имя пользуется в арабских странах большой популярностью.

На снимке: кадр из фильма «Велосипеды нужны летом».

*(Газета «Паис»)*

## ИСПАНИЯ

### ИСПАНСКОЕ КИНО СЕГОДНЯ

В последнее время испанская пресса все больше внимания уделяет отечественному кинематографу, отмечая его взлет в 80-е годы. Действительно, испанское кино, взявшее хороший разбег в предыдущее десятилетие, все чаще пользуется успехом не только у себя на родине, но и за ее пределами. Об этом свидетельствуют премии последних лет: «Оскар» за лучший зарубежный фильм (лента Хосе Луиса Гарси «Начать сначала»). Большой приз кинофестиваля в Берлине в 1983 году (фильм Марио Камуса «Улей» — «ИЛ», 1983, № 1), приз за лучшее исполнение мужской роли на фестивале в Каннах в 1984 году (фильм Марио Камуса «Святые безгрешные» по одноименному роману Мигеля Делибеса); росло и международное признание работ Карлоса Сауры.

Испанское кино 80-х годов — это в первую очередь социально-психологический кинематограф, причем ведущее место в фильмах последних лет занимает тема первого послевоенного десятилетия. Именно теперь, в связи с отменой всех цензурных ограничений после смерти Франко, появился ряд фильмов, возвращающих испанцев к 40-м годам. Сняты они чаще всего режиссерами, чье детство пришлось на эти годы; их глубоко эмоциональные ленты бережно воссоздают атмосферу тех лет. В их фильмах война как таковая изображается редко, но отзвуки ее ощущаются все время. Новым поколением испанских кинематографистов движет стремление рассказать, в каких условиях они формировались. Нередко при этом в качестве литературной основы используется любимое всеми художественное произведение: среди наиболее известных экранизаций — роман Камило Хосе Селы

«Улей» и роман каталонской писательницы Мерсе Родореды «Площадь Диамант».

Среди последних экранизаций — фильм Хайме Чаварри «Велосипеды нужны летом», с огромным успехом прошедший по экранам страны и показанный в программе «Панорама испанского кино» во время ежегодного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в сентябре 1984 года. В основу сценария легла одноименная пьеса Фернандо Фернан-Гомеса, которая два сезона держалась на сцене и получила крупнейшую премию страны в области драматургии — премию имени Лопе де Веги.

Действие пьесы и снятого по ней фильма происходит в 1936 году в республиканском Мадриде. В центре киноповествования история мадридской семьи, живущей в одном из старых кварталов города: война, ворвавшись в жизнь людей, поломала их планы, нарушила привычное течение будней, фильм передает сложную и напряженную атмосферу Мадрида той поры. «Он, — пишет рецензент журнала «Ресенья де литература, арте и эспектакулос»,— не только не похож на предыдущие работы Хайме Чаварри, он не похож и на все другие фильмы и пьесы, рассказывающие о жизни гражданского населения в военные годы». Критик отмечает, что в киноленте «Велосипеды нужны летом» есть элементы различных жанров — социально-политического кино, мелодрамы, веселого музыкального представления, «а в целом получается интереснейшее свидетельство о той стороне жизни военного времени, что пока еще мало отражена испанским искусством».

## ИТАЛИЯ

### ПРЕМИЯ «СТРЕГА» — ЭССЕ-РОМАНУ О ТОЛСТОМ

Тридцать восьмая по счету «Стрега» (крупнейшая литературная премия Италии) абсолютным большинством голосов присуждена в 1984 году талантливому критику и литературоведу Пьетро Читати. Его эссе-роман «Толстой», вышедший в издательстве «Лонганези», был встречен итальянской прессой с единодушной симпатией. «Это живая книга, ей суждена долгая жизнь. Зрелый писатель, Читати достиг качественно новой ступени мастерства», — выражает общее мнение Паоло Милано, постоянный ведущий книжной рубрики еженедельника «Эспрессо».

Литературный обозреватель журнала «Эуропео» Энрико Регаццони напоминает, что Пьетро Читати не впервые обращается к биографическому жанру: его перу принадлежат яркие портреты Гёте, Мандзони, Готорна, Кэтрин Мэнсфилд. Уже в этих книгах чувствовалось стремление автора как можно теснее переплести рассказ о жизни писателя с попытками по-новому прочитать его произведения. В «Толстом» этот замысел, считает Регаццони, нашел свое совершенное воплощение: читателя буквально зачаровывает та ясность, с которой вдруг ему предстает духовный мир русского гения. Такой эффект достигается предельной исповедальностью повествования, когда биография Толстого то и дело рискует превратиться в автобиографию Читати; этого не происходит благодаря удачно введенному в книгу литературно-критическому компоненту, который и делает ее эссе-романом.

Собственно, жанровая новация и стала единственным пунктом робкой полемики, возникшей в прессе, — не слишком ли эссеистична работа Читати для присуждения ей премии, предназначенной книгам беллетристических жанров? Не обошлось и без обычных попыток расщепить волосок на четыре части: нашлись критики (в данном случае Энцо Голино и Джованни Рабони), которые принялись пространно рассуждать о том, что следует считать романом-эссе, а что эссе-романом, и пришли к выводу о неправомочности присуждения «Стреги» эссе-роману. «Ради бога, не будем вступать в дискуссии о жанрах, они заведут нас слишком далеко», — призывает Доменико Порцио (он не только критик, но и распорядитель церемонии вручения премии «Стрега»), склонный присоединиться к мнению Умберто Эко, который убежден, что жанр книги определяет читатель, а не писатель. Однако наиболее весомый аргумент привел Альфредо Джулиани, заметив, что в этом «эссе-романе» настоящей литературы гораздо больше, чем во многих «просто романах», удостаивавшихся этой премии ранее.

### ТРАГЕДИЯ СЕМЬИ РОССЕЛЛИ

«Частные воспоминания о всеобщей трагедии» — так характеризует выдающийся итальянский писатель Альберто Моравиа книгу «Семья Росселли», вышедшую в издательстве «Бомпиани». В центре повествования — злодейское убийство стойких бойцов-антифашистов Карло и Нелло Росселли членами французской тайной организации Кагул. Эта преступная организация финансировалась итальянскими фашистами, убийство братьев Росселли было санкционировано непосредственно Муссолини.

Дело происходило в 1937 году в Нормандии, куда Карло Росселли, один из руководителей интербригад в Испании, прибыл на лечение после ранения в боях у Гвадалахары. Брат его, Нелло, историк по профессии, после тюремного заключения и ссылки работал здесь над исследованием движения Рисорджименто. Преступная акция явилась ярким свидетельством усиления фашистской диктатуры в Италии, она вызвала гневное возмущение во всей Европе и Америке. «Братья Росселли стали символом растоптанной свободы», — пишет газета «Паэзе сера».

И вот почти полвека спустя сын Нелло Росселли, Альдо, воссоздал не только перипетии убийства двух братьев во Франции, но и историю всей семьи Росселли, члены которой сохраняли лучшие традиции демократической интеллигенции Италии, развивавшиеся со времен Рисорджименто и с особой силой проявившиеся в трагические и героические годы антифашистской борьбы.

История семьи на фоне истории страны, событий, потрясших весь цивилизованный мир, дается сквозь призму восприятия подростка, и книга Альдо Росселли, как отмечает Альберто Моравиа, является романом «воспитания чувств». К лучшим страницам этого произведения рецензенты относят повествование о том, как автор, в то время еще беззаботный, беспечный подросток, впервые сталкивается с жестокостью и насилием, познает отчаяние и постигает понятие о добре и зле, которые пронесет потом через всю жизнь. Во время второй мировой войны Альдо вместе с членами семьи проводит свои дни в изгнании: в Швейцарии, затем в Англии и США — и лишь в 1946 году возвращается в Италию. Описывая свою судьбу, Альдо Росселли заставляет читателя вновь пережить трагедию тех лет, пишет рецензент газеты «Паэзе сера».

«Семье Росселли» предпослано, наряду с предисловием Альберто Моравиа, краткое вводное слово президента Италии Алессандро Пертини, который, говоря о политическом резонансе, вызванном гнусным преступлением, жертвами которого стали братья Росселли, отмечает их роль в развитии антифашистской борьбы.

## КАНАДА

### НОВАЯ ЭКРАНИЗАЦИЯ РОМАНА ЛУИ ЭМОНА

Роман «Мария Шапделен», написанный в 1913 году французом Луи Эмоном, поселившим Квебек в начале нашего века, давно уже признан классическим произведением канадской франкоязычной литературы. Этот правдивый рассказ о тяжелой жизни первых французских поселенцев в Канаде, с трудом отвоевывающих у природы каждый клочок земли, не раз привлекал внимание кинематографистов.

В 1934 году по роману снял фильм известный французский режиссер Жюльен Дювивье, впоследствии про-

На снимке: кадр из фильма «Мария Шапделен». В роли Марии — Кароль Лор.

*(Журнал «Суар»)*

славленный постановщик «Большого вальса». Марию Шапделен тогда исполнила Мадлен Рено. Пятнадцать лет спустя появился одноименный фильм другого француза — Марка Аллегрэ, с Мишель Морган в главной роли. И вот новая экранизация произведения, на этот раз осуществленная квебекским режиссером Жилем Карлем.

В своем интервью бельгийской газете «Суар» он отметил, что хотел создать именно «квебекский» вариант фильма, поскольку судьба главных героев романа тесно связана с суровой природой Квебека, в непрекращающейся борьбе с которой проходит вся их жизнь. Поэтому Жиль Карль на роль Марии пригласил коренную жительницу Квебека, молодую актрису Кароль Лор.

## КЕНИЯ

### В ПАМЯТЬ ДЕДАНА КИМАТИ

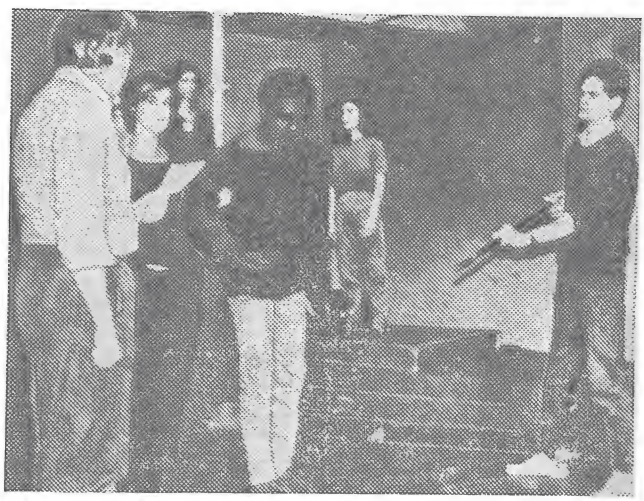
Пьеса «Суд над Деданом Кимати» была написана известным кенийским писателем Нгуги Ва Тхионго в содружестве с Мичере Гите Муго в 1976 году. Она посвящена памяти Дедана Кимати, одного из лидеров партизанского освободительного движения «мау-мау», погибшего от рук колонизаторов. Пьеса неоднократно ставилась в Кении, где была тепло принята зрителями. Новая постановка пьесы осуществлена труппой «Вазалендо 84» в Лондоне. Этот театральный коллектив создан кенийцами, покинувшими родину по политическим причинам. В репертуаре труппы — драматургические произведения, в которых поднимаются вопросы национально-освободительной антиимпериалистической борьбы.

Пьеса ставится под наблюдением Нгуги Ва Тхионго, несколько лет назад вынужденного эмигрировать из Кении и теперь проживающего в Англии. Хотя темой «Суда над Деданом Кимати» является борьба кенийцев против британского владычества, в современных условиях она не только не теряет своей актуальности, но приобретает более широкое значение. В интервью корреспонденту газеты «Морнинг стар» Нгуги Ва Тхионго сказал: «В пьесе идет речь об империалистическом засилии и империализме в целом. Система империализма во главе с Соединенными Штатами и международное антиимпериалистическое движение противостоят друг другу, в пьесе изображены эти противоборствующие силы. Было бы неверно рассматривать сюжет пьесы как нечто относящееся исключительно к прошлому, поскольку такая же борьба ведется ныне в Никарагуа, в Южной Африке, да и здесь, в шахтерских пикетах».

Актеры, участвующие в спектакле, стремились нетрадиционно интерпретировать материал пьесы. Репетиции были открыты для публики, они проводились в присутствии разнообразной аудитории, причем зрителей приглашали участвовать в процессе постановки путем откровенного обмена мнениями. Многие зрительские предложения были успешно использованы постановщиками.

Театральный коллектив «Вазалендо 84» состоит из представителей пятнадцати национальностей, что, однако, не препятствует их полному взаимопониманию. Как отметила одна из актрис группы: «Все мы знаем, что такое угнетение, так как большинство из нас безработные, у многих черный цвет кожи, среди нас много женщин. Поэтому в той или иной форме мы познали на себе угнетение. Но именно в совместных обсуждениях во время репетиций мы поняли, что наш личный опыт отражает классовые противоречия общественной системы, основанной на угнетении. Благодаря совместному участию в спектакле перед нами открылось новое понимание проблемы».

В ответ на вопрос корреспондента о будущих планах Нгуги Ва Тхионго сказал, что работает над новым романом, который пишет на родном языке кикуйю.



На снимке: сцена из спектакля «Суд над Деданом Кимати».

*(Газета «Морнинг стар»)*

## КИТАЙ

### ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА В КИТАЕ

Ежеквартальный журнал «Дандай вайго вэньсюэ» («Современная иностранная литература»), издающийся Институтом иностранной ли-

тературы Нанкинского университета, публикует произведения мировой литературы XX века.

Во втором номере за 1984 год (шестнадцатом со времени начала издания) помещены произведения советских писателей: один из ранних рассказов Чингиза Айтматова, драма Алексея Арбузова «Жестокие игры», стихи Расула Гамзатова, Расула Рза, Петруся Бровки, Алима Кешокова, Рамза Бабаджана, Сильвы Капутикян, Эдуардаса Межелайтиса.

Произведения Айтматова и Арбузова сопровождаются биографическими сведениями о писателях, а также краткими характеристиками их творчества.

В журнале опубликована статья Чэнь Ляо «Коротко о литературных связях Ленина и Горького», в которой автор говорит о постоянном внимании В. И. Ленина к творчеству великого писателя и о влиянии Ленина на мировоззрение Горького.

Журнал, как привило, помещает на первой странице обложки портрет одного из авторов номера (на обложке этого номера портрет Ремарка), роман которого «Черный обелиск» печатается в журнале. На четвертой странице обложки воспроизведена одна из работ Д. Налбандяна.

## КУБА

### ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ

Названы лауреаты ежегодной премии «За лучшие работы», учрежденной министерством культуры Кубы. Премия способствует стимулированию творчества литераторов острова Свободы и вручается за создание высокохудожественных произведений. Интересно, что премией отмечается также успех издательских коллективов, которые выпустили в свет книгу-лауреата. В настоящее время премия министерства культуры стала одной из наиболее авторитетных литературных наград на Кубе.

Высоко оценен, в частности, исторический роман Лисандро Отеро «Времена ангелов». Действие этого произведения развивается в Англии XVII века. Проникновение автора в атмосферу той эпохи позволило ему создать яркую галерею образов, представляющих различные слои общества. А философские отступления Отеро, наполненные рассуждениями о направлении развития общества и общем содержании политической власти в различные эпохи, придают актуальность произведению.

Заслуженную оценку получил сборник научно-популярных и публицистических эссе Макса Фигероа Эстевы «Лингвистическое измерение человека». Он представляет интерес как для специалистов в области лингвистики, так и для широкого круга читателей. Работа органически сочетает историко-аналитическое исследование проблем лингвистики с живым и занимательным изложением.

Среди поэтических произведений внимание жюри привлек сборник стихов Рафаэля Альсидеса Переса «Благодарен, как пес».

## МОНГОЛИЯ

### ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Государственной премии МНР за 1984 год удостоен видный прозаик Жамбын Пурэв, внесший своим творчеством большой вклад в развитие жанра романа.

Человек, его служение обществу, его борьба, его нравственный поиск — вот основная тема его произведений, создает ли он монументальные исторические полотна (романы «Мелодия», «Гроза», «Три узла», «Гнев сердца»), пишет ли о современнике-рабочем («Инженер Ундрах») или о животноводе («Честь»).

Получивший высокую оценку читателей и критики роман Ж. Пурэва «Гнев сердца» о борьбе монгольского народа против маньчжурских завоевателей в XVII—XIX веках является одной из первых попыток отразить в литературе этот сложный период в истории Монголии.

## ПЕРУ

### КИНОМОНОПОЛИИ ПРОТИВ «ТУПАК АМАРУ»

Судя по сообщениям печати, созданный кинематографистами Перу и Кубы фильм «Тупак Амару» завоевал огромный успех среди публики перуанской столицы: за первые три недели демонстрации его просмотрело рекордное в Лиме число зрителей — более ста тысяч человек, которые после каждого показа картины стоя награждали бурной овацией авторов и исполнителей фильма.

Успех фильма о легендарном вожде перуанских индейцев, двести лет назад поднявшем восстание против чужеземного господства — испанских колонизаторов, вызвал глубокое недовольство киномонополий «Юнайтед интернэшнл пикчерс» и «Филм пропертиз интернэшнл», принявших меры к тому, чтобы снять с экрана «Тупак Амару». Обе эти компании даже предъявили ультиматум перуанской фирме, распространяющей фильм в стране.

Транснациональные киномонополии уже не раз предпринимали попытки блокировать продукцию латиноамериканской кинематографии, поддерживая фильмы Голливуда, теряющего свои прежние рынки в странах Латинской Америки. В связи с этим корреспондент испанского агентства ЭФЕ сообщал из Лимы: «Кинотеатры в Перу переживают кризис, что является отражением кризиса в мировой кинематографии, и даже порнофильмы, ранее привлекавшие публику своей новизной, уже не приносят дохода: все они кажутся одинаковыми».

Бойкот фильма «Тупак Амару», организованный транснациональными монополиями, в которых главную роль играют капиталы США, по мнению перуанской печати, не сможет задержать дальнейшее развитие кинематографии Латинской Америки.

## ПОЛЬША

### К. И. ГАЛЧИНЬСКОМУ БЫЛО БЫ 80

В январе нынешнего года Константы Ильдефонсу Галчиньскому (1905—1953) исполнилось бы 80 лет. Он начал печататься с 1923 года. Первые его сти-

На снимке: кадр из фильма «Тупак Амару».

*(Газета «Гранма»)*

хотворения, написанные под влиянием Мицкевича, Выспяньского, Стаффа, публиковались во многих журналах, но Галчиньский стремился выработать свой поэтический стиль.

В 1926—1931 годах Галчиньский сотрудничает в юмористическом журнале «Варшавский цирюльник», в 1928 году вступает в литературную группу «Квадрига», которая, однако, просуществовала недолго. В эти годы он публикует повесть «Ослик Порфирион» и поэму «Конец света», в которой отражены идейные и художественные искания поэта.

Галчиньский метко и язвительно высмеивал бюрократов государственных учреждений санации («Чиновник, скрепки и лев», 1935; «Страшная жаба», 1936), образ их жизни и мышления. Доставалось и варшавской литературной среде («Смерть поэта», 1930; «Распродажа поэзии», 1939).

В сатире Галчиньского появился только ему свойственный стиль. Многие стихотворения писались как сатира на вселенную, в которой подвергалось осмеянию все сущее: «Мир — старый обманщик, которому верить нельзя» («Все колеблется», 1934).

В августе 1939 года Галчиньский был призван в армию, в самом начале войны в сентябре попал в плен и около шести лет томился в фашистском лагере для военнопленных.

После войны Галчиньский, вернувшись на родину, сотрудничал в популярном журнале «Пшекруй», где каждую неделю появлялись короткие сатирические миниатюры, они шли в рубрике, которой он дал название «Театрик «Зеленый гусь». В «Пшекруе» регулярно публиковались и юмористические фельетоны «Письма с фиалкой», обличавшие тупость и ханжество мещан, носителей старой морали, ненавидящих все новое и мифологизирующих все старое.

В послевоенные годы Галчиньским созданы его лучшие произведения: сборники «Закалдованный возок», «Обручальные кольца», «Лирические стихи», где в полный голос зазвучали гражданские мотивы. Венцом его сатиры явилась поэма «Путешествие Хризостома Бульвеция в Темноград» — вымышленный город, прибежище всех, кто мешал поступательному движению Польши.

Как пишет рецензент журнала «Новые польские книги», поэзия Галчиньского пробуждает в людях стремление к высшим и прочным нравственным ценностям. Поэт жаждал наделить этим стремлением человека социалистической эпохи, это ярко выражено в его поэмах «Ниобея» и «Вит Ствош», которые являются гимном труду, гимном человеку-творцу, отдавшему народу весь свой талант.

На польском телевидении в спектакле по пьесе Юджина О'Нила «Траур к лицу Электре» с успехом выступила Анна Дымна (на фото), знакомая советскому зрителю по фильмам «До последней капли крови» и «Знахарь».

*(Журнал «Театр»)*

---

### «КАМЕНЬ НА КАМЕНЬ» ВЕСЛАВА МЫСЛИВСКОГО

В Государственном издательском институте (ПИВ) вышел новый роман Веслава Мысливского «Камень на камень», который критики называют самым значительным произведением в творчестве писателя. Уже предыдущие его книги «Голый сад», «Дворец» свидетельствовали о том, что в польскую литературу пришел незаурядный прозаик, который своими произведениями обогатил так называемую «деревенскую прозу». Новый роман — продолжение той же деревенской темы, но уже, как пишет рецензент «Трибуны люду», в более глубоком, философском ее осмыслении.

Повествование ведется от первого лица, это монолог героя, рассказывающего о себе, об истории своей семьи с предвоенных лет до наших дней, и в конечном счете об истории Польши. Роман «Камень на камень» не семейная хроника, а произведение широкого социального масштаба, перерастающее в произведение эпическое.

Форма повествования, избранная автором, дает большие возможности: переплетаются времена и события, возникают, исчезают, появляются вновь разные персонажи, и каждый вносит свою лепту, «свой камень» в строение, которое растет на глазах, где у каждого человека свое место, своя история, своя радость, своя боль.

Судьба главного героя, как и многих людей его поколения, полна трагических событий: жестокие сражения с оккупантами в рядах партизан, плен, расстрел (смертельно раненный, он выбирается из общей могилы и остается в живых), после войны неудавшаяся личная жизнь, инвалидность из-за несчастного случая, сложная ситуация в деревне, когда ломался старый крестьянский уклад и создавались новые отношения, в которых не всегда легко было разобраться, сделать верный выбор, — вот что легло на его плечи.

Но его твердая убежденность в том, что надо достойно прожить свою жизнь, как бы трагически она ни сложилась, взять лучшее от старого и нового и отмести худшее в том и другом, наполняет книгу, как отмечают критики, светом и верой в человека.

«Выдающееся произведение» — так оценивает новый роман Веслава Мысливского рецензент газеты «Трибуна люду».

---

## СИРИЯ

### РЕЖИССЕРСКИЙ ДЕБЮТ

Передовые деятели сирийской кинематографии обращаются в своем творчестве к фактам не только дня сегодняшнего, но и былых времен. Так, недавно на экраны страны вышла полнометражная художественная кинокартина «Мечты города», представляющая собой, по мнению арабской критики, заметное явление в культурной жизни Сирии. Поставил ее выпускник ВГИКа Мухаммед Малас по сценарию, написанному им же совместно с другим вгиковцем, Самиром Зикра.

В основу сценария легли воспоминания самого режиссера. Социально-политическая ситуация в Сирии 50-х годов воссоздана коллективом кинематографистов через видение маленького мальчика, которого вместе с сестрой перевезла жить сюда из Кунейтры их рано овдовевшая мать. Чужая, порою жестокая обстановка развивает в восприимчивой, легко ранимой душе ребенка склонность к мечтаниям о лучшей жизни для родных и обитателей старинного «квартала бедных», где он живет.

Экранное действие охватывает приблизительно десятилетний период национальной истории. Перед зрителями проходят представители различных слоев городского населения. Показываются взлет и падение ставленника западных империалистов, диктатора Шишекли; возрождение принципов де-

«Мечты города». В главной роли Ясмин Хлат.

*(«Кинобюллетень»)*

мократии при президенте Шукри Куатли; стремительный рост авторитета и популярности среди сирийцев египетского лидера Гамаля Абдель Насера, события на Суэцком канале и отражение тройственной агрессии Англии, Франции и Израиля.

Издающийся в Каире журнал «Ас-Синема ва-н-нас» отмечает: «Можно с уверенностью говорить о том, что фильм Мухаммеда Маласа «Мечты города» — серьезный успех всего арабского кино на его долгом и тернистом пути к общемировому признанию».

В фильме снялась известная ливанская актриса Ясмин Хлат, которая на XI Московском международном кинофестивале 1979 года была награждена призом за лучшее исполнение женской роли в картине «Нахля» алжирского кинорежиссера Фарука Белуфа («ИЛ», 1980, № 1).

## США

### ВОЗВРАЩЕНИЕ ГАРРИ БЕЛАФОНТЕ

По словам знаменитого американского певца и киноактера Гарри Белафонте, настало время «продолжить мою партизанскую войну с Голливудом». Став звездой мирового экрана еще в 50-е годы, Белафонте покинул экран в 60-е. После этого он лишь дважды сыграл в фильмах своего давнего друга Сидней Пуатье, и если не считать участия в телефильме 1981 года в роли футбольного тренера, то с 1974 года Белафонте не появлялся на экране. В 1984 году он решил бросить вызов Голливуду, сняв фильм «Улица ритма», рассказывающий о музыкальной культуре диско, процветавшей на улицах нью-йоркского квартала Бронкс в середине 70-х годов и распространившейся затем по всему миру. Одно из знаменитых мест Нью-Йорка — Южный Бронкс, где происходит действие фильма, не раз описанный в американской классике, уступает по особенностям местного колорита, может быть, лишь Гарлему.

«Бронкс — это мои корни. Я вырос на его улицах. Там умерли мои отец и брат. Там я работал мусорщиком. Если фильм получится, я покажу, что там живут настоящие люди... Игра в кино сформировала меня. Это моя первая любовь, которая ввела меня в мир человеческих ценностей... Мальчишкой-мусорщиком я впервые попал в театр в Гарлеме; я сидел и не верил своим глазам — на сцене происходило чудо: черные актеры произносили текст, написанный черными писателями...»

В 50-е годы, напоминает газета «Интернэшнл геральд трибюн», фильмы с участием Гарри Белафонте развеяли традиционное убеждение голливудских продюсеров в том, что «фильмы о черных» не приносят прибыли. «Но

На снимке: Гарри Белафонте.

*(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)*

в 50-е, — говорит Белафонте, — я понял, что Голливуд накрепко связан с Америкой, а для того, чтобы что-то изменить в Америке, нужно изменить что-то в ее общественной системе». Поэтому в 60-е годы Белафонте принимал активное участие в борьбе за гражданские права черного населения Америки. Ему хотелось способствовать появлению серьезного негритянского кино в США, уйти от сложившейся системы звезд, в том числе черных звезд. «...Если у продюсеров окажется 5 миллионов и выбор между черным и белым фильмом — они вложат деньги в фильм с участием белых: в Голливуде знают, что черные ходят на фильмы, где играют белые, и очень мало белых ходят на фильмы с участием черных актеров. Но вот вышел мой последний фильм «Слава». Он был воспринят не как «черный» фильм, а как фильм о школе, в которой много черных ребят. Нас долго не видели, и это произвело впечатление. Молодым черным актерам стали давать роли в кино и на телевидении. Потом появилась новая музыкальная культура диско, и я понял, что настало время нанести новый удар по Голливуду».

«Причина очень проста, — говорит Белафонте. — Я добираюсь до вас через ваших детей. Музыкальная культура направлена против расизма — музыка объединяет всех. Вот почему я выбрал именно эту тему». В фильме «Улица ритма» снимались молодые черные актеры и дети выходцев из стран Латинской Америки, у одних родители принадлежат к миру искусства, другие попали на экран прямо с улицы.

Белафонте по-прежнему увлечен театром. «Я не ушел в отставку, — сказал он. — Не говорю, что никогда не буду петь, но сейчас для меня важнее работа режиссера — в кино и театре».

## ТУНИС

### «ДОМ МУДРОСТИ»

Согласно постановлению правительства, в Тунисе создана Национальная организация по переводам, изданию памятников и исследований, которой присвоено наименование «Дома мудрости» (по имени древней академии, существовавшей в Багдаде в эпоху расцвета Арабского Халифата).

«Дом мудрости» задуман как «общественная организация культурного характера», работающая под руководством министерства культуры. Он призван играть роль своего рода академии гуманитарных наук. Одна из главных задач новой организации — «вносить вклад в распространение культуры Туниса в международном масштабе, устанавливать связи с родственными организациями, укреплять контакты с учеными мира, заинтересованными в серьезном диалоге между цивилизациями и плодотворном культурном сотрудничестве». Ядро «Дома мудрости» — Научный совет, состоящий из постоянных членов и членов-корреспондентов, которыми могут быть лица, «пользующиеся высоким научным авторитетом в важнейших областях духовной, культурной и научной деятельности или прославившиеся выдающимися заслугами перед человечеством. В состав Научного совета «Дома мудрости» вошло свыше 60 постоянных членов и членов-корреспондентов, среди которых видные деятели культуры, ученые, писатели и поэты Туниса и многих стран мира, а также представители международных организаций.

При «Доме мудрости» созданы два научно-исследовательских института: Национальный институт литературного и научного перевода и терминологии и Институт истории, публикации и изучения текстов. (Последний будет заниматься изучением классического культурного наследия Туниса.)

## ФРАНЦИЯ

### БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ

Франсуа Трюффо, которого не стало в 52 года, известен не только как кинорежиссер, один из зачинателей «новой волны» (его фильм «400 ударов» демонстрировался в прокате, другие его картины — «Американская ночь», «Дикий мальчик», «Последнее метро» — на московских кинофестивалях), но и как кинокритик, твердо отстаивавший определенные художественные принципы. Он снимал по фильму в год, и в целом за двадцать пять лет кинематографической деятельности создал, как пишет газета «Юманите», замечательную панораму повседневной жизни современной Франции.

На страницах «Юманите» воспроизведены некоторые из многочисленных откликов на смерть Франсуа Трюффо.

«Мы потеряли одного из самых крупных кинорежиссеров, — сказал западногерманский кинорежиссер Вернер Герцог. — Это трагично, ибо лучшие — турок Йылмаз Гюней, а теперь Фран-

На снимке: Франсуа Трюффо.

*(Газета «Юманите»)*

суа Трюффо — умирают. Это подлинная катастрофа...»

«Горе утраты повергло меня в траур, который я буду носить не день или три месяца, но всю жизнь, — сказал Жан-Пьер Лео, любимый актер Франсуа Трюффо, знакомый советскому зрителю по фильму «400 ударов». — С ним уходит частица меня, моей жизни».

При известии о кончине Ф. Трюффо итальянский режиссер Франческо Рози заявил: «Эта утрата не только для европейского, но и всего мирового кино. Смерть Трюффо оставила зияющую пустоту и заставляет сожалеть о всех тех фильмах, которые он мог еще создать».

Французский кинематографист Эрик Ромер, который вместе с Трюффо был критиком «Кайе дю синема» прежде чем стать одним из режиссеров «новой волны», заявил: «Я потерял друга, и это большая потеря для французского кино. При всем разнообразии творчества все его фильмы связаны друг с другом. Трюффо — одна из самых ярких индивидуальностей в современном кино. Отечественная критика была к нему не всегда справедлива. За пределами Франции Трюффо считали самым крупным французским режиссером и даже одним из самых больших мировых имен наряду с Феллини и Бергманом».

Жорж Марше, Генеральный секретарь ФКП, в письме, адресованном вдове Трюффо, отметил, что, использовав все богатое наследие мирового кино, Франсуа Трюффо создал свой неповторимый стиль и в 60-е годы способствовал обновлению отечественной кинематографии.

## «ЧЕХОВ» АНРИ ТРУАЙЯ

Анри Труайя не раз обращался к жизни великих русских писателей. Его перу принадлежат беллетризированные биографии Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого. И вот новая книга французского автора — «Чехов».

«Я давно хотел написать об этом скромном и загадочном человеке. На фоне биографий других русских писателей, в которых немало ярких эпизодов, жизнь Чехова может показаться монотонной. Однако знакомясь с Чеховым ближе, убеждаешься, что за внешней неброскостью кроется удивительное богатство души. Я всегда находился под обаянием Чехова — художника и человека. Как человек, он восхищает своей глубокой порядочностью, твердостью, стоицизмом. Как художник — покоряет правдивостью, сдержанностью, беспристрастностью и мягкой иронией. Его искусство, полное нюансов, намеков, тонко подмеченных деталей, не поддается анализу... Здесь нет ни необычных событий, ни красивых фраз, ни героических поступков — лишь негромкая проникновенная музыка, вопросы, остающиеся без ответа, бессмысленность каждодневности, подталкивающая нас шаг за шагом к головокружительной пропасти, — пишет Анри Труайя. — Когда я читаю Чехова, мне кажется, что со мной доверительно беседует близкий друг».

Критик журнала «Пуэн» Анжело Ринальди дает высокую оценку книге Труайя. Опираясь на строго документированные факты, пишет он, автор мастерски воссоздает личность Чехова и его эпоху. Отмечая, что во Франции Чехов известен скорее как драматург, чем как автор рассказов. «Монд» ставит в заслугу Анри Труайя то, что он раскрыл для своих соотечественников и эту, другую сторону творчества замечательного русского писателя.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
**Н. Т. ФЕДОРЕНКО**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
**О. С. ВАСИЛЬЕВ** (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Е. Н. Черняев** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 26.11.84. Подписано в печать 17.01.85. А 07036. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая 16 п. л. (22,4), усл. п. л., уч-изд. л. 28,65.

Тираж 418 000 экз. Зак. 4212.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5,

НГУЕН ЧУНГ. Мать и сын.

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394